

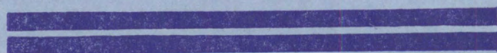
ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1986

1



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1986 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Из новой книги, стихи	3
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Сухой ляман	8
АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ — Круг забот, стихи	43
ВАСИЛИЙ СУБОТИН — В другой стране, повесть	48
БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ — Разбуженный зовом, стихи. Перевел с азербайджанского Анатолий Передреев	98
Н. ТРОПНИКОВ — Ручная работа	100
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — Малая Молчановка, стихотворение	122
Т. ТОАСТАЯ — Петерс, рассказ	123
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Табу, рассказ	132
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Стихи. Публикация Г. Суховой-Мартыновой	146
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС	
АНАТОЛИЙ ИВАЩЕНКО — Земля	151
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО. Публикация и вступление Н. А. Пакина	183
БОЛЬШЕВИКИ. Письма Анны Кравченко и Александра Спундэ (1917—1923). Предисловие И. Минца. Публикация, комментариев и примечания И. Брайнина	193
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>150 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова</i>	
Л. СКОРИНО — Провозвестник	224
С. ВАЙМАН — Ключ, врученный Добролюбовым	228

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССРС»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ — Дружба, испытанная временем. А. В. Луначарский и Ромен Роллан	240
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Григорий Бакланов. Америка мне виделась такой.	
И. Винокурова. Наедине с собой.	
Сергей Чупринин. Пир памяти.	
Рафаэль Мустафин. Слово о мятежном атамане.	
Дм. Молдавский. Освященные окна поэзии.	
<i>Политика и наука</i>	
Всеволод Софинский. Наперекор эпохе.	
Николай Паниев. Хроника нефтяной эпопеи.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Филимонов.—Рассказ-83. ♦	
Владимир Михановский.—Рукопожатие. Советско-венгерский сборник рассказов и очерков. ♦	
Владимир Савельев.—Мумин Каноат. Избранное. Стихотворения, поэмы. ♦	
Александра Спаль.—И. Мотяшов. Георгий Марков. ♦	
Аркадий Гаврилов.—С. Л. Абрамович. Пушкин в 1836 году. Предыстория последней дуэли. ♦	
Семя Борзунов.—Яков Захаров. Возвращение из неизвестности. Непридуманная повесть. ♦	
С. Яковлев.—Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. ♦	
Б. Пустовалов.—Василий Емельяненко. В военном воздухе су-ровом...	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

Равнодушным

Равнодушные
любовых профессий,
религий
и языков,
представители древних династий
и беспородные,
будьте прокляты
ныне, и присно,
и во веки веков!
Я желаю вам абсолютно искренне:
будьте прокляты!

В час,
когда земля примеривается
к новой войне,
когда ломятся склады от бомб
и ракеты в небо вгрызаются,
«Наше дело маленькое...— шепчете вы.—
Мы -- в стороне...
Мы не вмешиваемся ни во что...
Нас не касается...»

Я не знаю,
как взбудоражить вас
в недрах ваших квартир,

чем растревожить,
какими такими дустами?

Но знаю,
что, если завтра
погибнет
мир,

он погибнет
только по вашей вине,
равнодушные!
И за то, что вы равнодушны
к стонам чужим и словам,

я желаю яростно,
желаю истово и навязчиво,
чтобы случилось
лично вам,
персонально вам

сегодня же
больно
по-настоящему!

Но
 не хватило малости какой-то.
 Минут каких-то.
 Мига.
 Пустяка.

Распродажа

Диктор
 в уговорах стонет,
 зазывает,
 плачет даже...
 Распродажа в Вашингтоне!
 Распродажа.
 Распродажа...
 Продаются платья, брюки,
 плетки, пленки, реактивы.
 Вилла
 на Полярном круге,
 «боинги»
 и крокодилы.
 Бусы, кошельки, помада,
 птицы в клетках,
 пчелы в ульях
 и футбольная команда
 с тренером
 по кличке Умник.
 Клапан от азростата,
 сок для утоленья жажды...
 Продается
 экс-диктатор,
 недовзорванный
 однажды.
 Он опять готов трудиться,
 до сих пор
 в удачу верит.
 Он еще вполне сгодится
 (если только
 протрезвеет)...
 Продаются куклы в лентах
 и обозреватель бравый

(был сперва —
 левее левых,
 а потом —
 правее правых)...
 Кукурузные початки,
 патентованные мази.
 Продаются
 два участка
 на Луне
 и три —
 на Марсе!
 Каратисты для охраны
 и наемник для Анголы...
 Продаются реки,
 страны,
 острова,
 заливы,
 горы!..
 В жестяных консервных банках
 продается
 чистый воздух.
 Продаются
 клены в парках.
 Продается
 небо в звездах.
 И слова,
 что в небе выются,
 пишутся
 и издаются,—
 продаются!
 Продаются!
 Продаются.

* * *

В этой медленной осени
 чисто,
 просторно,
 легко.

В ней
 особенно слышным
 становится каждое слово.

Отдыхает земля.
 И плывут облака высоко.
 И вдоль улиц деревья
 подчеркнуто рыжеголовы.

В этой осени варят варенья
 и жарят грибы.

В ней
 с лесною опушкой прощаются
 будто навечно.

Затеваются свадьбы.

Идет
перестройка судьбы.
Из шкафов достаются
забытые теплые вещи.
А туманы все чаще
ползут с погрузневшей реки.
И на рынках
заманчиво высятся
дынные горы.
И гордятся загаром
недавние отпускники.
И убавился день.
И прибавилось
мокрой погоды...
В этой осени
много бессмысленных
горьких примет:
в ней,
как будто в театре абсурда
на призрачной сцене,
к перелету готовятся
стаи
крылатых ракет,
этот город и улицы эти
держат
на прицеле!

* * *

Вдруг на бегу остановиться
так,
будто пропасть на пути.
«Меня не будет...—
удивиться
и по слогам произнести:—
Ме-ня
не
бу-дет...»

Мне б хотелось
не огорчать
родных людей.
Но я вйду.
Исчезну.
Денусь.
Меня не будет...

Будет день,
настоянный на птичьих криках.
И в окна,
как весны глоток,
весь
в золотых сквозных пылинках,
ворвется
солнечный
поток!..
Просыплются дожди в траву
и новую траву
разбудят.
«Ау! — услышится.— Ау!..»

Не отзовусь.
Меня не будет.

* * *

Леса топорщатся,
и степь клубится.
Жара изводит,
и снега блестят.
Богаты мы!..

Но считанные птицы
над считанными рощами
летят.

Дрожит камыш
на считанных озерах,
и считанные рыбы
ждут в реке.

И восковые
считанные зерна
неслышно зреют
в малом колоске
Над запахом таежной земляники
полночный филин
ухает из тьмы.

Неужто внуки
лишь по Красной книге
узнают,
как богаты были
мы?!

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



СУХОЙ ЛИМАН

Через некоторое время после своего рождения в конце девятнадцатого века мальчик Миша стал познавать окружающий его мир. Он узнал, что, кроме имени Миша, у него есть еще фамилия Синайский. Она ему сначала не понравилась, но потом привык. Фамилия Синайские была также фамилией его папы и мамы и всех его братьев и сестер, которые были настолько старше Миши, что в сравнении с ними мальчик как бы не шел в счет.

Ему не с кем было играть.

Вскоре оказалось, что, кроме них, в городе есть еще какие-то другие Синайские.

Это неприятно поразило мальчика.

Однако когда выяснилось, что «те, другие» Синайские их близкие родственники, Миша примирился: отец других Синайских приходился родным братом его отцу, значит, был его родным дядей, а жена этого родного дяди была его родной тетей. У этих других Синайских — у дяди и тети — был тоже сын, мальчик, как и он, только назывался Саша, но он был на полтора года моложе Миши и его еще по обычаю того времени до трех лет одевали, как девочку, в платьице, тогда как Миша уже носил штанишки, так что Саша не годился ему в товарищи.

Маленький Саша скоро подрос, и его стали одевать, как и подобало мальчику. Это вполне сравняло его с двоюродным братом Мишей Синайским, который, впрочем, до конца своей жизни смотрел на Сашу несколько критически, как на младшего.

Их часто возили на конке через весь город в гости друг к другу, и они играли друг с другом в разные игры.

Чаще всего Сашу возили к Мише.

Конка останавливалась недалеко от здания так называемой старой семинарии, где жили Синайские-старшие. У Миши была своя собственная игрушечная мебель: шестигранный столик и два стульчика производства нижегородских кустарей, расписанные черными, как сажа, и огненно-красными сказочными цветами, похожими на крылья жар-птицы, покрытые лаком желтым, как постное масло. Они говорили детскому воображению о каком-то неведомом древнерусском мире и об их вятских или новгородских предках — священнослужителях, о которых мальчики слышали от родителей.

Миша и Саша сидели за маленьким сказочно красивым кустарным столиком в крошечных креслицах и играли в кубики с черными печатными буквами, среди которых в те времена еще были странные ять, «и» с точкой, фита и твердый знак, казавшийся какой-то птицей, как-то неестественно повернутой задом наперед и особенно неприятной, даже зловещей. Кубики заменяли им букварь.

Иногда им становилось скучно. Тогда они начинали беситься: носились галопом по всем комнатам, опрокидывали стулья. Они стреляли друг в друга из игрушечных деревянных ружей с пружинами в жестяных стволах. Стреляли крашеными палочками с резиновыми наконечниками в виде кружков, которые присасывались к стенам.

Когда баловство доходило, как выражались взрослые, до своего апогея, то любимой игрой их было опрокидывать качалку. Они накрывали ковром ее задранные вверх потертые полозья и друг за другом проползали в темноте под ковром, пахнущим нафталином и застоявшимся табачным дымом. Затем с лихими возгласами они скатывались с другой стороны по сетчатой спинке качалки. Это называлось у них «боборыкин».

Откуда мальчики подхватили это не имеющее для них смысла, но такое подходящее к случаю слово? Вероятно, они услышали его, когда взрослые вели литературные споры, обсуждая какой-нибудь роман весьма известного в то время писателя Боборыкина.

Слово «боборыкин» воспринималось как нечто вроде слова «катавасия».

«Боборыкин» и «катавасия» были слова-близнецы.

Миша и Саша лихо выкрикивали их, выкатываясь на животах из-под ковра, покрывавшего опрокинутую качалку.

Они тогда еще не знали, что «катавасия» слово церковное. Катавасией называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви.

Сашу одевали в матросский костюмчик, а Мишу — в русском народном духе — в плисовые шаровары и красную атласную косоворотку, подпоясанную витым шелковым шнурком с кисточками.

Таким Саша навсегда и запомнил своего двоюродного брата — сидящим в маленьком кустарном креслице, наморщив носик и склонив милую круглую головку с темно-русскими, слегка рыжеватыми волосами, постриженными в кружок.

Маленький русский ящик, да и только!

..С тех пор прошло, пожалуй что, гораздо больше полувека. Бывший мальчик Саша, а ныне пожилой человек, член-корреспондент Академии наук Александр Николаевич Синайский приехал вместе с комиссией по охране окружающей среды в город, где родился и долгое время жил. Приехав, он отправился в местный военный госпиталь навестить своего двоюродного брата Мишу Синайского, известного военного врача в отставке, который лежал там со вторым инфарктом и уже поправлялся.

Бывший мальчик Миша, ныне Михаил Никанорович Синайский, после Великой Отечественной войны, выйдя в отставку, поселился в Одессе, своем родном городе, решив остаток жизни провести на берегу Черного моря, покататься в Куяльницком лимане.

Госпиталь был старинный, еще времен севастопольской войны, так замечательно описанной Львом Толстым в своих «Севастопольских рассказах». Этот госпиталь был знаменит тем, что в нем некогда работал великий русский хирург Пирогов. С его времени сохранилась

госпитальная стена и несколько приземистых корпусов с зелеными водосточными трубами над кадками для стока дождевой воды. Двухэтажные корпуса эти, расположенные среди старых акаций и газонов, огороженных по-казарменному выбеленными кирпичами, имели довольно унылый вид. Дорожки, посыпанные морским гравием с ракушечками, поскрипывали под ногами Александра Николаевича, слегка похрамывающего по причине двух ранений — одного еще во время первой мировой войны полученного в Карпатах, а другого в боях на Курской дуге в дни Великой Отечественной.

Кое-где в аллеях виднелись серые халаты ходячих больных.

На скамейке под кустом давно уже отцветшей сирени сидел двоюродный брат Александра Николаевича Михаил Никанорович и читал Пушкина. Увидев подходящего двоюродного брата, он отложил книгу и, поправив на своем старом, сморщенном носу пенсне, улыбнулся.

Двоюродные братья обнялись, похлопали друг друга по плечам и по спине.

— Явился не запыхался, — сказал Михаил Никанорович с оттенком превосходства над младшим двоюродным, усвоенным еще с детства. — Рад тебя видеть здоровым и невредимым. Каким образом оказался ты в краю нашего детства?

— Приехал из Москвы в служебную командировку. Узнал, что ты здесь валяешься, и почел, так сказать, долгом... Однако я вижу, что ты в отличном состоянии.

— На сей раз выкрутился. На днях выписываюсь. Это у меня уже второй. В третий раз вряд ли выскочу. А ты, Саша, выглядишь молодцом. Настоящим светилом отечественной науки. Вот уж никак от тебя этого нельзя было ожидать, судя по твоему громкому поведению и тихим успехам в гимназии.

— Ты всегда меня, Миша, недооценивал.

Бывший мальчик Саша присел рядом с двоюродным братом на скамейку и покосился на томик Пушкина.

— На старости лет почитываешь классиков?

— Да. Почитываю. Сегодня наткнулся на замечательное письмо Пушкина к Чаадаеву. Между прочим, отчасти касается и нас с тобой.

— Именно?

— А вот послушай.

Михаил Никанорович взял книгу, поискал нужное место и заметил:

— Тут Пушкин полемизирует с Чаадаевым, который, как тебе, может быть, известно, был привержен к католичеству, к западничеству. Пушкин пишет, что он далеко не во всем согласен с Чаадаевым. Например, послушай-ка, что он пишет...

Михаил Никанорович поводит сморщенным носом по странице, нашел нужное место и прочитал:

«Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энер-

гичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

...Нашим мученичеством...

Михаил Никанорович на этом месте остановился и, блеснув стеклами пенсне, как-то очень значительно, по-докторски взглянул на двоюродного брата.

— Понимаешь, Саша, какое мученичество перенесла наша несчастная Россия еще в средние века, спасая европейскую цивилизацию!

— Вероятно,— сказал, вздохнув, Александр Николаевич,— это наша вечная историческая миссия,— спасти человечество и его цивилизацию. Но будет ли в свою очередь человечество спасать нас, вот в чем вопрос!

— То-то и оно! — сказал Михаил Никанорович, назидательно подняв палец.

— Да, но какое имеет отношение к нам с тобой вся эта древняя история? — спросил Александр Николаевич, несколько утомленный разговором, не подходящим к обстоятельствам их встречи.

— Какое отношение? — укоризненно сказал Михаил Никанорович. — Да самое прямое! Ты вот послушай-ка, что дальше пишет Александр Сергеевич Чаадаеву:

«...Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство...»

Тут Михаил Никанорович несколько повысил голос:

«Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Разговор двоюродных братьев возбудил любопытство ходячих больных, и они стали подходить поближе к скамейке. Обычно в госпиталях большие любопытны. Им хотелось узнать, кто пришел навестить генерала Синайского и о чем они разговаривают; не узнают ли каких-нибудь интересных новостей «с воли»?

— Пойдем, Саша, пройдемся по бульвару, проветримся,— сказал Михаил Никанорович,— а то здесь как-то душно и даже от деревьев и кустов пахнет карболкой. Запах, застоявшийся здесь еще с времен Пирогова.

— А тебе разве уже разрешается выходить на улицу, тем более в больничном халате?

— Я, Саша, сам себе врач и начальник. У нас тут нравы либеральные. Выздоровливающие частенько выходят на улицу в лавочку за папиросами.

Михаил Никанорович взял под мышку томик Пушкина, и двоюродные братья пошли под душной тенью акаций с мелкой, уже слегка пожухлой листвой и сухими стручками, позолоченными послеобеденным сентябрьским солнышком.

Они шли по дорожке, усаженной по сторонам вялыми лиловыми, как бы вылинявшими ирисами, которые тут назывались петушками.

Через калитку в каменной госпитальной стене они вышли на Пролетарский бульвар, некогда называвшийся Французским бульваром.

Дежурный вахтер в проходной будке — солдат-инвалид — не только их не остановил, но подтянулся «смирно» на своей деревянной ноге, откозырнул и выпустил их на бульвар.

— А тебя здесь, Мипа, я вижу, уважают,— сказал Александр Николаевич.

— А как же! Солдат из нашей дивизии. Вместе воевали. Потерял ногу под Керчью. Я ему ее там же в полевом госпитале под бомбежкой с воздуха и отрезал.

...Они прошли по бульвару вдоль длинной каменной оштукатуренной госпитальной стены, уже много раз крашенной водянистой розовой краской, сильно потертой, исцарапанной разными инициалами и непристойными надписями, затертыми и закрашенными блюстителем порядка.

Александр Николаевич выглядел еще молодым в своей заграничной замшевой куртке на «молнии», хотя ему уже перевалило за пятьдесят, а Михаил Никанорович рядом с ним казался маленьким, хотя на вид и бодрым старичком в больничном халате.

Они оба были отпрысками некогда большой семьи вятского соборного протоиерея. У каждого из них имелась своя семья, взрослые дети и даже маленькие внуки от разных жен, с которыми их сыновья разводились. Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но все это как бы не шло в счет. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских. Они встречались редко и не переписывались. В семействе Синайских по древней привычке как-то не было принято переписываться. Одна только сестра Михаила Никаноровича Лизавета Никаноровна аккуратно писала всем родственникам, жившим в разных городах, и держала их постоянно в курсе семейных дел. Но ни ее, ни других родственников, кроме двоюродных братьев, не было уже на свете.

С моря сквозь умирающие сады бульвара потягивало грустным ветерком.

— А помнишь, Саша, наши детские катавасии? Заметь себе, что вместе с христианством слово «катавасия» попало к нам из Греции и обозначает в переводе на русский язык не что иное, как снисхождение или нечто в этом роде. Слово поповское. Значит, мы с тобой с раннего детства, так сказать, с молодых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана.

— Я этого не подозревал.

— Мы многого не подозреваем, а между тем наш общий с тобой дедушка был священник, и наша общая бабушка была попадьей, и не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства.

...Двоюродные братья представили своего дедушку, которого видели только на маленьком провинциальном дагерротипе,— бородатого, чем-то напоминающего Салтыкова-Щедрина, но только не в скюртке, а в обширной рясе с широкими рукавами, с наперсным крестом, с грозными глазами, сидящего рядом со своей маленькой попадьей в тяжелом шелковом платье и кружевной наколке на голове, а позади них стояли три сына-семинариста, из которых старший был уже слегка бородат.

...Протоиерей вятского кафедрального собора отец Никанор Синайский скончался в 1871 году, едва дожив до пятидесяти лет, от какой-то странной болезни, поразившей коленную чашечку правой ноги. Была ли это простуда, или костный туберкулез, или еще что-нибудь тогда еще неизвестное в медицине, никто не знал. Тогдашние вятские лекари лечили воспалившуюся коленную чашечку прижиганием добела раскаленным железом, да так и не вылечили.

После смерти протоиерея остались вдова-попадья и трое сыновей. Покойный желал видеть их священниками, имеющими власть претворять хлеб в тело Христово и вино в его кровь. Такова была древняя семейная традиция рода Синайских. Однако все трое сыновей избрали деятельность не духовную, но светскую. Православие на Руси в то время уже клонилось к упадку.

Правда, старший из сыновей, Никанор Никанорович, после окончания семинарии поехал в Москву, в Троице-Сергиеву лавру, где окончил духовную академию, но сана не принял, в монахи не постригся, церковную карьеру себе не сделал, в архиереи не вышел, а отправился на жительство в южнорусский город Одессу, где стал преподавателем, а вскоре и инспектором классов в семинарии — еще старой семинарии, так как потом было выстроено здание новой семинарии.

Его примеру последовали братья. Окончив вятскую семинарию, они один за другим — средний брат Николай и младший Яков — также переселились в Одессу, взяв с собой мать.

Таким образом, вятское гнездо Синайских опустело навсегда.

Средний Синайский окончил в Одессе Новороссийский университет по историческому отделению филологического факультета с серебряной медалью, но ученую карьеру не избрал, а стал простым педагогом, преподавателем истории и географии в женском епархиальном училище, а также в школе десятников при императорском техническом обществе, обучая рабочих-строителей русскому языку, в чем особенно видел свой гражданский долг просвещать простой народ.

Младший сын покойного протоиерея Яков Никанорович также окончил Новороссийский университет, но физико-математический факультет и с золотой медалью, что было величайшей редкостью, так как физико-математический факультет считался самым трудным. Золотая медаль сулила младшему Синайскому блестящую будущность, быть может, даже великого русского ученого вроде Менделеева...

Все эти события происходили в последней четверти девятнадцатого века, еще до рождения двоюродных братьев, которые хотя и родились тоже еще в девятнадцатом веке, но только в самом его конце. Мальчик Миша был последним в семье Никанора Никаноровича, а мальчик Саша первенцем в семье Николая Никаноровича, женатого на дочке отставного генерала.

Почему же после смерти протоиерея семья Синайских переселилась из Вятки на юг России, в Одессу?

...В то время Одесса была самым молодым из весьма немногих университетских городов Российской империи. В Новороссийский университет легче было попасть. Кроме того, Одесса славилась дешевой жизнью, Черным морем, целебными лиманами, морскими ваннами и многим другим, чего не было в северных университетских городах...

Что же касается младшего сына протоиерея, то из разговоров взрослых двоюродные братья составили себе о нем представление как о человеке необыкновенном, странном и тяжело больном, живущем почему-то не в Одессе, а в Николаеве с женой, простой неграмотной крестьянкой, о которой говорилось с каким-то грустным неодобрением как о падшей женщине. Но что такое падшая, мальчики представляли себе буквально, что она куда-то упала, откуда дядя Яша ее вытащил и потом на ней женился, и она тоже стала Синайская.

Впоследствии все это разъяснилось.

Блестяще окончив университет, Яков Никанорович написал научный труд о движении какой-то кометы — кажется, Биеллы, — вычислив с большой точностью ее орбиту. Работа эта принесла ему чуть ли не всероссийскую известность как выдающемуся математику и была размножена в университетской типографии на стеклографе со множеством цифр, алгебраических формул, чертежей эллипсообразной орбиты кометы Биелла. Двоюродные братья видели пожелтевшие от времени экземпляры научного труда дяди Яши с фигурами небесного движения загадочной кометы. Экземпляры печатного труда лежали в чулане квартиры, где жил со своими папой и мамой младший из двоюродных братьев, Саша Синайский.

Неизвестно по какой причине Яков Никанорович поступил на военную службу, был произведен в подпоручики и числился в Четырнадцатой артиллерийской бригаде, расквартированной в городе Николаеве. Его странный поступок объяснялся тем, что он вдруг почел своим нравственным, христианским и гражданским долгом принести в армию, в ее захолустную, консервативную и даже реакционную атмосферу, дух просвещения и гуманизма, воспитывать в нижних чинах человеческое достоинство, самосознание, «бросать в почву семена просвещения, вселять в души дух христианства» или что-то в этом роде, нечто мессианское.

Это, возможно, был поздний отзвук декабризма, связанный с именем полковника, кажется, Адельберга, последнего из уцелевших на юге декабристов.

Тогда еще двоюродных братьев не было на свете, и до них эти слухи дошли уже гораздо позже.

...Двоюродные братья шли по бульвару, где на другой стороне стояли странные громадные ворота в мавританском стиле, через которые можно было выйти к обрывам. Вилла, некогда принадлежавшая какому-то богатому негоцианту, не сохранилась. Через эти ворота, существовала легенда, выходил к морю молодой изгнанник Пушкин.

Двоюродные братья с привычным уважением смотрели на эти громадные черные ворота и представляли себе курчавого молодого человека, одетого по моде девятнадцатого века в узкий сюртучок и байроновский плащ, того самого знаменитого Пушкина, который в конце своей жизни написал Чаадаеву:

«Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».

Повторив эти пушкинские слова, Михаил Никанорович засмеялся и сказал двоюродному брату, продолжая начатый еще в госпитальном саду разговор:

— Понимаешь, Саша: «Оно носит бороду, вот и все». Коротко и ясно. «Оно не принадлежит к хорошему обществу». Ну что ты на это

скажешь? Ведь у нас с тобой общий дедушка — бородатый протоиерей, и если наши отцы, его сыновья, не стали священниками, то, во всяком случае, они тоже еще носили бороды, правда уже немного постриженные. Но в так называемое хорошее, то есть дворянское, общество при старом режиме приняты все-таки не были. Если и были, то с трудом. А мы с тобой уже гладко выбриты и принадлежим к хорошему обществу, уважаемы и даже награждены почетными званиями: ты член-корреспондент, я генерал медицинской службы, хотя уже в отставке и на пенсии.

Глядя на мавританские ворота, они представляли себе картину:

«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин».

Еще в гимназические годы они видели в городской картинной галерее большое полотно, созданное двумя знаменитыми художниками: штормовое Черное море и прибрежную скалу, написанные Айвазовским, и фигуру Пушкина в развевающемся плаще на фоне этой скалы, написанную Репиным.

...«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин»...

Они дошли до угла и свернули на Пироговскую улицу, вдоль которой тянулась все та же госпитальная стена.

— А ты, Саша, помнишь дядю Яшу? — по какой-то странной ассоциации мыслей спросил Михаил Никанорович, медленно шагая вдоль больничной стены. — Я его почти не помню.

— А я хорошо помню, — ответил Александр Николаевич. — Однажды ранним утром у нас раздался звонок дверного колокольчика и потом в комнату вошел дядя Яша в коротеньком пиджачке. В руках он держал узелок со своими пожитками. Оказалось, он только что приехал на пароходе из Николаева. У него было измученное, доброе, как бы я теперь сказал — Достоевское, лицо. Он сел посреди нашей маленькой гостиной в старое плюшевое кресло и зарыдал. Я не мог этого вынести и тоже заплакал, а потом меня увели в другую комнату.

...— Дядю Яшу отвезли в городскую больницу, куда мой папа ездил его навещать и один раз взял с собой меня. Мы проехали на конке почти через весь еще незнакомый мне город и вышли на остановке как раз против городской больницы. Я увидел огромный желтый дом с белыми колоннами. Этот дом мне сразу чем-то не понравился, даже испугал. В этом доме, пропахшем всеми больничными запахами, в очень большой серой комнате, уставленной железными кроватями, на которых лежали и сидели больные в темных халатах, я увидел дядю Яшу, тоже в халате земляного цвета, из-под которого высовывались бязевые подштанники с тесемками. Перед ним на табурете, выкрашенном рыжей масляной краской, стояла жестяная тарелка с рисовыми котлетами под черносливовой подливкой.

...— Дядя Яша был похож на моего папу, только намного моложе, но с неряшливой, видно, давно уже не подстригавшейся бородкой и усами, мокрыми от черносливовой подливки. У него были пугающие глаза. Все это вселило в меня чувство ужаса. Папа обнял дядю Яшу, и они поцеловались...

...— Через несколько дней дядю Яшу привезли к нам на извозчике и устроили на старом диване в гостиной между фикусом в зеленой кадке и пианино. Другие комнаты были заняты. В одной жили мы

с папой и мамой; моя кровать стояла между двумя железными кроватями моих родителей. И там же находился комод, на котором всю ночь горел маленький керосиновый ночник в красном желатиновом абажурчике. В последней комнате находилась столовая, где за бамбуковыми ширмами жила вятская бабушка, маленькая молчаливая старушка. Нашу маленькую, дешевую квартиру наполнил больничный запах.

...— Папа снял с себя сюртук с шелковыми лацканами и, оставшись в одном жилете с синей металлической пряжкой сзади, стал ухаживать за дядей Яшей. А когда папа уезжал на уроки, то за дядей Яшей ухаживала моя мама, тогда еще живая.

...— Ты помнишь свою тетю, а мою покойную маму?

...— Она была дама в пенсне и кормила дядю Яшу яйцами всмятку: желточек тек по дядиной бороде.

Иногда в гостиной у дядино дивана появлялась, выйдя из-за своих ширм в столовой, вятская бабушка-попадья, мать дяди Яши. Маленькая, кругленькая, как просфорка, со слезами на испуганных глазах, она жалостливо смотрела на своего младшенького, гладила его волосы, мелко крестила его и спрашивала, не воспалилась ли у него коленная чашечка. Она до сих пор не могла пережить смерть своего супруга, кафедрального протоиерея, помутившую ее детский ум, и она все время думала, что воспаление коленной чашечки, прижигаемой каленым железом, приносит смерть всем людям.

От нее сухо пахло старыми, залежавшимися шерстяными платьями, застоявшимся запахом кадильного ладана, принесенного ею из вятского кафедрального собора. Потом она так же незаметно исчезала и скрывалась в столовой за бамбуковыми ширмами.

...— Дядя Яша уже не вставал, и под него приходилось подкладывать фаянсовый подсов, что мама делала решительно и мужественно.

Он лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал.

Я боялся входить один в гостиную потому, что при виде меня дядя Яша с трудом приподнимался и с ловкостью сумасшедшего пытался схватить меня своими исхудавшими руками, норовил пощекотать меня и ласково смотрел на меня, своего маленького племянника, добрыми, но ужасными глазами. Он пытался выговорить мне что-то доброе, родственное, но язык ему уже не повиновался и он только невразумительно мычал.

Через несколько дней рано утром он вдруг захрипел, перестал шевелиться и умер на руках у папы который был уже в сюртуке и собирался ехать на уроки. Папа закрыл веки его открытых неподвижных глаз мягким движением большого пальца и положил на закрытые веки по медному пятаку. Два черных пятка на закрытых веках стали для меня с тех пор символом смерти.

...— В гостиной стало еще теснее, так как туда принесли гроб, поставили его на стол и переложили в него дядю Яшу, обряженного уже в сюртучок. Гроб стоял по диагонали к стенкам гостиной, оклеенным светленькими обоями с потертыми серебряными лилиями.

...— Дальше я мало что помню. В памяти сохранились только траурные ризы священников и много родственников Синайских, пришедших на панихиду и на вынос тела.

...— Смерть дяди Яши была предзнаменованием другой смерти в нашей квартире. Вскоре от воспаления и отека легких умерла моя

мама. А за несколько месяцев до ее смерти родился мой родной и твой двоюродный братик Жоржик, тот самый Георгий Николаевич Синайский, который во время Великой Отечественной войны погиб в Севастополе...

— Постой,— сказал Михаил Никанорович,— погоди... Мы идем слишком быстро. Мне трудно. Давай передохнем, постоим минуточку! У меня, кажется, опять не в порядке сердечные делишки.

Они остановились возле все той же госпитальной стены, уходящей теперь далеко в сторону недавно восстановленного здания штаба, разбомбленного немцами.

За белым корпусом штаба угадывались уже совсем на себя не похожее Куликово поле и вокзал без паровозных дымов, а еще дальше — предзакатное небо и голубые купола бывшего Афонского подворья.

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене с выпарапаным сердцем со стрелой и чьими-то инициалами, достал из кармана халата пробирочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок и привычным движением положил их в рот под язык. Вскоре его опасно помертвевшее лицо с посиневшими веками оживилось, даже порозовело.

— Ну, теперь я в порядке,— сказал он, стараясь казаться бодрым,— можем гулять дальше. Но ты меня, Саша, расстроил, вспомнив о Жоре. Ведь я был когда-то на его крестинах. Его крестили не в церкви, а дома, в вашей маленькой квартире, в той самой гостиной, где до этого стоял гроб с дядей Яшей, а вскоре и гроб твоей мамы, а моей тети.

— Да,— сказал Александр Николаевич,— я тоже помню, как из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды, и священник взял из рук крестной матери голенюго Жорочку с зажмуренными глазками, ловко прикрыл его сморщенное личико крупной опытной ладонью и трижды окунул с головой в купель. Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется, но все обошлось благополучно...

— ...если не считать,— сказал Михаил Никанорович,— что Жорочка напустил струю на атласное платье своей крестной матери.

Двоюродные братья немного посмеялись. Александр Николаевич вспомнил:

— А потом был завтрак для гостей и причта, и я впервые в жизни попробовал маленький маринованный грибок боровичок, с большим трудом насадив его скользкую багровую шляпку на вилку. И я видел, как дьякон опрокинул в свою волосатую разинутую пасть рюмку водки.

Александр Николаевич грустно покачал головой.

— А теперь Жора лежит в братской могиле, и его имя и фамилия выбиты в ряду с другими именами на белой мраморной доске... А мы с тобой, Миша, уцелели.

Михаил Никанорович поправил пенсне на своем гальском носу и еще больше стал похож на французского академика.

— Ну, я уже в порядке.— сказал он, как бы не желая продолжать слишком грустный разговор,— можем шагать дальше. Только, умоляю, не шагай так быстро, пожалей больного медика.

Они неторопливо тронулись по Пироговской улице вдоль госпитальной стены, как бы сопровождаемые видениями прошлого, которые в разных формах возникали из этой стены и сопровождали их.

...Железная кровать с медными шариками, на которой лежало тело только что умершей матери Александра Николаевича, тогда еще

шестилетнего мальчика Саши. Она лежала, склонив голову с закрытыми навсегда глазами, черноволосая, совсем не похожая на даму, а скорее на девушку-русалку, покрытую легким одеялом, а на тумбочке рядом с кроватью теплилась зажженная Николаем Никаноровичем лампадка, распространяя слабый запах оливкового масла...

...в квартиру вносили новый гроб, пахнувший сырыми сосновыми досками. Приходили и уходили разные люди, большей частью Синайские и какие-то незнакомые семинаристы. Из не закрывавшихся целый день входных дверей тянуло с улицы сквозняком. Внесли венок с белыми муаровыми лентами, на которых были наклеены черные лакированные печатные буквы, составлявшие какие-то печальные слова. В передней зеркало было закрыто простыней, чтобы в нем не отразилось лицо покойницы, когда ее будут выносить.

...Николай Никанорович снял с пальца покойной жены золотое обручальное кольцо и положил его рядом с лампадкой. Не зная, что теперь надо делать, он ходил из комнаты в комнату с розовыми от слез глазами. Он был ошеломлен своим неожиданным вдовством. Маленький Саша ходил рядом с ним, держась за его руку в крахмальной манжете. А новорожденный Жора кричал в руках у кормилицы, отворачиваясь от ее большой, как вымя, груди с коричневым соском, из которого капало молоко...

...Этот же самый Жора через сорок лет в пропотевшей гимнастерке, порванной осколками разорвавшегося снаряда, лежал возле своего орудия лицом в испепеленную землю...

...И еще какие-то видения все время сопровождали двоюродных братьев, как будто бы возникая из госпитальной стены.

Они молчали, но в их молчании заключалось больше, чем в словах; в нем присутствовали полузабытые события общего прошлого, оставляя после себя душевную боль утраченных событий, в том числе видение наемной свадебной кареты, в которой везли к венцу розовую от волнения красавицу с собольими бровями, одну из старших сестер Михаила Никаноровича, Елизавету, Лизу, а напротив с иконой в руках сидел на скамеечке свадебный мальчик в бархатном костюмчике, двоюродный братик невесты Жора.

Да, тот самый Жора!

Двоюродные братья вспомнили самого старшего из сыновей протоерея Синайского, отца Михаила Никаноровича, Никанора Никаноровича Синайского.

Он был солидный господин в форменном сюртуке духовного ведомства. Сквозь хорошо ухоженную, уже не поповскую, а светскую каштановую раздвоенную бороду просвечивал вишневой эмалью орден святой Анны на алой орденской ленточке.

Никанор Никанорович как бы царствовал в своей большой казенной квартире в здании старой семинарии, где имелись кафельные печи с хорошо начищенными вьюшками. Эти печи зимою топились казенными дровами, которые приносил из сарая семинарский истопник.

По сравнению с маленькой квартиркой своего брата Николая Никаноровича квартира старшего Синайского поражала воображение маленького Саши множеством комнат, богатством, как казалось мальчику, обстановки и непривычным видом паркетных полов, их почти зеркальным блеском и запахом желтой мастики, которой эти полы натирали полотеры. Непривычен был также запах табачного пепла, залежавшегося серебристо-сиреневыми горками внутри тропических ро-

гатых раковин. Подобные пепельницы обычно находились в богатых квартирах, в приемных зубных врачей и у адвокатов.

Присутствовал также тревожащий запах дамской пудры, цветочного одеколona и вина, совсем незнакомый и даже враждебный маленькому Саше. Его отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вел скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложеной за икону. Смирненно крестясь, и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника.

Семейство Никанора Никаноровича было большое, в нем имелись двоюродные сестры и братья Саши — родные братья и сестры Миши. Но Саша и Миша в сравнении с ними выглядели совсем малышами. Все эти многочисленные братья и сестры — родные и двоюродные — родились и выросли еще до появления на свет божий двоюродных братьев Миши и Саши. Некоторые из них были уже студентами или курсистками.

...Мальчики с завистью и уважением смотрели на синие стоячие воротники студенческих мундиров и на маленькие, уже почти дамские шляпки курсисток...

Семья Никанора Никаноровича была дружная. Днем большая квартира пустовала: все, кроме Миши и его матери, находились кто в университете, кто на курсах, кто в семинарии на уроках, так что маленькие двоюродные братья были полными хозяевами квартиры и свободно ходили из комнаты в комнату, разглядывали и трогали руками разные запрещенные вещи, а в передней смотрелись в большое зеркало, делали гримасы и примеряли разные шляпы, шапки и фуражки. Они до того осмелели, что однажды даже проскользнули в кабинет Никанора Никаноровича и стали рыться в ящиках письменного стола, где, кроме папирос и сигар, обнаружили медные наперсные кресты на орденских лентах, которыми Миша очень хвалился и говорил, что это боевые отличия дедушки и прадедушки. Оказывается, священники тоже участвовали в войнах и были награждаемы за боевые отличия, но не орденами, а наперсными крестами разных степеней.

Один медный крест на анненской ленте принадлежал вятскому дедушке, награжденному во время несчастной севастопольской кампании за религиозно-пастырскую, патриотическую проповедь среди ополченцев, формировавшихся в Вятской губернии.

Другой наперсный крест — почерневший от времени, как бы даже оплывший, на строгой владимирской ленточке, черно-красной, — принадлежал прадеду или даже прапрадеду, награжденному за Бородинское сражение достоправного двенадцатого года.

Мальчики надевали на шею эти кресты, воображая себя героями священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством.

Они уже с детства были готовы сражаться за родину.

В утренние часы в распоряжении разыгравшихся мальчиков находились все комнаты квартиры, кроме той маленькой комнатки, где лежала одиннадцатилетняя сестра Миши, медленно умиравшая от костного туберкулеза, поразившего коленную чашечку ее правой ноги. Иногда в полуоткрытую дверь ее комнатки мальчики видели фигурку зловеще исхудавшей девочки с острым носиком, ее прозрачно-белое личико, ее ночную сменную сорочку, а иногда забинтованное колено, когда она, прыгая на одной ноге, перебиралась с кровати к подоконнику, где лежали книжки, которые она читала, и стояли пузырьки с лекарствами.

Она была так мало заметна, так ничтожно мало занимала места в мире, что как бы уже совсем не существовала в квартире, где бегали здоровые мальчики с дедовскими наперсными крестами на груди, опрокидывая стулья, изображая Бородинское сражение.

«...Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью!..»

Распаленные патриотизмом, они называли друг друга презрительно «брат мусью».

На второй день пасхи или на третий день рождества дом наполнялся всеми Синайскими — студентами, курсистками, гимназистками в клетчатых форменных платьях частных женских гимназий и белых передниках, а также гостями, среди которых были знакомые священники в парадных муаровых рясах с подвернутыми широкими рукавами, с расчесанными гривами волос, источавших аромат розового масла и росного ладана. В столовой раздвигался длинный обеденный стол, появлялись закуски, графинчики, чарочки, бутылки рябиновой и французского мускат-люнеля. После обеда гости садились за ломберные столы играть при свечах по маленькой.

Раздавался веероподобный треск карточных колод, и чей-нибудь основательный протодиаконский бас произносил «пикендрясы» или что-нибудь подобное из картежного жаргона.

Мальчики лазали под елку, чувствуя себя там как бы в чаще дремучего леса, дыша скипидарным запахом хвои и слушая тонкое позванивание елочных украшений, шуршание бумажных цепей.

Выползая из-под елки, они перебирались под ломберные столы, лазали по чужим ногам и подбирали обломки мелков, которыми игроки записывали на зеленом сукне странные цифры каких-то ремизов, имеющих таинственное значение.

Эти кабалистические знаки на сукне потом стирались особыми круглыми щеточками: из-под них поднимались облачка меловой пыли, заставлявшей чихать.

Судя по пряному, острому запаху, игроки во время игры попивали чай с ромом, называемый пуншиком, а также красное вино удельного ведомства. Игроки курили папиросы и сигары. Табачный дым, смешанный с ароматом пуншика, волновал мальчиков, особенно Сашу Синайского, росшего в трезвом доме, где пахло только оливковым маслом от лампадки перед иконой. Николай Никанорович чувствовал себя в гостях у старшего брата не по себе

Чаще всего по вечерам он сидел со своей тогда еще не покойной, а живой, страстной, оживленной, горячо любимой женой за пианино, и они играли в четыре руки Чайковского или Рубинштейна. Раскрытые ноты освещали две свечи в мельхиоровых подсвечниках, закапанных стеарином.

Такое же пианино было в казенной квартире старшего Синайского, но только костяные клавиши у него сильно пожелтели от времени и одна из педалей западала, что как бы утверждало старшинство Никанора Никаноровича, чином статского советника, над своим братом Николаем, еще только надворным советником.

Нечто китайское чувствовалось в квартире Никанора Никаноровича. Но в чем заключалась эта китайщина, маленькому Саше было тогда непонятно. Лишь через очень много лет, почти что через полвека, попав по академической командировке в Пекин, бывший мальчик Саша ощутил нечто подобное в квартире одного из китайских профессоров: громоздкие стулья черного дерева с неудобно прямыми — слишком прямыми — высокими спинками с вделанными бело-черно-

мраморными досками, заменившими кожу. Твердые, неудобные сиденья были слишком высоки, так что ноги едва доставали до пола.

...И разросшиеся фикусы в кадках...

У братьев Синайских тоже стояли в гостиной кадки с фикусами: у младшего один фикус, а у старшего два уже сильно разросшихся, ветвистых, с новыми побегам на отростках веток, висящими как сафьянно-красные колпачки-чехольчики. В этих чехольчиках было тоже что-то очень китайское, пекинское, профессорское.

Стулья с высокими неудобными сиденьями и сафьяновые колпачки на ветках фикусов были родственны цибикам. Цибики назывались деревянными ящички с чаем, хранившиеся в буфете. Цибики были оклеены бумагой с напечатанными разноцветными картинками, изображавшими сцены из китайской жизни: узкоусые мандарины в шапочках с шариком, желтолицые китайки с веерами, уличные торговцы, рикши, катящие легкие свои коляски на двух высоких колесах, тигры, драконы...

Цибики с первосортным китайским чаем привозили знакомые офицеры и полковые священники с Дальнего Востока на пароходах добровольного флота. Внутри цибики были выложены свинцовой оболочкой для того, чтобы чай не портился во время перевозки через океаны.

Кроме запаха жасмина, чай из цибиков еще отдавал свинцом.

...Свинцовый запах китайского чая. Запах войны...

Дальний Восток присутствовал в сознании жителей России. Все время кто-то уезжал на Дальний Восток. И это тревожило.

На Дальний Восток уезжала самая старшая из сестер Миши, красавица Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача, окончившего Военно-медицинскую академию, человека с большой будущностью по фамилии Виноградов. Надя, бывшая Синайская, а теперь Виноградова, вместе с мужем и новорожденной дочкой Аллочкой уезжала через Одессу на Дальний Восток, где должен был несколько лет прослужить Виноградов: это давало ему большие преимущества при дальнейшем прохождении службы.

Обе семьи Синайских собрались на причале карантинной гавани, откуда уходил на Дальний Восток пароход добровольного флота «Тамбов».

Двоюродных братьев Сашу и Мишу тоже взяли на проводы Виноградовых. Мальчики с восхищением смотрели на пароход, стоявший у причала, куда в это время грузили полковых лошадей. Пароход казался огромным. По трапу, мерно топя сапогами, шли солдаты в походном обмундировании. Пристань была завалена прессованным сеном. Военный оркестр, блестя медными трубами, играл марш «Тоска по родине». У солдат через плечо были надеты шинели в скатку.

Провожавших не пускали на пароход. Они стояли на пристани возле черного борта парохода, высокого, как дом, с круглыми иллюминаторами вместо окон. Из желтой трубы уже валил каменно-угольный дым. Заглядывая в иллюминатор, мальчики видели часть очень тесной каюты, заваленной круглыми шляпными коробками и дорожными вещами, где уже размещалась Надя с мужем и грудной девочкой, завернутой в одеяльце. Надин муж Виноградов снимал через голову серебряный ремень офицерской шапки с темляком и фуражку с бархатным околышем военного врача. Надя суетилась. Она

была еще в шляпе с вуалью. Девочка среди баулов и пакетов лежала смиренно. Трудно было представить, как они устроятся в этой тесноте. А ведь им предстояло проплыть почти месяц — через Суэцкий канал, по Красному морю, по Индийскому океану, мимо сказочного острова Цейлона, потом, может быть, через Китайское море, через Цусимский пролив, мимо Японии, — прежде чем они достигнут Дальнего Востока. Как переживет это долгое путешествие грудная девочка, такая крошечная в своих кружевных пеленках?

...Мальчики еще смутно знали географию...

Визжали паровые лебедки, как бы выговаривая «тирли-тирли-тирли». Они грузили в пароводные трюмы уголь и сено. Угольная пыль смешивалась с трухой сена и со звуками духового оркестра.

Пароход, заваленный разными грузами, оседал ниже ватерлинии. Он был так громоздок, тяжел, неуклюж, что, казалось, никогда не сдвинется с места.

Но вот раздался густой бас трехкратного пароводного гудка. У провожающих заложило уши, и перестал слышаться оркестр, одно только буханье турецкого барабана. Борт парохода со всеми своими иллюминаторами, в одном из которых показалась голова Нади уже без шляпки и узкие погоны ее мужа, начал медленно, почти незаметно отделяться от пристани. На том месте, где только что чернела стена парохода, образовалась щель, и в глубине — зеленая рябь морской воды.

Больше всего волновало мальчиков, что пароход увозит бог весть в какую даль их крошечную племянницу Аллочку.

— Ты помнишь нашу Аллочку? — спросил Михаил Никанорович.

— Конечно, — ответил Александр Николаевич, — но какая ужасная судьба!

Они снова на минутку остановились посередине Пироговской улицы и представили себе Аллочку в разные периоды ее жизни:

сначала грудным ребенком, которого под звуки военного оркестра увозили на Дальний Восток... Потом уже значительно позже, когда родители, возвратившиеся в Петербург, привозили ее летом в Одессу на лиманы. Тогда ей было уже лет десять. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но ужасно мила и обращала на себя внимание — нарядно одета, с большим шелковым бантом сзади, таким же ярким, алым, как и ее имя.

...Всегда приветливая, вежливая, хорошо воспитанная, казавшаяся даже красивой, несмотря на несколько веснушчатый носик в породе швейцарской бабушки. Она всегда привозила своим провинциальным кузенам коробки шоколадных конфет, перевязанные шелковыми бантами. «Шоколад от Крафта».

У нее уже был братик Тося.

Их семья снимала на лето дачу на Хаджибеевском лимане, где процветала игра в крокет: ловко крокировав третий красный и мило наступив белым башмачком на дубовый шарик — второй черный, — Аллочка весело ударяла по шару крокетным молотком с двумя черными полосками, и другой шарик катился по хорошо утрамбованной площадке, проскакивал сквозь проволочную дужку и, к общему веселью, застревал в проволочной мышеловке, так называемом масле.

...За ней ухаживали дачные гимназисты и даже один малорослый, но коренастый кадетик в холщовой косоворотке с красными погонями, который называл Аллочку столичной штучкой.

...Она рассказывала о петербургской жизни и о своем отце, военном враче, известном рентгенологе... Она рассказывала, что когда

папа и мама ездили в Мариинский театр на балет или на оперу, то папа переодевался в штатский костюм, потому что все офицеры, присутствующие в Мариинском театре на спектакле, обязаны были по приказу военного коменданта стоять в антрактах у своих кресел в партере, повернувшись лицом к царской ложе, на тот случай, если государь император появится в театре, что бывало довольно часто...

Все предвещало Аллочке счастливую жизнь. Уже после революции, в двадцатых годах, она неожиданно вышла замуж по любви за молодого остзейского захудалого барончика, бывшего лицеиста фон Воюцкого, не тронутого революцией.

Михаил Никанорович, бывший Миша Синайский, к тому времени давно уже ставший петербургским, а потом и петроградским жителем, отзывался об Аллочкином муже, остзейском барончике, с иронией, удивляясь выбору Аллочки: красавчик, белоподкладочник, прибалтийский типчик с римским носом, прямым пробором до самого затылка, из числа тех, что в большом числе завелись в Санкт-Петербурге, наехав туда еще во времена Петра Великого.

Считалось, что брак этот очень удачен, и если бы не революция, то правнучка вятского соборного протоиерея стала бы баронессой фон Воюцкой. Но случилось все по-другому: неожиданно, непонятно и трагично.

Однажды Аллочка утром не проснулась. Она лежала неподвижная, в ночном кружевном чепчике, с закрытыми глазами и губами еще более белыми, чем ее гипсово-белое лицо, ничего уже не выражающее. На ночном столике стоял стакан с наполовину выпитой водой, а рядом открытая опустошенная коробочка от сильного снотворного. По комнате метался в ночной пижаме фон Воюцкий.

Аллочка была мертва и уже похолодела. Она не оставила никакой записки. Причина ее самоубийства так до сих пор осталась невыясненной. Некоторые считали, что это случилось, как тогда было принято говорить, на романической подкладке.

Михаил Никанорович считал виновником фон Воюцкого.

Но, как говорится, горе не приходит одно. Вскоре умер отец Аллочки доктор Виноградов. Как многие рентгенологи того времени, он умер от рака, оставив жену и сына Тосю одних в большой опустевшей квартире недалеко от Невского проспекта.

Невский проспект уходил прямой перспективой пятиэтажных домов, начинаясь от Николаевского вокзала, от конной статуи императора Александра III, сидящего на толстой лошади и самого толстого, в кубанской казачьей баращковой шапочке, с грубым лицом пьяницы — железнодорожного кондуктора или городского.

Про этот памятник работы Трубецкого ходила эпитаграмма:

«Стоит комод. На комодe бегемот. На бегемоте обормот».

Петрокоммуна приделала к памятнику доску со стишком Демьяна Бедного:

«Твой сын и твой отец при жизни казнены» — и т. д.

Невский проспект тянулся до самого Адмиралтейства с его золотой иглой, на вершине которой в тучах плыл кораблик флюгера. А посередине перспективы Невского проспекта стояла пожарная каланча с коромыслом, на которое иногда поднимались черные шары пожарной тревоги.

У подножия пожарной каланчи Петрокоммуна поставила бюст Лассалья, высеченный из светлого гранита: декоративно повернутая голова на длинной шее. Некоторое время романтический революцион-

ный бюст украшал Невский проспект, но вскоре был снят, так как историки открыли подозрительную связь Лассалья с Бисмарком.

Михаил Никанорович говорил, что в его время в Петрограде на Невском проспекте еще была деревянная торцовая мостовая, заглушавшая грохот уличного движения. Во время наводнений деревянные торцы всплывали.

...«И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен»...

Овдовевшая Надежда Никаноровна поступила медицинской сестрой в госпиталь, где работал ее покойный супруг, а ее сын Тося, еще совсем юный, бежал через финскую границу, как тогда говорили, «по ту сторону щели». Больше о нем ничего не было известно.

После убийства Кирова Надежда Никаноровна попала в черный список и была выслана из города, и след ее затерялся в каком-то глухом сибирском городе, а может быть, и на Дальнем Востоке, куда ее вторично занесла судьба, но уже не на пароходе добровольного флота, под звуки военного оркестра, как некогда, в счастливые годы ее замужества и материнства.

Все эти события, как бы размытые временем, в один миг возникли в воображении двоюродных братьев из длинной, как жизнь, госпитальной стены, вдоль которой они продолжали идти, стены Пироговского госпиталя, исцарапанной, полинявшей от времени.

— Можно подумать, что злой рок висит над семьей Синайских, — сказал Михаил Никанорович.

В эту минуту ему представилась Аллочка, ее необъяснимое самоубийство и ее муж с прямым пробором до самого затылка, его медно-красные волосы, его пенсне со стеклами без ободков, его римский нос питерского красавчика.

— Представь себе, Саша, — сказал Михаил Никанорович с тяжелой одышкой, — совсем недавно я встретил этого типа — и где же, ты думаешь? На бульваре возле «Отрады». Каким образом уцелел и как он очутился в Одессе — непонятно. Он шел хромя, старый, седой, опустившийся, одетый в какое-то старье. Но я его узнал, остановил и сказал: «Здравствуйте, фон Воюцкий». Он посмотрел на меня и тоже узнал. У него на продавленном носу сидело все то же пенсне со стеклами без ободков. Одно стекло было с трещиной. Он сердито, но испуганно посмотрел на меня и сказал ворчливо: «Не фон, не фон, а просто Воюцкий. Никакого фона больше нет». С этими словами он повернулся ко мне потертой спиной и заковылял дальше, опираясь на палку с резиновым наконечником. Кажется, у него уже начиналась перемежающаяся хромота. Несчастливая Аллочка!..

Семья старшего Синайского, Никанора Никаноровича, была зажиточна, даже богата, но вдруг обеднела, стала почти нищей по причине тяжелой болезни, а вскоре и смерти Никанора Никаноровича.

...Госпитальная стена все продолжалась и продолжалась, бесконечно длинная, как бы ведя двоюродных братьев в туманное прошлое, в то тягостное время, когда семье Никанора Никаноровича пришлось расстаться с большой казенной квартирой. Их переселили в маленькую темную квартирку рядом с подворотней.

Тень нищеты, почти всегда связанная с тенью смерти, упала на семейство старшего Синайского. Его кончина не была неожиданностью. Он умирал от паралича, развивавшегося не слишком быстро, как бы даже незаметно. Никанор Никанорович по-

степенно сходил с ума. И вот в один ужасный день за ним приехала больничная карета-фургон. На глазах у мальчиков два санитары в грубых халатах и солдатских сапогах вынесли полуодетого Никанора Никаноровича из дома на улицу. Старший Синайский порывался вырваться из рук санитаров. У него было истощенное лицо с неряшливой бородой и веселые глаза. Он неестественно странно улыбался блаженной улыбкой, размахивал руками, как бы дирижируя неким церковным хором, и громким голосом пел «Со святыми упокой!».

Уличные прохожие останавливались, глядя на это страшное зрелище.

Невозможно было представить, что еще сравнительно недавно Никанор Никанорович с картами в руках сидел за ломберным столом в форменном сюртуке, в туго накрахмаленной сорочке, в манжетах с золотыми запонками и орденом святой Анны на шее.

Вскоре Никанор Никанорович скончался в больнице. Для его семьи наступили тяжелые дни. Все это легло на плечи его жены, которой нужно было кормить и воспитывать детей.

Судьба вдовы покойного была странной. Она была швейцарской француженкой из местечка Веве на берегу Женевского озера, которое она называла Ляк-Леман, недалеко от знаменитого Шильонского замка и в виду горной альпийской гряды Данде-Миди, что по-русски значило «зубы полудня». Девичья фамилия ее была Обржей. Она была девушкой из фермерской семьи местных виноградарей.

Выйдя замуж за русского, сына вятского соборного протоиерея, она приняла православие и сделалась госпожой Синайской. Ее звали Зинаида Эммануиловна.

Как же все это произошло? А очень просто, вполне в духе девятнадцатого века, может, даже не без влияния романов Жорж Занд, которые еще в то время читали.

Ее брак с Никанором Никаноровичем явился следствием курортного романа. Они познакомились в Крыму. Она служила бонной-воспитательницей в богатом русском семействе, приехавшем на виноградный сезон на Южный берег Крыма.

Швейцарские девушки считались отличными гувернантками и компаньонками. Они охотно приезжали в Россию, с тем чтобы там заработать себе на приданое.

Никанор Никанорович, в то время еще довольно молодой, красивый педагог, проводил свой летний отпуск в Крыму, до которого от Одессы было рукой подать. Он был очарован впервые им увиденными крымскими красотами: розовыми скалистыми горами, пламенно-синим морем, темными веретенами кипарисов над плоскими кровлями татарских саклей, деревенскими небольшими мечетями, виноградарями Массандры, проводниками верхом на лошадях, сопровождающими приезжих русских амазонок в цилиндрах с вуалетками...

Остальное нетрудно представить:

...красивый педагог в чесучовом сюртуке, в котором уже трудно было увидеть черты бывшего вятского семинариста...

...швейцарская девушка в свои двадцать лет, в белой войлочной курортной шляпе на резинке, была еще по-деревенски свежа и весьма недурна. Ею любовались крымские туристы, когда она — такая скромная и такая милая — шла по ялтинской набережной, ведя за ручки двух своих воспитанниц в воздушных платьицах, из-под которых высовывались кружевные панталоны с шелковыми ленточками...

Они познакомились.

Сломанный зуб Ай-Петри на фоне высокого крымского неба, водопад Учан-Су, мраморные львы воронцовского дворца, лунная ночь в Гурзуфе, татарский шашлычок на коротеньких палочках и розовый мускат сделали свое дело. Он угадал в ней любящую, верную супругу и хорошую хозяйку. Она увидела в нем прекрасного русского мужчину из хорошей древней религиозной семьи соборного протоиерея, которого считала едва ли не епископом, князем церкви.

В особенности привлекал Никанора Никаноровича ее мило ломанный русский язык, ее французская картавость, называвшаяся грассированием. От картавости она не избавилась до самой смерти.

Ее галльский нос в то время не был еще особенно велик, а веснушечки делали его прелестным французским носиком, хотя и придавали ее девичьему лицу несколько мужские черты швейцарских виodelов.

В те времена жениться русскому господину на иностранной гувернантке, вероятно, считалось не слишком приличным, хотя в некоторых случаях и допускалось.

Они вступили в брак по взаимной любви. Она оказалась действительно верной, любящей женой и прекрасной хозяйкой, державшей дом в идеальном порядке. Она сама ходила на базар, вполне резонно не доверяя кухарке. Она родила Никанору Никаноровичу много детей — мальчиков и девочек. Миша был последним, самым младшим. Он появился на свет, когда Зинаида Эммануиловна была в летах, и она казалась маленькому Мише почти старухой. Такое же впечатление она произвела на своего племянника, двоюродного брата Миши, — на Сашу Синайского: пожилая тетка, французженка, произносившая вместо «помидоры» «памадоры».

Она громко торговалась на Привозе с крикливыми хождлушками. Она носила шерстяную мантилью в черно-зеленую клетку, и на ее мужском носу прочно сидело основательное пенсне в черной оправе, со шнурком, заложенным за ухо. Сквозь стекла пенсне зорко смотрели вороньи глаза, что делало ее лицо строгим, даже злым, хотя на самом деле она была очень добрая женщина, услужливая, готовая любому ближнему сделать добро как истинная христианка. Она всей душой приняла православие, аккуратно ходила в церковь, исполняла все церковные обряды, по субботам зажигала возле иконы лампадку, а в вербное воскресенье непременно покупала пальмовые ветки, заменявшие традиционные в России вербы.

Пальмовые ветки привозили из Палестины на пароходах и продавали на Афонском подворье против вокзала. Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом с бутылочкой со святой водой.

Пальмовые листья, еще не вполне распутившиеся, напоминали крепко сложенные бумажные китайские веера бледно-зеленого цвета. При свете лампадки они отбрасывали на потолок легкие тени.

«Прозрачный сумрак, луч лампы, кивот и крест — символ святой... Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой».

Ветка Палестины за образом — и так волшебным образом изображенная Лермонтовым — как бы вносила в семью мир и отраду.

Зинаида Эммануиловна никогда не забывала заложить пальмовую ветку за икону, некогда привезенную Никанором Никаноровичем из Вятки в Одессу.

Легко привыкнув к обрядам православной церкви, Зинаида Эммануиловна никак не могла привыкнуть к русскому языку. Она выгова-

ривала русские слова на французский лад. Она надела всех своих детей какой-то французско-швейцарской прелестью: золотистым оттенком русых вятских волос, живостью речи, энергией. Ее дети почти все отличались какой-то не вполне русской красотой, особенно девочки — старшая, Надежда, и средняя, Елизавета, — каждая в своем роде. Мальчики тоже удались на славу: старший, Константин, лицом был совсем молодой красивый француз, весельчак.

...Закрученные усики, игривые глаза в пенсне отдавали чем-то парижским...

Младший, Миша, в детстве был еще вполне русским мальчиком, но впоследствии в его лице появилось нечто западноевропейское, а к пожилому возрасту он стал похож на французского академика, одного из «бессмертных».

Кроме младшей дочери Лели, умершей в одиннадцать лет от костного туберкулеза, все дети были здоровы.

Смерть Никанора Никаноровича Зинаида Эммануиловна пережила тяжело, но мужественно, не проявляя своего горя. Она закладывала гроб, занимала похоронных служащих, так называемых мортусов, в треугольных шляпах, составляла похоронные объявления для газет, поправляла на покойнике сюртук, расчесывала его волосы, сама варила рис для погребального колева, обкладывала его горку на блюде разноцветными мармеладками и посыпала сахарной пудрой, а потом, уже на кладбище, раскладывала большой разливательной ложкой это колево в рваные шапки кладбищенских нищих.

Она надела наспех скроенное и сшитое на живую нитку черное траурное платье и траурную шляпу с пасмурной вуалью и надела на рукава своим детям креповые повязки.

Двоюродные братья Миша и Саша находились среди взрослых Синайских в холодной кладбищенской церкви, где на паперти у открытых дверей стояли зловеще-черные носилки с длинными ручками. Пел хор семинаристов. Знакомые священники в черно-серебряных ризах ходили вокруг высоко поставленного гроба, размахивая кадилами, откуда валили клубы лилового дыма росного ладана, покрывая покойника.

Удручающе редко звучали церковные колокола, наводя на мальчиков ужас.

В изголовье гроба стояла Зинаида Эммануиловна. Покойник лежал глубоко в гробу, откуда виднелись высоко сложенные на груди костлявые кисти рук с кипарисовым крестиком, вложенным в сплетенные пальцы.

...И хорошо причесанная лысоватая голова с хрящеватым носом и высоким лбом, отражавшим язычки свечей в высоких подсвечниках с четырех сторон гроба.

Все это называлось панихида, а за нею следовали еще более удручающие слова — «вынос тела». Вынос уже не человека, а только его уже никому не нужного мертвого тела, одетого в сюртук и специальные, наскоро стаченные туфли, так называемые босовики.

Оказалось, что Никанор Никанорович не успел по годам выслужить пенсию. Семья осталась без средств. Зинаида Эммануиловна стала энергично действовать. Ей удалось выхлопотать через консисторию небольшое пособие — эмеритуру.

Жить большой семье на маленькую эмеритуру стало трудно. Вся грузная мебель с трудом разместилась в маленькой квартире — в той же старой семинарии, — куда переселилась семья покойного. Еще надо было разместить детей, уже достаточно взрослых.

Как это ни странно, но бодрости у Зинаиды Эммануиловны прибавилось еще больше.

Слово «эмеритура» она произносила совершенно по-французски, так же как слово «консисто́рия». Что же касается недуга, от которого скончался ее муж — нервно-периферического паралича, — то она эти слова произносила не только вполне по-французски, особенно сильно грассируя, но даже с некоторой гордостью, как будто бы нервно-периферический паралич был чем-то вроде высокого чина, например действительного статского советника.

— Никанор Никанорович скончался от нервно-периферического паралича, — объясняла она знакомым значительно и с большим достоинством. — Я выхлопотала через консисторию эмеритуру.

Все это звучало у нее как бы вполне по-французски.

Все это было так давно!

...Теперь по другой стороне улицы виднелись корпуса некогда бывшего квартирновладельцев», выстроенные незадолго до первой мировой войны. В одном из этих корпусов когда-то жил вдовец Николай Никанорович Синайский со своими двумя сыновьями.

Новенькие, нарядные корпуса в стиле модерн теперь постарели, кое-где штукатурка облупилась, и в них уже поселилось множество незнакомых семейств, вытеснивших прежних жильцов, и дома эти уже назывались ЖЭК.

— А ты помнишь, Саша, то время, когда здесь вообще не было никаких домов и мы с тобой, забредя на окраину города, ловили лягушек и за нами увязался тогда совсем еще маленький Жорочка? Он носил за нами банку с головастиками. Теперь уже никого не осталось — ни твоего отца, ни твоего младшего брата Жорочки. Всех унесло время. Только мы с тобой, последние Синайские, по счастливой случайности выжили, хотя и были все время на грани уничтожения.

После столь длинной речи Михаил Никанорович остановился, для того чтобы передохнуть. Он вынул из кармана халата пробирочку, подумал, но не стал высыпать на ладонь белые крупинки: обошлось.

Они стояли под старой уличной акацией, погруженные в воспоминания. Может быть, они вспомнили гимназические годы и вербное воскресенье, когда они гонялись за выходящими из церкви гимназистками и хлестали их по касторовым шляпкам пальмовыми ветками, весело выкрикивая общепринятое:

— Не я бью, верба бьет!

Ветка Палестины заменяла традиционную вербу.

После смерти Никанора Никаноровича семья его распалась. Зинаида Эммануиловна вместе со старшим сыном Константином переехала в Петербург на жительство к Наде. Костя, выйдя из университета, перевелся в Петербургскую военно-медицинскую академию, где с увлечением слушал лекции великого Павлова по физиологии.

К стройной фигуре Кости очень шел мундир Военно-медицинской академии, сначала с погонами нижнего чина, а впоследствии и с серебряными офицерскими военного врача. Он был отправлен для прохождения службы в Хабаровск, где след его затерялся.

Дальний Восток в те времена был для России примерно тем же, чем еще раньше Кавказ, о котором пели:

«Не уезжай, голубчик милый, на тот погибельный Кавказ».

Средняя сестра, Елизавета, или попросту Лиза, осталась с Мишей в Одессе. Она сделалась хозяйкой маленькой квартиры осиротевших Синайских.

Миша учился в той самой гимназии, куда вскоре поступил и его двоюродный брат Саша. Они учились в разных классах и встречались на переменах в широком коридоре, на всю жизнь запомнившимся красивыми метлахскими плитками пола, по которому можно было с разбегу скользить на каблуках с маленькими подковками. Больше всего они любили этот просторный коридор, куда выходили стеклянные двери классов и откуда раздавался длинный звонок, извещавший об окончании урока и о начале перемены.

По другую сторону коридора тянулся ряд высоких окон. За ними виднелась бедная улица с белыми, уже облетевшими акациями и над крышами двухэтажных домов безрадостное ноябрьское небо, предвещавшее длинный учебный год с двойками и записями в кондуитный журнал.

В начале декабря в гимназию приходили стекольщики замазывать окна. Один из стекольщиков появлялся в коридоре. Шлепнув на подоконник увесистый ком замазки, мужик в холщовом фартуке с нагрудником и в сапогах принимался за работу. Гимназисты, выбегавшие на перемене из классов, теснились возле него. Даже всегда угрюмый классный надзиратель как замороженный следил за действиями стекольщика...

С тех пор прошло больше полувека, а двоюродные братья и сейчас, идя вдоль госпитальной стены, ясно видели все подробности замазки гимназических окон.

...Стекольщик отдирал от оконных рам прошлогоднюю, засохшую замазку и, раскатав между ладонями комочек свежей замазки, волшебным движением стамески вмазывал ее в щель оконной рамы. Если же требовалось заменить разбитое или треснувшее оконное стекло, то начиналось уже подлинное волшебство мастерства: стекольщик вытаскивал из своего решетчатого деревянного рабочего ящика новое стекло, еще зеленоватое, покрытое опилками, а затем, положив на подоконник, проводил по нему вдоль линейки алмазиком. Раздавался пронзительный, какой-то режущий, очень зимний звук, и стекольщик отламывал от стекла лишнюю полосу, чем-то напоминающую внутреннюю полосу максимального термометра.

Гимназия — все ее три этажа — была насыщена запахом замазки. Под ногами хрустели полоски стекла. Гимназисты мяли в руках замазку, лепили из нее разные фигурки, на которых оставались отпечатки пальцев.

Однажды из Петербурга пришла телеграмма. В то время телеграммы приходили очень редко и почти всегда содержали в себе нечто зловещее.

Миша Синайский на некоторое время исчез из гимназии, а когда снова появился на перемене в коридоре, то на рукаве его курточки Саша увидел траурную креповую повязку. За время своего отсутствия Миша так изменился, что его трудно было узнать. Он вдруг как-то сразу повзрослел. Под глазами легли синие круги. Видно было, что он много плакал. Он вернулся из Петербурга с похорон своей матери Зинаиды Эммануиловны, умершей от воспаления легких. Ее доконал сырой петербургский климат.

Двоюродные братья обнялись и заплакали. Они представили себе мертвую Зинаиду Эммануиловну, похороненную в сырой могиле болотистого петербургского кладбища. Миша стал круглым сиротой — без отца и без матери. Сознание этого так поразило Сашу, что он долгое время не мог примириться с мыслью, что все его двоюродные

братья и сестры Синайские сделались круглыми сиротами, чего в их роду еще не бывало.

Мишина сестра Лиза надела черное шерстяное платье с закрытым воротом и черную шляпку с траурной вуалью, но по-прежнему оставалась прелестной и цветущей, хотя и побледнела. Она не была так безукоризненно красива, как ее старшая сестра, петербургская Надя, но в ее темных, поистине собольих бровях, в ее небольших хорошеньких ручках с розовыми пальчиками, в ее каштановых волосах со швейцарской рыжеватостью было много прелести, которую не портило слишком южнорусское произношение и простонародные интонации, свойственные Новороссийскому краю. Она была трудолюбива и хозяйственна, как и ее покойная мать. Ей приходилось очень трудно. Для того чтобы содержать себя и своего брата Мишу, она бегала по грошовым урокам, при этом аккуратно посещая лекции на курсах, а также брала на дом заказы на кройку и шитье женских и детских платьев: у нее был хороший вкус.

Теперь ее опорой стал брат покойного отца Николай Никанорович Синайский, отец Саши, единственный оставшийся в живых из трех сыновей вятского протоиерея. Она называла Николая Никаноровича дядя Коля.

Рано овдовевшему дяде Коле было нелегко воспитывать двух сыновей.

В обычае было овдовевшему мужу с детьми на руках жениться вторично. Но Николай Никанорович принадлежал к числу однолюбов и до конца жизни оставался верным покойной жене. В этом он следовал примеру православных священников, которым было по церковным законам запрещено вступать вторично в брак.

Он любил осиротевших племянников и племянниц старшего Синайского как родных детей и чем мог помогал Лизе и Мише. Лиза его боготворила и считала вторым отцом. Он и вправду был для нее и для Миши вторым отцом. Лиза советовалась с дядей Колей во всех затруднительных случаях и всегда получала не только моральную поддержку, но также по мере возможности и материальную.

Однажды Лиза пришла к Николаю Никаноровичу и, не снимая шляпки, села в кресло в гостиной под фикусом. Ее щеки заливал ручьем слез. На глазах стояли слезы. Но это были слезы счастья. Она долго молчала не в силах выговорить ни слова. Николай Никанорович понял, что Лиза хочет сказать что-то очень важное, но ей трудно было преодолеть смущение и она стеснялась говорить при мальчиках, возившихся в гостиной: старший, гимназист Саша, таскал младшего, Жору, на опрокинутом стуле, что казалось маленькому Жоре поездкой на конке.

Отец отправил их спать и закрыл за ними дверь.

— Ну, Елизавета, говори, что случилось? — сказал Николай Никанорович и уселся против племянницы на стул.

— Дядя Коля, я хочу с вами посоветоваться. Мне сделали предложение...

..И через некоторое не слишком продолжительное время, ушедшее на обычные свадебные приготовления, в той же самой маленькой гостиной Лиза в подвенечном платье, с фатой на убранный цветами голове мягко опустилась на колени перед своим дядей Колей, который держал в руках образ.

— Дядя Коля, ну скажите мне что-нибудь...

Николай Никанорович поцеловал ее в склоненную голову и сказал:

— Дорогая Лизочка, если ты со своим будущим супругом хочешь жить во взаимном счастье и благополучии, то запомни одно: во всем уступайте друг другу. Это самое главное в семейной жизни.

В его голосе прозвучало нечто пасторское. Он немного помолчал, а потом дрогнувшим голосом проговорил:

— Мы с моей покойной женой, матерью Саши и Жорочки, а твоей тетей, всегда и во всем уступали друг другу. И мы были счастливы.

И слезы показались у него на глазах. Одна слезинка поползла по щеке, по бородке. Он справился с волнением, вздохнул и благословил Лизу, трижды осенив ее крестным знаменем старой семейной вятской иконой Иисуса Христа, еще, может быть, новгородского письма, в почерневшем серебряном окладе.

Лиза, вся пунцовая от волнения, поцеловала его руку с обручальным кольцом, уже вьезшимся в морщинистую кожу пальца.

У ворот дома стояла наемная карета, куда две подружки-курсистки, нарядно одетые, посадили невесту, а на передней скамеечке против нее устроили одетого в новенький бархатный костюмчик свадебного мальчика, роль которого исполнял пятилетний Жорочка, изо всех сил прижимавший к груди икону. Он должен был по обычаю нести ее в церкви перед невестой, а потом положить на столик, покрытый парчой.

Жених прискакал на лихаче вслед за невестой. Они встретились на паперти и вдвоем — прекрасные, молодые и смущенные — пошли к алтарю, а впереди них шагал в своих фильдекосовых чулках и скрипящих ботинках маленький Жора с иконой, прижатой к груди.

Мальчик был так взволнован своей ролью, так горд, что ему впервые в жизни довелось сначала ехать в карете, а потом среди нарядных гостей, лампад и свечей идти по ковровой дорожке посреди церкви, где уже гремел хор семинаристов, что, подойдя к алтарному столу, он торопливо положил на него икону, но не ликом вверх, а ликом вниз.

Подбежавшая подружка невесты торопливо перевернула икону ликом вверх. Все вокруг так и ахнули, хотя сделали вид, что ничего не случилось. Но уже ничего нельзя было поправить. Икона, положенная ликом вниз, была ужасной приметой.

Обряд бракосочетания — вернее, не обряд, а таинство — прошел гладко и даже весело. Курсистки и студенты создавали атмосферу молодости. Молодые голоса хора звучали радостно. Все вокруг жениха и невесты было молодо. Даже венчавший их священник оказался совсем молодым, лишь недавно принявшим сан. Но моложе и прекраснее всех казались жених и невеста, как бы созданные друг для друга.

Жених в парадном студенческом синего сукна мундире с твердым стоячим высоким воротничком, статный, счастливый, с черными напомаженными волосами, расчесанными на косой ряд, смуглолицый красавец с молодыми шелковистыми усиками, грек по национальности, стоял рядом с Лизой, то и дело поворачивая к ней хорошо выбритое, даже немного голубоватое лицо с немного раздвоенным подбородком, как бы каждую минуту желая удостовериться, что она тут, рядом, никуда не делась.

Студенты-шаферы в белых перчатках высоко держали над женихом и невестой венцы, а жених все время норовил стать на носки, стараясь, чтоб венец наделся ему на голову, что очень веселило невесту, и она тоже вставала на носочки атласных туфелек, желая по примеру своего нареченного также надеть венец на головку. У жениха было не совсем обычное имя Пантелеймон, и Лиза то и дело шептала ему на ухо, чтобы священник не услышал:

— Пантелей, веди себя прилично, не забывай, что ты в церкви.

...Полураспустившаяся роза в фате утреннего тумана...

Фамилия Пантелея была Амбарзаки, что ничуть не портило, а, наоборот, придавало ему некоторую эллинскую прелесть.

На глазах у всех при звуках церковного хора Лизочка Синайская превращалась в мадам Амбарзаки.

Когда по обряду молодожены выпили из плоского серебряного сосуда по глотку церковного красного вина кагора, обменялись кольцами, а потом поцеловались, было сразу заметно, что это далеко не в первый раз. Дружки и подружки насилу удержались, чтобы не заплодировать, а молодой священник погрозил пальцем, улыбаясь в свою золотистую, еще не отросшую как следует бородку.

Свадебный пир закипел в маленькой квартирке невесты. Дядя Коля подарил Лизе на свадьбу сто рублей, взятых им в кассе взаимопомощи епархиального училища, где он числился в штате. Именно на эти деньги, по тому времени весьма значительные, Лиза справила большое приданое и устроила свадебный пир. Двоюродные братья впервые юпали на подобное торжество. Среди взрослых гостей они чувствовали себя стесненно в будничной гимназической форме, а парадных мундирчиков у них не было.

Стараниями жениха и невесты маленькая запущенная квартира преобразилась.

Мать молодого супруга мадам Амбарзаки, по имени Миропя Григорьевна, приехала на пароходе из Греции на свадьбу сына. Двоюродные братья с большим любопытством и даже не без некоторого страха исподтишка смотрели на величественную гречанку в нарядном шелковом платье с рукавами буф и массивной золотой цепью на шее. Сначала гречанка показалась им сердитой и очень недовольной, что ее сын Пантелей женился на их Лизе. Но вскоре оказалось, что, несмотря на всю свою величественность и даже небольшую усатость, гречанка очень добрая и даже веселая старушка. Она от всей души расцеловала Лизу, назвала ее дорогой своей дочкой и подарила ей ожерелье из крупных розовых кораллов, а своему сыну Пантелею две вещицы, только что вошедшие в моду во всем цивилизованном мире: безопасную бритву «Жиллетт» в футляре из крокодиловой кожи и вечную ручку с золотым пером «Монблан». Этот эlegantный подарок произвел, как тогда принято было говорить, фурор, вызвав бесхитростные остроты вроде того, что теперь у молодого супруга всегда будет идеально выбритое лицо и он наконец перестанет колотить щечки своей милой супруги, а также будет аккуратно записывать вечной ручкой вечные хозяйственные расходы.

Саше и Мише мадам Амбарзаки подарила по коробке фиников. На коробках были цветные картинки — пальма и верблюд на фоне пирамид.

По мнению двоюродных братьев, такие подарки могла сделать только богатая женщина. Она и вправду оказалась богата. Некогда ее покойный муж держал в Одессе крупный колониально-бакалейный склад, пользовавшийся хорошей репутацией. Амбарзаки разбогатели.

Мадам Амбарзаки недурно говорила по-русски, исповедовала, как все греки, православие и считала Россию своей второй родиной. Ее предки принадлежали к знаменитой гетерии, основанной в Одессе и ведшей борьбу с турками за освобождение Греции от ига Османской империи. У нее в квартире в Афинах на стене висели портреты Байрона и Пушкина. Она пожелала дать своему сыну русское образование, определила его в Новороссийский университет и была рада, что сын ее женился на русской девушке из духовного рода, родной внучке соборного протоиерея и дочке статского советника, инспектора духовной семинарии.

Во всех комнатах горели свечи и керосиновые лампы. Листья фикусов, вымытые водой с мылом, блестели. На раскрытых ломберных столах была расставлена закуска для ужина а-ля фуршет.

Окруженная молодежью, пожилая гречанка ходила по квартире, доброжелательно осматривая обстановку. Молодой супруг повел ее в дальнюю комнатку, где некогда жила покойная Леля. Здесь была устроена спальня новобрачных и выставлено на всеобщее обозрение приданое: ночные кружевные сорочки, множество подушек и думок в наволочках из голландского полотна, ночные туфельки на гагачьем пуху. На двуспальной кровати ярко алело стеганое пуховое одеяло с перламутровыми пуговичками для пододеяльника. В углу перед образом теплилась лампадка, и тень полузасохшей пальмовой ветки, сохранившейся с прошлого вербного воскресенья, мирно лежала на потолке.

Миропа Григорьевна перещупала все подушки и осталась довольна. Она перекрестилась на образ и сказала:

— Дети мои! Любите друг друга! И пусть у вас всегда за образом будет пальмовая ветка, символ мира и тишины.

Молодой муж поцеловал руку своей матери в кружевных митенках, а затем обнял за плечи молодую жену и, похлопав ладонью по пуховому одеялу, до рези в глазах яркому, игриво заметил:

— Здесь будет у нас с Лизочкой поистине райский уголок.

За что получил от смутившейся Лизочки легкий ласковый шлепок по губам.

Двоюродные братья покраснели, как бы прикоснулись к какой-то не вполне приличной тайне.

...всей компанией гостиво главе с новобрачными были приведены в ванную комнату с дровяной колонкой, где в цинковой ванне лежало несколько златогорлых бутылок, заваленных кусками искусственного льда. Это было французское шампанское «Редерер», столь же модное, как бритвы «Жиллетт», вечные ручки «Монблан» и аэроплан «Блерио»...

Мальчики уже предвкушали хлопанье пробки, о чем так прекрасно было сказано в «Евгении Онегине», но — увы! — пробки полетели в потолок без них, так как гимназистов отправили спать. Однако до красного мороженого, специально для свадебного ужина заказанного в кондитерской Дитмана, они все-таки досидели. Каждому досталось по пять шариков, да еще потом по четыре, которые они выпросили у счастливой молодой супруги. Так что, кроме фиников, они наелись дитмановского мороженого до отвала, едва ли не до ангины. Они доедали мороженое уже под звуки матчиша, который наяривал один из шаферов-студентов с атласным бантом на рукаве, не жалея пожелтевших клавишей разбитого пианино, перешедшего теперь в собственность молодой мадам Амбарзаки, бывшей Лизочки Синайской. Затем все пели хором студенческие куплеты:

«Ели картошку, пили квас, что будет с нами через час? Воображаю! Воображаю!»

Под этот рефрен «воображаю!» двоюродные братья уехали на последней конке ночевать к Саше Синайскому.

Семейная жизнь молодых Амбарзаки началась весело и счастливо. Ничто не предвещало беды, предсказанной иконой, положенной ликом вниз. О неловком поступке маленького Жоры забыли или, во всяком случае, не придали ему никакого значения...

Миропа Григорьевна выдавала сыну ежемесячно по двести рублей, сумму по тому времени громадную. Молодые наняли квартирку из двух комнат, не желая оставаться в старой семинарии. Они обставили свою новую квартирку в стиле модерн, а летом вместе с семьей Николая Никаноровича и братом Сашей поселились невдалеке от города, на так называемом Сухом лимане, в деревне Александровке.

Сухой лиман был вовсе не сухой, а являлся заливом, отделенным от моря белоснежной песчаной косой, куда во время сильного прилива закрученные в трубы как бы зелено-стеклянные волны вместе с языками хрупкой белоснежной пены выбрасывали к босым ногам двоюродных братьев редкие ракушки чертовы пальцы, морских коньков, винные пробки с проходящих пароходов, обесцвеченные лимонные кружки и маленьких медуз, таявших на солнце.

Со времени свадьбы прошло уже года два или три, а супруги были так же безоблачно счастливы. Пантелей оказался не только верным, любящим мужем, но также прекрасным родственником. Он любил искренно и нежно всех Синайских, почитал как отца Николая Никаноровича, но в особенности привязался к маленькому Жоре, уже к тому времени сильно подросшему.

Все мальчики обожали веселого, компанейского Пантелея, а Жора не отставал от него ни на шаг. Они были неразлучны. Жора загорел и был очень хорош со своей челочкой, наголо остриженным затылком и янтарно-карими глазами.

Жили в просторной мазанке под камышовой крышей, нанятой на лето у рыбака, переехавшего в курень, где у него хранились сети и весла.

Обед готовила Лиза на керосинке со слюдяным окошечком, сквозь которое виднелись синие язычки пламени. Лиза еще больше похорошела, расцвела уже не девичьей, а вполне дамской красотой, полненькая, веселая, с небольшими веснушками, выступившими летом на ее носике. Характером она пошла в свою покойную мать Зинаиду Эммануиловну: сама покупала на местном базарчике овощи и свежую рыбу, торговалась с хохлушками и очень мило называла лук цибулей, а кукурузу пшеникой.

Мальчики ходили полуголые, и даже Николай Никанорович сбросил свой учительский сюртук и надел малороссийскую рубаху-косоворотку с вышивкой, сделанной его покойной супругой, когда она была еще его невестой. По народной традиции невеста вышивала своему жениху рубаху. Косоворотка сделала Николая Никаноровича более молодым и как-то более простонародным, вятским. Он ходил тоже босиком.

Обычно купались в лимане. Его неподвижная густо-синяя вода, нагретая солнцем, была так перенасыщена солью и так тяжела, что человеческое тело в ней не тонуло, а само собой держалось на поверхности. На поверхности воды можно было лежать не двигаясь, распластавшись, как на полу.

Высокий красавец Пантелей и загорелый мальчик Жора, оба в полосатых купальных штанишках, ходили на песчаную косу и купались в море. Пантелей учил Жору плавать и нырять с открытыми глазами. Волны обдавали их пеной.

Лето стояло на редкость знойное. Новороссийская степь простиралась до самого мутного от зноя горизонта. Оттуда веяло жаркими запахами диких трав — чабреца, шевуницы, полыни. Иногда оттуда начинал дуть суховей. Но близость моря смягчала одуряющий жар.

Миропа Григорьевна спасалась от жары на одном из островов Эгейского моря, сидя на веранде своей дачи под тентом, ела из блю-

дечка маленькой серебряной ложечкой лимонное варенье с орехами и запивала его ледяной водой. А вокруг античная лилово-сиреневая синева Эгейского моря, где кувыркались дельфины, на горизонте белели острова архипелага и виден был дым броненосцев, не то французских, не то итальянских, не то немецких — целые эскадры.

Изредка она отправляла открытки в Россию с изображением Акрополя на лаково-лиловом фоне афинского безоблачного неба. Она писала, что скучает без своих русских родственников и опасается, не начнется ли вдруг какая-нибудь война, не дай бог!

Однажды, купаясь в море, Жора заметил на спине Пантелея странное пятно вроде черной родинки, но только гораздо больше, величиной с пятак. Сначала никто на это не обратил внимания. Но пятно стало разрастаться. Оно сделалось какого-то пугающего лилового оттенка. Пантелей не чувствовал боли, но какой-то странный зуд. Лиза встревожилась, как бы вдруг почувствовав приближение несчастья. Она решила не откладывая везти Пантелея в город и показать врачу. Пантелей отшучивался, говоря, что это пустяк, из-за которого не стоит нанимать бричку и ехать в город. Все пройдет само собой. Но Лиза вспомнила икону, положенную ликом вниз, и перестала спать. Странное пятно было на спине Пантелея, и он его не видел, а только чувствовал. Лиза принесла зеркало. Пантелей увидел на своей спине пониже лопаток зловещее большое пятно. Оно испугало Пантелея. Лиза наняла в Александровке бричку и повезла мужа в город.

Прошло больше двух недель, как вдруг к мазанке подъехала бричка, в которой сидела женщина в черном. Суховей, несший вихри жаркой степной пыли, крутил траурную вуаль. Женщина вся была покрыта дорожной пылью. В постаревшем, почерневшем, заплаканном лице трудно было узнать Лизу. Путьясь в юбку, она с трудом слезла с брички и бросилась к Николаю Никаноровичу, вышедшему из мазанки. Босой, с волосами, растрепанными суховеем, он стоял на фоне синего лимана, как на берегу Геннисаретского озера. Лиза бросилась к нему на грудь и зарыдала. Все было ясно.

...Лиза не отходила от умирающего мужа, который жил уже на морфии. Когда наступало временное улучшение, Лиза отлучалась ненадолго из клиники в свою двухкомнатную квартирку, где они с мужем жили так счастливо. Там она падала на колени перед венчальным образом, умоляя спасителя о пощаде. Темный лик богочеловека оставался неумолимо строгим, беспощадным, и рука его с двумя поднятыми вверх перстами оставалась неподвижной, и на темном, древнем челе его лежала легкая тень прошлогодней пальмовой ветки...

Двоюродные братья дошли вдоль госпитальной стены почти до штаба. Штаб этот, во время Великой Отечественной войны разбомбленный немецкой авиацией, был уже восстановлен и напоминал тот штаб Одесского военного округа, каким был в дореволюционное время, а также и во время гражданской войны, когда возле него однажды стояла, припав на сломанное колесо, брошенная денкинцами трехдюймовая пушка, а недалеко на ступенях штаба лежал труп расстрелянного генерала в шинели с красной подкладкой...

...Они остановились на углу, постояли, вспоминая свою жизнь на берегу Сухого лимана, внезапную смерть Пантелея.

— Вот ты, Миша, старый, опытный медик, заслуженный врач,— сказал Александр Николаевич,— как ты думаешь, от какой болезни тогда умер наш Пантелей? Врачи перерыли медицинские словари, справочники на всех европейских языках — и ничего не выяснили. Никаких упоминаний о такого рода заболевании нигде не находилось.

— Как тебе сказать, Саша. Видишь ли, медицина до сих пор не раскрыла всех тайн человеческих недугов. Еще есть много загадочного. Кто-то из врачей, помнится мне, сделал тогда предположение, что это какая-то неизвестная форма тропического гнилостного заболевания еще библейских времен. Я лично думаю, что этот врач был недалеко от истины. Возможно, что Пантелея действительно унесло в могилу какое-то еще до сих пор не исследованное тропическое вирусное заболевание. Не исключено, что это редчайшая форма рака крови, какого-то древнего, может быть, даже доибблейского происхождения. Из глубины африканского континента вирусы были занесены сначала в воды Верхнего Нила, оттуда в Египет, в дельту Нила, оттуда попали в Средиземное море; может быть, ими оказались заражены морские рыбы, медузы, водоросли, вообще весь средиземноморский планктон. А там уже недалеко до Европы, до архипелага Эгейского моря, до Греции. А может быть, они были занесены из Малой Азии вместе, например, с пальмовыми ветками... Как знать, какова живучесть этих вирусов, каков инкубационный период их заражения. Через сколько веков они могли попасть в кровь античного человека, передаваться из поколения в поколение, не вызывая никаких болезненных симптомов, и вдруг убить отдаленного потомка античного грека. А что касается истории с перевернутой иконой, то я, Саша, будучи учеником Павлова и материалистом, считаю это вздором.

— Да, конечно... Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз.

— Наш Жора,— строго сказал Михаил Никанорович,— погиб как герой, отдав свою жизнь за родину, когда ему было уже сорок лет от роду.

— Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет, пока не настигла его на Сапун-горе.

— Ты веришь в приметы?

— Приходится.

— Ты, Саша, идеалист, может быть, даже мистик. Вот уж чего я от тебя никак не ожидал!

— Но в таком случае вот ты, ученик материалиста, физиолога Павлова и сам материалист, ответь мне: почему погиб именно Жора, а мы с тобой, прошедшие две мировые войны и одну гражданскую, остались живы, хотя не избежали ранений? Почему смерть нас не настигла?

— На это я тебе ответить не могу при всем моем материализме,— с легкой усмешкой сказал Михаил Никанорович.— Здесь моя физиология бессильна.

— Но ведь и нашу Лизу смерть тоже не пощадила, правда совсем недавно, но... Почему?

— Ну, она была уже в пожилом возрасте, когда люди редко выживают от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Значит, смерть все время гонялась за ней, пока наконец не настигла, хотя и в пожилом возрасте.

— Ах, Саша, неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть? Вот, например, и за мной...

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене. Его губы опять побелели. Он вынул из кармана пробирочку и положил в рот несколько крупинок.

Через некоторое время лицо его порозовело и оживилось.

— Пронесло,— сказал он почти весело.— Знаешь, Саша, пойдёмка мы лучше обратно в госпиталь. Мне бы не мешало немного полежать.

Они пошли обратно вдоль все той же невероятно длинной госпитальной стены. Теперь у них с правой руки должны были открыться незастроенные участки, некогда занятые под садоводство Веркмейстера, славившегося до революции своими штамбовыми розами и хризантемами.

Теперь на этом месте возводилось новое здание обкома партии. Туда въезжали грузовики со строительными материалами.

Когда-то давным-давно по Пироговской улице ходили в гимназию Саша Синайский, его младший брат Жора, а их отец Николай Никанорович со стопкой голубых ученических тетрадок под мышкой торопился к Куликову полю, откуда уже на конке ехал на уроки.

Воспоминания о Николае Никаноровиче сопровождали двоюродных братьев, медленно шагавших по Пироговской улице.

Последние годы жизни Николая Никаноровича совпали с концом первой мировой войны, революцией, Брестским миром, немецкой оккупацией юга России и установлением советской власти, которая дошла сюда и окончательно утвердилась лишь на третий год после Октябрьской революции. А до этого времени город переживал постоянные потрясения — шесть или семь переворотов. Власти менялись с быстротой непостижимой.

...Немецкая оккупация и никому не понятная гетманщина сменялись петлюровщиной; петлюровщину вышибала молодая Красная гвардия; Красную гвардию сменяли интервенты: высадились со своих военных транспортов отряды британской морской пехоты, которые бегали по улицам, гоня перед собою футбольные мячи, маршировали черные, как смола, сенегальские стрелки и зуавы в красных штанах и стальных касках — цвет французской оккупационной армии; появились греческие солдаты со своими походными двухколесными фургонами, запряженными ослами и мулами; потом интервенты исчезли; их заменили белогвардейцы — деникинцы со своей контрразведкой, которая расстреливала и вешала ушедших в подполье большевиков; на смену деникинцам ненадолго появились еще плохо организованные части Красной Армии...

...Все требовали фуража, продовольствия, помещений. Штабы занимали гимназии, реальные училища, городские школы. Епархиальное училище, где преподавал Николай Никанорович, было превращено в лазарет.

Николай Никанорович остался без работы и без жалованья. Жить стало нечем. Он стал продавать вещи, но, как это ни странно, на судьбу не роптал. Он считал русскую революцию исторической закономерностью, предсказанной еще декабристами, а также возмездием за прежнюю грешную, неправедную жизнь дворянского общества, купечества и духовенства, постепенно превращавшегося в синодальное чиновничество.

...Однажды во двор дома на Пироговской пришел молодой паренек в застиранной военной форме, в рыжих обмотках и разношенных солдатских башмаках, в фуражке с ярко-красной новенькой пятиконечной звездой на месте кокарды. Он назвался делегатом воинской части, расквартированной на ночлег в дровяном сарае. Стоя посреди двора, красноармейский делегат обратился к жильцам дома с просьбой одолжить на ночь подушки для красноармейцев.

Это был совсем молоденький парнишка по виду из мастеровых. Он старался быть как можно более вежливым, деликатным. **Офицер-**

ская реквизируемая шашка с анненским темляком, висевшая у него на боку, совсем не подходила к его деревенской внешности. Видно, ему было строго-настрого приказано политкомом части обращаться с населением вежливо, и он старался изо всех сил умерить свой чрезмерно громкий, несколько петушинный голос.

Никто из жильцов дома, конечно, не откликнулся на его воззвание. Один только Николай Никанорович спустился по лестнице, вынес во двор две подушки и подал их делегату. Парень от неожиданности растерялся. Он никак не ожидал, что кто-нибудь из буржуев откликнется на его вежливый призыв.

— Спасибо, дяденька,— сказал он, беря подушки,— а как же вы сами-то обойдетесь без подушек? Ай вы нам сочувствующий?

— Нет,— строго ответил Николай Никанорович.— Я не сочувствующий, потому что не могу сочувствовать никакому насилию. Но мне больно подумать, что простые русские люди должны будут спать в холодном сарае, на голых досках, да еще без подушек под головой. Ведь они мои братья.

На этом разговор Николая Никаноровича с представителем новой власти закончился. На другой день представитель снова появился во дворе и вернул подушки, выразив Николаю Никаноровичу благодарность от имени красноармейского подразделения, ночевавшего в сарае.

— Хотя вы, гражданин, и не сочувствуете нам, но все-таки спасибо,— строго прибавил он и удалился, презрительным взглядом окинув окна дома, откуда выглядывали испуганные лица жильцов.

Все это происходило лет шестьдесят тому назад, и теперь трудно было представить себе Николая Никаноровича с подушками и паренька, красноармейского делегата, стоящих посередине того самого двора, мимо которого двоюродные братья проходили.

...Теперь это уже стало одной из легенд революции...

В то время обоих сыновей Николая Никаноровича — старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию,— смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома.

Николай Никанорович остался один в запущенной квартире и не знал, что делать. Сначала он ходил на базар и менял носильные вещи и белье на хлеб и сало, но скоро из вещей уже ничего не осталось, и он начал голодать, ограничиваясь кипятком вместо чая. Больше всего его огорчало отсутствие оливкового масла для лампадки, которую он привык заправлять маленьким фитильком и зажигать перед иконой каждую субботу вечером. Почерневшая лампадка печально стояла перед иконой, за которой торчала сухая пальмовая ветка, сохранившаяся от прежних времен, а также бутылочка со святой креценской водой.

Что было делать?

...Но он не впал в отчаяние, не стал роптать на судьбу. В нем заговорила наследственность старинного русского духовенства, еще не испорченного светской властью, отсутствие сословной гордости, что всегда отличало сына вятского соборного протоиерея. Он твердил про себя молитву Ефрема Сирина и стихи Пушкина:

«Отцы пустынноики и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв; но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Ве-

ликого поста; все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! дух праздности унылой, любоначала, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

Дух праздности унылой был всегда чужд Николаю Никаноровичу. Он нашел себе поле деятельности.

В эти дни разразилась эпидемия сыпного тифа. Для борьбы с ним и со всякими другими эпидемиями штаб Красной Армии в срочном порядке сформировал санитарные поезда и банно-прачечные отряды, куда принимались на службу все желающие, которых обеспечивали красноармейским пайком.

Педагог с высшим образованием, медалист, написавший некогда блестящую работу о влиянии византийского искусства на культуру Киевской Руси, на ее народное творчество, Николай Никанорович Синайский без колебания пошел в штаб Красной Армии и поступил на службу в банно-прачечный отряд.

Санитарный поезд пошел по железнодорожным линиям, обслуживая воинские части, ведущие бои с петлюровцами и различными бандитами.

...Он не устроился на какую-нибудь канцелярскую должность. Он сделался простым банщиком и честно зарабатывал свой красноармейский паек, моя раненых, больных и выздоравливающих бойцов, проходивших санобработку на станциях и полустанках, где останавливался санитарный поезд со своим банно-прачечным отрядом...

Худой, со впалым животом, голый, с одной лишь набедренной повязкой, делавшей его отчасти похожим на Иисуса Христа, он не жалея сил мылил казанским мылом и тер мочалкой спины выздоравливающих красноармейцев, а во время переездов со станции на станцию стирал солдатское белье в лоханке, откуда поднимался душный пар.

Он с детства усвоил себе, что смирение паче гордости, и когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат и стричь отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей посреди церкви на глазах у всех мыл ноги своему причту, наливая воду из серебряного кувшина в серебряный таз, а потом смиренно вытирал белые ноги своих подчиненных льняным полотенцем, как бы повторяя евангельскую легенду о Христе, омывавшем ноги своим ученикам-апостолам.

Николай Никанорович с умилением думал о том, что он хоть чем-нибудь может быть полезен своему народу, совершающему великий исторический подвиг революции, которую он, впрочем, как христианин не мог принять за ее жестокость, хотя и справедливую.

У него слезились глаза от банного пара, насыщенного едким запахом дезинфекции.

В одном из перегонов на поезд внезапно напала банда атамана Зеленого, перебила охрану и угнала паровоз, оставив банно-прачечный отряд в степи. Поездная прислуга и санитары, оставшиеся в живых, разбежались кто куда.

Николай Никанорович, кое-как одевшись, босой, с узелком за плечами, в своей старой соломенной шляпе, делавшей его похожим на псаломщика сельской церкви, отправился домой пешком по степи. Ему тогда уже было лет за шестьдесят.

Он шагал по тем самым местам Новороссийского края, где будучи студентом, собирал этнографический материал для своей диплом-

ной работы о влиянии византийского искусства на народное творчество южной Руси. Он узнавал те деревни, где тогда останавливался, заходил в хаты и срисовывал в особую тетрадку синим и красным карандашами орнаменты с вышитых крестиком рушников, пасхальных крашенок, женских праздничных нарядов и мужских рубах.

О, как давно это было и как хорошо все это теперь вспоминалось!

Он ночевал на сеновалах, питался подаянием — серым пшеничным хлебом и молоком, которые выносили ему из хат хозяйки, считая его беглым священником. Он ел хлеб и пил холодное молоко прямо из глиняных поливленных глечиков, в то время как хозяйки — мужики были заняты в поле вместе с землемерами, деля помещицью землю, — жалобно смотрели на старика в соломенной шляпе. Он низко кланялся хозяйкам, благодаря за хлеб и молоко, и отправлялся дальше.

Ночью он шел по звездам.

Один раз на его пути попалось большое село с церковью, и он зашел в дом к священнику просить ночлега. Попадья, вышедшая к нему на крыльцо, оказалась бывшей епархиалкой, его ученицей. Она узнала его и расплакалась, утираясь рукавом кофточки. Он был ее любимым учителем, а она любимой его ученицей, прилежной и способной.

Появился ее муж — священник. Фамилия Синайского была ему хорошо знакома: он окончил ту самую семинарию, где инспектором был старший брат Николая Никаноровича, покойный Никанор Никанорович Синайский.

Священник пригласил Николая Никаноровича погостить у них. Бывшая епархиалка, теперь уже грузная, многодетная женщина с погрубевшим лицом, подарила своему бывшему любимому учителю поношенные, но еще целые штiblеты мужа, так что дальнейший путь Николай Никанорович проделал уже в штiblетах, надетых на босу ногу.

В общей сложности он шел пешком по степи две недели. Возраст давал себя чувствовать. Он шел уже не так быстро, как сначала. У него сделалась одышка. Колото в груди. Временами его поташнивало, кружилась голова, и ему приходилось садиться на землю среди степных трав и будяков.

...Вернувшись в город, Синайский нашел свою квартиру пустой и запущенной. Во время его отсутствия было реквизировано и отправлено в железнодорожный клуб пианино. Николаю Никаноровичу было странно видеть пустым то место, где стояло пианино. С этим пианино для Синайского было связано так много воспоминаний!

Но Синайский не огорчился. Он принял это как должное, со смирением. Пусть теперь его старое пианино послужит народу. Но его огорчало отсутствие сыновей.

Он был совершенно одинок и не знал, что же ему теперь делать. Но в мире оставалась еще одна родная душа.

И он отправился к своей племяннице Лизе. К тому времени она заметно постарела и уже не была такой прелестной, хотя собольи брови оставались все так же темны и красивы. На прежде таком нежном лице появились мужские черты, сделавшие ее похожей на покойную мать, французскую швейцарку. Ее счастливая жизнь кончилась уже давно вместе с жизнью так странно и внезапно умершего Пантелея, которого она любила всю жизнь. И теперь она уже не носила фамилию Амбарзаки, так как вышла вторично замуж и была Филиппова.

Ее второй муж, пожилой вдовец с двумя детьми, был человек с тяжелым характером, но надежный и порядочный. Лиза вышла за него замуж потому, что ей было все равно. Она честно исполняла свой долг: вела хозяйство, воспитывала чужих детей и терпеливо делила свою жизнь с человеком, которого не любила, но уважала.

Увидев своего дядю Колю в таком странном виде, а главное, поняв по его лицу, что он тяжело, может быть, даже смертельно болен, Лиза настояла, чтобы он больше никуда не ходил, а остался жить у них. Он улыбнулся, и эта слабая, беспомощная улыбка любви и благодарности оказалась его последней улыбкой в жизни.

Оба его сына — старший, Саша, и младший, Жора, — вернулись в город уже после похорон отца.

Смерть любимого дяди Коли Лиза приняла, не выказывая своего отчаяния и горя, наружно так же спокойно, деятельно, как некогда ее мать Зинаида Эммануиловна приняла смерть Никанора Никаноровича. Лиза всецело отдалась заботам о достойном погребении покойного дяди. Она собственноручно обмыла его тело, обрядила, причесала, сложила его руки высоко на груди и вложила в окостеневшие пальцы с обручальным кольцом, которое так вьелось в кожу, что его невозможно было снять с пальца, маленькую иконку, купленную на рыночном развале у монашки, а также остаток засохшей пальмовой ветки, вынутой из-за образа в квартире покойного на Пироговской улице.

...В гробу он был очень хорош, даже красив и моложав, в своем узеньком сюртучке, который отпарила, вычистила, выгладила и вставила в рукава белоснежные, накрахмаленные манжеты его племянница Лиза.

На панихиду и на похороны Николая Никаноровича, несмотря на такое опасное, тревожное время, пришло много народа.

Его помнили и любили.

Пришли бывшие его ученицы, уже теперь пожилые епархиалки, пришли старые университетские сокурсники — несколько стариков, оставшихся в живых, — пришли несколько рабочих, тоже стариков, которым он некогда преподавал русский язык и географию в школе десятичников...

...Пел хор бывших семинаристов...

Двоюродные братья дошли до угла Пироговской и Пролетарского бульвара. Тут Михаил Никанорович остановился, для того чтобы передохнуть. Лицо его побледнело и осунулось.

Они долго стояли молча, как бы заново переживая всю свою жизнь, жизнь внуков вятского протоиерея. Потом они повернули за угол и пошли по Пролетарскому бульвару вдоль все той же полинявшей, бледно-розовой, утомительно длинной госпитальной стены. Возле проходной они опять остановились.

— Ты, Саша, дальше меня не провожай, — сказал Михаил Никанорович, — я доплетусь до палаты как-нибудь своим ходом. Мне, знаешь, что-то совсем стало нехорошо. Я думаю, что на этот раз вряд ли выкручусь. Давай на всякий пожарный случай простимся. И вот еще что: если со мной это случится и тебе пришлют соответствующую телеграмму, то ты, пожалуйста, не приезжай. Не люблю я эти церемонии и тебе не советую.

— Ты, Миша, пессимист,— с наигранным весельем сказал Александр Николаевич.

— Нет, я просто опытный врач и материалист.

Они обнялись.

Из проходной вышел вахтер-инвалид с деревянной ногой, подхватил Михаила Никаноровича под руку и деликатно повел через проходную в госпитальный сад.

Некоторое время слышались их шаги по гравию.

Александр Николаевич остался один. Прихрамывая на раненую ногу, он пошел вдоль бульвара, мимо знаменитых мавританских ворот, надеясь по дороге поймать такси. Ему нужно было заехать в гостиницу «Красную»— бывшую «Бристоль»,— где остановилась комиссия по охране окружающей среды.

Во время обследования района проезжали мимо порта Ильичевска, и никто, кроме членкора Синайского, не знал, что когда-то здесь был так называемый Сухой лиман — синее соленое озеро, отделенное от моря белоснежной песчаной косой, куда пенистые волны моря приносили к босым ногам молодых Синайских морских коньков и редкие ракушки.

Он вспомнил, что когда-то они называли Сухой лиман Геннисаретским озером.

1985 г. Переделкино.



АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ



КРУГ ЗАБОТ

Смысл

В обиходе смертей и рождений,
в смене будничных встреч и потерь
не сулит никаких откровений
жизнь чужая: хоть верь, хоть не верь,
а лишь только своею, своею
жизнью — больше, чем смертью своей,—
сможешь выразить смысл и идею
пребыванья средь звезд и людей.

Ради ноши

Мало что не хочу, не могу:
вышел, вышел мне срок на веку —
по зверью отстрелялся.
Отходил за удачей в тайгу.
В приисках отстарался.
По горушкам отбегал. В снегу
навсегда, навсегда отоспался.

Мало что не могу, не хочу,
путь судьбы повторив, повториться —
вечной веткой привычно клониться
к одному и тому же ручью.

Мыслью вдоль по России лечу,
хлопочу, чтобы переродиться
ради ноши, что не по плечу:
не костер возжигаю — свечу
над не тронутой жизнью страницей.

Прикоснуться к истокам хочу —
ярой древности глажу парчу,
повседневность меня сторонится.

Кривда и Правда

«Чья бы там корова ни мычала,
а твоя бы лучше помолчала!» —
так на Правду Кривда накричала.
Намахалась ручками. Ушла.

Правда и до крика все молчала,
да и после криков промолчала,
чтобы все начать опять сначала —
делать, делать добрые дела.

На берегу залива

Молодость на берегу залива
 пролетала быстро и легко,
 отрешалась от себя счастливо,
 и до смерти было далеко,
 и светло, как от волос любимой,
 и покойно, как от рук ее,

и та жизнь, что ускользала мимо,
 так не походила на житье,—
 потому в смешении великом
 дел, забот, восторгов и скорбей
 помнится летящим женским ликом
 над судьбой недвижною твоей.

Любовь детей

Дитя любви — любовь детей,
 но эту истину простую
 ты сознаешь как бы впустую,
 пока не заведешь детей,

пока их жизни чистый свет
 с твоею не соприкоснется,
 пока в душе не шевельнется
 вина: зачем рождал на свет?..

Егерь

Самойле Устинову.

«Есть высший суд — я по войне знаком
 с ним! — ждет. И грянет, не пропустит часа.
 А браконьер подавится куском
 украденного у народа мяса...» —
 он говорил, читая на ходу
 вечерние следы.

Мы торопились,
 держа собак на поводках, — беду
 они давно почуяли. Взъярились.

Он утром лося стаскивал с плетня,
 вез в город — зашивать ему подбрюшье;
 а в полдень на обход сманил меня;
 а завтра с ночи, отложивши ружья,
 с напарником они поедут в лес —
 разбрасывать, где ждет зверье, подкормку;
 а послезавтра пенсия — в собес
 обратно в город...

Лег закат на кромку
 московского леса. Снег посинел.
 Позатемнились дальние опушки.
 Перестоявший наст почти звенел
 под лыжами.

На берегу речушки,
 как раз где был лосиный переброд
 из ивняка в ивняк, сверкал костерчик,
 и четверо дубленковых господ
 в собачьих шапках (показалось, в волчьих)
 уже хлебнули за трофей. уже
 обжарили печенку — и вальяжно
 расселись вокруг огня.

Как на меже —
 валун, лежала туша, страшно
 вздев ноги к небу.

Егерь снял ружье
 и сунул мне:
 «Смотри, коль что — подможешь.

Грози, но не стреляй. Они свое получат!.. В протоколе суть изложишь. Не враз иди за мной...» И науськнул собак.

И если через пять решительных минут, когда к шараге той он подойдет на шаг, они его (насев на плечи) не сомнут, и если среди них есть трезвый хоть один, и если рык собак их сдаться убедит, и если там никто не вскинет карабин, то, может, высший суд сегодня победит — и браконьер подавится куском...

Молю у всех богов я выдержки и сил.
Рука моя уже смерзается с курком.

А он — едва собак с их поводков спустил...

Мета

Уплотняя время до момента,
где бывшее будущим стает,
вижу:
вот она, святая мета,
за которой Слово привстает,
как большое солнце — над равниной,
не проснувшейся пока...

Жарко веет дерзостью былинной,
давней новью, свежестью старинной
от строки, стремящейся в века:
пусть еще не явлена она,
а уже тревожит времена —
гудом откровенности лавинной,
гулом приближения полна.

О памяти

Память — это вид бессмертья,
и она при нас подчас:
как при мамке ходят дети,
за подолом волочась.

Дерг-подерг, глядишь, а там
у стопы, малым-мала,
наша жизнь напомнит нам,
что до нас не доросла.

Патриарх

Он с ведром проходит к роднику,
но, забывши зачерпнуть воды,
с пылом, не приставшим старику,
молодо берется за труды —
подправляет крепь и чистит сток,
а в ногах, что травка у ведра,
вьется, шебаршит, свистит в свисток
чуть не всей вселенной детвора..

Подвиг жизни! — как достойно он
на сто лет без малого продлен.

Это все же надо угадать,
чтоб в любви до срока не сгореть

и многожды жизнь живому дать —
 продлевая жизнь, не умереть:
 через войны шел как сквозь века,
 чтоб на праздник доброты успеть,
 чтоб до смерти жить у родника,
 что и внукам внуков будет петь...

Подвиг жизни! — как негромко он
 на Руси вершится испокон.

Побудь, любимая

Побудь, любимая, пока
 мы друг для друга открываем
 смысл встречи на земле — сгораем
 в пылу страстей, и жизнь легка.

Я завтра, может, даже сам
 дом нашей нежности разрушу,
 сменю вселенную, а душу
 не по лугам, так по лесам
 развею... То нескорый путь...
 А нынче ты мне смерти ближе:
 нас двое, мир нам — третий лишний.
 Побудь, пока любовь. Побудь!

Пока разомкнут круг забот
 насыщенной жаждою друг друга,
 не покидай меня, подруга,
 а то уйдешь — и жизнь уйдет.

Столичный сибиряк

Был стремительным и тощим,
 стал медлительным и тучным.
 А ведь раньше все по рощам
 норовил. Да и по тучам,
 да и по неближним далям...
 А теперь — все больше дома,
 то работою придавлен,
 то хвороба, как истома,
 одолеет...

И осталось
 вспоминать лишь, как хотелось
 в высь взлететь. И как взлеталось,
 и как в высях тех летелось.

Жизнь страны!
 Большое время!
 Титаническое дело!
 Вместе был тогда со всеми.
 Много молодость успела.
 Потому порой вдогонку
 этой жизни отшумевшей
 он живет светло и звонко,
 как нажиться не успевший.

Помнятся не дни и годы,
 не напасти и лишения,

а работы и походы —
 долг и дерзость поколенья.
 И конечно же, конечно
 вспоминается как въяве
 женщина в пурге кромешной
 на ангарской переправе.
 Молода, как снег предзимья,
 как в ночи костер, желанна,
 взгляд, как лед закрайка, синий...

Эта встреча —
 два бурана,
 два пожара, два потока.
 Ярь смиряться не умела.
 Эта страсть была жестока —
 будущее в ней сгорело.
 Но осталась, но осталась
 память: как жилось, как пелось,
 как над буднями взлеталось,
 над мирами как летелось...

...Жизнь моя!
 Не повторяйся,
 над горшком не плачь разбитым,
 но в деянье претворяйся —
 продолжайся за прожитым.
 То строкою, то восторгом,
 то животворящей грустью
 припадай к своим истокам,
 хоть уже впадаешь в устье.
 И конечно же, конечно
 будь, как прежде, человеческой —
 откликайся болью нежной
 на страданье страсти встречной.
 А когда в судьбе засилье
 стужи, в это время злое
 вспоминай, как снег предзимья,
 как в ночи костер,—
 былое,

жизнь моя!
 И дай мне малость —
 дерзость, истовость и смелость,
 чтоб над буднями взлеталось
 и вдоль времени летелось.



ВАСИЛИЙ СУББОТИН

★

В ДРУГОЙ СТРАНЕ

Повесть

Глава первая

Дорога была белой и не очень широкой, а кругом стоял лес. Солнце еще не поднялось высоко, и внизу, на нежном инее дороги, лежала плотная тень. Лес был еще голый и сырой, там было темно и оттуда веяло холодом.

Нас было двое в повозке, я и капитан Кондратьев — раненный на Одере командир артиллерийской батареи. Я его вез в госпиталь. Мы ехали в обычной военной телеге с крутыми бортами, на дно которой было брошено немного сена. Впереди нас, где-то под самым хвостом лошади, приткнулся солдат — повозочный в пилотке, которая была натянута на его голову от уха до уха. Ехали мы не на резиновом ходу, а на колесах, окованных железом, но тележку нашу не трясло и не колотило, они вращались тихо, сами по себе как бы. Только слышался цокот копыт. Лошадка была хорошая, пришедшая в Германию русская лошадка, уцелевшая от мин и снарядов. Я ехал за пакетом в армейский штаб и по пути должен был сдать капитана в госпиталь. Капитан был ранен, ранен тяжело, и в руку и в ногу, и к тому же контужен. Он наскочил на мину. Какое-то время, и довольно долго, он лежал в санроте своего полка, все не хотел уходить оттуда, но теперь его отправляли в тыл, в армейский госпиталь.

Тылы наши сильно растянулись, и потому дорога нам предстояла неблизкая.

Я знал капитана Кондратьева мало, правда, приходил к нему на батарею, но знакомство наше было скорее служебным, одним из тех знакомств, каких у меня, человека, работавшего в газете, было много.

Солнце поднималось все выше и выше. Становилось теплее. В лесу еще сохранялась тень, и из глубины его еще веяло сыростью, но от прогретых на солнце макушек сосен доносился теплый запах смолы. Мы катили через лес, и дорога, каменная вся, там, где на нее падало солнце, успела просохнуть от проступившего на ней за ночь инея. Мой спутник тревожно оглядывался, озирался вокруг, как бы не понимая где он. Вдруг телега остановилась. Лошадь, качавшаяся до того довольно легко, вдруг неожиданно встала, затопталась, словно бы уткнулась в какую-нибудь преграду, и принялась кому-то однообразно поматывать головой. Но никого и ничего отсюда не было видно. Я приподнялся и ничего не увидел, но тут я, вздрогнув, приказал повозочному стоять и поскорее выпрыгнул из повозки. Перед самой мордой лошади маленькое на длинных ножках животное судорожно скользило по дороге. Боясь, что оно сейчас взлетит над дорогой, стукнет копытами и пропадет, я сейчас же схватил его и, держа в руках, перевалился через борт. Все это случилось за одну минуту, и я,

откровенно сказать, даже не понял, кто это. Лошадь тронулась. Кондратьев повернулся ко мне и болезненно мычал, будто не верил. От него нельзя было добиться ни слова. И повозочный тоже, крутнул головой и рассмеялся. Все было как прежде, тот же лес, то же солнце, проглядывающее между сосен. Будто ничего не произошло. Только в птичьем хоре наступил перерыв. В телеге у нас находилось маленькое пугливое существо на длинных ножках. Дикий козленок! Только теперь мы почувствовали по-настоящему, что мы одни, что мы выехали из войны, что ничего вокруг нас нет, кроме этого вернувшегося дня, утреннего солнца, леса, звеневшего птицами, и этой дороги, высокой, прямой, с играющими на ней бликами, дороги, уводящей от войны, от переднего края; щебечущего леса, прелых и пряных, дурманящих голову запахов опавшей листвы и травы.

Я отдал козленка Кондратьеву. Поставив его рядом и прижимая к себе, он поддерживал его здоровой рукой. Козленок втягивал воздух в себя и начинал биться. Лесные запахи пробуждали в его мозгу какие-то свои, непонятные нам всем, но сильные воспоминания. Рыльце у него было черненькое, а сам он был рыженький, с желтыми пятнышками на спине. Еще с трудом, еще неуверенно стоял он на своих длинных ножках между мной и Кондратьевым и чутко поводил ушами.

Солдат перестал подгонять лошадь, мы как-то сразу перестали торопиться. Время от времени нам встречалась какая-нибудь громоздкая, высоко нагруженная немецкая фура, запряженная двумя мохноногими тяжелыми битюгами. Завидев нашу повозку, сидящий на козлах хозяин такой фуры заранее пугался и еще издали, далеко не доехав, начинал отворачивать, прижимался к обочине. Он изо всех сил старался как можно скорее уступить нам дорогу. Он намеренно громко понукал лошадей и не столько пугался, сколько, я думаю, старался придать своему лицу испуганное выражение. Но почти в ту же минуту, заметив в нашей повозке поднявшегося на ноги козленка, принимался хлопать глазами, мгновенно забывал обо всем, опускал вожжи, лицо его приобретало естественное свое, заинтересованное выражение, человек успокаивался, улыбался. Улыбаясь друг другу, мы дружелюбно разъезжались.

Мы уже давно выехали из леса и теперь ехали через поля. Повсюду были видны выющиеся по полям дороги. Земля еще не просохла как следует и была черная, холодная, вся еще стылая, она еще только готовилась к цветению, к тому, чтобы, прогревшись, начать возвращать поглощенное ею тепло, обращать его понемногу в плоды, в цвет и завязь, в клубни и злаки. Мы уже давно выехали из леса и теперь медленно спускались в долину, все куда-то ниже и ниже под уклон. Я не знаю, почему мы так долго спускались. Начались долины, холмы, красные крыши построек и озими, еще зеленые, только еще вытягившие, еще не пошедшие в рост. Козленок лежал, подобрав под себя ноги. Он уже перестал вздрагивать, давно оставил попытки вернуться в лес, к матери, к семье своей; может быть, и просто смирился и, как казалось мне, чутко подставлял свою костистую спину под мою руку. Тележка наша все катила и катила, мягко постукивала на неровностях. Солнце давно уже начало припекать, оно давно уже поротило к западу.

Так, с козленком в передке повозки, мы добрались до речки, огибающей деревню по самому краю. Река была неширокая, текла медленно, почти вровень с берегами, густо заросла по берегу ивами. Мы въехали в их легкую тень и здесь, у воды, на окраине деревни, остановились, потому что пришла пора кормить лошадь. В передке у повозочного оказался кошель с овсом. Кондратьев остался в телеге, а я вылез. И тут нас сразу же окружили, немецкие дети стояли кругом и заглядывали к нам в повозку. Они были такие же любопытные, как и все дети на свете. Подошла еще женщина с ребенком на руках и

тоже смотрела в нашу повозку на лежавшего в ней козленка. Он лежал на постланном ему сене, лежал спокойно, видимо, он окончательно успокоился или устал. Мы и сами закусили тем, что у нас было с собой, перепрягли и поехали дальше, и — не знаю, сколько мы еще проехали. Оставшаяся часть пути запомнилась мне меньше, чем наш выезд, чем дорога через лес. Ехали при все более западающем солнце, ехали на юг, вернее на юго-запад даже, между двумя рядами деревьев, вставших не за канавой, как у нас, а на самой дороге, по краям, и к вечеру, когда солнце уже спряталось, зашло за холмы, въехали в деревню. Здесь, в этой деревне, и размещался тот госпиталь, в котором я должен был оставить своего спутника.

Подвода наша остановилась под деревьями возле одного из домов. Как всегда это бывает в темноте, деревья, стоящие рядом, казались необыкновенно высокими. Да и сама улица тоже выглядела в темноте необыкновенно широкой, и в темноте опять же казалось, что вся она поросла травой... Из калитки, из темноты двора, вышли несколько девушек. Они, как видно, уже знали о нашем приезде и поджидали нас. Впереди всех стояла женщина, небольшая, широколицая, в военной форме, как все. Я приподнялся на своем сене и увидел, как Кондратьев тяжело встал и, опираясь на телегу, молча передал ей козленка. (Он стоял перед ней, как бы защищаясь, держа козленка перед собой.) Была она не в гимнастерке, а в военном платье, стянутом в талии. Белый воротничок белел у нее резче, чем у других. На плечах у нее, как я теперь увидел, были узкие лейтенантские погоны. Она, как показалось мне, не ожидала этого, но козленка приняла. Не знала, как быть, и не ожидала, но приняла козленка на руки. Увидев козленка, девушки подняли крик, они чуть не прыгали от радости, от восторга.

Кондратьев передал козленка, а я подхватил самого Кондратьева. Девушки повели нас в дом. Козленка сразу же устроили на мягкой подстилке в передней возле двери. Возле него была поставлена баночка с молоком.

Это, как я понял, была та самая женщина, которая должна была его встретить здесь, мне о ней что-то говорили там, в полку и в санроте, когда мы выезжали, но я не все понял, потому что я не входил тогда во все это. Я ее плохо разглядел, признаться, и отличал от других таких же, как и она, девушек в военной форме только по ее гимназическому воротничку: поверх ворота форменного, глухо застегивающегося зеленого платья был выпущен у нее белый кружевной воротничок. Может быть, от смущения — я не знал их отношений с капитаном Кондратьевым, и она явно стеснялась меня — мы мало говорили. Я даже имени ее не знал, а может быть, не запомнил.

Ужинали мы при лампе. На столе стояли консервы и всякая другая еда, прихотливая, умело и заботливо расставленная женскими руками, редкая на войне, и стояла бутылка шнапса дефицитного, но, может быть, и спирта неразбавленного, но мы мало ели, а пить нам и вовсе не хотелось. Мы все время думали о козленке. Девушки то и дело бегали смотреть на него; как он там. Он лежал на своей подстилке у двери, возле него стояла эта баночка с молоком, но он ничего не ел, не мог, должно быть. Должно быть, ему было плохо, может быть, у него кружилась голова от дороги, от всего, что он пережил за этот день. Я тоже пошел взглянуть на него, проведать его, и увидел, что он даже голову не держал.

Мы не хотели засиживаться. Было уже поздно, девушкам надо было рано с утра быть на работе, на своих дежурствах, да и мы, сказать по правде, сильно очень устали. День был тяжелый, дорога долгая, длинная, нас напекло солнцем, ехали целый день. Хотелось поскорее закончить с ужином и поблагодарить хозяйку. Мы встали. Но еще до того, как мы встали из-за стола, нам сказали, что козленок умер.

Мы сидели как на похоронах. Капитан был подавлен. Вот так грустно закончился этот день. Мы встали и, ничего не говоря друг другу, молча пошли спать.

На другой день я нашел штаб армии и, оставив капитана Кондратьева здесь, в деревне этой, вернулся к себе.

Глава вторая

В первое мирное лето, после войны вскорости, я и сам тоже волею судьбы, обстоятельств или того, что принято называть подобного рода словами, оказался в госпитале, размещенном в одном небольшом городке на севере Германии, и провел здесь не один тяжелый для меня месяц.

Переход от войны к миру оказался для меня более чем трудным. Я был как тот провод, по которому перед тем шел ток высокого напряжения. Я жил в таком напряжении всю войну, что был как тот провод. Едва только мы вылезли из развалин Берлина, едва пришли сюда, в этот обойденный войной маленький бранденбургский городок, как я сразу же свалился. Сказалась война, сказались все, что было испытано на ней, начиная с сорок первого года, но больше всего — старая, когда-то перенесенная и совсем вроде бы одно время преодоленная контузия. Но так всегда и бывает, должно быть, когда спадает напряжение. Меня надо было поскорее включить в сеть, а меня держали здесь, на окраине этого крохотного городка, среди этой громкой, оглушающе действующей тишины, и я с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже.

Сам того не ожидая, я остался один, без друзей, без товарищей, с которыми прошел всю войну, без той жизни, к которой я привык и к которой, может быть, единственно был пригоден, и не находил себе места. Я лежал в этом обойденном войной немецком городе, в госпитале, относящемся, как впоследствии выяснилось, даже к другой армии, и не знал, где мне искать своих. Я только знал, что они на Эльбе и даже, как мне говорили, далеко за Эльбой где-то, но где точно — я совершенно не знал и не имел об этом ни малейшего представления.

Между прочим, в первое утро, когда я только еще поступил сюда, а еще до того, как я успел оглядеться здесь, когда я только-только проснулся, я увидел рядом с собой на соседней койке глядевшего на меня человека, младшего лейтенанта, как потом оказалось. Не помню уж, с чем он лежал, оправлялся, должно быть, от старых болезней, отлеживался, пока можно было, пока позволяла обстановка. Он и сам, должно быть, только что проснулся. Поглядев на меня еще раз и убедившись в том, что я и впрямь проснулся наконец, он вытащил откуда-то из-под подушки колоду довольно засаленных карт и, подмигнув мне по-свойски, сказал весело:

— Ну что, старшой, перекинемся, что ли?

Откуда он узнал, что я старший лейтенант, понять не могу, от сестры скорее всего, должно быть, пока я еще спал.

Я согласился, хотя в карты, насколько помню, никогда в жизни не играл, разве что дома, в деревне, в детские годы свои, но, конечно, в дурака да в подкидного, если только это не одно и то же.

На подоконнике у меня лежали марки, несколько пачек так называемых оккупационных марок, набравшихся у меня с той минуты, как мы перешли границу и нам этими марками стали платить жалованье. У меня их — тратить их все равно было некуда — набралось за это время пачек двадцать, не меньше. Две высоких стопы, туго забандероленных, заклеенных поперек бумажной лентой, лежали у меня на самом виду, на подоконнике. Когда я накануне вечером поступил сюда, у меня, как водится, все сразу же отобрали: и пистолет, и гимнастерку, и сапоги мои новые, и даже полевую сумку, с которой я столько прошагал, пряча в нее все, что у меня было, но

прежде всего блокноты с моими большей частью сделанными на передовой и потому очень краткими корреспондентскими записями. Взамен мне дали не достающий до колен вытертый дамский халатик да кальсоны с тесемочками, которые имели способность столь туго затягиваться, что развязать их не было никакой возможности.

Все мои бумаги, документы, какие у меня были, и эти марки мне пришлось завернуть в газету, а что-то даже, поскольку девать все это было некуда, завязать в носовой платок и со всем этим направиться в палату...

Мой сосед, этот младший лейтенант, лежащий со мной рядом, как видно, вполне уже освоившийся к этому времени с обстановкой, быстро углядел эти мои валяющиеся без всякого присмотра и употребления марки.

Не прошло, я думаю, и сорока минут, как все эти двадцать пачек, около двадцати тысяч, я думаю, перекочевали с моего подоконника в тумбочку этого младшего лейтенанта. Очень быстро он все это проделал. Я и сообразить ничего не успел, как у меня не осталось ни одной марки.

Младший лейтенант этот, если уж на то пошло, как потом оказалось, был картографом в штабе одной из дивизий. Есть такая должность на войне. Звали его Колей. Мы с ним потом подружились даже...

Палата, в которой я лежал, была большая, человек, я думаю, на сорок, не меньше. Это был огромный, вытянутый в длину зал. Люди лежали тут тесно, в два ряда, разделенные только узким проходом, и я отсюда, из своего угла, от стены, где меня положили, не сразу всех мог разглядеть. Как и весь госпиталь в целом, палата была сборной. Тут лежали и раненые, и контуженные, и даже, тоже в результате перенесенных травм и контузий, такие, которых бросало иногда с кровати, разом, в одно мгновение, так что не успеешь оглянуться, а его уже бьет — человек уже лежит между кроватями и бьется, колотится головой об пол. И надо было, не теряя времени, кидаться, придавливать такого человека к полу, чтобы он не убил, не искалечил себя... А еще тут были люди с застарелыми, запущенными, незаживающими ранами. Надо сказать, что эти страдали особенно сильно. Когда раны у них, чаще под вечер, во второй половине дня, или утром, на рассвете, принимались гореть, они сбрасывали все, что у них было под рукой, требовали морфия, уколов, а если сестры, соблюдая запрет, не хотели делать, отговаривались чем-нибудь, уходили и долго не появлялись, вслед им, в дверь, к дверям, летели костыли, чашки, все, что можно было схватить с тумбочки или с полу и бросить в припадке гнева, вызванного болью, в испугленной, бессильной ярости.

Тут, как уже сказано, все были вместе, больные и раненые, многие из которых были безнадежными. Все лежали в одной общей палате на кроватях, тесно поставленных одна к другой... Но больных тут было даже больше, чем раненых. Еще раз скажу: я думаю, что врачи знают об этом лучше всего — с окончанием войны люди повалились как-то сразу, один за другим. Очень многие попали в госпитали. Всё, я думаю, оттого же, что спало напряжение. Война догоняла людей, казалось бы уже вышедших из войны.

Все тут лежали вместе, в одной общей палате, один возле другого и один за другим.

Каждый тут был сам по себе и одновременно вместе со всеми. Каждый попал сюда своим путем, и у каждого тут была своя судьба и своя доля. Не всем суждено было отсюда выйти, и это тоже знали все, не каждый только знал это про себя.

Довольно долго я лежал в этой общей палате, а потом, недели две спустя, меня перевели в другую, маленькую совсем, с окнами во двор, где лежали еще двое — старик, очень исхудавший, врач-

подполковник, работавший в том же госпитале, у которого, как я узнал позже, был рак, и еще один — авиатехник, кажется, этот был помоложе, человек замкнутый, если не сказать осторожный, у которого было слишком смутное представление о войне, что меня очень тогда удивляло. (На войне можно быть за десять километров от войны и ничего не знать о ней!) Но скоро старик умер, авиатехник получил отпуск, а я остался один. Госпиталь понемногу начинал освобождаться, рассовывать по разным местам и отправлять в тыл тех раненых и больных, которых можно было отправить.

Госпиталь был расположен за городом, почти на самой окраине. Это был целый больничный городок, вокруг которого шла высокая красная стена. Рядом с ним, с этим больничным городком, через дорогу от него, за луговиной, сияло большое озеро, оно все заросло по краям деревьями, а кое-где даже тростником и осокой. Только на противоположном берегу были видны какие-то деревянные постройки, купальни, причалы может быть, а в одном месте, в разрыве, за домами, была видна кирпичная труба — должно быть, корпус какого-нибудь небольшого здешнего завода. Левее там, на середину озера, с противоположного, как я думал, подступающего сюда берега, выдавался далеко в воду хвойный лесок, росли высокие ели и сосны, а по-над водой такие же высокие ветлы.

Такое это было озеро и такой берег.

Я мало находился в палате у себя. Едва только мне разрешили выходить на улицу из палаты своей и из корпуса, как я переодевался, надевал вязаные брюки, где-то мной раздобытые, белую рубашку и уходил в город. Я шел через больничный городок, держась в тени, под навесом густых каштанов, по булыжным, камнем мощенным аллеям, шел к воротам, никем и никогда не охраняемым. Затем выбирался на дорогу, высокую, гудронированную и тоже загороженную от солнца стоящими по бокам деревьями. Но залитое черным гудроном шоссе гудело, по нему то и дело проносились машины. Я сходил на боковую дорожку, забитую травой. Справа от меня сверкало озеро, а на другой стороне, за мощным столбом тени, сквозь деревья были видны озаренные солнцем поля, зеленые и желтые холмистые дали, а там еще такие же ветвящиеся, раскинувшиеся во все стороны дороги.

До города было еще далеко, и, пока я до него добирался, я успевал послушать повисшего на ниточке, звенящего, славящего день жаворонка и показать дорогу издали откуда-то возвращающейся, тянущей за собой тачку немецкой семье. До города было километра два, но все-таки, пока я — туда-обратно — так ходил, я едва успевал к обеду.

Тут, на дороге, которую мне надо было перейти, на обочине ее стоял бршщенный немецкий танк, хитроумный, со множеством люков, со свернутой на сторону башней и сорванной, лежащей в траве гусеницей, и в нем играли белоголовые немецкие дети. Когда бы я ни шел, они всегда тут лазили, высовывали головы из люков, зная уже, что мы их не погоним. Они лазили уже в самом танке и копались там, внутри... Странно, что не было слышно ни одного крика, что дети эти, играя там, в танке, не шумели, не кричали, как, казалось бы, должны были бы, а играли совершенно бесшумно, ни одного крика, ни одного звука не было слышно. Как будто смотришь пьесу, исполняемую глухонемыми...

Я ходил всегда по одной и той же улице мимо кинотеатра, к тому времени уже открывшегося, доходил до переезда, до шлагбаума, желтого, перегораживающего улицу, за которым уже начиналась полная тень от сошедшихся над головой деревьев, и почему-то так ни разу и не перешел туда, за этот шлагбаум, за переезд.

Я возвращался в палату к обеду, выпивал поставленные для меня заранее в шкаф полстакана отвратительного напитка, называемого ли-

кером, наскоро, без всякого вкуса, съедал обед и засыпал, если мог. К сожалению, чаще всего не мог.

Днем я выходил в парк, бесцельно бродил среди корпусов, выбирался на дорогу, где тень от деревьев была гуще, а всего чаще сидел на берегу озера, у воды, высматривал неизвестно что. Озеро было красивое и доброе, оно слегка даже ласково поплескивало у берега, как море. Листва на деревьях, на буках и вязах, которые росли вокруг, успела не только всюю развернуться, но и довольно сильно запылиться, основательно покрыться пылью. Ее припекало солнце. Лето было сухое и жаркое.

Тут, у воды, я сидел рядом с удильщиком, старым востроносым немцем, который каждый день приходил сюда и аккуратно раскладывал свои удочки в тени ветлы. Тут были и березы и ветлы. Я удивлялся, что деревья тут, в Германии, были те же самые и точно такие же, как и у нас в России... Я смотрел, как он часами так же бесцельно, как я, сидит у озера, следил за его яркими на воде поплавками или смотрел на лежавший на том берегу город. На закате он был очень хорош, весь остроконечный, контурно-черный, с его четко прочерченными в небе силуэтами. Вода в озере была в эту минуту спокойной, в отблесках заката она лежала как-то особенно тяжело.

По вечерам я подолгу не отходил от окна, глядя на красные, плющом увитые корпуса клиник, на башни, на кирху, на раскрытые в этот час окна палат. Следил из своего окна за тем, как далеко там, внизу, солнце заходит за черепичные, острые, круто поднятые крыши домов...

Я чувствовал себя покинутым и забытым, оставленным здесь навсегда... Я был как выкинутая на берег ракушка, на берег озера, которое расстилалось тут, за дорогой.

Глава третья

Надо сказать, что я узнал этот город еще до того, как попал в госпиталь. Я даже жил здесь некоторое время... Теперь мне казалось, что все это было со мной когда-то очень давно.

Нас вывели из Берлина через неделю после того, как бои в Берлине закончились — через день или через два, как мне кажется, после праздника победы. Мы даже не знали, в первое время даже не поняли, что произошло, куда и почему нас выводят... Мы вообще ничего не знали. Ночью нас разбудили, подняли, что называется, по тревоге, мы наскоро, в темноте, погрузились и той же ночью выехали из города. Мы только потом узнали, что в занимаемый нами район Берлина наутро должны были прийти англичане. Они пришли туда только через две или три недели.

Армия наша, как и другие армии нашего фронта, вела бои за Берлин, а мы даже, корпус наш и наша дивизия, вырвавшись вперед, опередив других, тех, может быть, кому это надлежало сделать, и, возможно, спутав тем самым планы, разработанные где-то там, наверху, прорвались к центру и вели бои за правительственный квартал, брали рейхстаг.

Мы много похоронили в Берлине наших солдат...

В первое время мы стояли в так называемых охотничьих угодьях Геринга, в его имении, где он находился с тех пор, как, увидев, что сопротивление бесполезно, бежал из Берлина. Когда мы приехали, он уже скрылся, бежал и отсюда, все еще рассчитывая на что-то... Очень красивые были места. Два озера соединялись здесь в одно. Но мы недолго стояли здесь, на этом озере и в этом лесу, где рядом с замком Геринга, в лесу том же, в вольерах, жили дикие звери, его собственный, Геринга, зоопарк. Очень скоро, так же поспешно, мы и обжиться не успели тут, нас вывели и отсюда, и мы опять двинулись

по дороге, через поля и леса куда-то все дальше на север и приехали в маленький, наполовину брошенный, покинутый жителями городок...

Город, в который мы пришли, ничуть не был разрушен, война его пощадила, как ни странно, обошла его стороной. А между тем именно отсюда, в конце всего, пробивались к окруженному нами, зажатому в кольцо Берлину последние немецкие части армии Венка, на которые так рассчитывал Гитлер. Солдаты этой армии, те, что остались живы, беспорядочным потоком, опрокидывая обозы беженцев, хлынули потом за Эльбу.

Городок был, как уже сказано, небольшой, двухэтажный и тоже был расположен вокруг озера. Здесь мы и остановились.

Мы жили тут в доме рядом с каналом.

Во дворе почти перед самым моим окном пышно цвело какое-то молодое, свежее дерево, может быть, это была слива или яблоня, не помню уже сейчас точно, тоже уже начинавшая цвести к этому времени. Возле забранной сеткой бетонной ограды цвела сирень. У входа, перед порошками самыми, был небольшой зеленый газон, с первой, но уже пошедшей в рост травой. По другую сторону улицы, напротив дома, в котором мы остановились, бурлил, нес свои все еще не схлынувшие вешние воды канал, по берегам которого, грубо и отвесно выложенным камнем, липа скрыто наливала почки медом. Дубы и вязы, почувствовав тепло, тоже уже начинали разворачивать свою упругую, нежную и сочную, но уже темную листву. Повсюду, вдоль тротуаров, по краям и обочинам дорог, во дворах и на улицах, что-нибудь цвело, благоухало, и сам воздух был напоен свежестью утра, запахами молодой, только что народившейся, еще влажной травы, зеленью первой весенней листвы, был воздухом вступающей в свои права весны.

Все было такое же, как всегда, как каждую весну, но теперь все это воспринималось как бы внове, как бы в первый раз, как будто мы никогда ни разу этого не видели, как будто это была первая весна для нас. Все дело было, наверно, в том, что закончилась война, что настал мир.

И первая зеленая трава, и развернувшаяся листва — все это было необычайно и все было как в первый раз.

Тут, недалеко от канала, в самом начале двух выходивших к мосту улиц, на их скрещении, был маленький, тоже весь заросший липами и вязами бульвар, и я, первое время, когда мы только еще приехали сюда, еще не зная города, проходил мимо и вдруг среди листвы, в разросшихся деревьях, увидел какую-то фигуру, статую сидящего здесь человека. Он сидел на скамейке, положив ногу на ногу, сложив незанятые руки на колене. Сидел посреди города, на перекрестке двух сходящихся здесь улиц, в позе усталого, задумавшегося человека. С одной стороны на этой скамейке лежала шляпа, а с другой была прислонена трость, дорожная палка.

Это был памятник человеку, родившемуся когда-то здесь, в этом городе, и воспевшему красоту этих мест, всей этой неброской с виду земли, милых перелесков и озер, нежно-зеленых, золотистых полей, памятник человеку, открывшему немцам красоту этих мест...

Он сидел на полукруглой этой мраморной скамье, а его трость была рядом с ним. Кусты, росшие у него за спиной, совершенно прикрыли его. Был июнь, начиналось самое настоящее лето. Война отгремела, и теперь все шло в рост.

Он сидел, как я уже сказал, в самом начале бульвара, на перекрестке двух сходящихся здесь улиц, и я обнаружил его случайно, случайно вышел к нему, пробираясь в зарослях, раздвигая прикрывавшие его со всех сторон ветки...

С тех пор я всегда сворачивал на эту улицу, когда доходил до перекрестка.

У хозяев, в доме которых мы остановились, впрочем, хозяйки, потому что хозяина я не видел, тут же, на улице, перед домом, был магазин красок, крохотный такой магазинчик, вроде киоска газетного, весь из стекла, весь заставленный изнутри яркими банками с краской, очень нарядными и пестрыми. Торговала в нем дочь хозяйки дома, молодая и довольно красивая девушка, которая, я видел это, всегда приходила в своего рода гнев, может быть, в негодование даже, когда мне случалось нечаянно взглянуть в ее сторону. Я не знаю, почему она так сердилась, возмущалась и негодовала, эта молодая особа, может быть, ей представлялось, что я имею на нее какие-нибудь виды и вообще собираюсь за ней ухаживать, хотя ничего подобного у меня и в мыслях не было.

Я думаю, что такой же худой и нескладный, как я, живший здесь паренек, а может быть, даже и офицер молоденький, часто проходивший мимо этого киоска и заглядывавшийся на нее, был теперь где-нибудь очень далеко от нее, если она вообще что-нибудь знала о его судьбе...

Так скорее всего именно и было.

За мостом, по другую сторону улицы, стояли наши полки, и это мне больше всего казалось странным. И то, что полки были вместе, но, главное, то, что штаб дивизии и полки располагались на одной и той же улице, один подле другого. Я привык видеть все это рассредоточенным, привык к тому, что до них всегда надо было добираться, а тут они стояли рядом, на одной и той же улице, и надо было только перейти мост, чтобы быть там, у них.

Немцы возвращались из лесов, город постепенно оживал.

Во дворе, с другой стороны дома, стояла наша забранная досками, вконец разошедшая полуторка всю войну поившего и кормившего нас Митя, в одно и то же время шофера и повара, стоявшего и здесь тоже над котелками, готовившего обед на кухне у хозяев. Если он, Митя, здесь что-нибудь и оккупировал, так разве что одну только кухню.

В одной из комнат, в которой я жил вместе с другим сотрудником нашей редакции, стояли две кровати, два кресла и журнальный, круглый, покрытый толстым стеклом низенький столик. Ничего подобного за все годы войны я не видел, с такими удобствами мы еще никогда не располагались. В смежной, довольно большой, но несколько темной комнате, наверно гостиной, жили все остальные — наш печатник, наборщик, к тому времени у нас уже их было два, и Митя тот же.

Хозяйка, с нею была, как видно, родственница, жила у себя наверху, на втором этаже. Я был у них однажды, не помню почему, когда они там у себя пили свой кофе. К ним, как это водится, приходили со своим кофе и своими бутербродами, кажется даже, две каких-то других тоже уже немолодых женщины, соседки.

Все нам тогда казались невероятно пожилыми, кто был хоть немного старше нас.

Ходили они через нас, через ту же гостиную, откуда наверх к ним вела лестница.

Машина, как я уже сказал, стояла во дворе, там набирали, там и печатали.

На газоне в маленьком садике, куда выходило окно моей комнаты, было несколько еще молодых фруктовых деревьев, яблонь и слив, и все это буйно цвело в ту весну. Птицы начинали повсюду вить свои гнезда, скворцы, истошно крича прямо под окнами у меня, сновали туда и сюда, таскали всякую труху к себе наверх туда, обстраиваясь в своих гнездах, здесь же, на деревьях, свитых или в скворечниках оборудованных.

Дверь моя тоже выходила в садик...

Я помню, в первый день, когда мы пришли сюда, когда еще не

совсем стемнело, в комнате моей загорелось электричество, и это квадратное, выходившее в сквер на этот газон окно залила яркая, невероятно синяя, а может быть, даже голубая, краска. Такая яркая синева разлилась по всему окну, что мне это на всю жизнь запомнилось и тоже связалось для меня с первыми днями мира, с этой весной, с окончанием войны.

Никогда ничего подобного я уже потом не видел.

Это было так неожиданно. Весенний свет, свет весны хлынул в окна, залил всю комнату.

Я долго стоял перед этим окном, долго не мог опомниться.

Мы пробыли здесь немного, может быть, недели две всего, а потом нас и отсюда перевели, как потом оказалось — на Эльбу, поближе к демаркационной линии, тогда уже наметившейся, разделившей нас с нашими союзниками по этой войне. Но я туда не попал...

Здесь-то вот меня и положили в госпиталь.

Глава четвертая

Мы были закинута сюда, на берег этого озера, как на остров. Там, по другую сторону озера, в темнеющей зелени вставал загадочный, весь золотой на закате город с башнями, с прозеленевшими крышами. И эти прозеленевшие крыши, и красная черепица, и башни над озером — все это как бы застыло в некоем сне, и время как бы остановилось... И здесь тоже, где я лежал теперь, посреди этих плоских, одинаково красных госпитальных корпусов вынесенного за озеро больничного городка, возвышалась над всем островерхая церковь, кирха, где, по-видимому, отпевали умиравших здесь, в этих клиниках, и где мы тоже могли бы отпевать своих продолжавших умирать и после войны наших солдат. Они умирали еще долго, и через три месяца после войны, и через год еще, и через два...

Чужая земля эта была полна родных могил!

Я испытывал странное чувство пустоты. Я был выбит, я никогда не жил так бездумно и бессмысленно. Я все более тяготился моей жизнью здесь. Один день был похож на другой, и я не видел выхода.

И вот тут, не знаю, откуда она могла взяться, мне попала книга, давно, по-видимому, изданная, в которой я мало что понимал, и не только потому, может быть, что первые тридцать страниц у нее были оторваны вместе с обложкой. Я не знал, что это за книга такая, кто ее написал, откуда она взялась в немецкой этой стране, как она появилась здесь, среди однообразно желтеющих полей и холмов, окружающих город. Никто не мог бы мне сказать этого... Название ее я узнал только благодаря тому, что оно было написано внизу на той самой странице, с которой эта книга теперь начиналась. Странная это была книга... Я читал ее медленно, с трудом, подолгу отрываясь от ее строк, иногда вовсе забывая прочитанное, как если бы и вовсе не читал ничего...

Я читал эту книгу, и перед моими глазами вставала дорога, по которой я не раз ходил за то время, как мне разрешено было выходить из корпуса. Она начиналась сразу за стеной, которой был окружен больничный городок, и шла через рожь — я не знал, что у немцев растет рожь, я думал, что у них только пшеница, — в этом году очень высококу, к оврагу, лощине, заросшей кустами цветущей жимолости и, конечно, черемухи, может быть, и орешника. Не знаю, что это была за тропа, кто по ней ходил. Она шла только к этим зеленым и белым в уже поспевающей ржи кустам цветущей жимолости, далеко видным издали. Она подходила к самому оврагу и к этому кустарнику. Дальше дороги не было. И я мысленно, про себя, называл эту обрывающуюся тут дорогу дорогой никуда, потому что именно так называлась эта книга, единственная книга, которую я читал здесь.

Для многих из тех, кто лежал здесь, она действительно была дорогой никуда.

Я читал эту книгу много дней подряд, перечитывая однажды уже прочитанные страницы, потому что забывал иной раз то, что читал. Читал, все время удивляясь несоответствию того, что было перед моими глазами, вокруг меня, и того, о чем говорилось в этой неизвестно как оказавшейся здесь книге. Читал, не всегда понимая, где я, что со мной. Мир книжный и тот, что был вокруг, были в эти минуты для меня одинаково нереальными.

Я не раз еще, не зная, куда девать себя, ходил к этому оврагу, к тем далеко видным кустам жимолости и орешника, ходил туда и обратно, всякий раз убеждаясь в том, что дорога эта и впрямь никуда не ведет. Тропа шла только до оврага и никуда из него не выходила. Я доходил до них, до этих кустов, по этой дороге и возвращался обратно в мою палату.

Изредка, время от времени ко мне приходил врач.

Врач у меня был очень тихий и застенчивый, очень милый человек, капитан медицинской службы. Он приходил ко мне не часто, к концу дня, как правило, и, как мне показалось, больше для того, чтобы поговорить, отдохнуть, может быть, ведь он целый день работал, целый день был на ногах, а иногда и оперировал даже. Он неслышно входил ко мне в палату, задавал два-три вопроса о здоровье, как я спал, не болела ли голова. Брал со стола у меня книгу, долго ее листал и печально, сдержанно про себя улыбался. Капитан этот писал стихи. Он читал их мне по своей тетрадке в мелкую синюю клетку. Стихи были переписаны красными чернилами из автоматической ручки, тесно, строка на строку.

Мне запомнилось только несколько строк из поэмы, которую он читал мне в один из дней. В них, в этих строчках, запавших мне в память, шла речь о двух влюбленных молодых людях, живших неизвестно когда в таком вот средневековом городе, как тот, в котором мы находились теперь, читавших свою книгу любви перед таким же вот точно, как наше, на закате солнца окном. Рассказ о двух влюбленных, которых и смерть не могла разлучить... Прекрасно был описан и город, и замок, и освещенное западающим солнцем окно.

Как будто это было где-то над нами, всего лишь этажом выше, в том же самом доме.

«А за оконцем опускалась тьма, а в их глазах не заходило солнце»,— было сказано у него там, в этой поэме...

Странные, надо сказать, стихи и странная поэма, где время как бы остановилось...

Когда все это происходило, в каком все это было времени и веке, я не знал, как не знал и того, кто были эти люди, о которых писал в своей поэме этот тихий человек, приходивший ко мне со своей тетрадкой. И стихи эти, никак вроде бы не связанные с тем, чем мы жили всегда, и особенно эти последние страшные несколько лет, о чем они были — о любви, о смерти; и этот старый город, в который я был закинут; и наша жизнь в это лето, на другой день после того, как закончилась война,— все это тоже было как бы в другом веке, тоже неизвестно когда...

И эта книга, которую я с таким усилием читал, и стихи, которые читал мне мой врач,— все это неизвестно почему, самым причудливым образом соединилось для меня в одно.

Днем я выбирался в парк, садился на скамейку, в тень, но потом переходил на другую, ту, что стояла на солнце, потому что тут, в этой стране, я не знаю отчего всегда было так, всегда в тени было холодно, а на солнце жарко.

В один из дней, когда я вот так же без цели вышел из своего корпуса и шел по аллее через весь этот обширно разросшийся госпитальный двор, не помню уж, куда я направлялся, я увидел чело-

века, который, тяжело опираясь на палку, на костыль, шел немного впереди меня, за канавой, по тротуару, тут проложенному.

Был он не в госпитальном халате, а в гимнастерке, в брюках навыпуск, с горлом, почему-то перевязанным бинтом. Я обратил внимание на этого человека, что-то меня заинтересовало в нем. Я видел пока одну только спину его, но что-то меня остановило. Обогнав его, я оглянулся. Это был Кондратьев, тот самый артиллерист, капитан, которого я совсем недавно, казалось бы, — время летело быстро, — отвозил в госпиталь с Одера. Никак не ожидал я встретить его здесь, да и он, надо сказать, в первую минуту не узнал меня, как видно, я сильно изменился. Поглядев на меня внимательно, он хотел уже было отвернуться. Тоже, должно быть, не предполагал, что я могу оказаться здесь. Он поверил только тогда, когда я поднял руку.

— Вот это да, — сказал он, перешагнув канаву, и направился ко мне.

Мы поздоровались и, обрадовавшись, даже, кажется, обнялись. Встреча, что ни говори, была неожиданная. Я уже не рассчитывал кого-нибудь тут встретить.

Глава пятая

Дмитрия Кондратьева я знал не то чтобы мало, но намного меньше, чем некоторых других офицеров нашей дивизии. Он с начала войны находился на фронте, а затем, окончив училище, осенью сорок третьего прибыл к нам командиром огневого взвода. Я пришел к ним намного позднее, пришел потому, что накануне на этом участке был подбит «фердинанд» — самоходная немецкая установка, и расспрашивал у него, у него и у бойцов его взвода, как все это происходило. Выпершийся на высоту «фердинанд» стоял тут же, на глазах, на спуске с холма, еще занятого немцами, и его было хорошо видно. Я тогда же написал обо всем этом в нашей дивизионке. Заметка моя или корреспонденция, три колонки в рамке, называлась «Здесь стоит батарея». Было это в сорок четвертом, уже весной, на том же Калининском фронте. Стояли они тогда под деревней Дедово. Я увидел оружейный окоп, обложенные дерном ровики для расчета, ниши для снарядов. Все было очень искусно и тщательно замаскировано. Я впервые все это видел, мне все это было внове, потому что по моей военной профессии я не артиллерист и с артиллеристами, можно сказать, почти не встречался. Став в последний год войны газетчиком, я всего чаще ходил по стрелковым полкам, писать надо было о людях, что находились впереди всех в траншеях и окопах первой линии. Хотя, как ни говори, а все-таки эта война, более чем какая-либо другая, была войной артиллерии, войной огня. Может быть, кто-то с этим не согласится, но это так. Это только не воевавшие или совсем ничего не знающие о войне люди представляют себе дело так, что солдат встал, поднялся и пошел, и начал стрелять, и бросать гранаты, и добежал до окопов противника и начал колоть птыком. Черта с два встанешь теперь так вот под огнем пулемета, под артиллерийским огнем. Это хорошо знают командиры, те, кто управлял боем или хоть чем-нибудь командовал, полком ли, ротой или хотя бы взводом. Знают, что пока не подавлены огневые точки, ничего не сделать. Знают это как никто другой хорошо, знают, что подавил — прошел, не подавил — не пройдешь.

Я больше всего разговаривал в тот день с командиром орудия и наводчиком, который как раз и подбил «фердинанда», а Кондратьев, когда я его стал расспрашивать, может быть, оттого, что его куда-то в это самое время вызывали, вроде бы отмахнулся, сказав, что это дело старое, что ребята, мол, лучше его знают как и что и обо всем расскажут...

Такой была эта моя первая встреча с Кондратьевым.

Месяца через два или три начались бои за Федину гору.

Федина гора была пунктом, каких было много на нашем Калининском, а затем Втором Прибалтийском, фронте и каких, я думаю, было много на других участках войны... Не всегда только они назывались так, горами. Иногда, что было чаще, они назывались высотами, высотой, иногда даже сопками или курганами. Федина Гора была одной из таких высоток. Бои за эти высоты начались еще зимой, но, может быть, я не все знаю, может быть, они начались еще раньше...

Это были рубежи, где всего дольше держалась немецкая оборона и дольше всего стоял фронт. Немцы уже выдохлись, они уже не могли наступать, но они еще способны были сопротивляться, были еще в состоянии держать оборону. Фронт здесь, на этих холмах и высотах, среди болот и рек этих, стоял до самой середины лета сорок четвертого. Потом, когда мы их сбили отсюда, нам потребовалось всего каких-то пять неполных месяцев, чтобы освободить Прибалтику, выйти к морю и к границе.

Бои, как я уже сказал, начались еще зимой, но тогда здесь стояла другая дивизия. Они, эти дивизии, за то время, пока фронт проходил здесь, сменяли одна другую, и каждая вновь пришедшая пыталась брать те же сопки и те же высотки, за которые задолго до нее еще бились солдаты других дивизий, и никто не знал, что тут было до него, никто не мог бы сказать, сколько тут было положено людей. Земля эта, эти холмы могли бы многое рассказать, если бы могли говорить.

Федина гора на карте была помечена цифрой, обозначающей ее фактическую, абсолютную, скажем так, высоту, но солдаты называли ее Черной, а еще чаще «высотой с глазом», потому, вероятно, что когда-то, когда бои за нее только еще начинались, на вершине ее рос небольшой лесок, черная такая гривка, да и сама она была черная, потому что ее склоны, зимой это было особенно видно, были покрыты копотью, следами разрывов снарядов и мин. Гривку ее, густую такую основную рожицу, затем срубили артиллерийским огнем.

Местность отсюда, с этой горы, просматривалась на много верст вокруг. Немец держал отсюда под наблюдением все подходы и подъезды к нашему переднему краю. Он там, наверху, а мы внизу, у него под ногами. Бить нас сверху было сподручнее...

Теперь, в июне, когда мы ее брали, высота была лысой, и так она могла бы и называться. Макушка у нее была голая, песчаная. Лишь на ее пологом левом скате оставались еще какие-то небольшие случайные молоденькие сосенки.

Все началось, я думаю, часов в десять утра. Утро, надо сказать, было прекрасное, очень теплое, красивое, солнечное. Ничто не напоминало о войне. Над всем этим утонувшим в знойном мареве клочком земли, над лесом, прячущим наши тылы, над изрытым траншеями полем, пели жаворонки. И там, у врага, за горой, которую предстояло взять, за колючей проволокой, натянутой от кола до кола по самому низу, по краю поля, тоже, наверно, пели жаворонки. Трудно было представить разительный контраст между этой красотой и радостью, картиной нараждающегося дня и тем, что началось вскоре.

Началось все, как всегда, с артиллерийской подготовки, с залпа «катюш», в пламени залпов которых, в пыли, которая от них поднялась, ничего не стало видно. Ударил вся артиллерия дивизии, все огневые средства, приданные по этому случаю бравшим высоту стрелковым подразделениям. Удушливый дым застилал все вокруг. Артподготовка продолжалась минут двадцать. И сразу вслед за тем сосредоточившаяся на рубеже атаки пехота бросилась по склону горы. Следом за пехотой, как только она показалась там, на высоту, на Федину гору, вырвался взвод Кондратьева.

На гору заскочили неожиданно быстро, немцы явно не ждали нас в это время, явно не предвидели нашего удара в этот раннеутренний час.

Я пришел туда, когда бой уже затихал, часа уже в четыре дня пришел туда.

Федина гора лежала за протокой, то ли это была река, то ли протока. Не столько даже широкая, сколько глубокая, вытекающая, может быть, из одного болота и втекающая в другое. Я так думаю, что из болота, потому что вода в ней, в этой протоке, была какая-то уж очень черная, рыжая, с болотным таким, торфяным отливом. Тем не менее в ней, в протоке этой, как оказалось, было много рыбы. Я это увидел, когда, по пояс мокрый, отступаясь и обрываясь, проваливаясь в ямины, перебирался на другой берег. Саперы в это самое время строили мост через протоку. Они были голые и всякий раз, когда близко от них разрывался снаряд, кидались в воду, в протоку эту. Выброшенные на берег вместе со столбом воды, оглушенные взрывом довольно большие, крупные рыбины бились в траве на берегу. Тут были и караси, и лещи, и даже щуки. Трудно было поверить, что в такой гнилой и жалкой речке может водиться такая отличная, такая крупная рыба.

Над протокой стоял нескончаемый треск разрывов, визг пролетающих над головой снарядов. Как будто в высоте там трясли, мотали из стороны в сторону какой-то гигантский, хорошо натянутый стальной провод. Сам воздух колебался от этого несмолкаемого грохота... Противник вел теперь неприцельный, или, как еще говорят, изнуряющий, огонь. Это так и называлось: изнуряющий огонь. Беспредельный методический обстрел из орудий.

Когда я пришел, высоту уже начали закреплять. Солдаты удерживавшей высоту роты, немного их осталось, подгоняемые страхом, торопясь, отрывали окопы, отдельные ячейки пока что, располагая их в шахматном порядке, с тем чтобы потом, когда их соединят ходом сообщения, получился зигзаг. Все вокруг было заболочено, а здесь, на высоте, был песок, копать было легко...

Следует сразу сказать, что никаких особенных укреплений у немцев на этой высоте не было, не оказалось. Тут были две, обычных, я бы сказал, даже не очень глубоких, соединенных одна с другой траншеи. Одна из них проходила по самому гребню горы, другая — по ее восточному, обращенному в нашу сторону склону. Да на обратном скате несколько более или менее прочных, опутанных проводами блиндажей. Вот и все укрепления, какие тут были. Но зато она была плотно прикрыта огнем из глубины. Находящиеся на ней немцы могли точно корректировать и вести прицельно направленный артиллерийский огонь по всем нашим коммуникациям, держать под огнем своей артиллерии, как уже сказано, всю систему нашей обороны. Обзор, открывающийся немцам с горы, позволял им делать это.

Отсюда и действительно все далеко было видно, все прекрасно обозревалось. Дальше на запад от подножья горы тянулась стена хвойного соснового леса. А между высотой и лесом простирался огромный, пестрящий цветами луг. Он, этот луг, до самого леса был залит солнцем. Гигантское ликующее многоцветье трав. Было даже красиво. Отсюда, с горы, просматривалась проселочная дорога, ведущая к ближайшей, совершенно пустой, брошенной людьми деревне, поля вокруг и даже повороты дорог — все это можно было отсюда хорошо видеть.

Здесь, на гребне горы, в отличие от протоки, которую я только что перешел, было сейчас относительно тихо, лишь изредка на склоне где-нибудь взметывался столб разрыва явно вслепую посланного снаряда.

Когда я пришел, Кондратьев стоял над убитым командиром орудия, и в первую минуту я его не узнал.

Я и здесь пришел не к артиллеристам, а в пехоту, но как пришел, так и увидел его. Без пилотки, с прилипшей к мокрому лбу прядью волос, он стоял над лежащим у разбитого орудия сержантом, только что вытащенным наверх из-под своего опрокинутого взрывом орудия... Я помнил этого сержанта с того первого раза, когда был подбит «фердинанд» и я был у них. Он мне тогда, я помню, сказал: «А мы его по лаптям, по лаптям», имея в виду «фердинанда», его гусеницы. Мне очень запомнилось это выражение...

Убитого командира орудия Матвеева, так же как и эту гору, тоже звали Федей, Федором... С ним, с Матвеевым, прошел Кондратьев весь свой путь — от верховий Волги и берегов Ловати до горы этой. Был он самым опытным среди других, самым старым на батарее. Теперь он лежал, прикрытый палаткой, возле опрокинутого, перевернутого колесами вверх орудия.

На войне все просто. Вообще надо сказать, что война страшно простая штука: только что человек был жив, ты разговаривал с ним, пил и ел с ним из одного котелка, и вот он лежит уже мертв, лежит, убитый у тебя на глазах...

Все это страшно именно своей простотой.

На берегу, за протокой, когда я выбрался наверх, лежали убитые лошади накрытой огнем маленькой противотанковой пушечки, которая, как и полагалось ей, переправлялась одной из первых, непосредственно вслед за пехотой. Запутавшись в упряжи, они лежали тут же, на склоне горы. Когда я проходил, один, вороной, еще дышал и страшно ворочал глазом.

Лошадей, как всегда, было почему-то особенно жаль.

Я уже потом, задним числом узнал: Кондратьев отбил на Фединой горе в тот день несколько немецких контратак.

На высоту туда был в первые минуты боя брошен вместе с пехотой один только взвод Кондратьева, его две пушки. Два других орудия батареи оставались на прежних своих запасных позициях, там, где они стояли и раньше.

Труднее всего было переправлять пушки через протоку, управлять лошадьми под разрывами снарядов, под огнем. При подходе к протоке лошади послушно ухнули в воду, но взять берега не могли. Их били, на них кричали, но они срывались, пятились назад. Противоположный берег был не столько крутым, сколько вязким. Он был топким, обваливающимся, оседавшим под колесами и под ногами, под копытами. Трясина была страшная. Орудия пришлось снять с передков, а построжки накинуть на проушины, привязать построжки прямо к лафетам. После этого лошади сравнительно легко вымахнули на другой берег... И сразу, как только почувствовали под ногами твердую землю, — так туда, на высоту, на гребень ее, к пехоте!

Одно орудие было потеряно сразу, как только его вытащили наверх туда, подбито было прямой наводкой, когда не успели еще выбрать сколько-нибудь подходящую огневую. Снаряд попал прямо под колесо его. Второе поставили на скате, обращенном к немцам, там, где был сосняк редкий. Не успели окопать его, отрыть для него какую ни на есть огневую, как накопившиеся в перелеске немцы со всех сторон начали обтекать высоту. Кондратьев сам встал к орудию, единственному теперь. Стрелять надо было осколочными, а ключ, которым в таких случаях отвинчивают колпачки с головок взрывателей, в спешке, в горячке где-то затеряли. Пришлось отворачивать их зубами. По сути дела, Кондратьев с горсткой людей своего взвода и своим орудием остался в этот час один на один с лезущей на высоту немецкой пехотой. Оставшись один с заряжающим и поднощиком снарядов возле своего орудия (наводчик к тому времени тоже уже был ранен), Кондратьев вместе с находящимися на высоте немногими оставшимися в живых бойцами одной-единственной, хотя и

усиленной, бравшей в тот день высоту роты отбивался от наседавшей на них немецкой пехоты...

Противник поставил по переправе такой сильный заградительный огонь, что в течение всей первой половины дня нечего было и думать о том, чтобы подбросить на высоту какое-либо подкрепление. Командира батареи, пытавшегося пройти к взводу Кондратьева, ранило еще утром.

Я пришел, когда контратаки уже прекратились и немцы оставили все попытки вернуть высоту. Когда я пришел, оно, это единственное орудие, тоже уже было в последнюю минуту разбито, припав на одно колено, оно стояло, уткнувшись стволом в бурую, вывороченную на поверхность земли глину. От взвода Кондратьева к тому времени оставалось всего несколько человек. Перед тем незадолго старшина батареи принес обед, два бачка, в одном — суп, в другом — кашу, термос с водой принес, хлеб и махорку. На целый взвод принес, но есть было некому да и не хотелось... В помощь обескровленной, почти целиком выбитой штурмовой роте подошли теперь другие, целый батальон подошел. Подтягивали артиллерию, минометчики оборудовали свои огневые по склону горы. С горы было видно, как две наших «тридцатьчетверки», выдвинувшись из леса, вели огонь. Выстрелив, танк отходил назад, маневрировал, а затем снова выдвигался, снова вел огонь. Так и двигался на месте взад-вперед... Наша дальнобойная была в это самое время из-под горы. Вышедшие из леса, подтянувшиеся к протоке «катыши» заняли свои позиции на фланге, создав таким образом мощное огневое прикрытие для тех, кто находился на высоте...

А еще через день или два наша дивизия, а потом и вся армия в целом, весь фронт наш, время пришло для этого, перешли в наступление, пошли вперед.

Такова была она, эта высота, Фебина гора эта, — одна из частных операций, какие происходили в эти дни, я думаю, не на одном только нашем, на многих других участках фронта.

Глава шестая

Не ожидал я встретить его здесь, в чужом этом госпитале, вдалеке от своих, и очень обрадовался ему. Как-никак мы вместе пробыли в одной дивизии почти два года, встречались время от времени, да и день тот я очень запомнил — то, как мы ехали с ним в старой, дребезжащей ободьями армейской повозке через тот только-только начинающий пробуждаться лес, не проснувшийся еще окончательно от зимней спячки, но уже полный птиц, весь тот длинный, так запомнившийся мне день... Мы сели на белой, стоящей под деревом скамеечке и долго сидели здесь. Видимых следов контузии у него не осталось, он только немного заикался да как-то неожиданно, все так же, как и тогда, время от времени тянул головой, его как будто — все это даже не сразу, не вдруг замечалось — вело куда-то в сторону, стягивало ему шею. Он еще слегка прихрамывал, и в руках у него была палка.

Мы погоревали, что потеряли свою дивизию, отстали от нее и теперь не знали, когда мы в нее попадем.

Настроение у капитана, как и у меня, было неважное. Впрочем, как выяснилось, он был теперь уже майором. Ходатайство было послано уже давно, еще в Померании, после нашего выхода на границу, но по каким-то причинам задержалось, приказ пришел после войны уже, после того, как бои в Берлине подошли к концу.

Нелегко ему было находиться здесь... Только что, казалось бы, отлежал, отвалялся там, в том госпитале, куда я отвозил его с Одера, и вот на тебе: теперь, когда война закончилась, опять госпиталь, одни и те же стены... Все по тому же, что и раньше, кругу!

Мы разошлись по своим палатам, каждый к себе, но скоро опять встретились, сидели там же, на скамейке в парке, потом он пришел ко мне, был у меня в палате. Потом, через неделю, когда того подполковника не стало, Кондратьев перешел ко мне. Мой врач, этот малоразговорчивый человек, заметив, что мы то и дело вместе, устроил это, переговорил с кем-то там у себя, и Кондратьева перевели к нам. Теперь мы были в одной палате. Моя кровать стояла возле одной стены, его — возле другой.

Ходить ему в город с его ногой, с открывшейся раной, было еще тяжело, далеко было, но по территории мы гуляли.

Дима — я так звал его, я уже привык к нему, — часто, как я заметил, был задумчив, ждал каких-то писем и вообще был расстроен, рассеян, и не потому, я думаю, только, что застрелял здесь. Находило на него что-то такое. Я его ни о чем не расспрашивал, хотя и помнил ту встречу, то, как отдал он тогда козленка и какое виноватое и счастливое было у него тогда лицо, весь тот вечер, проведенный в доме, освещенном плашками. Что там у него было, я не знаю. Сам он не хотел этого касаться, и мы говорили с ним о чем угодно, только не об этом...

Прогулки наши затягивались, становились все более отдаленными и продолжительными.

Иной раз мы возвращались в палату поздно, в уже полной темноте, когда уже все спали, случалось даже после отбоя. Но мы и потом еще, в палате у себя, раздевшись, долго еще не засыпали, долго разговаривали, иной раз чуть ли не до утра. Он мне о себе, я ему о себе, каждый о своем, как это бывает обычно по ночам, когда люди подолгу не спят, не могут заснуть. Так и у нас было... Я рассказал ему о том, как я, танкист, неожиданно для себя самого на третьем году войны из танковой части попал в газету, к ним в дивизию, в пехоту попал, о том, что представляла собой моя работа на войне. А потом однажды была такая минута, когда мы, все так же в темноте, долго не спали, когда было, должно быть, уже поздно, — о своей незадавшейся жизни, о своей семье рассказал. И тогда он, помолчав, сказал, что он тоже женат, что дома у него, под Воронежем, жена и дочь, которую он не видел ни разу. Что женился он перед самой войной, незадолго до того, как уйти на фронт. До той минуты он мне ничего об этом не говорил. Слово за слово, я не ожидал от него такой откровенности, он, заикаясь больше обычного, стал рассказывать мне о себе. Похоже было, что человек не говорил и вдруг после долгого молчания заговорил и, заговорив, стал рассказывать всю свою жизнь.

Он начал свой рассказ торопясь, рассказывал очень мучительно, но постепенно разговорился, и теперь по ночам, когда мы ложились, мы уже не разговаривали, как в прежние дни у нас было когда-то, а я — из ночи в ночь — слушал его. Иногда он надолго замолкал, но потом, на следующий день опять начинал рассказывать. Чего-то он недоговаривал, но я у него не спрашивал, не расспрашивал. Рассказывал что хотел и как хотел...

Вот что он рассказал мне.

Глава седьмая

Рассказ Кондратьева

— Мы стояли в латгальской деревне, до отказа забитой обозами. Была осень. В окне было темно и сумрачно, как всегда бывает сумрачно в низкой крестьянской избе, когда идет дождь. Окно упиралось в землю и выходило во двор. Второй день как мы ночевали тут, в этом доме и в этой деревне... В самой глубине двора был виден угол деревянного сарая, крытого почерневшей дранкой. Там скучала

нераспряженная лошадь. Шерсть лошади дымилась, от нее шел пар. Над окном нависало какое-то дерево, тоже мокрое и черное. На стол капало.

Меня несколько раз требовали к начальству, надо было составить сводку. — отчет об израсходовании снарядов, о состоянии техники, — я к тому времени уже командиром батареи был. Писарь штаба сидел тут же возле меня, надоедал. Пушки у нас стояли на запасных, на гребне, за деревней сразу, как выйдешь из деревни. Принесли обед. Я сидел, слушал, как дождь стучит по крышке стола по одному и тому же месту, думал о погоде, о дороге, по которой нам еще предстояло пробираться. Мало ли о чем может думать человек на войне.

Это днем. А вечером к нам пришли девушки. Две девочки-медички из санроты полка, которая разместилась по соседству с нами, тут, на хуторе, рядом с тылами нашими. Одну я еще все-таки знал немножко, и всегда она не нравилась мне: громогласная, лишь одну себя слушающая, выросшая, да так и не захотевшая расстаться с ролью большого ребенка, усвоившая интонации младенца, играющая, капризничающая; свежие, малиновые почему-то, нашивки были у нее на шинели, была она в звании старшего сержанта. Другая, которая пришла с ней, была, по-видимому, новенькая, я ее никогда не видел прежде. Я не мог дожидаться, когда они уйдут, и сидел буквально как на иголках. Больно уж не вовремя они пришли. А Сенька Казаков, заменяющий у меня командира взвода, сразу завел с ними разговор. Он актер бывший, такая натура, целыми днями готов трепаться, если его не остановить. Эта, толстая, грубая, детским своим голосом, как всегда, должно быть, что-то изображала, смеялась ненатурально и неестественно, как всегда, должно быть, смеялась...

Ну посидели, посмеялись и, между прочим, выпросили «Золотого тельца», которого мы всегда возили с собой, у того же Сеньки Казакова в зарядном ящике был спрятан.

Принес Сенька книжку. Та, другая, она в беретике была, головы не поднимала, сидела листала книжку, тоже, видать, смущена была. Ее, как теперь я догадываюсь, крикливая дура эта привела.

Никаких таких особенных разговоров не было. Просто посидели и ушли, как пришли, так и ушли. Неизвестно даже, зачем приходили, заняться им, должно быть, было совершенно нечем, времени свободного было много, вот от нечего делать и пришли к нам... Мне особенно языкатая эта не понравилась, она меня и прежде всегда раздражала, но теперь, вблизи, и тем более... Вышли мы их с тем же Сенькой Казаковым проводить — неудобно все же, гости!.. Дождь к тому времени унялся, только с деревьев, помню, капало да туча висела, такая низкая, лохматая, как шапка на голову... Та, что в беретике, все больше молчала. Бекешка на ней была такая военная, коротенькая, из рыжей шерсти сшитая. Ямочки, правда, на щеках и роста не очень большого, а вообще — ничего особенного. Я даже не попрощался, ушел, бросил их на Сеньку Казакова... Не хватало еще провожаниями заниматься, тоже мне кавалер нашелся! Как будто других дел у меня нету!

Меня окликнул кто-то, и я ушел. Так получилось...

Вот, собственно, и все.

Я ее потом еще один раз видел, совершенно случайно, надо сказать, когда мы огневые позиции меняли, передвигались на другой рубеж, на другой участок, и проходили мимо палатки санроты, стоящей тут же возле дороги самой. Она как раз в это время вышла из палатки, из-за прикрытой пологом двери, была в белом халате и в шапочке, лицо у нее было усталое, утомленное, встревоженное чем-то. Я даже не понял сначала, что это она. Там, как видно, в этот самый момент шла операция. Я не знаю, почему я так решил, почему мне так показалось... Выбралась, должно быть, на минутку, глотнуть свежего воздуха.

Мы прошли, а она даже не кивнула мне, не видела, может быть, а может быть, и не узнала меня.

Вот и все наши встречи.

Я и не разглядел ее по-настоящему в тот первый раз...

Прошло так много времени, но я и теперь еще отчетливо слышу голос Кондратьева. Я так часто возвращался с тех пор к тому, о чем он рассказывал мне в те дни, что теперь, много лет спустя, его рассказ стал уже как бы моим рассказом. Поэтому, давно уже перестав отделять его от себя самого, я и здесь не столько даже воспроизвожу этот его рассказ, сколько передаю его своими словами...

Глава восьмая

Продолжение рассказа Кондратьева

Зима устанавливалась медленно, трудно. Земля была уже слегка припорошена снегом — в этих местах, может быть, от близости моря, всегда очень тоненьким, слабым, готовым растаять в любую минуту. Не зима пока, но уже и не осень. Осень давно уже была позади, но и зимы настоящей все еще не было. Самое нехорошее время года.

В один из таких дней, когда снег — дождь пополам со снегом, который всегда хуже всего, — кропил и поля эти, и тропинки, и дороги, еще недавно такие обжитые, мы двинулись на ближайшую от нас станцию. Дороги так развезло, что каких-нибудь двадцать с небольшим километров мы тащились целый день.

Оказалось, что нам предстоит грузиться в эшелоны.

Грузились мы на небольшой станции, названия которой я сейчас уже не помню, знаю только, что в районе Шяуляя где-то, а это значит, что уже не в Латвии, а в Литве... Должен сказать, что все последнее время мы были недалеко от границы с Литвой и хотя воевали в Латвии, но иной раз, не зная этого, оказывались в Литве... Здесь, в поле, стояли вагоны, давно уже подогнанные под нашу погрузку. И погрузка сама и переселение в вагоны, должен признаться, были довольно сложным и непривычным для нас делом. Мы затаскивали на платформы громоздкие наши пушки, крепили их на растяжках, заводили коней в вагоны, в оборудованные уже для них там стойла, забивали вагоны сеном, фуражом — для наших коней опята же. Все, как следует в таких случаях. Мы ехали в теплушке, товарняке, и нам к тому же надо было наготовить, запасти на дорогу достаточное количество дров, именно дров, а не угля, угля у нас не было... В вагоне у себя мы поставили печку, довольно большую, мы ее склепали из бочки, подобранной уж не знаю где, бочки из-под солидола.

Погрузка и размещение по вагонам заняли немало времени. Но мы еще потом долго ждали своей очереди, ждали, пока погрузятся все остальные. Эшелоны отходили один за другим в течение целой недели, наверно. Наконец настал и наш черед отправиться в путь. Мы тронулись рано утром, на рассвете, не заметив этого, обосновавшись в тепле, в вагоне своем.

Итак, мы выехали из Латвии, в которой пробыли пять долгих месяцев.

Эти последние дни, перед тем как нам отправиться, погрузиться в эшелоны, мы не только не воевали, но даже не находились на передовой. После того как мы вышли к морю, к Риге, к Балтике, мы некоторое время не то чтобы не воевали, но не вели активных боев, а одно время даже находились во втором эшелоне, если вообще не были выведены...

Немцы были зажаты в мешке, в курляндском котле, и часть сил нашего фронта освободилась. Я думаю, что не одни мы, не один толь-

ко наш полк и не одна наша дивизия, но и вся армия наша освободилась. Мы еще не знали, какая нам предназначалась задача, какая нам отводилась роль в будущем.

Мы ехали. Вся наша батарея размещалась на двухъярусных нарах. Я лежал с краю, на втором этаже и вспоминал весь путь, который мы проделали за этот последний год, пока дошли до Риги, до той же Митавы — пункта, где фактически закончились для нас боевые действия в Латвии, на нашем Втором Прибалтийском фронте...

На Айвиесте, где немцы стянули большое количество танков, пытаясь задержать наше наступление в Прибалтике и нанести удар по нашим войскам, моя батарея выдержала очень сильный бой, на нас шло до роты немецких танков. Если бы не мой Сугоняко, наводчик, подбивший в одном этом бою три немецких танка, трудно бы нам пришлось. Оставшись один из всего расчета, расстреляв все снаряды, он и сам погиб под танком. Половина всей нашей батареи в том бою была выбита. Сугоняке посмертно было присвоено звание Героя...

Многое вспоминалось мне. Ну и Федину гору, конечно, вспомнил. Ее уже просто нельзя, невозможно было забыть!

Много было такого, о чем нельзя и невозможно было забыть...

И вот все теперь оставалось позади, мы находились в пути, в эшелоне и двигались неизвестно куда. Мы даже не знали, куда мы ехали, куда нас везут. По всему выходило, что нас перебрасывают куда-то далеко, может быть, даже на другой фронт, но куда — кто мог знать это! Везут и везут, куда-нибудь привезут, так всегда распускает солдат, так распускали и мы. Лучше в таких случаях не загадывать, потому что все равно ничего не узнаешь...

Где мы ехали, в каком направлении двигался наш состав, никто этого не знал. Названия станций, если бы я мог рассмотреть их, ни о чем не говорили нам. Может быть, и были на этом нашем пути какие-нибудь города, через которые мы проезжали, но мы их словно бы нарочно проскакивали. Может, так это и было, не знаю... Когда едешь в такой вот теплушке, в товарном вагоне, особенно зимой, в стужу, в холод, мало что видишь, потому что двери постоянно закрыты. Их открывают только тогда, когда надо сбегать за водой, за кипятком... Стояли мы чаще всего на маленьких станциях, где все станционные постройки всегда оказывались подорванными, дотла сожженными отступившим врагом, и надо сказать, что в первое время, может быть, и поэтому тоже, мы больше стояли, чем двигались. Вагон наш был предпоследним, так что в пути нас здорово мотало.

Мы ехали так второй день, и с каждым часом я чувствовал себя все хуже и хуже. Все дело в том, что еще при погрузке, когда втаскивали пушки, одна из пушек застряла на сходнях, и я попытался помочь расчету, подставил плечо, и — не повезет так не повезет! — под лопатку что-то вступило. Я сначала даже не понял что. Оказывается, осколок, который сидел у меня еще с начала войны, с сорок первого года еще, и о котором я и думать забыл уже, стронулся с места. Сильно напрягся, должно быть!

Сначала я не обратил на это внимания, думал, что обойдется, хотя в первый момент, признаться, было очень больно. А через день — отправились мы на вторые сутки после погрузки, — когда мы уже были в пути, пришлось пойти разыскивать нашу медицину, потому что плечо у меня покраснело и рука стала сильно припухать. Рука эта моя, вернее плечо, не сама рука даже, а плечо, надо же мне было так глупо сунуться под эту станину, все более беспокоило меня. Выходило так, что надо было показывать его, хотя и очень не хотелось, как всегда, без крайней необходимости идти куда-то, тем более что виноват был я сам, моя собственная неосмотрительность и неосторожность.

К вечеру я пошел. Мне сказали, что в составе нашего эшелона есть что-то вроде санитарного вагона будто бы. Передвижной пункт нашего дивизионного медсанбата... На одной из остановок, которых в первое время у нас было особенно много, я отправился разыскивать этот вагон. Он оказался в голове состава, вторым или третьим от паровоза.

Дверь была слегка приоткрыта, и когда я ухватился за поручни, за скобу, тут вделанную, чтобы подняться, я, к полному удивлению моему, увидел ту самую сестру или военфельдшера, я даже не знал, кем она была, ту, что вместе с другой такой же приходила к нам на хуторе под Мадоной. Повторяю, я этому немало удивился, да и она, как мне кажется, тоже. Мы оба почему-то, как показалось мне, растерялись от неожиданности этой встречи.

Она чуть пошире отодвинула дверь, и я вошел, поднялся к ним по ступенькам железной лестницы, каких не было в других вагонах. Тут было очень светло и чисто. Те же двухъярусные, что и у нас, нары застланы тут были свежими, еще не выгоревшими плащ-палатками, а одно или два места, в самом низу там, даже и простынями, и даже столик стоял, и табурет один был, и носилки у стены... Было непривычно чисто и непривычно пусто, только в глубине вагона на табурете этом за столиком сидел майор с зелеными медицинскими погонами. Я этого майора никогда прежде не видел, не встречал, дивизионный врач, как оказалось. Я и не знал, что есть такая должность. Я уже потом узнал, что в нашем эшелоне вместе с нами следовала часть штаба дивизии. Одним словом, начальства было много и многие ехали с нами...

Я рассказал, в чем дело, что произошло со мной. Я думал, что мне прижгут там чем-нибудь, что-нибудь прилепят, на худой конец затянут потуже, но этот майор захотел сам осмотреть меня. Он велел мне раздеться и тут же приказал готовить инструменты.

«Придется потерпеть»,— сказал мне этот майор. Все у них тут уже было наготове, и он довольно быстро удалил у меня из-под лопатки этот осколок, который не так глубоко вроде бы и сидел. Было даже не очень больно. Повозились они со мной еще несколько минут, совсем уже недолго. Перебинтовать им меня пришлось довольно основательно, и плечо и всю спину мне затянули, завязали, наложили очень хорошую тугую повязку. Все это делала уже сестра, врач только показывал. Руки у нее были очень ловкие.

Между тем эшелон наш, пока все это со мной проделывали, я и не заметил когда, опять сдвинулся с места, пока меня так бинтовали и я одевался, он довольно-таки быстро пошел вперед, на этот раз быстро набрал скорость. Я думал, что через час, через полчаса, когда состав остановится, я перейду к себе в свой вагон. Там меня и так, наверно, уже хватились, потеряли. Но меня не отпустили, сказали, что мне надо пока остаться у них, что лучше пока никуда не ходить. Как-никак, хотя и не бог весть какая серьезная операция, но тем не менее, мол, все-таки операция. «Оставайтесь»,— сказал майор.

Мне показали, куда я мог бы прилечь пока. Тут же, с краю, на втором этаже.

Я был, конечно, чрезвычайно смущен всем этим, но что было делать. Тем более что эшелон, я не знаю отчего до того времени стоявший на каждой маленькой станции, явно на этот раз не собирался останавливаться, проскочил и одну и другую, продолжая лететь через глухие, занесенные снегом пространства, через неведомые нам леса и поля.

Так я и остался тут у них, в тихом этом, удивившем меня поначалу своей пустотой санитарном вагоне, о котором я еще вчера, да еще и сегодня тоже, ничего не знал и даже не догадывался, что есть такой в нашем составе.

Мы стояли с Тоней (я все-таки вспомнил, как ее зовут) напротив друг друга, наваясь на застланные плащ-палатками, высоко поднятые нары, она с одной стороны, я с другой, стояли и разговаривали. Она, как можно было понять, не столько даже рада была самой нашей встрече, сколько просто живому человеку, с которым можно было поговорить. Майор, тот, который вытаскил мне осколок, все больше молчал и там, у себя за столом, по-прежнему читал что-то. Оказалось, что нам с Тоней очень легко разговаривать друг с другом. Мы, не заметив, проговорили весь вечер с ней. Я уже не помню сейчас, о чем мы говорили с ней... Я не думаю, что та наша более чем нескладная встреча на хуторе, когда они так неожиданно пришли к нам, оставила хоть какой-нибудь след в ее душе. Я даже подумал, когда увидел ее, помнит ли она еще о той теперь уже давней встрече или уже забыла о ней... Повторяю, я и сам сейчас уже не помню, о чем мы говорили, да это и совсем неважно, главным было то, что нам легко было разговаривать друг с другом... Я думаю, что вы согласитесь со мной, все это не столь уж часто случается.

Главным, как всегда это бывает, были не слова, а то, что за словами...

В вагоне у них, хотя он и был пустой, было тепло. У них тут тоже стояла железная печка, в которую приставленный для этого солдат-санитар подкидывал дровишки, очень коротко напиленные. С двух сторон были нары, а между ними посередине была печка, да в углу там, за нарами, стол врача. Это был единственно по-настоящему теплый, по-настоящему чистый специальный санитарный вагон во всем этом длинном, несущемся к фронту, набитом людьми составе.

Майор наконец бросил свою книжку и стал укладываться там, в отдельном своем углу. В самом деле, надо было ложиться, устраиваться. На дворе давно уже была ночь, и поспать все-таки надо было. Я лег, где мне указано было, наверху, на втором этаже, лег не раздеваясь, прикрывшись одеялом, которое мне дала Тоня. Одеяла были сложены в углу. Я снял только сапоги. Поверх одеяла накрыла еще шинелью, положив ее в ногах.

Тоня дежурила в эту ночь, но и она тоже прилегла, внизу где-то. Только солдат все еще не спал, все еще подкидывал дровишки в свою быстро выгоравшую печку.

Я заснул довольно скоро, заснул под стук нашего оглушительно громящего сцеплениями состава, заснул, как только лег.

Я не могу сказать вам, как случилось, что этот раненый солдат оказался у нас в вагоне, в нашем эшелоне, откуда он взялся, как он попал к нам. Никаких раненых вроде бы с нами не было, мы их всех заблаговременно сдали, отправили в госпитали или передали на долечивание в другие части. Откуда он мог взяться здесь, можно сказать, в тылу, в прифронтной полосе, во всяком случае? Может быть, от бомбежки, но нас вроде бы не бомбили. Все это какая-то загадка, которой я до сих пор не могу найти хоть сколько-нибудь внятного объяснения...

Я проснулся посреди ночи не знаю почему, может быть, потому, что от двери сильно дуло, ее, как я думаю, забыли закрыть по-настоящему. Проснулся и увидел, что в вагоне горел свет и все были на ногах. На полу прямо посередине прохода лежал на носилках какой-то человек, по груди прикрытый одеялом. В ту минуту, когда я проснулся, майор этот самый, врач, тут находившийся, стоя над тазом, мыл руки, а санитар-истопник сливал ему из кувшина. Тоня сидела возле раненого на валявшемся тут, приставленном к носилкам чурбачке, внимательно разглядывала его потемневшее лицо, время от времени марлевой салфеткой вытирала выступающий на его

лбу пот, а когда он начинал учащенно дышать, задышаться и кричать, она умело закатывала ему рукав гимнастерки и колола его, вводила ему что-то обезболивающее.

Сверху, с нар, на которых я лежал, мне все это было хорошо видно.

Раненый был еще совсем молодой парень, старший сержант. Отсюда, сверху, мне видны были его слипшиеся на голове волосы, выпростанные из-под одеяла руки и плечи в неснятой, потерявшей свой зеленый цвет, вконец застиранной гимнастерке, на погоне которой была одна широкая, когда-то ярко-красная, но теперь уже бурая, тоже сильно уже выцветшая нашивка.

У него, как я понял, была пробита грудь.

Паровоз наш ревел изо всей мочи, требовал дороги, он словно бы торопился наверстать упущенное; получив за все это время на много сотен верст зеленый свет, он летел без остановки, пролетая станции и ревя, когда приближался к ним. Задвинутая на засов дверь билась, вздрагивала, колотилась во все стороны, стучала в пазах, словно бы норовила вырваться. Все стучало и дребезжало, визжало и раскачивалось. Казалось, что никогда еще эшелон наш, состав этот наш, не шел так безостановочно, пролетая одну станцию за другой. Никогда мы, за все время нашего пути, еще так не ехали, как в эту ночь.

Всю ночь за дверью выла вьюга, как будто кто-то ломился в дверь, и лежавший внизу на носилках раненый сильно стонал и метался.

Ночь эта была какой-то бесконечной, казалось, она никогда не кончится. Я то просыпался, то засыпал опять.

Я просыпался и видел все то же — сторбленную, сидящую внизу там, на своем месте Тоню и все так же распростертого перед ней на носилках, все так же держащего ее руку раненого. Он уже не кричал и даже не стонал, у него уже не доставало на это сил, он только больно, как я видел по лицу Тони, сжимал в своей руке ее руку, которую она не отнимала у него. Сколько это продолжалось, не знаю...

Вагон все так же помахивало, раскачивало из стороны в сторону, но поезд теперь уже шел ровнее, словно бы успокоился, убедившись, что, как бы он ни спешил, ни гнал, ему все равно не одолеть всего этого пространства, всего пути в одну эту ненастную ночь.

Должно быть, близился рассвет, ночь шла на убыль. Это было заметно по тому, как слабый свет стал несмело сочиться, слегка проникать поверх неплотно прикрытого железом оконца, того, что было у меня над головой, над нарами. Тот же свет несмело стал проникать и в не до конца задвинутую, мотающуюся вместе с вагоном, с нарами, взвизгивающую от толчков дверь.

Но тут я опять заснул, задремал в последний раз в эту ночь. Когда я проснулся, раненого сержанта в вагоне не было. Его, как видно, уже вынесли, успели уже вынести. Из чего я понял, что поезд наш стоял еще где-то... Не было ни раненого, ни носилок, на которых он лежал. Можно было подумать, что все происходившее в эту ночь мне приснилось.

Когда я проснулся, в вагоне было холодно, печка давно уже потухла, санитар давно уже спал. Все спали, и майор в этом своем углу, за нарами, подле печки, и Тоня тоже спала, свернувшись клубочком, на тех же нарах, но внизу там, напротив меня.

Днем, когда она встала, я заметил, что на руках у нее были синяки.

Они потом долго еще не сходили с ее рук.

Он умер, как говорили мне потом, уже под утро, на рассвете, и похоронили его, как говорили мне, где-то на разъезде...

*Глава девятая***Продолжение рассказа Кондратьева**

Мы еще не раз встречались друг с другом в последующие несколько дней.

Один раз, кажется, на второй или на третий день после того, как мне вынули осколок, я по совету Тони снова зашел к ним в вагон, и Тоня сама уже перебинтовала меня, сняла сбившуюся, мешавшую мне повязку и приклеила на месте разреза на спину мне какую-то нащлепку. Тогда-то она и рассказала мне о своем ранении, очень коротко, правда. Она была ранена тяжело, гораздо хуже, чем я в сорок первом, и долго провалялась, как она выражалась, в госпитале. Но об этом позже... Однажды как-то я даже завел ее к нам в вагон, к своим ребятам, она была свободна от дежурства и просидела с нами целый перегон. Одним словом, мы всячески искали друг с другом встреч. Я не знаю, что случилось, как и что произошло, но я думаю, что та долгая ночь с умирающим солдатом сблизила нас. То я шел к голове состава, то она — к нам.

Так было несколько дней.

В тот день, о котором я хочу вам рассказать, мы с ней опять словно бы ненамеренно встретились на тех же железнодорожных путях.

С утра уже прояснилось, снег перестал, набегавшие на небо мрачные тучи разом вдруг разогнало куда-то, выглянуло солнце, все сразу засияло, загорелось, засветилось, заиграло. Удивительно, как мгновенно и неузнаваемо все вокруг изменилось, преобразилось. Полыхавшее вовсю солнце со всех сторон, во все окна и щели, лезло в вагон. Как оказалось, мы стояли, стояли на вконец перегруженном скопившимися здесь эшелонами железнодорожном узле.

На дворе было удивительно как хорошо. Можно было подумать, что начиналась весна, столько свету ломилось в окна нашего вагона, этой теплушки, еще вчера такой холодной и такой темной.

Намерзшись в полном щелей, в разбитом своем вагоне, отодвинув окованную железом, на трудно проворачивающихся роликах тяжелую дверь, не успев застегнуть и без того лишние шинели, мы скопом, один за другим выбрались, выскочили из вагона и оказались на путях, на земле. Мы и впрямь стояли на какой-то большой, как и все вокруг залитой солнечным светом, густо забитой составами станции, каждый из которых растянулся на полверсты. Товарняк наш был до такой степени тесно зажат другими точно такими же, как наш, двигающимися во все стороны составами, что мы ничего не видели вокруг себя, видели только это сверкающее, совершенно чистое небо и слепящее, как весной, солнце. Выбравшись каждый из своего порядком надоевшего нам вагона, считая, что нас не видят, берясь время от времени за руки, взволнованные неожиданно поднявшимся солнцем, мы, торопясь, не глядя под ноги и запинаясь, бежали по всему этому длинному пути, вдоль всего нашего нескончаемо длинного состава. Нам все равно было, куда бежать, лишь бы бежать куда-то. В распахнутых шинелях и в надетых как попало шапках, с выбивающимися из-под них волосами, мы бежали от одного вагона к другому, и из всех вагонов, из раскрытых настежь, раздвинутых во всю ширину дверей на нас смотрели солдаты и офицеры, все, кто был тут, кто ехал с нами. Всем почему-то было любопытно смотреть на нас, как будто они никогда не видели этого, как будто это было нечто такое, чего никогда больше не увидишь...

Мы шли от вагона к вагону вдоль всего состава, и навстречу нам то и дело попадались знакомые, вся дивизия была знакомая, шли мимо раскрытых, распахнутых дверей теплушек, в которых за пе-

рекладинами стояли солдаты, шурясь, улыбаясь выкатившемуся из-за туч, полыхавшему в глаза солнцу, и смотрели, как мы, явно без всякого дела, вызываяще радостно, не таясь, более, чем подобает, занятые собой, бежали неизвестно куда просто потому, что состав наш стоял тут, на этой станции, название которой нам наверняка ничего не сказало бы, если бы мы даже знали его... Бежали только потому, что состав остановился... Все эти люди, и те, что шли нам навстречу по узкому проходу между составами, и те, что стояли в дверях вагонов, смотрели на нас, разглядывали нас, как всегда разглядывают на фронте, когда кто-нибудь идет с женщиной. Вслед нам раздавались, впрочем не злые, шуточки, какие-то слова, но мы ничего не слышали, не слушали, мы торопливо бежали, словно впереди нас ожидало нечто такое, ради чего стоило так бежать, как мы бежали с ней.

Состав был бесконечным. Один вагон шел за другим, и не было им конца. Товарные вагоны перемежались платформами, открытыми, на которых стояли зенитные пулеметы и наши полковые укутанные брезентом семидесятишестимиллиметровые, обвязанные, закрепленные тросами грузовики и другая военная техника. Кое-где в неплотно пригнанной, а то и не до отказа задвинутой двери были видны мотающие головами возле кормушек, подбирающие свежий корм лошади...

Мы прошли вдоль всего состава из конца в конец, до пыхтящего, разводящего пары, как будто он тут же готовился тронуться в путь, паровоза.

Мы, никто не знал, сколько мы еще здесь простои́м, когда мы будем отправляться, потоптались тут, в голове состава, среди других, так же, как и мы, высыпавших из вагонов, некоторые и вовсе были без шинелей, в одних гимнастерках, и повернули назад, опять повернули вдоль состава, на глаза всех этих разглядывающих нас, высовывающихся из вагонов людей. «А пусть смотрят, что нам, жалко, что ли», — словно бы говорило лицо и выражение глаз Тони. Я не знаю, зачем ей это нужно было.

А вообще-то, конечно, не совсем все это было хорошо, совсем ни к чему все это было, да и неправильно, не полагалось так себя вести. Я не знаю, что такое нашло на Тоню. Зачем ей все это нужно было? Как видно, она тоже слишком обрадовалась солнцу, всему этому столь неожиданно яркому дню после того, как столько времени провела в пропитанной запахами лекарств теплушке.

Мы снова вернулись к хвосту состава, подошли к моему вагону. Ничто не говорило о том, что мы скоро двинемся. Эшелон наш намертво стоял на путях.

Нам захотелось посмотреть, что там, за теми отгородившими нас от станции вагонами, за составами, делается, какая там жизнь. И мы, вскочив на площадку одного из вагонов и поднырнув под другой, вот так, где под буферами, где по переходным площадкам, выбрались наконец из этого скопления вагонов, из-под всех стоящих здесь, на этих путях, воинских и грузовых эшелонов, из-под платформ и цистерн с горячим, и оказались возле не очень большого, одноэтажного, облицованного белыми плитками железнодорожного здания. Перрон станции, словно бы вымытый стаявшим снегом, тоже был выслан плиткой и имел непривычный для нас, очень веселый вид.

Я не знаю, что нас понесло, как видно, хотелось уединиться, уйти с глаз, куда-нибудь убежать, хоть на минутку остаться вдвоем, а может быть, и просто краем глаза хотя бы увидеть какой-то другой мир, какую-то иную жизнь.

Я не знаю, что это была за станция, впрочем, ее название звучало вполне по-русски. Я теперь думаю, что это была уже Белоруссия,

а может быть, и Литва еще. Я обо всем этом думать не думал тогда, не вдумывался как-то во все это, я уж не знаю почему. Как если бы мне это было вовсе неинтересно. Я уже не знаю, чем это теперь объяснить можно.

Мы тут еще немного покрутились, прошли еще туда-обратно по перрону, разглядывая встречных, все равно делать было нечего. Подошли к крану с кипятиком, где набирали воду солдаты из эшелона, что стоял тут, на первом пути. Кипяток нам был не нужен, да и чайника у нас не было, в вагоне у Тони была своя кипяtilка. Мы решили, что нам пора уже возвращаться, делать тут было явно нечего, и опять бочком, нагнувшись, стали подлезать под железнодорожную платформу, под один состав, под другой. Перед нашим эшелонном стояло очень много других...

Мне кажется, мы недолго и побродили так на станции, по перрону, очень быстро вернулись. Но, как видно, когда лазишь под вагонами, скачешь из одного тамбура в другой, с одной площадки на другую, времени не замечаешь. Одним словом, когда мы выбрались к тем путям, на которых стоял наш эшелон, пути были свободными — пути были свободными, эшелона нашего на них не было. Не было никаких признаков, что здесь стоял когда-то наш эшелон. Мы стояли, ничего не понимая, не в силах поверить тому, что поезд ушел. Но поезда не было, пути, на которых он находился, были совершенно свободные... Мы стояли растерянные, не в силах вымолвить слова. Впору было заплакать, настолько все это было ужасно. Отстать от поезда в дороге, в то время, когда дивизия передвигается неизвестно куда, но ясно уже, что на другой фронт, хуже ничего нельзя было придумать. Ведь мы, как я уже сказал, даже не знали, куда мы направлялись, куда он двигался, этот наш эшелон. Мы стояли как оглушенные. Мы пока еще даже не сознавали всего, что произошло, слишком все это было ужасно. Мы еще не хотели верить, что эшелон наш действительно мог уйти. Сначала решили, что мы просто-напросто ошиблись, не дошли, не долезли, что он где-то дальше, в глубине, на других путях, что надо перелезть через еще один эшелон, и мы полезли еще дальше, но скоро убедились, что эшелон наш стоял на тех самых путях, которые теперь были свободными. Единственная незанятая железнодорожная колея была та, на которой стоял наш эшелон и которого сейчас не было. Не веря себе, мы еще кинулись туда-сюда, побежали на станцию, рассчитывая что-нибудь узнать там, но никто нам не мог не только сказать что-либо о нашем эшелоне, но и подсказать, как быть нам, что делать, когда и какой именно эшелон будет отправляться следующим, есть ли какая-нибудь надежда на то, что какой-нибудь эшелон в ближайшее время пойдет в том же направлении. Никто ничего нам не мог сказать.

Мы опять кинулись к забитым составами путям. Тоня ругала меня, обвиняла меня, что это я виноват и что она дура, что она не знает, что теперь будет с нами, что теперь будет с ней. Я и сам был вконец растерян, я и сам не знал, как все это обернется... Я, по правде сказать, испугался за нее даже больше, чем за себя. О себе я еще не успел подумать. Действительно, получалось, что она ушла из вагона, в котором в любую минуту могли оказаться раненые, оставила свой пост... И вообще — командир батареи, на руках у которого люди и техника, отстал от эшелона, направляющегося к месту боевых действий — на фронт. Отстал вдвоем с девчонкой, уединившись. Что могло быть хуже этого!

Надо представить себе наше состояние, когда мы поняли, что все самое худшее уже случилось...

Мы стояли где-то посреди путей, посреди этих бесчисленных составов, не зная, что предпринять. что делать... И вдруг вагон, возле которого мы стояли, дернулся и еле заметно стал двигаться. Стоящий перед нами состав стронулся с места и медленно пошел вперед. Мы

еще не сообразили, что из этого следует для нас, еще не знали, как вести себя, как поступить, но раздумывать не приходилось, на раздумья не было времени, мы кинулись к площадке, благо что она оказалась тут, и вскочили на нее. Я подумал было, что это случайное движение, что состав этот никуда не пойдет, но он двигался все быстрее, и стало ясно, что мы едем, что состав, на котором мы оказались, оставляет станцию.

Скорая станция и весь этот железнодорожный узел остались позади, мы выехали в поле, которое было сплошь покрыто снегом, состав все более и более набирал скорость, все чаще постукивал на стыках... Мы еще не опомнились, не пришли в себя. Мы стояли на продуваемой со всех сторон площадке вагона, не зная, чем закончится это наше путешествие, что нас ждет впереди, куда мы едем и куда может привезти нас этот первый попавшийся эшелон, в который мы так неожиданно для самих себя вскочили... День как-никак был морозный, и стоять на этой площадке нам все-таки было очень холодно. Мы удалялись от моря, и зима тут была покруче. Но мы не о том думали, мы думали только о том, чем все это может кончиться, что с нами будет, как и где нам искать своих, если их вообще можно найти. Тоня со мной не разговаривала, она стояла, отворачиваясь от меня, с нахмуренным лицом, сердито сощуренными глазами... Я, конечно, кругом был виноват, и прежде всего в том, что мы отошли от эшелона, неизвестно зачем полезли под вагоны, потащились туда, на эту станцию.

Я не знаю, сколько мы проехали. За полем начался лес, тоже присыпанный снегом, с обеих сторон подступавший к железнодорожному полотну, и мы довольно долго ехали через этот здесь совсем уже заваленный снегом лес, кто знает, может быть, даже через самую Беловежскую пушчу... Мы все так же стояли на площадке, на сквозняке, на холодном этом ветру... Мелькали полустанки, железнодорожные будки, шлагбаумы. Мы довольно быстро двигались. Мы думали, что мы еще долго так будем ехать, как вдруг за каким-то перегоном через какое-то время, когда лес этот давно кончился, состав наш неожиданно для нас стал притормаживать, постепенно сбавлять ход. Как видно, мы приближались к станции... И действительно, через какое-то время мы, с каждой минутой теряя скорость, стали двигаться тише, тише и наконец совсем остановились. И тут же мы увидели своих, свой стоящий тут эшелон. Мы остановились рядом, бок о бок, впритирку. Мы увидели своих, они с удивлением смотрели на нас, торчащих на площадке только что подошедшего к станции состава. Кто-то даже показывал в нашу сторону. Как видно, они довольно давно уже здесь стояли. Двери всех вагонов были открыты, люди стояли в аверях, выглядывали оттуда, из вагонов, улыбались нам, недоумевая, как мы оказались тут, на этой площадке только что подошедшего эшелона...

Состав, на котором мы ехали, какую-то минуту еще двигался, еще шел, но потом, все более замедляя ход, окончательно остановился. Мы спрыгнули с подножки, не веря себе, не веря тому, что все так обошлось, что мы нашли своих, на первой же остановке догнали свой эшелон. Перепуг был очень большой.

Через минуту мы уже были каждый в своем вагоне.

Я думаю, что и это тоже сблизило нас. Думаю, что, как и та первая ночь, которую я провел у них в вагоне, ночь, в которую попал к нам в вагон этот умирающий солдат, так же как и все то, что случилось в этот день с нами, то, что мы, отстав от эшелона, пережили, и то, что мы нашли наконец своих, более всего соединило, более всего сблизило нас. Так я думаю сейчас.

Мы дней десять, помнится мне, ехали, дней десять были в пути.

*Глава десятая***Продолжение рассказа Кондратьева**

Мы попали в Польшу в ночь под Новый год. Мы прибыли сюда самым последним эшелоном. Выгрузились еще засветло на какой-то совсем крохотной, затерявшейся в голом поле станции. Называлась она Брошкув. Может быть, так казалось, что она посреди поля, потому что состав был длинный, а вагон наш находился в конце состава. Мы довольно долго провозились. Пока сводили лошадей, выгружали технику, снимали с платформ наши пушки, стало темнеть. В первую минуту мы даже не знали, что это — Польша. Мы это уже потом поняли, когда, двинувшись от станции, выбрались на шоссе, чтобы найти какое-нибудь пристанище, где мы могли бы перебыть ночь, и вскоре втянулись в местечко, а может быть, в маленький городок даже, в котором деревья были по-смешному и так непривычно для нас подстрижены, а по узеньким, вымощенным плиткой тротуарам, стуча подкованными сапожками, спешили, пряча лица в воротники, по моде одетые, в фуражках с лакированными козырьками молодые люди, и тут же, на тех же тротуарах, продавали поджаренные колбаски и другую какую-то совсем уже скудную еду. Эти короткие, как бы изуродованные, подстриженные деревья, вставшие вдоль шоссе и над тротуарами, со страшной силой раскачивало на ветру. Ветер тут был еще более сырой и резкий, чем в Прибалтике, и все эти люди в своих более чем легоньких пальтишках, оттого, должно быть, что они сильно мерзли, бежали по улицам как-то боком.

Мы выбрались из центра этого городка и двинулись по улице, которая тянулась по кромке леса. С одной стороны дороги был лес, с другой — улица, на которой — за проволочной сеткой — стояли низенькие, плоские, словно бы прижатые к земле дома. Тут было потише, не так сильно задувало. Лес был и вовсе — тихий, молчаливый, словно бы задумавшийся о чем-то своем.

Мы довольно долго еще кружили тут во тьме, на этой окаймленной лесом улице с чернильно-синими в этот час недвижно стоявшими там, в глубине, деревьями, пока наконец, не выбирая особенно, не втянулись в один двор и не завели лошадей, остановившись в первом попавшемся, не занятом пока еще, небольшом, одноэтажном тоже, на самой дороге стоящем доме, неприбранном, грязном, с окнами, заделанными ржавыми железными решетками, со слабо различным в углу распятием, с низко опущенным, холодным и тоже грязным полом. Не было тут ни мебели, ни обстановки какой-нибудь, кроме одной-единственной скамьи и грубо сделанного, покрытого прорванной клеенкой стола. В одном из углов этой пустой комнаты стояла лохань, в другом — старый, обшарпанный камин с вмазанным в него котлом. Хозяева, как видно, помещались где-то рядом, в другой комнате, может быть, на своей половине. Они, должно быть, привыкли к такого рода постояльцам. Они даже не показывались, пока мы ютились тут.

Мы быстро втащили сюда свои пожитки, все, что мы обыкновенно возили с собой, свалили все это в кучу в углу у двери, и первое, что мы сделали, это натаскали соломы и, застелив ее поверху плащпалатками, приготовили одну достаточно теплую постель на всех. Отыскали не знаю где какую-то вонючую карбидную лампу, я их тут впервые увидел, там, на Калининщине, да и в Прибалтике тоже, у нас их не было, мы обходились без них, наспех чем придется занавесили окна, устроив какую-никакую светомаскировку, засветили все коптишки и плоски, какие у нас были с собой. Ездовой наш, Афонин, на этой черной плите в котле этом вскипятил воды. Тут, возле камина, была навалена целая гора брикетов бурого угля, оставшегося, должно быть, еще от прежних постояльцев, и мы, при свете вьедаящей глаза карбидной лампы, быстро, быстро, не теряя времени даром, приня-

лись мыть головы, сливая друг другу из чайника. Мы очень торопились, очень спешили...

С нами была Тоня. Ей ничего не оставалось другого, потому что время приближалось к полуночи, а медсанрота ее расположилась еще неизвестно где. А может быть, ей тоже хотелось встретить этот Новый год с нами. Как бы там ни было, она, когда мы выгрузились из эшелона, все время оставалась с нами. Как ехала с нами в одном эшелоне, в вагоне этом, так и въехала с нами в эту хату.

Одним словом, мы все успели помыть наши лохмы, причесались и даже успели подшить подворотнички. Тоня тоже успела переодеться, надела платье, то есть ту же гимнастерку, но сшитую заодно с юбкой,— военное платье. И теперь, в этом платье, она уже тем более была женщина, дама.

В самую последнюю минуту, когда уже надо было за стол садиться, Тоня выскочила за дверь, на улицу, и скоро, лес был рядом, вернулась оттуда с веточкой сосны, совсем маленькой, отломанной ею. Она убрала ее, утыкала кусочками ваты из индивидуального пакета и поставила ее, эту елочку, на стол в бутылку... И уж совсем неожиданным было то, что когда сели за стол и разложили дымящуюся картошку — полмешка еще ее у нас оставалось от той, что мы захватили с собой в дорогу, оттуда, из Латвии,— и шпроты, тоже предусмотрительно припасенные нами, Афонин наш разлил по кружкам спирт. Оказалось, что на складе, куда он успел смотаться, опять же пока мы прихорашивались, к Новому году выдали спирт. Пока его разводили водой, удивлялись и радовались, стрелки часов приблизились к двенадцати. Мы, что называется, только-только успели...

Мы еще не знали по-настоящему, где мы находимся, где мы выгрузились, что это за места, какие вокруг города, как далеко фронт, где он, как далеко мы от войны, от передовой, где нам всегда положено было быть. С этой переброской нашей мы, надо сказать, уже порядочно отвыкли от всего, и от войны и от фронта, от всего, что у нас было связано с ним. Мы только знали, что мы в Польше, где-то в самом центре большого, растянувшегося на много сотен километров фронта.

Мы сели за стол. Нет, уже не сели, времени у нас на это не оставалось, а — по часам на моей руке — встали над столом, подняли в кружках разлитый спирт и, не в меру счастливые, не в меру довольные и веселые, выпили, выпили за Новый год, за встречу Нового года. Мы даже думать не могли, что нам так повезет! Чистые, умытые, сидели мы за нашим праздничным столом, донельзя довольные жизнью. Тоня сидела рядом со мной. Она даже выпила вместе с нами, пригубила из своего стакана...

Такая была эта первая ночь на польской земле.

Я вышел с Тоней на улицу. Я не знал, хорошо ли это, что мы уходим с Тоней вдвоем, не обидятся ли остальные на меня, на нас. Ведь до того времени тут, за столом, она держалась так, как если бы мы были для нее все одинаковы. Мы были очень смущены поэтому, когда уходили.

Ночь, к нашему удивлению, оказалась не такой уж темной, как можно было думать, когда мы сидели в доме, при свете озаряющей стол лампы, она была даже светлой — от снега, выпавшего за то время, пока мы сидели за этим своим новогодним столом. Снег шел еще и теперь, и все вокруг нас, и заборы, и лес, насколько он был виден, и эти деревья на дороге — все было покрыто липким, мокрым и пухлым снегом.

Было тихо, было очень тихо. Нельзя было поверить, что где-то идет война. Тишина была столь полная, неожиданная, как будто везде и всюду стояла такая вот тишина... В глубине леса вспыхивали ненадолго какие-то огоньки, по временам оттуда доносился конский храп. Там, как видно, размещались наши полки, прибывшие раньше

нас. Мы шли молча, не торопясь, прислушиваясь к тому, что делалось вокруг нас. Лес вокруг нас был наполнен жизнью, он был живой, шевелящийся. Среди сосен, вблизи и вдалеке, различались повозки, телеги, привязанные к телегам, хрумкающие, переступающие с ноги на ногу лошади. Из труб землянок тянулся дым, и трубы эти, облепленные снегом, тоже были видны, видны были и палатки, растянутые между деревьями. Даже какие-то разговоры приглушенно доносились до нас, хотя ни одного слова разобрать было нельзя. Время от времени в лесу, в землянке откидывалось навешенное над входом прикрытие и на какое-то мгновение вспыхивал свет, который тут же пропадал. Все уже спали. Ни новоселья, ни праздника не чувствовалось. Как будто и не было никакого Нового года.

Мы шли по дорожке, по тропинке, которую еще можно было разобрать, инстинктивно стремясь не заходить за обочину, где могли быть мины. Заметно подмораживало. Редкие теперь снежинки вились в высоте над нами, но их не было видно, их можно было только ощутить, когда они попадали на лицо. Шли бок о бок и были в этот час одни в мире. Впервые были одни, наедине друг с другом и с самими собой... Дома, что тянулись с одной стороны дороги, давно уже кончились, и теперь вокруг нас был только этот вспыхивающий далекими огоньками лес. Было удивительно тихо, все погружено было в сон. Не хотелось нарушать эту давно не виданную, не слышанную давно тишину. Страшно было нарушить очарование этой ночи с ее зыбкими, слабыми, лишь изредка проглядывающими звездами.

Мы еще долго так шли по этой засыпанной снегом дороге. Тоня молчала, молчал и я. Над нами была только эта ночь, одна только эта ночь, и эти сосны, и эти возникающие наверху, над соснами, просветы неба. Мы шли между деревьями, стволы которых казались одинаково черными, шли рука об руку, совсем одни, одни в незнакомом нам мире. Кое-где зажигались ракеты, так, без нужды, без надобности пущенные; над нами, над дорогой и над лесом этим стрекотало время от времени: пролетала наша фанерка «У-2», — и взметывался луч прожектора. Все было как на войне, и этот упертый в небо столб прожектора, и эти гудящие самолеты, хотя неизвестно было, где он, этот фронт, где она, война. Слишком была уж для нас внезапна эта переброска на другой фронт! Мы ведь все еще так и не знали, где мы находимся, знали только, что в Польше. Но Польша велика...

Во всем мире была только война и мы.

Человек не знает, что с ним произойдет через минуту, через две, в особенности на войне, но тут никакой войны не было, а было то, что было и что неминуемо должно было случиться рано или поздно. Я только не думал, что это случится так скоро.

Мы долго бродили с ней в этот вечер, и я поцеловал ее. И тут я не знаю, что произошло, но только она вдруг ни с того ни с сего расплакалась, это было очень неожиданно для меня.

Все дальнейшее, что потом произошло, мне трудно передать... Я думал, что так или иначе я должен сказать ей все. И что лучше, что честнее сказать это сразу, сейчас, иначе потом будет поздно. И я как умел, страшно волнуясь и торопясь, рассказал ей все, ничего не утаив. Я допускаю, что я выбрал не самую удачную минуту. Но кто может сказать заранее, кто может заранее знать, когда что следует говорить... Я сказал, что я не знаю, как все это случилось, и что мне очень не повезло, что я очень растерян. Много чего говорил. Она молчала. Потом опять заплакала, очень долго плакала молча. Вы знаете, это всегда тяжело бывает смотреть, когда плачет человек в шинели, даже если этот человек — женщина.

Я говорил, что я сам ничего не понимаю, знаю только, что в жизни моей случилось что-то новое, перевернувшее все, что было

до того времени, и что я не знаю еще пока, как мне относиться к случившемуся, надо ли радоваться мне этому. Не помню, как и что я тогда говорил.

Возможно, что я не так говорил, а по-другому как-нибудь, но смысл того, что я говорил, был, мне кажется, такой.

Я очень помню, как неожиданно было для меня то, что она так горько расплакалась, когда я ее поцеловал. Возможно, что этим и объясняется все дальнейшее, все то, что я стал ей говорить, что в свою очередь так неожиданно для нее обрушил я тогда на нее. Еще за минуту до того, когда мы шли по лесу, по этому чистому, только что выпавшему снегу, все было по-другому... А теперь она плакала, плакала очень долго и как-то безысходно, и мне нечего уже было сказать ей.

Я думал, что она уйдет сейчас же, сразу же, как только я скажу ей все, она уйдет. Я думал, что я уйду и она уйдет и что мы расстанемся. Но мы с ней ходили еще долго, очень долго. Порой она опять начинала плакать, я что-то говорил ей, сейчас уже не помню что, мы с ней ходили так чуть ли не до рассвета и вернулись в дом, где все давно уже спали, вернулись притихшие, измученные, истерзанные.

Мы с ней вообще не спали в эту ночь. Утром — утро было солнечное, ясное — я ее проводил, и она, как она говорила мне потом, быстро разыскала своих. Кстати сказать, они оказались совсем неподалеку от нас, в том же самом селении, где на эту ночь приткнулись мы.

На следующий день мы двинулись в путь, подтянулись к фронту, к Висле, а скоро увидели и Варшаву. Руины разрушенной гитлеровцами Варшавы, разрушенной так, как, может быть, никакой другой из разрушенных на земле городов.

Меня потом, как вы знаете, месяца через три, в Германии уже, снова ранило, я был сразу и ранен и контужен, и опять тяжело. Ранило в руку и опять же в ногу...

Вы об этом знаете, помните меня в то время.

Она потом, вскоре после Нового года, ушла из санроты и из дивизии, разом порвав со всем, перевелась в госпиталь наш армейский, нашей армии госпиталь. Там, в этом госпитале, был какой-то медчиновник, работавший до того в нашей дивизии и теперь, как я понял, перетягивавший к себе нужных ему людей.

О том, как вы везли меня в госпиталь, к ней туда, вы помните... Я того козленка, которого мы тогда подобрали в лесу, до сих пор не могу забыть.

Глава одиннадцатая

Окончание рассказа Кондратьева

Мы были в Германии, мы далеко ушли от родной земли, от ее границ. Время было горячее, бурное, не до встреч...

Дорога от Варшавы вела нас к Одеру, но на половине пути мы повернули на север, к морю, где, на Поморском валу прежде всего, бои приняли особенно ожесточенный характер, выходили к Штеттинской бухте затем, а потом и на побережье само — к Каммину-Поморскому, где также шли очень сильные бои с теми немецкими частями, которые оказались отрезанными в Восточной Померании... И только потом уже пришли под Кюстрин, на плацдарм. Да и то не сразу. На самый плацдарм нас поставили буквально за сутки до наступления на Берлин, в котором мне, как вы знаете, не довелось принять участия. За несколько дней до того, когда мы уже готовились занять свое место на плацдарме, нас бросили на разгром еще одной прорвавшейся из окружения немецкой группировки, двигавшейся через наши тылы. В самом конце операции, я вам тогда не мог рассказать об этом, когда мы ставили пушки на дороге, по которой на рассвете должны были пройти остатки этой группировки, я наскочил на мину... Так что в Берлин я попал, когда там уже все кончилось.

Тоню за все это время, пока меня не ранило, я, можно сказать, почти не видел. Она только однажды была в дивизии у нас, когда совсем неожиданно они ненадолго оказались рядом с нами.

Дом, во дворе которого, придя из-под Штеттина, мы приткнулись на какое-то время со своими пушками, стоял на поляне в лесу. Вернее всего, это была старая, типично, я бы сказал, немецкая, теперь уже заброшенная мыза. Я думаю, что это была именно мыза, потому что каменно-красных коровников было тут больше, чем чего-нибудь другого... Мы тут поместились вместе с нашими полковыми разведчиками, которые на той же мызе, в одном из этих коровников на сеновале спали...

Дом стоял возле дороги, недалеко от перекрестка, а где-то там, на другом конце этой дороги, был город. Это — по одну сторону. А по другую — был Одер, бурный Одер, река судьбы, как говорили немцы, последний водный рубеж перед Берлином. Но мы пока еще его не видели. Нам только говорили, что Одер здесь недалеко, что он очень близко, в том же лесу, что лес этот выводит к Одери, прямо на берег Одера выходит... И вроде бы сам Одер течет среди леса, находится прямо в лесу. Кое-кто из нас, правда немногие, успел уже побывать там. Тут в лесу, недалеко от дороги и от этого дома было небольшое озеро, и там каждый день шли показательные учения, наши солдаты с помощью подручных средств учились на нем преодолевать водную преграду.

Этот-то вот лесной у дороги стоящий дом и был нашей последней стоянкой на Одере...

Недолгой она была, эта наша передышка.

Тоня приехала очень рано, когда мы едва только встали. Приехала в самый дождь, на одну только минутку, по делам, как она сказала, и собиралась тотчас уезжать. Я стянул с нее мокрую шинель, и мы, наперебой ухаживая за нею, усадили ее за стол. Она приехала как раз к чаю. Она твердила, что она очень спешит, но все-таки, смущаясь, как всегда это было с ней, села. Она была, как всегда, румяная и оттого она, зная это за собой, стеснялась еще больше и хваталась ладошками за щеки. И конечно, ее солдатский румянец еще больше разгорался.

Сердце мое уже было задето, хотя я этого еще не понимал, не осознавал еще этого по-настоящему. Хотели мы этого или не хотели, но мы уже любили друг друга и не могли уже друг без друга жить. Я только теперь это понимаю, но тогда я был немножко растерян от неожиданности ее появления, ее приезда. Я испытывал очень сложные чувства. Она впервые так прямо, без какого-либо видимого повода или отговорки была у нас, и я не знал, как мне держаться, как вести себя.

Я сидел с краю, уступив ей свое место за столом. Я видел ее смущение, и мне хотелось, чтобы ей было хорошо у нас. И я видел, что все об этом заботились. Командиром одного из взводов у меня в то время был Нестеренко — мужик тихий и безобидный, тот, которому жена сюда, на фронт, прислала разводное свидетельство, и он поэтому называл себя кавалером разводного свидетельства № 124. Под таким номером был выдан этот документ. Вот он-то и старался больше всех. Он даже шутил как умел и тем, кажется, еще больше смущал ее. Он подкладывал ей сахару в стакан, а потом заглядывал в банку и говорил: «Сахару-то у нас мало осталось. Сахарок-то у нас вышел весь, кончается у нас сахарок-то...» И так далее, все в том же роде.

Тоня хотя и понимала, что все это шуточки, но смущалась, и смеялась и смущалась одновременно.

Это наше сидение за общим столом под взглядами товарищей было, наверно, нелегко для нас обоих, поэтому я был особенно бла-

годарен моему товарищу и за то, что он взял на себя роль хозяина, и за эти его пусть немножко неуклюжие шутки.

Тоня торопилась, и я пошел ее проводить. Мы вышли из дома, спустились с крыльца и скоро вошли в тихий, еще мокрый лес. Лес был совсем рядом, он стоял стеной и начинался прямо тут же, от этого дома, от его крыльца. Мы спустились с крылечка и оказались в лесу на дороге. Дорога была хорошо профилированная, прекрасно асфальтированная. Известно, какие дороги у немцев. У них ведь даже самая плохонькая дорожка, даже если она в лес за дровами, все равно заасфальтирована. Лес был тоже такой же чистенький, без единого сучочка, словно бы подметенный, больше похожий на парк, чем на лес.

Сосны стояли за дорогой, длинные, натянутые, как струны. Они и впрямь были будто хорошо натянутые струны. Кажется, проведи рукой, и они заколеблются, заиграют, загудят мерно и торжественно. День был теплый, даже солнечный. Сквозь вершины сосен прорывался не проникающий до земли свет солнца. Ночью шел дождь, и лес был мокрый, черный, сосны слева, со стороны дороги, были угольно-черные, вымокшие от прошедшего за ночь дождя. Обычный весенний, намокший за зиму лес. Дорога тоже была еще не высохшая после дождя, мокрая. Грязь самую большую с дороги раскидало машинами, и асфальт был чистый, грязи на нем было немного, вернее сказать, ровно столько, чтобы местами на нем четко отпечатался след колес. Я давно не видел такого леса, он был весь пропитан серой.

Там, в конце дороги, по которой мы шли, лежал городок — полупустой, словно вымерший, должно быть, и в самом деле начисто брошенный, как очень многие города на пути к Одру, город, в котором размещались кое-какие наши тылы, хозяйственные службы, которые не надо было особенно прятать. Здесь теперь, пока они не ушли отсюда, и было расположено хозяйство Тони — две-три машины, несколько домов на окраине с медперсоналом, врачами и сестрами, одно из отделений пока еще не развернувшегося госпиталя.

Мне уже приходилось бывать там, в этом городе.

Тоня была в шинели, в своем теплом толстом шерстяном платье, а я ничего не надел, тепло было, — в одной только тоненькой своей суконной гимнастерке, в фуражке... О как легко было идти в тоненькой суконной гимнастерке, в легких, почти еще новых сапогах через этот влажный, мокрый, пахнущий весной, только еще начинающий понемногу просыхать, густой сосновый лес. Мы шли, и было нам хорошо, мы шли, молчали, а может быть, и разговаривали, не помню этого, а сосны и слева и справа странно двигались вместе с нами, забегали одна другой вперед, кружась, как бы в хороводе. Невозможно было сделать шаг, чтобы они не начинали кружиться.

Мы шли уже с полчаса, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Нельзя же было вот так идти и идти пешком через весь этот лес. Мы все время посматривали назад, оглядывались, ждали, не загудит ли издали позади нас какая-нибудь машина. Но прошла только одна, тяжело груженная, с грузом, накрытым высоко мокрым, темным, еще не высохшим брезентом. Но эта нас не посадила.

Я знал, что Тоня торопится, что она спешит, и сердился на нее. Я видел, что и она рассержена, и не понимал ее настроения. Получалось, как будто я был виноват в чем-то, и прежде всего в том, что мы так давно идем а машин все нет и нет. Я видел, что досада ее все больше росла. На что? Да нет, конечно, не на то, что не было машины. Тут дело было совсем в другом. Она была недовольна тем, что она пришла, что она так вот сдуру, глупо закатилась к нам. Как девчонка! И теперь то, что для всех было тайной, так, во всяком случае, какое-то время казалось нам, что было скрыто до поры до времени, стало для всех явным, было у всех на виду. Она заметила,

конечно, что ее появление и вся эта неестественность, возникающая за столом, действовали на меня. И теперь я был раздражен, настроение у меня было испорчено. Тоня все это заметила еще за столом... «Ах, ты хочешь, чтобы все было тайным... На людях ты становишься совсем другим, замыкаешься, становишься необщительным, угрюмым. Ты ведешь себя так, как будто бы даже стесняешься меня! Ну хорошо же!» Так или почти так она говорила мне.

Да, все это было не только на ее лице, но она это все теперь мне и говорила. Одним словом, мы поссорились, поссорились неожиданно, как никогда не ссорились, очень страшно.

Я не думаю, чтобы вам было интересно слушать двух между собой поссорившихся людей — на этой дороге, в лесу, среди дороги... Ничего не может быть хуже, прощя говоря — противнее. Мы шли теперь по разным сторонам дороги, как бы все больше отдаляясь друг от друга, досадуя один на другого, жалея и недоумевая, что все так нелепо сложилось, все так произошло. Но я, как обещал, освобожу вас от описания подробностей.

Обида, будто внезапно отпущенная ветка, больно хлестнула меня по лицу. Я кинулся в лес не разбирая дороги, и не помню, куда и сколько я шел. Все во мне кипело. Как она могла так!

Когда я опомнился, я повернул, нет, я выбежал обратно на дорогу. Однако я не сразу мог правильно определить, куда мне надо идти. Я отбежал очень недалеко. Я преодолел канаву, почти ров, отделяющий лес от дороги, даже не заметил, как его перемахнул, и, выбежав на дорогу, огляделся и не поверил себе. Дорога была пуста. Дорога просматривалась на несколько километров, и все же она была пуста, на ней никого не было. Ее не было.

Я в первую минуту ничего не понимал, не соображал, не понимал, как это случилось. Никого. Как будто мы только что, всего лишь какое-то мгновение назад, не были здесь, на этой дороге. Куда я бежал? Ведь не было же никого ни впереди, ни сзади.

И все же потеряв голову я кинулся вперед по дороге. Не знаю, сколько времени бежал я, бежал не останавливаясь, изо всех сил, я почти задышался. Потом я пошел тише, потому что я уже не мог больше бежать. Я задышался, и у меня не было больше сил бежать...

Я не знал, куда мне идти, назад или вперед.

Теперь, когда ее так неожиданно не стало на дороге, я испытал самый настоящий страх. Куда она исчезла, где она, что с ней? Теперь мне стало казаться, что она позади, что, может быть, так же как и я, она ушла в лес. Где мне искать ее теперь? Ее увезли! Ее увезли от меня, похитили, чего доброго... Должно быть, это было у меня в мыслях.

Я ушел в лес, я хотел обдумать случившееся, прийти в себя. Я отошел совсем немного, когда услышал стук подков и тотчас выскочил из леса. Впереди кто-то ехал на лошади. Я уже видел лошадь, ее высокий круп, грудь ее, будто в сдвинутом плане укрупненно данную. Но я еще не видел всадника. Я только видел, что вслед за этим первым ехал еще один. Я ничего не видел, я весь был под впечатлением случившегося — того, что произошло между нами, между мной и ею. Я не мог разглядеть, кто это подвигается по дороге навстречу мне, наезжает на меня.

«Кондратьев, Дима?» — услышал я.

Я поглядел наверх, на всадника, за голову коня. Я очень медленно приходил в себя. Я все еще не узнавал человека, сидящего на лошади. Но что-то в нем было знакомое. Я еще раз взглянул наверх, на всадника. Это был Иннокентьев, мой дружок комбат Вася Иннокентьев, которого я столько раз поддерживал своим огнем, своими пушками, огнем и колесами, как говорят у нас. Веселый Вася Иннокентьев медленно двигался по дороге навстречу мне. Я не знаю, где он был, куда его вызывали, знаю только, что полк их стоял тут же,

недалеко от нас, недалеко от этого леса. Вася ехал с ординарцем. Я только тогда, когда схватил его лошадь, узнал его. Схватившись за узду, я сказал, чтобы он слезал. «Слазь», — сказал я ему. Он сразу понял меня. Он даже не спросил, что случилось. Он смотрел на меня с удивлением — выскочил из леса и теперь ссаживает его с лошади — и действительно стал слезать. Я взял у него повод и перекинулся в седло.

Я повернул лошадь и погнал ее вперед по той же дороге. Комбат успел мне протянуть плетку. Конь прыгнул как от шпор, лес закружился, сосны опять замелькали, опять пошли в хороводе, только теперь уже в скачке бешеной, перемещаясь, как в пляске; и все замелькало, все пошло кружиться, темная кайма леса у дороги и радужная, солнечная, со светлыми, яркими полянками вдали. Я хлестал лошадь и привставал, все пытаюсь увидеть, что там, на дороге, разглядеть что-нибудь впереди. Не могла же она уйти так далеко! Я был уверен, что я скоро ее догоню. Я действовал как во сне. Куда же она делась, не могла же она далеко уйти! Я гнал и гнал, и сосны — и ближние и дальние — все сильнее, бешено вертелись на одном месте.

Я гнал коня и был уверен, что догоню, что очень скоро впереди на дороге, у обочины покажется маленькая темная фигурка. Она. Я гнал что есть мочи, я скакал, хотя и не очень крепко держался в седле, я слышал только стук подков и слабое дыхание коня. Я знал одно, что я должен ее догнать, от этого зависело все, вся моя жизнь. Я ничего не понимал, как она могла так далеко уйти. Я готов был скакать хоть до края света.

Вдруг конь мой захрапел и стал стремительно падать. Совсем как в кино или в романе каком-нибудь, и я еще не успел высвободить стремяна, а он уже лежал на дороге. Я не стал даже снимать седла. Я и тут не мог одуматься, не пришел в себя, даже мое падение, даже то, что я загнал коня, не подействовало на меня.

К счастью, меня подобрал, подвез грузовик. Он выскочил как-то неожиданно. Мне не пришлось даже поднимать руку. Водитель сам остановился возле упавшей лошади и посадил, довез меня. Он ехал туда же.

Не прошло и получаса, я думаю, как я уже был в городе.

В этот день я не вернулся, этот день и решил у нас все... Оказывается, знаете как было? Пока я, ошалев, бежал через лес, остановилась машина, которой я даже не слышал. Она села в кабину и через час, через полчаса была дома.

Этот день все и решил. Добравшись до еще одного такого же маленького, компактного, но такого же унылого городка, каких, я думаю, много в старой Германии, я не вернулся в этот день на мызу нашу, называвшуюся, как я теперь вспомнил, Кляйн Мантель, и остался у Тони.

Глава двенадцатая

Я слушал Кондратьева и думал о своем. Я думал о том, что дни мои уходят бесцельно, что как бы ни была тяжела та жизнь, которую я оставил, она все-таки во сто раз легче моего нынешнего прозябания, этого убивающего душу бездействия... Временами мне хотелось побыть одному, собраться с мыслями, уединиться, но для этого тут не было никакой возможности, госпиталь есть госпиталь. С утра начинались процедуры, прием лекарств, потом обход врача. В одном углу коридора забивали козла, в другом травили анекдоты, в третьем стонали или звали на помощь. Все было, одним словом, так, как в тот день, когда я поступил сюда. Разве что людей, нуждающихся в операциях, заметно поубавилось.

Утром, когда Кондратьев уходил на перевязку, я старался вы-

скользнуть из корпуса, чтобы не попадаться лишний раз на глаза врачу. Через боковой, через запасной вход я выбирался на улицу и сидел где-нибудь на лавочке, тут же возле корпуса, недалеко от входа, ждал, когда он освободится...

Часа в три дня, то есть в то время, когда в госпиталь доставляли почту, мы выходили в вестибюль и перебирали лежавшие здесь на столе треугольники и открытки, но ни мне, ни ему ничего среди них не было. Я и не ждал, мне не от кого, собственно, было ждать, но Кондратьев, я видел это, не находил себе места. Какая-то одна мысль, как казалось мне, не давала ему покоя. Из его недомолвок я не мог понять, что у них там происходило, почему она не отвечала ему... Может быть, он думал, что он теряет ее?.. Но это все были, что называется, одни только мои догадки.

И еще я думал о том, что — война неподходящее место для любви...

Я все думал о том, о чем он мне рассказывал, я видел, что ему нелегко.

— Плохо у меня там, дома, — сказал он мне однажды...

Жизнь в госпитале шла своим чередом. Мы уходили за территорию госпиталя, за пределы больничного городка, переходили дорогу и медленно спускались на низкий, утоптаный берег озера.

Тут, на этом озере, и впрямь был остров. Я не сразу узнал о нем, не сразу понял, что это — остров. Я долгое время считал, что это противоположный берег так близко подходит сюда. Отвязав качающуюся на воде лодку, мы направляли ее на этот пока еще мало исследованный нами, густо заросший деревьями, совершенно безлюдный островок и долго бродили там среди травы, остро пахнущей, среди цветов, которых тут было много. Тут было совсем тихо. Даже шума города не было слышно, ни города, стоящего напротив, ни дороги, ведущей мимо госпиталя... Город отсюда был нам прекрасно виден весь — с собором, с вытянувшимися у пристани пакагаузами, с обступившими автостраду мощными деревьями, шпилями двух или трех кирх. Оттуда, от города, с поверхности этого озера, со середины его, тянул легонький, рябивший воду, поднимающий еле заметную волну ветерок. Небольшая такая, еле заметная волна, легкая судорога как бы, время от времени сводила воду озера, его тихую, спокойно раскинутую гладь.

Зеркало воды сверкало над городом.

Мы проводили здесь время до обеда, пока не раздавался звук невидимого гонга — колокола, подвешенного где-то там, на одной из башен, которых тут, в этом госпитальном городке, было много.

Для нас это означало, что пора возвращаться. Тогда мы поднялись и плыли назад, к берегу.

Мы причаливали к мосткам, где все так же со своими удочками сидел знакомый мне немец, привязывали лодку и шли к обеду.

К вечеру, с наступлением темноты, когда обернувшееся вокруг земли, но все еще гудящее, раскаленное солнце начинало опускаться, прятаться за озером и за городом, становилось прохладно, даже холодно. И с озера, с до утра замершей глади воды, и с полей, в этот час дремлющих, в палату нашу входил прохладный, освеженный дыханием земли воздух. В госпитале, как и во всем мире наверно, наставляла полная тишина.

Так шел день за днем.

— Я вам не говорил об этом в прошлый раз, — сказал Кондратьев, когда мы вечером однажды вернулись с нашего берега в палату к себе и укладывались спать и уже даже легли, — не говорил, в ту новогоднюю ночь в Польше, когда мы ходили возле леса все по одной и той же тропе и я решил сказать ей все, она, все так же плача и все так же рыдая, рассказала мне о себе...

Это была какая-то старая, но ей казалось, до сих пор всем памятная история, нечто такое, что было на памяти всех. А знали об этом, может быть, только несколько человек. Мне не хотелось, да и больно было бы услышать что-нибудь такое, что трудно потом будет забыть, я всячески старался уклониться от этого, но так или иначе я услышал. Она была очень сдержанна и передавала все, наверно, в двух-трех словах, а мне все это запомнилось вроде бы в подробностях. Она и впрямь была очень сдержанна и немногословна и, как мне кажется, не рассказала даже, а проговорила как бы, сообщила, что ли, мне историю своей жизни — историю своей жизни и любви, потому что это, конечно же, была история ее жизни.

Она была, как видно, совершенно убита, сокрушена и в этом своем удрученном состоянии растерянности, овладевшей ею, рассказала мне то, чего никогда бы в другое время не рассказала и чего никогда потом не хотела касаться.

Ей и так, как я видел, стоило это много сил.

В общем, это была история, видимо, довольно обычная, заурядная. Она была медсестрой в санузводе, он командиром стрелковой роты в том же полку, где она начала служить. Был роман, не роман даже, а что-то вроде свадьбы было. Все как полагается. Только что регистрации не было. С этим решили подождать до возвращения с войны. Они были вместе мало, ее ранило во время боя, там же в батальоне, в роте у него, когда она пыталась вытащить раненого.

Ранена она была очень тяжело, осколок пробороздил ей спину, и что-то там было задето, и у нее отказали ноги. Думали, что она не поднимется, ей грозили костыли, и она была в отчаянии, но как-то это обошлось, ноги удалось спасти. Ее долго лечили... Она и сейчас, когда она стояла, не замечая того, как лошадка, слегка поджи-мала правую ногу. Хотя, пока она не рассказала мне всего этого, я этого не замечал.

Потом, когда она еще находилась в госпитале, он тоже был ранен и, некоторое время спустя, получив отпуск, уехал домой. Она волновалась, мучалась, потом узнала, он ей сам написал обо всем, написал, что обманывал ее, что был женат, что он не вернется. Свет для нее померк, она думала, что она не переживет этого, что она не станет, не сможет жить. Такого удара, такого предательства, как она говорила, она не ожидала, не могла ожидать. Она не знает, как она выдержала все это...

Она говорила, что она такая невезучая, что на этот раз она ни о чем таком не думала, ни к чему не стремилась и она не знает, почему это так получилось, что она на этот раз ни в чем не виновата. Что она не понимает меня, не понимает, как можем мы о чем-нибудь говорить еще, что разве не ясно, что я должен вернуться домой к себе и что у меня есть обязанности. А сама опять начинала плакать, говорила, что второй раз она оказалась такой душой, неизвестно, на что она надеялась. Она давно бы могла спросить у кого-нибудь, но ей и в голову не приходило. Но что так ей и надо! И снова о том, что это уже второй раз. В голосе ее слышалось горе и неподдельное отчаяние. И я уже не был уверен, что поступил правильно, что, рассказав ей все, я ударил ее как бы из-за угла и что я сделал это так неожиданно, так грубо.

Мы в это время, пока происходил весь этот наш печальный, раздражающий сердце разговор, сошли с дороги и стояли возле трех тут, у дороги, растущих елей, под их тяжело нагруженными, длинными, отягченными мокрым снегом ветвями... Не разговор, не объяснение, а самое настоящее, истинное испытание.

Должно быть, ей, как и мне, казалось, что кругом все обо всем знают, что всем все известно и что прежде всего все известно мне.

И она была удивлена, что я ничего не знал, не слышал...

Демобилизовываться она не хотела, не пожелала, но и в полк свой вернуться тоже не могла. И едва только ей стало немного лучше, едва только поднялась она на ноги, ушла в санроту, в наш полк, где я впервые ее и увидел в тот день, когда они приходили к нам.

Глава тринадцатая

Город жил своей обычной, скрытой от нас жизнью. Он был маленький, очень старый и очень древний, с маркплацем — торговой площадью — и одной-единственной сколько-нибудь настоящей улицей, по которой мы ходили теперь вдвоем и по которой прежде я ходил один и на которой мы знали решительно все. Знали, какая дверь идет за какой. Знали, что за табачным магазином (теперь там торговали одними только пустыми бумажными гильзами) идет аптека с объявлением, что сульфидин весь распродан, за аптекой — магазин писчебумажный и фотопринадлежностей, еще не работающий, за ним — булочная, хлебный магазин. Хлеб был по карточкам, но очередей не было. А по другой стороне после ратуши — этот кинотеатр, потом часовая мастерская, за парикмахерской — фотография, потом водокачка, ее серая башня, потом афишная тумба, железнодорожный переезд, шлагбаум... Все здесь, на этой улице, было нам теперь уже хорошо знакомо.

Мы часами бродили с Дмитрием из конца в конец по этой единственной улице, по всему этому малюсенькому провинциальному городку, в котором, не знаю где, может, на этой улице как раз, родилась Ева Браун, любовница Гитлера, ставшая в смрадном воздухе бункера под рейхсканцелярией, только за полчаса до того, как им отравить себя ядом, фрау Шикльгрубер, получив при венчании настоящую фамилию Гитлера. Венчание состоялось, когда наши солдаты уже врвались в рейхстаг.

Разумеется, мы тогда ни о чем этом еще не знали...

Ребенок плакал где-то за стеной... Почему-то это очень запомнилось мне. Я даже объяснить сейчас не берусь почему. Наверно, потому, что все вокруг было очень чужое и чуждое, а этот плач ребенка за стеной немецкого дома был таким, каким ему и положено было быть, плачем человеческого существа, маленького, может быть, только что родившегося...

Тут, на скамеечке, под деревом, между двумя домами, возле стоящей в глубине улицы кирхи сидели в эти часы женщины, чаще всего немолдые, с раздувшимися от здешней воды слоновьими ногами, с детскими колясками подле себя. Эти коляски от комаров, которые тут в это время как раз, вблизи озера, вывелись густо, были прикрыты прозрачно-желтоватой какой-то, чрезвычайно тонкой тканью. Не что иное, как противомоскитные сетки из пустыни, из Африки. Их, эти противомоскитные сетки, палатки, привозили приезжавшие навестить своих немецкие солдаты и офицеры из экспедиционного корпуса генерала Роммеля в Африке. Теперь под ними мирно спали, посапывая, эти маленькие, только что народившиеся немцы...

Что еще помню? Надо сказать, что здесь, как и во всех городах, куда мы приходили до того, подвалы домов были забиты всевозможными продуктами, разного рода домашними консервами, соленьями и копченьями, разного рода наливками в залитых сургучом бутылках, в банках с плотно притертыми крышками. Так было с самого Одера, так было и здесь, в этом городе... Мы и здесь тоже, помню, в первые дни, когда мы пришли сюда, захватили один склад, где, кстати сказать, оказалось огромное количество мешков с крахмалом...

У рациональных немцев, как известно, было великое множество всяческих эрзацев. Не только эрзац-одежда или эрзац-обувь, но и эрзац-еда тоже, эрзац-колбаса, например, которая, если не ошибаюсь

называлась соевой... Крахмал тот, если уж мы заговорили об этом, тоже, как видно, шел на изготовление такой колбасы.

Они могли бы еще, эти фанатики, долго держаться, если бы мы их не сломили наконец, у них еще кое-что оставалось, и уж, конечно, они не голодали. Я не говорю о Берлине, там другое было положение. Я вспоминаю, мы еще не ушли из Берлина, а немцы уже наводили порядок, разбирали развалины, передавали из рук в руки дробленный кирпич, камни... Но это все потом. А в первые дни, когда мы только пришли, наш солдат, повар, по-матерному свирепо ругаясь, кормил толпившихся возле полевых наших кухонь пленных немецких солдат, берлинских стариков, женщин и детей. Возле кухонь, это было не только в Берлине, всегда было много детей...

Там много чего было, на этих складах, о которых я заговорил. И селедка была, и сыры, и шпик, и колбаса та же. Все что хочешь! Даже в самом госпитале нашем, в его наиболее дальнем углу, возле одной из стен каменного сарая были взвалены одна на другую огромные железные бочки с рыбьим жиром, бочки были с кранами, и первое время каждому больному и раненому давали по утрам рыбий жир, по мензурке каждому...

Но это все — к слову.

Удивительно, как быстро все у них тут закрутилось, завертелось, заработало! Война вроде бы только что закончилась, и вообще такой разгром пережили, не пришли еще вроде бы в себя, не опомнились, а и двух месяцев не прошло, на второй же день, можно сказать, после войны, заработали и кинотеатрики всякие, и всякого рода кабаре и варьете открылись. Но так всегда, я думаю, бывает, и не у одних только немцев. Везде и всегда и во все времена так было: одни умирают с голоду, другие оплакивают мертвых, третьи танцуют или смотрят голых девочек. На то она и война! Хуже и гаже ничего не бывает и не придумано.

Я помню, в Берлине, вскоре после того как там закончилось все, я услышал со двора, окно нашей комнаты выходило во двор, истощенный крик: «Все разрушено, все погибло!» Кричала какая-то женщина. Им и впрямь казалось так в первое время. Но вскоре они увидели, что все еще не так плохо и могло быть гораздо хуже.

Все погибло, все разрушено, однако же жизнь шла своим чередом. В только что открывшемся тут варьете, в маленьком, выходящем к озеру зале, юные и, я думаю, еще недостаточно сытые немецкие девы — их было человек двадцать — давали представление, высоко поднимали ноги со сцены и пели какие-то песенки, наверно еще довоенные, не всегда, как мне кажется, приличные. Ничего подобного мы до того времени не видели.

Но прежде всего фильмы показывать стали. Отбирали из старых то, что можно было показывать, где было поменьше людей в форме. Выбирать, правда, было особенно не из чего, поэтому чаще всего показывали одну и ту же картину — «Кельнершу Анну», тоже, как видно, еще довоенную... Перед началом, кстати сказать, показали наш документальный фильм, только что появившийся, о боях в Берлине. Он так, мне помнится, и назывался — «Взятие Берлина», не помню уже точно названия. Помню только, что немцы смотрели его с большим интересом, но и с испугом также, со страхом. Их особенно приводило в ужас залы наших реактивных «катюш», так называемых гвардейских минометов. Здесь, у себя в городе, они это впервые видели.

Я не помню фильма, который мы смотрели на этот раз. Мы немного запоздали, пришли, когда картина уже началась, когда уже свет погасили в зале. Нас посадили на приставных стульях, в проходе. И тут произошла следующая история. Только-только начались первые кадры, как в дверях там, за спиной у нас, возник какой-то шум, довольно сильный, а потом по залу, по проходу его, мимо нас засту-

чали сердито каблукки. В следующую минуту перед экраном мелькнула тень и тотчас раздалась брань, ругательства, хлоп, хлоп, послышалась здоровая оплеуха, одна, другая. Кого-то били, кто-то что-то кричал. А затем новый стук каблукков в темноте, но уже в обратном направлении, к двери.

Все произошло мгновенно. Потом все смолкло. Только все так же с маху грохнула дверь.

Мы только тут различили в первом ряду две приткнувшиеся друг к другу фигурки — мужчину и с ним женщину.

Движение на экране, как нам показалось, на минуту приостановилось.

Они еще какое-то время сидели. Должно быть, просто не знали, как быть. На них скоро зашикали. Почему-то всех страшно рассердило то, что они, эти двое, остались сидеть. Не то, что раздался этот крик, не поведение сюда, в зал, ворвавшейся женщины, заставшей своего возлюбленного, а может быть и мужа, с другой, а то, что они продолжали еще сидеть здесь. И, некоторое время подождав, они вышли. Сначала встал и вышел, согнувшись, мужчина, за ним следом женщина...

Нас почему-то это очень удивило, когда мы услышали эту оплеуху, уж очень все это было на русский лад. Впрочем, не только удивило, но и возмутило даже. Как это так! Как они смеют так вести себя при нас! В нашем присутствии, в общественном месте, на виду у всех, какое безобразие!.. А чего, собственно, было уж так возмущаться, не думали же мы, что ревность у немцев какая-то не такая, как у других...

Одним словом, война сама по себе, а жизнь сама по себе...

Опять-таки все это потому, наверно, так удивило нас и так запомнилось нам, что случай этот произошел через какой-нибудь месяц или полтора после войны.

Жизнь продолжалась.

Все погибло, все разрушено, однако же жизнь продолжалась...

Один раз как-то, когда мы вот так вот выбрались в город из госпиталя и шли по этой единственной улице, мы зашли в небольшую фотографию, в маленькое такое ателье, как раз тут, не доходя до шлагбаума и до переезда, и девушка, которая там была, хозяйка ателье, черноволосая такая, очень красивая, сняла нас. Она немного испугалась, когда мы заявили к ней, но скоро пришла в себя, расставив стулья, довольно умело посадила нас рядом. Мы потом приходили к ней за снимками и принесли в уплату какие-то сигареты и две или три банки консервов. Очень были смущены. Но она спокойно взяла эти консервы, сдержанно поблагодарила, а больше всего, как мы увидели, обрадовалась сигаретам. Я не курил, и сигарет этих много у меня всегда накапливалось.

У меня и сейчас лежит дома эта фотография, единственная, на которой мы снялись вместе. Дмитрий сидит медведем, чуть неуклюжий, косит глазом в фотоаппарат и руки на коленях сложил. Лицо у него доброе, какое у него всегда было.

Глава четырнадцатая

Еще один рассказ Кондратьева

Я уже не могу объяснить сейчас всего, не могу сказать, как случилось, что мы попали в ту часть Германии, где, как я теперь понимаю, еще не было наших войск и куда еще не пришли ни американцы, ни англичане.

Для меня это тоже какой-то совершенно необъяснимый, невероятный какой-то случай...

Началось все с того, что где-то после полудня, как мне помнится опять же, мы еще только устраивались на новом месте, она ко мне приехала. Приехала, как всегда, неожиданно и, как всегда, очень торопилась. Какой-нибудь час или два всего побывала она. Говорила, как всегда, что очень торопится, что ей необходимо сегодня же вернуться к себе. Что приехала она на этот раз только потому, что была оказия, подвернулась машина, которая шла прямо в наше расположение. Одним словом, не успела заскочить, как тут же принялась собираться обратно.

Мы уже знали теперь, что связаны друг с другом на всю жизнь... Мы были как муж и жена, хотя по-прежнему встречались редко, особенно теперь, когда я опять был в полку, а она там, у себя, в своем госпитале. Мне, как вы понимаете сами, вырваться к ней было еще труднее, чем ей ко мне... Они к тому времени тоже уже переместились, продвинулись на запад, как и все тылы нашей армии после взятия Берлина.

Ну что было делать... И ехать нельзя и не ехать нельзя! Но не отправлять же ее одну! Хотя и не положено было мне отлучаться неизвестно зачем и куда, но все-таки я поехал.

Мы вышли на дорогу и скоро, через каких-нибудь десять минут, были уже в пути — наверху, в кузове первой попавшейся, подобравшей нас на этой дороге машины. Мы влезли в нее, не спрашивая и не раздумывая особенно. Надо сказать, что хотя война вроде бы закончилась, но здесь, на дорогах Германии, все еще было в движении, дороги были все так же забиты войсками, транспортом, людьми и машинами, движущимися во всех направлениях.

Мы гнали на ней, на этой первой попавшейся, остановившейся перед нами полуторке, рассчитывая если уж не добраться прямо до самого места, то хотя бы подъехать поближе. И так бы именно все и было, наверно, если бы в какую-то минуту в конце дня уже, когда клонящееся к земле солнце должно было вот-вот спрятаться за лесом, на развилке дороги, в лесу тоже, мы к тому времени въехали в лес, водитель повернувшейся нам полуторки не свернул, как показалось нам, явно куда-то не туда. Вернее даже так: на перекрестке, где одна из дорог вела вправо, он поехал прямо, в то время как нам, как считали мы почему-то, скорее всего надо было направо. Я не знаю, почему мы так решили. Мы тотчас принялись стучать ему в кабину, и он, хотя и не сразу, потому что гнал перед тем сильно, притормозил немного, на один миг всего. Мы, как всегда, не дождавшись, когда он остановится, едва только он начал притормаживать, выкинулись за борт, сначала я, а потом, когда машина остановилась окончательно, и Тоня, которой я помог, придерживав ее, пока она спускалась оттуда сверху. Борт у полуторки был высокий, и слезать было трудно.

Полуторка, в которой мы ехали, скрылась из виду, а мы остались стоять на дороге совсем одни, в лесу, выброшенные неизвестно где, посреди дороги, ведущей неизвестно куда. Лес как-то разом вдруг и притих и примолк, а дорога опустела.

Мы решили пока не ждать, не стоять тут, на этом перекрестке, а идти вперед, тем более что пока еще было достаточно светло да и дорога была хорошая, хорошо накатанная, наезженная. Все равно какая-нибудь полуторка рано или поздно, как считали мы, нагонит нас... Мы шли по затененному, лоснящемуся от множества прошедших по нему колес асфальту и оглядывались, прислушивались к тому, что делалось у нас за спиной, все время ожидая услышать гул приближающейся машины, которая, как мы надеялись, вот-вот должна была нагнать и подобрать нас. Я не знаю, на что мы рассчитывали и откуда бралась у нас эта уверенность. Уж кто-кто, а я-то должен был знать хорошо, как мало бывает охотников ездить по ночам — на войне, на фронте... Вокруг нас был сосновый густой лес, и не такой, где все сучки собраны, а обычный, влажный, довольно глухой немец-

кий лес. А перед нами — все же кусок этой черной, гладкой, хорошо еще недавно наезженной и неизвестно куда теперь ведущей лесной дороги.

Я не знал, что в маленькой Германии так много лесов!

Мы шли уже, наверно, около часа, а между тем ни одна машина не появилась, сколько мы ни оглядывались и ни прислушивались. Дорога была как вымершая. Мы уже начали сомневаться, правильно ли мы поступили, что так вот с ходу, сдуру, можно сказать, не разобравшись как следует в обстановке, выкинулись ни с того ни с сего из подобрывшей нас полуторки на этот асфальт, на эту дорогу. Как бы там ни было, но она, эта случайная полуторка, все-таки везла нас куда-то, а теперь мы шли пешком через все более темнеющий безлюдный лес и не знали, куда мы идем и можно ли еще рассчитывать на какой-нибудь транспорт.

Похоже было, что мы во второй раз попали в ту же ситуацию. Можно сказать даже, что нам везло в этом смысле...

Мы все ускоряли шаги, словно бы нас что-то подгоняло. Между тем в лесу с каждой минутой все более темнело. Теперь уже трудно было различить отдельные деревья, стволы сосен за канавой все более сливались в одно пятно. Только дорога все еще обозначалась там, впереди, наверху, просветом в вершинах деревьев, в кроне обступивших дорогу сосен.

Ночь надвигалась, подступала со всех сторон, и никаких надежд на транспорт, на какую-нибудь машину, не было. Они вдруг, как отрезало, все перестали идти.

Тоня, как это бывает, должно быть, со всеми женщинами, начала жаловаться, говорить, что я ее куда-то завел, что она натерла ноги, что она больше не может идти, что она боится, что ночевать нам придется в лесу. Одним словом, мы опять, как уже бывало у нас, поругались, поссорились с ней. Так у нас всегда было с ней. Я не буду рассказывать, опять же, об этой нашей ссоре. Мы шли уже не рядом, не вместе, а по краям дороги, по разные ее стороны, с каждым шагом все больше отдаляясь друг от друга, досадуя на то, что все так неудачно сложилось...

Положение наше и в самом деле было дурацкое, глупое, такое, что хуже не придумаешь...

Сделалось холодно, сыро. Лес становился все глуше, темнее. На дорогу из леса стал наползать туман. Под ногами у нас ничего уже не было видно.

В глазах у Тони стояли слезы. Куда я ее завез? Что с нами будет? Я чувствовал себя во всем виноватым.

В довершение ко всему пошел дождь. Шинели на нас быстро намочили.

Мы шли так, не разговаривая, еще какое-то время, и она то переставала, то опять начинала плакать. Сапоги у нее и вправду были большие, и идти в них ей было трудно. Я все время оказывался впереди, а она все время отставала. Мы оба были усталые, злые, и сколько ни шли, вокруг нас был один и тот же глухой, бесконечно тянущийся лес.

Только в полночь, часам к двенадцати уже, в темноте между деревьями мы увидели зыбкий огонек. В первый момент я подумал, что это не что иное, как фары оказавшейся на дороге машины. Мы прошли еще немного, огонек по-прежнему светил из одной и той же точки. И скоро среди вымокших сосен из темноты, из полутьмы, выплыл полуосвещенный дом, большой, двухэтажный дом, с высокой крышей и издали белеющим крыльцом.

Еще через минуту мы стояли перед открывшим нам дверь человеком, старым, пожилым, в светлой грубой кофте. Вслед за ним мы вошли в гостиную, сплошь всю увешанную рогами. На деревянной, обитой панелью стене висели рога убитых кем-то когда-то оленей и

коз. Хозяин был явно растерян... Пользуясь более чем мизерным запасом знакомых мне немецких слов, я пытался выяснить у этого человека, где мы находимся. В комнате было совсем темно. С потолка свешивалась какая-то лампочка, и по стенам покачивались наши тени. Хозяин стоял у стены и молчал. В темноте его лица не было видно, он, как я думал, плохо понимал, как мы оказались здесь, откуда мы явились к нему одни, без машины, посреди дождя, посреди ночи. Он, как видно, ничего не понимал и смотрел на нас во все глаза. Действительно, если спросить мы еще умели, то понять ответа не могли, на это наших познаний в языке уже не хватало.

Подбирая слова, с трудом составляя какие-то фразы, я объяснил ему, куда нам надо добраться. Я пытался объяснить, что нам нужна машина. Я просил помочь нам... Я только собирался сказать ему, что у меня есть деньги, марки, что все, что у меня есть, я отдам, но в это самое время — я ведь так и знал, что в доме кто-то есть, предчувствовал, — послышались шаги. Я ведь и раньше понимал, что хозяин тут не один, что в доме этом еще кто-нибудь находится. Я услышал, как под ногами заскрипела ведущая вверх лестница, медленно и тяжело по ней спускался еще кто-то. «Мой сын...» — поглядев на нас, сказал хозяин... Взрослый сын хозяина, конечно переодетый, скорее всего офицер, вчерашний военный, заблаговременно пришедший домой, заблаговременно сбросивший форму человек.

Услыхав, должно быть, увидев, что здесь только один я, заблудившийся, даже и без автомата, офицер с девчонкой, он не нашел нужным скрываться и спустился вниз. Одет он был в какой-то старый пиджак. Они о чем-то долго говорили между собой. Как видно, отец передал ему нашу просьбу доставить нас к своим, отвезти нас в наше расположение.

Я снова назвал пункт, до которого нам надо добраться. Но еще раз поговорив с сыном, приободрившийся немного хозяин развел руками, сказав, что у него нет машины. Он говорил, как я понял, что автомобиль, стоящий у них перед окнами, неисправен. Мы видели эту небольшую приземистую машину, когда, спотыкаясь в темноте, подходили к дому.

Мобилизовав все знание языка, я попытался объяснить, я настаивал, я брал на себя непосильную задачу заставить везти нас к своим. У меня не было никакой надежды на успех. Но что мне оставалось делать! Я должен был убедить этих людей, заставить их везти нас к себе. Сложность этой задачи я только потом понял.

Отец снова стал быстро о чем-то говорить с сыном, и я совсем уже ничего не понимал, я не вслушивался и сидел безучастно, я не понимал, о чем они говорили между собой. Я словно бы выключился.

Слышно было, как за окнами хлестал дождь. Я смотрел на обшитые желтыми панелями стены, на высокий потолок, разделанный квадратами, на развешанные по стенам рога всех этих оленей, коз и лосей и ждал.

Они о чем-то тихо говорили, а потом сын поднялся вверх, надел плащ и ушел.

На мой вопрос, куда ушел сын, этот человек сказал, что машина есть в соседнем доме, у соседа и, если она в исправности, он приведет ее.

Я не очень верил в это, да и плохо понял его. Мне вдруг сделалось все безразлично, да и устал я сильно.

Я сидел, борясь со сном. Меня сковала усталость. Тоня сидела рядом со мной тут же, за столом этим. Так же, как и я, она не снимала шинели. Мы почти не разговаривали друг с другом. Она все еще не переставала сердиться на меня. Мы сидели как чужие. Сидели, не глядя друг на друга. Конечно, и она тоже была утомлена и тоже здорово намучалась за весь этот нескладно сложившийся для нас

день. «Между нами все кончено»,— думал я, но даже уже и эта мысль не пугала меня.

Обычно всегда, когда мы оказывались среди немцев, она начинала верить в меня, потому что хорошо или плохо, но я все-таки мог объясниться, мог говорить с ними. Скорее плохо, конечно, чем хорошо. В такие минуты она всегда оживлялась, и мне даже казалось, что в такие минуты я выросал в ее глазах. Но теперь я видел, что она так не думала, не думала, что нам удастся выбраться, выпутаться из этой истории.

Очень хотелось спать. «Куда он делся, этот сын? Кого он приведет?» Мы сидели в темном зале и не знали, что думать. Ждать пришлось долго. Хозяин все посматривал на окна. Мы почти спали, у меня даже не было сил говорить. Все-таки я себя еще пре-скверно чувствовал.

На стол он поставил вазу с яблочками. Впрочем, не очень хорошими, из своего лесного сада. Мы взяли по яблоку. Мы ведь целый день ничего не ели.

Мы сидели за столом и угощались яблочками. Время тянулось очень медленно. Мы сидели уже около часа, наверно. Так, во всяком случае, показалось мне. И вот когда мы, сидя за столом этим, уже даже задремывать стали, мы увидели блеснувший в окно свет фар и услышали гул подвигающейся к дому тяжелой машины. То, что машина была тяжелая, я понял по тому, как задрожали в доме стекла. Высветив светом фар кружок леса и бетонированное крыльцо входа, машина стала. Хозяин вышел за дверь и тотчас вернулся, махнул нам рукой обрадованно, впервые улыбнувшись, показывая, что мы можем ехать. Казалось, он был этому рад больше нас.

Мы вышли на крыльцо. Дождь все так же лил. Слышался гул работающего мотора. Перед нами стояло что-то огромное. Это было видно по высоте кабины, по длинному, обшитому узенькими планками кузову, еще более длинному от тьмы, которая нас окружала. Помогаю друг другу, мы поднялись в кабину. Это оказалось довольно высоко. Мотор не был выключен, и кузов дрожал, кузов крупно вибрировал, машина вся сотрясалась.

Приборы в кабине были освещены. Когда мы сюда поднялись, мы увидели еще одного парня, сидевшего за рулем возле сына хозяина. Мы с Тоней переглянулись, невольно поглядели друг на друга.

Мы расселись. В кабине тотчас засветилась лампочка и загорелся свет. Всунув голову, хозяин что-то еще говорил своему сыну... И вдруг и крыльцо и хозяин стали уходить назад, как бы медленно отползать. Все это было как во сне. Вокруг нас в темноте стоял все такой же мрачный лес, и лил дождь. Мы сидели в теплой кабине, молчали.

Фары выхватывали из тьмы край мокрого тротуара, асфальта. Тяжелый грузовик полез наверх, выбрался на дорогу. Мы выехали.

Слева от меня, у руля,— водитель, еще один новый для нас человек, он-то, должно быть, и привел машину, а рядом с ним — сын хозяина, нам уже знакомый, и лишь потом я и, поближе к самой двери, Тоня.

Мы так и сидели, они двое и мы двое... Мы сидели довольно далеко друг от друга, и между нами было еще пространство. Когда мы вот так расселись, расположились тут, водитель и сын этот в одной стороне, мы в другой, в кабине у нас оставалось еще так много места, что между нами могло разместиться еще несколько человек... Я говорю это для того, чтобы вы могли представить, какая это была машина.

Тяжело и грузно она вылезала на шоссе. Мгновенно впереди появились и замелькали какие-то кустики света, сработали переключения, и мы оказались в пути.

Мы сидели настороженно. Первое время, когда мы выехали, мы почти не разговаривали. Мы молчали. Мне, право, не очень удобно вспоминать об этом, но что было, то было. Я должен признаться: рука у меня все время лежала в кармане шинели на пистолете. Едва ли нас так далеко стоило везти... Я все еще не очень верил, что нас куда-нибудь привезут, офицера и с ним сестрицу, может быть и врача, людей еще молодых и растерянных и хотя и старательно скрывающих это, но немало испуганных, неизвестно как попавших и как оказавшихся в этих лесах.

Уж очень трудно было надеяться, что эти люди, еще не видевшие пока в лицо наших солдат, так вот прямо, по доброй воле своей, возьмут и на этой своей машине привезут двух безоружных русских не куда-нибудь, а к нам, в район расположения наших войск, в места, занятые нашими частями, в то время, когда они еще ни одного русского не видели.

А между тем дорога лоснилась под лучами света, и машина набирала все большую скорость. Нам была видна только эта дорога да там же, внизу, выбеленные стволы деревьев, воткнутые в дорогу по ее краям. Дождь временами словно бы вовсе переставал, но затем снова с еще большей силой принимался барабанить, и вода заливала кабину, бежала по стеклам ручьем.

И чем настойчивей становился этот дождь, тем более начинал я верить, что мы попадем к себе, что мы будем дома, и мое недавнее недоверие и все мои сомнения, которые я испытал там, в этом доме в лесу, теперь казались мне преувеличенными и даже, может быть, и вообще неосновательными. Ругая себя за то только что пережитый нами, неоправданный, как оказалось, испуг, я угощал немцев сигаретами. И когда я дал каждому по пачке, мы уже курили, смеялись.

На дорогу перед нами рассеянный бил свет.

Теперь, окончательно успокоившись, я задремывал. Много раз я просыпался, открывал глаза, но мы все ехали. Пейзаж менялся, но дорога была все та же, черное, мокрое, гладкое шоссе, белое под светом фар, даже более белое, чем днем. Дождь, видимо, перестал. И я опять заснул.

Временами мне казалось, что на дороге лежит снег.

Я еще несколько раз просыпался и опять засыпал успокоенно. Я видел, что мы все еще едем... Только сигарета светилась у немца, уцепившегося за высокий руль и глядящего прямо на дорогу. Я видел только козырек его фуражки, сосредоточенный взгляд, его лежащие на руле руки.

Вокруг нас были какие-то деревья. Мы неслись как в тоннеле.

Однажды я, проснувшись среди ночи, почувствовал на своем плече ее шапку. Она привалилась к моему плечу и спала. Она улыбалась.

Эти два парня везли нас всю ночь. Я несколько раз засыпал и все время чувствовал на своем плече лицо Тони. Мы уже давно выехали из леса, проскочили несколько населенных пунктов. Давно уже кончился лес и начались поля, но за все это время мы ни разу не встретили ни одной машины.

Мы неслись как пуля в стволе.

Я еще раз проснулся, мне показалось, что мне это приснилось, то, что было ночью, потому что все было по-другому и — вместо этой несущейся белой дороги было молодое утро, занимался рассвет, были зеленые поля, молчаливые купы деревьев, какие-то селения внизу, справа от дороги, отделенные зеленой полосой травы. И немного удивился, увидев в кабине двух этих незнакомых людей, все так же неотступно глядящих на дорогу, не спящих. Они о чем-то разговаривали меж собой и курили...

Я, видимо, опять незаметно для себя задремал. Когда, на этот раз от холода, я вновь проснулся, пришел в себя, я не сразу понял, что произошло. Мы стояли посреди поля, мы были одни, немцев в машине не было. Я с трудом распрямил сведенную холодом спину и осторожно, чтобы не разбудить спавшую у меня на плече Тоню, вылез из кабины. Мы и впрямь стояли посреди поля, было прекрасное утро, все уже высохло, дождя не было, на траве лежала роса. Рядом была деревня... С машиной что-то случилось, капот был открыт.

Я подошел, чтобы узнать, велика ли поломка. Я сунул голову туда, куда суют ее все механики и шофера... Молча, понимая друг друга во всем так, как только друг друга понимают механики и шофера, мы копались в моторе, продували карбюратор, проверяли зажигание, и вдруг, в минуту, когда мы так стояли, над головой у себя я услышал какой-то смех. Я вздрогнул и оглянулся. Передо мной стоял босой, заросший бородой человек с высоким лбом и смеялся. Вот когда мне стало нехорошо.

Он стоял на обочине и глядел через мое плечо в мотор.

Мы поскорей захлопнули капот, сели в машину и поехали. И пока мы ехали, мы видели, как стороной нам навстречу шли эти неизвестно куда бредущие, размахивающие руками, не понимающие того, что произошло, люди. Одного мы чуть не задавили — такого же, как тот, с лицом бессмысленным и счастливым, глядевший через мое плечо.

Мы проехали деревню, я оглянулся и увидел доску, на которой — черным по желтому — было написано: «Ухшпринге».

Уже потом, в последующем, я узнал, что это была деревня сумасшедших, длинная, вытянутая вдоль дороги деревня, где собраные со всей Германии идиоты катали из одного конца в другой огромную, нагруженную булыжником телегу. В одном конце деревни нагружали, в другом сгружали. Место, довольно известное в Германии...

Еще часа через два я стал узнавать окружающее — перед нами была та самая, хорошо уже знакомая мне дорога, место, куда должны были бы мы еще вчера приехать, большой, хорошо знакомый мне, у самой дороги расположенный дом с высившимися над ним деревьями. Мы приехали. Я остановил машину, и мы распрощались. Я отдал все, что у меня было, и марки и все оставшиеся у меня сигареты, и поблагодарил.

Добираться обратно было мне несравненно легче.

Глава пятнадцатая

Мы жили на этом острове, отрезанном от всего мира озерами. Они, эти озера, назывались Берлинерзее, хотя до Берлина тут было далеко. Это была целая система соединенных одно с другим озер, подходивших к Берлину, расположенных вокруг него. Там, дальше, за озером и за островом, было еще одно такое же озеро, соединенное с нашим, забыл теперь уже его название, в котором, как нам говорили, в последнюю минуту войны эсэсовцы топили наших военнопленных, которых они по дороге, что тут, по берегам этих озер, проходила, гнали на запад. Но как раз его-то, это самое озеро, и воспел в своей знаменитой книге поэт, что жил тут когда-то. То ли Шёнезее, а может быть, и Зершёнезее. Одним словом — красивое, и даже очень красивое, и озеро и название. Ведь у них как — что ни лес, то красивый, что ни поле, то прекрасное. И каждая гора, и каждый город, и уж тем более каждая деревня — обязательно и прекрасная и красивая. Шёнефельде, Шёневайде, Шёнеберге, Шёнебек, Либенрозе. Либенберг, Либенсдорф — и так далее...

Через лес любви и через долину любви мы поднимались в гору любви...

Рядом было красивое поле, красивый лес, красивая гора. Хотя никакой горы часто не было. Мы ходили вокруг озера, и дикие утки брали хлеб из наших рук...

Дмитрий готовился к выписке. Рана у него постепенно затягивалась, он уже и на перевязки не ходил, хотя, как мне кажется, выглядял он все еще неважно.

В один из дней, когда мы накануне особенно долго не спали, особенно поздно вернувшись в тот день с озера в палату к себе, Дмитрий уехал. Все это решилось как-то одним днем и совершенно неожиданно для меня. Надо сказать, что в последнее время он как-то особенно был неспокоен, и неспокоен, и встревожен чем-то, ему не терпелось как можно скорее выписаться и уехать отсюда.

Он как-то сразу одним днем все это решил и уехал. Мы распрощались с ним второпях, более наскоро, чем хотелось бы, тут же за воротами госпиталя.

Я проводил Дмитрия и остался тут один — на этом берегу, на этом поле, во всем этом городе.

Я чувствовал себя все еще очень плохо, по неделям не спал настоящему, мне иной раз даже казалось, что я отсюда уже не выберусь...

Я перепрыгнул канаву и отправился в поле по хорошо знакомой мне тропе, по которой я давно не ходил. Сначала я шел по дороге, по колее, сильно заросшей к этому времени, потом по затерявшейся во ржи узенькой тропинке, что вела к тому зеленому оврагу. Весной в нем задерживалась и застаивалась вода, и потому теперь дружно разросся молодой орешник, какие-то кусты и даже дубки, как я увидел, пробилась. Маленький, опаханный плугом зеленый островок, затерянный в поле, среди ржи, которую давно уже надо было бы косить.

Я так далеко ушел в этот раз по этой тропе моей, что не видно стало ни города, ни госпиталя, лишь слышался стрекот кузнечиков.

Ничего уже не было ни видно, ни слышно отсюда, я далеко зашел. Ни пронесившихся машин по гудрону, под деревьями, под этим гулким навесом, ни самого гула дороги, ни ставшего привычным несмолкаемого трепета листьев там, в парке, ни даже этого громкого боя часов с башни. Одни только кузнечики неназойливо потрескивали в овраге. Но и они по временам надолго замолкали...

Я будто скинул какую-то тяжесть. Это была минута, когда я почувствовал наконец, что война, столь тяжело до того времени лежавшая у меня на плечах, отошла далеко, что она окончилась, что она позади. В эту минуту я так далеко ушел от войны, что будто и не было этих четырех лет... Мне показалось, что я где-то почти дома, еще не в России, но и не в Германии. Я был далеко где-то, далеко от всего. Звенели кузнечики, звенела гнущаяся, налитая, уже тяжелая рожь, все так же грело солнце, и редкие, передвигающиеся над головой облака плыли в небе. И даже где-то рядом, далеко, ах, боже мой, рукой подать, вчера, совсем недавно, — вот так же; такая же где-то там межа была, и такая же зеленая, опаханная со всех сторон зеленая гривка, и я там, в ней, в этой гривке и на этой меже, совсем маленький. И тоже во ржи, потому что рожь была красивее всего остального. И такое же синее, как легкая дымка, небо было над головой. А за полем ржи, горбом выгнувшимся, несколько темных, низких, в беспорядке разбросанных крыш. Одни крыши, утонувшие в созревающей ржи. Мое детство и моя деревня. И пошло, и пошло... И мысли, как набжавший ветерок, налетели на меня, набжали. О чем они были...

Я думаю, если бы мне закрыть глаза, а то даже и заснуть тут, в этом поле, на этой меже, а потом проснуться, как если бы все это было дома, то можно было бы не понять, где я — дома, в России, или на

чужбине, в Германии. Все было такое же, как у нас, те же травы и те же деревья, те же самые цветы и те же птицы.

Все было почти такое же, как у нас, и это было странно и неожиданно...

Земля везде одна, она всюду и везде одинаково хороша!

Какая-то пичуга плакала надо мной. Я поднял голову, огляделся. Может быть, я слишком далеко ушел от войны по этой тропе... Вокруг меня было спелое ржаное поле, другие поля, перерезанные дорогами, и острый шпиль кирхи. И в это время в далеком этом немецком поле — раз! — как звук гонга, раздался один удар с башни кирхи. Час.

Набежал ветерок. Ржаное поле сделалось темно-зеленым. Со всех сторон сошлись тучи, и стало капать. Я еще раз поглядел вокруг и зашагал по той же тропе.

Больше я никогда не ходил туда, в это поле.

Я все вспоминал тот день, когда мы ехали с Кондратьевым в поезде, ту дорогу через лес, по которой мы ехали с ним, весь тот памятный для меня, наполненный солнцем весны день. Я все пытался представить тогда, что произошло... Я понял так, что мать, косуля эта или ланка, я даже не разобрал по-настоящему, кто это, скорее всего она и не одна была, переводила их всех, маленьких, через дорогу, когда мы подъехали, когда раздалось цоканье подков и на дороге показалась лошадь. Я только услышал сухой треск и метнувшуюся вперед матку. Я скорее угадал, чем увидел ее. А этот, которого мы подобрали, остался один. Он, видимо, был слабее других. Козленочек этот заторопился, заскользил, копытца у него стали разъезжаться на скользком, гладком асфальте. В это время как раз мы и подъехали.

Я думал о том, как таинственно связано все и как незримо переплетено одно с другим. Я думал о себе, о Кондратьеве, я думал о любви... Я думал о том, что произошло в тот день, когда так неожиданно выскочила на дорогу та козочка. И о том, что вот так всегда бывает с нами... О том, что она чуткая и пугливая, что она внезапно может вдруг появиться и может исчезнуть.

Не знаю, почему я об этом подумал, почему у меня это связалось так. Должно быть, я подумал о чем-то своем.

Я поднялся и пошел с берега этого озера. Последний раз я был тут.

Глава шестнадцатая, и последняя

Лето было на исходе, а я все еще лежал здесь, в том же госпитале, в той же палате, и на душе у меня становилось все тяжелее. Я давно уже не ходил не только к моему оврагу по моей тропе, но и к озеру. Вода в нем с каждым днем делалась все холоднее, синела, становилась все более маслянистой и грязной. Сухие листья тополя, изъеденные червяком и жарой так, что от них один скелет оставался, одни прожилки тонкие, ложились на воду и раскачивались у берега. Лето между двумя войнами, большой и малой, этой, только что закончившейся, и войной с Японией, на другом краю, там, на Дальнем Востоке, незаметно подошло к концу. Я прожил здесь все это длинное лето, и теперь наступала осень. Я был теперь совсем один. Писем от Дмитрия не было, и это было очень странно, я не мог себе объяснить его молчания и недоумевал.

Наконец настал день, когда мне пришло время выписываться. Мне предоставили отпуск, поскольку я был все еще плох, кое-как перемогался, и я поехал к своим, на Эльбу, где я еще никогда не был. Я мог бы поехать и сразу домой, но мне надо было все-таки съездить к ним, забрать хотя бы мой вещевой мешок. Я, конечно, думал, что через месяц или два, когда отпуск кончится, когда я почув-

ствую себя лучше, я вновь вернусь к ним, опять попаду в свою часть, но все-таки мне надо было съездить туда к ним.

Я ехал какой-то подвернувшейся мне случайной машиной, которая шла из госпиталя как раз туда, к Эльбе, к штабу армии, должно быть. Так или иначе, мне было по пути. Мы выехали рано, когда солнце только-только начинало подниматься над землей, над тем полем, давно уже убранном, куда я ходил еще так недавно. На мне была одна только гимнастерочка да еще плащ-накидка, с лета прошлого года еще у меня сохранившаяся, с плеча девушки-снайпера, плащ-накидка, которую она на меня надела в тот дождливый день, когда я был у них. Я сидел наверху тяжело груженной машины и кутался в эту плащ-накидку. Со мной была еще, через плечо тоже, моя планшеточка, та, с которой я ходил по переднему краю все эти последние полтора года, ходил из полка в полк, из роты в роту.

Я сидел спиной к дороге в кузове, вернее над кузовом, на каких-то узлах, на жестких, перекрытых брезентом и туго перетянутых веревками ящиках. Мы ехали через деревни, более похожие на города, по дорогам, уже знакомым мне, по автострате, обставленной каштанами и необыкновенно высокими, длинными вязами, с ветвями, сплетенными столь плотно там, наверху, что внизу под ними невозможно было ничего рассмотреть...

Я поначалу довольно сильно мерз, на ходу, наверху тут, на этом жестком и задубелом брезенте. На траве, на земле, повсюду лежал уже крупный белый иней. Начинались заморозки, по утрам было уже холодно.

Через час пути мы съехали с автостраты на дорогу поменьше, поуже, местного значения, должно быть. Тут прямо на обочине по обеим сторонам дороги росли большие и тоже высокие яблони. Были тут и груши и сливы даже, но больше всего все-таки яблони. И наконец очень красные гроздья рябин, слабые ветви которых ниже других повисали над дорогой. Последние, незрелые, кислые груши и яблоки, сбитые ветром и дождем, подъеденные червем, падали на дорогу, на асфальт.

Магистрату давно уже следовало бы заменить заболевшие и одичавшие деревца, многие из которых давно уже не плодоносили по той же причине, я думаю, что они были старые и дикие...

Я уже знал, что дорога тут сама себя содержит, сама себя ремонтирует и восстанавливает. Осенью и эти яблоки, и эти груши, и сливы, все, что растет на этой дороге, собирается и продается, идет в переработку, и на деньги эти ремонтируется дорога. Так тут всегда было. У немцев никогда ничего не пропадало и не пропадает.

В этом году, конечно, магистрату не удастся собрать урожай.

Так я и ехал все время под навесом деревьев, под яблонями и под яблоками, уже начинающими опадать. В травах изредка проблескивали паутинки. Солнце поднималось все выше, и я понемногу начал согреваться. Мне было хорошо сидеть тут, на этом возу, наблюдать сверху за дорогой, за полями, уже начинающими подергиваться желтизной, за деревьями по краям дороги, в которых тоже уже начинали пробиваться желтые листья. Надо было только следить за тем, чтобы не удариться головой о какую-нибудь слишком низко нависшую над дорогой ветку, не зацепиться за какой-нибудь сук. Один раз где-то, где мы не знаю зачем остановились, такой вот подсыхающий, повисший над дорогой необрезанный сук уперся мне в бок, и я сорвал крупное, янтарное, уже начинающее белеть яблочко. Я так и ехал с ним, с этим яблочком в руках, на этом возу.

К полудню, когда солнце было высоко и когда я уже совсем ожил, согрелся по-настоящему, я увидел перед собой расстилающуюся внизу долину, и в ту же минуту, я и не заметил этого, машина, вместо того чтобы идти вниз, пошла вверх, взошла на дамбу, перекинутую через всю эту долину до самого моста, контуры которого

уже угадывались вдалеке. Я глянул сверху, из кузова, вниз на ту и на другую сторону и обомлел, можно сказать, ахнул. Вся эта гигантская луговина слева и справа, насколько хватал глаз, по всей длине, по всему берегу Эльбы была заполнена... Повозки, танки, самоходки, тягачи всевозможные, вся техника немецкая, все, что оставалось у немцев от этой войны,— было притиснуто, прижато к берегу Эльбы, к ее воде, и брошено здесь. По всей длине Эльбы, два-три километра до нее не доежая, по всему ее правому берегу. Я еще не увидел Эльбы, но увидел это. Вся отступившая до Эльбы немецкая техника была будто бульдозером отодвинута, отжата сюда, притиснута к берегу и оставлена здесь, на этом берегу.

Все, что оставалось у немцев от этой войны, все было брошено здесь, на этом берегу.

Я долго еще сидел тут, на верху груженной машины, мы еще долго ехали по этой насыпи, над остающейся позади нас долиной, пока не заехали на мост, а я все оглядывал эту бескрайнюю долину, как она открывалась мне отсюда, сверху, в этот тихий час,— бесконечный, растянувшийся далеко по всему берегу громадный парк машин, выведенных из строя, тесно заставленный и длинный, как кладбище.

Мы проехали еще не знаю сколько километров, может быть тридцать. Наши и действительно оказались за Эльбой, причем довольно далеко от нее. Оттуда, из госпиталя, издали мне казалось почему-то, что так называемая демаркационная линия вроде бы должна была проходить по реке, по Эльбе самой, но, оказывается, она проходила далеко за Эльбой.

Я приехал туда, где стояли наши, в старый острокрыший город далеко за Эльбой, с Роландом на площади, обнесенный низенькой, целиком почти сохранившейся красной стеной, город, по имени которого один офицер наполеоновской армии, интендант, фуражир, став известным писателем, взял себе имя. Остается только предполагать, какие романтические приключения были связаны у него с этим городом. Это все-таки не часто бывает, чтобы человек брал себе имя по имени города.

Я остановился здесь на одну ночь, переночевав в маленькой гостинице на две комнаты. На Эльбе было уже холодно, и я всю ночь мерз. На другое утро я уехал. Поезд увез меня на восток, к себе домой, на родину. Но по пути в часть я проезжал мимо кладбища, на городской площади тут были похоронены наши солдаты, несколько человек, и я выскочил из машины и взглянул на могилу, совсем свежую еще, на плиту и на табличку, убрannую цветами, и вздрогнул, похолодел даже, не веря еще себе, своим глазам. «Майор Кондратьев Д. М. IX. 1945». Это был он.

Дмитрия Кондратьева убил его товарищ, когда он вернулся к себе на батарею, в свой полк. Они собрались все вместе, сидели за дружеским столом и показывали друг другу оружие. Произошел несчастный выстрел. Пистолет выстрелил... Несчастный случай.

И уже только для тех, кто любит знать все до самого конца, сообщаю: Тоня вернулась в Россию и вышла замуж за человека, с которым она познакомилась после войны. Так мне говорили.

БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ

★

РАЗБУЖЕННЫЙ ЗОВОМ

* * *

Идеей большой человек загорится —
И заново
Сам в этом мире творится.
Великой идеи разбуженный зовом,
Рождается с новым
И делом и словом.
И только охваченный самотвореньем —
Становится личностью он
И явленьем.

«Может быть»

От «может быть» я ничего не жду,
Оно меж «да» и «нет» личину множит.
Лишь ложь и правда в мире на виду,
А полуправда, полуложь — «быть может».

У «может быть» нет своего лица,
И сущность его
скользящая, как змейка.
В нем ни начала нету, ни конца —
Для полудела хитрая лазейка.

В нем — веры бесконечное блужданье,
В нем — тусклое надежды ожиданье,
Намек на встречу
и на расставанье,
На все, что может
и не может быть.

Мне ненавистно вечное сомненье,
Люблю любое дело в исполненье,
В созревших гроздьях — жажды утоленье,
А в ягодах зеленых — «может быть».

Не тешится пусть делом на словах он,
Тот, кто мечты свои развеял прахом,
Кто «да» иль «нет»
не говорит без страха,
А мямлит малодушно:
«Может быть...»

За веру жизнь я смело положу,
 За крылья те, что с нею, положу.
 За жизнь все, что имею, положу.
 Ни жизнь, ни смерть

не знают «может быть»...

Орден Улыбки

В Польше существует орден Улыбки.

Орден Улыбки!
 Узнал я, не скрою,
 С большим удивленьем,
 Что есть такой орден.
 Орден Улыбки дают не герою
 В труде и науке,
 Искусстве и спорте...
 Долг твой первейший —
 Быть человеком.
 Смотри на сиянье весенних цветов —
 Светом,
 Подобно сиреневым веткам,
 Сияй из души, из поступков и слов.
 Ненависть, зло недостойны участия.
 Камня в чужой огород не кидай!
 Грех — разрушать чье-то сердце и счастье,
 В грех этот самый большой
 Не впадай...
 В мире живи
 Не пугливой улиткой —
 Даже в ненастье улыбчивым будь!
 Тем, кто людей согревает улыбкой,
 Вешают орден Улыбки на грудь.

Перевел с азербайджанского АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕВ.



Н. ТРОПНИКОВ

★

РУЧНАЯ РАБОТА

1. Встречи

И вот автобус мягко остановился, словно завяз в плотной деревенской тишине. И я не вышел, а как-то выпал из него, оступившись с подножки, и не спеша огляделся, не ожидая встречи. Но откуда-то из сугробов, виднеясь только головой, появилась мать. Вышла вся: маленькая, в фуфайке, валенках, в платке,— и сразу, без сомнений, будто знала, что я приеду (или просто каждый день выходила на остановку), пошла навстречу. И я растерялся, испугавшись расспросов, и уж подумал мгновенно: если вдруг спросит, совру: «Все хорошо...» А она только взглянула, подходя, потом ткнулась в меня лицом, посмотрела, рассмеялась со слезами, и я сказал:

— Ничего не случилось. Просто отпуск неожиданно навалили...

— Отпуск? Ну, слава богу. А я подумала, забродил чего...

И мы, сразу обо всем уговорившись, пошли к дому. Она как в детстве, будто за руку, вела меня и как бы поторапливала, чтобы чем-то быстрее обрадовать. Потом сказала: «Вон, вишь? Весь уже навестился»,— и я, вспомнив, признался: «Ах, да! Всю дорогу то и дело думал о нем...»

— Вам собаки-то дороже чего хошь,— без обиды проворчала мать, имея в виду и отца, а я еще от ограды позвал: «Шарик!»

А он сидел на цепи, на высоком, утоптанном лапами сугробе, как на большом яйце, весь собранный и возбужденный, будто уже разгадывал что-то, рвань и не решаясь, истекал глазами на меня, дрожал тонкой шерстью, как от холода, и, казалось, весь извивался от вопросов: «Кто? как? что делать? Не видел, не знаю. А запах вроде похож, и она с ним...» Насторожился: отскочить? убежать?

Приближаясь к нему, и я волновался по-своему, тоже рвался и ревновал: «Признает ли? Учует ли? Бросится ли?» Похож на прежнего Шарика, только на спине две черных заплаты, а тот был весь рыже-белый.

— Шарик!..

И он подался ко мне, не сдвигаясь с места, но я видел, как двинулось в нем все. Не слыша своего голоса, я снова позвал: «Шарик»,— чего-то испугался и быстрее снова: «Ша-а-арик»,— и потянулся в его сторону рукой— вот сейчас коснусь. И он дернулся одновременно вперед-назад, припал на передние лапы, но все-таки отскочил, будто в последний момент чему-то не поверил, и тогда мать сказала: «Да Шарик, ты куда? Вот, дитятко, не признал. Не можешь догадаться-то. Не виделись никогда... Да ты понюхай шибче»,— и пододвинулась к нему, а Шарик отскочил и от нее и, разбегаясь глазами между нами, сел, не зная, что делать: догадки, боязнь, желание, запрет и тяга будто разрывали его,— так тяжело было разбираться, словно мгновенно постигнуть весь мир, едва родившись. И он, готовый расплакаться, тоненько заскулил.

— Шарик? Шаричек ты мой,— взмолился я, надеясь каким-то святым духом убедить его.— Ну, догадайся. Вспомни. Знаешь, как я хотел тебя увидеть. Меня же все собаки понимают, я же вас всех чувствую. Ну, понимаешь?

Шарик взвыл, отбежав, и заметался по лбу сугроба, а я потянулся к нему с кусочком пряника, случайно оказавшимся у матери в кармане, а потом за этот же пряник взялась рукой она, и мы оба, причитая, лаская и убеждая голосом, потянулись к нему. И он, что-то еще перебарывая в себе, мучаясь и ликуя, чуть осмелел и двинулся навстречу, вытягивая морду, нюхом прокладывая путь. Вздрагивающий нос скользнул по прянику, по руке матери, потом и я почувствовал его прикосновение, а он нюхнул мать и быстро меня, снова мать и опять меня — руку, рукав,— и по воздуху, наводя нос на всего меня, как локатор, визгнул, вильнул, на всякий случай еще раз нюхнул мать. Она убрала свою руку от пряника, он на мгновение будто опять испугался и хотел отскочить, но уже какая-то уверенность задержала его, и он осторожно взял кусочек, съел, облизнулся.

— Шарик, Шаричек,— сказал я, уже глядя его за ушами, и он вдруг взвился, скачком бросил мне на грудь тяжелые лапы гончака и, будто еще смущаясь своего нового чувства, лизнул меня в подбородок. Свалил голову набок и сконфузился, как подросток...

— Хо-о! А я сижу и думаю: что за разговор на улице?..

Отец вышел во двор из мастерской, пристроенной в торец хлева. Худой, щетинистый, ростом с ребенка. «А глаза... Как у старой опытной собаки»,— метнулось во мне. А он ткнул в сугроб саперную лопатку, с которой вышел из дверей, и захромал ко мне, морща лицо. Обнял, как всегда чего-то стесняясь.

— А я в отпуск. Давно зимы настоящей не видел. По снегу истосковался...

— А в аккурат приехал,— ответил отец, имея в виду что-то другое, и рассмеялся.— Я вчера захотел за это дело-то взяться, да кто-то как подсказал: «Обожди ужо, Ефим».— Прикурил, сунув папиросу в пригоршню.— Ись-то хошь?

— Нет, а что?

— А вот иди переоблакайся. Тогда сразу и догадаешься... А на зайца пойдем. Вот чего.

«Ничего вроде бы не изменилось»,— то ли радостно, то ли грустно думал я, оглядывая избу, ожидая, пока мать подбирала мне валенки, фуфайку, штаны.

Я переоделся, подпоясался, как мужичок, и сразу стал другим человеком, будто никуда не уезжал и никогда не видел никаких городов и стран. Будто просто до этого носил другую одежду.

— Калоши на валенки-то надень,— вслед напомнила мать.— Там, в сеничке...

И немного волнуясь, и даже робея, как перед дверью одинокой лесной избышки или чердаком старинного дома, вошел я внутрь дощатой пристройки хлева. Желто светил пузырек лампочки под потолком, вправо, за вторыми дверями, глухо, как из-под земли, хрюкнуло, засопело, а влево, в глубине сарая — какие-то шорохи, возня, и в то же время явно глубокая тишина и скрытность. И вроде что-то мелькает, и никого не видно, но кто-то есть, только таятся, и воздух насыщен каким-то неустанным колдовством, будто вокруг обитают духи — летают, шепчутся и что-то стригут, стригут. Выглядывают, как из-за угла, подмаргивают и разглядывают меня, даже обсуждают, а я никого не вижу. Слышу только — отец кричит...

Я стоял, бросаясь взглядом на каждый шорох, но ловил только загадочные мельканья. Лишь привыкнув к освещению, начал различать в дырках что-то белое, а потом — длинные, как ивовые листья, уши и стригущие мордочки. Вдруг, попав под луч света, сразу в не-

скольких местах вспыхнули острые розовые кружочки, и один погас. Но вспыхнуло в другой дырке и, косясь на меня, зашуршало чем-то. А в другом углу метнулось черное...

Я боялся шелохнуться и, забавляясь неожиданным ощущением, и в то же время соображая, как пристроить себя к делу, вопрошающе смотрел на отца...

— А вот как это делается!..— азартно отзывается отец, будто угадав мою растерянность, и выхватывает из нижней клетки белого кролика. За уши.

— Да ты что? Больно ему.

— А поче эдакие вырастил? А? — Отец смеется.— А иначе-то как его возьмешь? Вот сейчас его сунем в эту клетку, специально пустая, потом другого туда, потом третьего. Вот так всех в оборот и возьмем.

— Ага,— говорю я и уношу на огород ведро навоза. Следом ржавый таз и опять ведро...

— А ну-ко, полезай и ты.— Отец пересаживает в маневренный фонд последнего кролика, опускается на колени и, шуруя саперной лопаткой, вычищает клетку.— Ишь сколько накопало ореха-то.— Потом, видимо, подумав о чем-то, рассказывает:— А так-то с ними надо аккуратно. Матерь твоя, когда я их только завел, погладила кроленка. А погладить захотелось. Так самка-то все гнездо заела...

— Своих?

— А чьих больше? Вот так! Что хошь, то и думай. И едят тоже — только давай.

Обиходили мы эту колонию часа два. Тут мать подошла:

— Надо бы парочку-то отсадить. Самцы-то у тебя есть?

— А как же? — явно с обидой в голосе ответил отец.

— Ну ладно.— Мать потопталась около нас и ушла к поросенку, а отец снова открыл угловую клетку.

Крупный серый кролик быстро попался ему под руку и вскоре повис, схваченный за уши, отбиваясь задними лапами.

— Вот он и есть! Хорош молодец. Ты видал, какие они, самцы-то?

— Нет,— говорю.— Ты же недавно кроликов-то завел, первый раз вижу.

— А вот сейчас покажу...

Вынеся кролика поближе к дверям, к свету, отец опрокинул его на спину в ящик с сеной мукой и с моей помощью расщепил ему задние лапы. Я с любопытством ждал, когда отец укажет мне на доказательство мужского пола. Он, держа одной рукой уши, другой разгребал между лапами пушистую шерстку и вскоре позвал меня:

— Вот вишь?! Вот оно и есть...

— Да, да,— согласился я, ничего толком не различив.

А отец чего-то вдруг перестал приговаривать: «Вот вишь, вот оно» — и усердно разгребал, разгребал шерстку, так что мне стало уж неловко и жалко кролика. Но тот лежал тихо, уже не царапался, будто ему это нравилось. Отец молчал. И я уж вопросительно заглядывал на него: дескать, да или нет? И наконец спросил:

— Так что?

— Да что такое? — вдруг выдохнул отец.— Вот так штука! Сшила это, а не самец.

— Ну вот. У тебя все так. Я говорила, не бей того самца-то. А ты говорил: еще есть,— мимоходом вмешалась мать, услышав наш разговор.

Отец все-таки еще не терял надежды и снова углубился в шерстку, но наконец удостоверился окончательно и стал объясняться:

— Это шурин, Миня, смотрел его тогда. Сказал — самец, я и поверил... Вот к самому теперь и понесу случать кролюху-то.

Отец захохотал, поднял за уши самку, вновь завертывшую лапами, и, слегка поддав, пихнул ее в клетку.

Мать, всегда чрезмерно подверженная панике, запричитала. Отец отослал ее к своим делам, а мне велел поднести зобню.

— Сейчас найдем! Най-де-е-м! Никуда не денешься у меня.

Другой кролик, уже белый, недолго поболтавшись на ушах, тоже был опрокинут в сенную муку.

— Опять сшила. В зобню ее, чтобы второй раз не попалась.

Я положил самку на дно глубокой корзины, и она покорно прижалась, виновато светя розовым глазком. А отец уж вылавливал следующего.

— Вроде то же, что и у серого,— сказал я, осторожно держа за лапы очередную жертву.

Отец выщупывал ее еще тщательнее, будто хотел заставить превратиться в самца, и приговаривал, и уже и ко мне обращался за советом:

— Смотри, как думаешь?

— Да ведь опять...— отвечал я.

Но он не соглашался:

— А нет, обожди-ко. Тут, вишь, вроде чо-то выскакиват... Нет, тоже сшила. Вот, ребята! — Передал ее уши в мои руки.— Тоже в зобню.— Сам уж выволакивал следующего.— Опять она? Ох, Миня!.. Ну-ко, давай теперь из верхних клеток поищем...

— А сколько их тут голов-то?

— Да штук двадцать две. Вот сколько... Ну, где-то около того. До потемок, парень, провозимся.

— А не найдем, так что?

— А говорю, к Мине понесу. Пущай случает.— И отец снова захотел, показывая на зобню, в которой уже было полно самок.

Переваляли мы в сенной муке больше десятка кроликов, я уж было разуверился, но тут отец вдохновенно и торжественно объявил:

— Вот наконец добрались. Смотри-ко, Егор...

Я нагнулся поближе.

— Вот вишь, выныривает. Это, брат, не сшила, не-е! Пупик, настояшшо пупик!

Дело было явное. Молодоватый, но уже в хорошем теле белый кроль нетерпеливо, будто еще стыдясь, выслушал приговор и, как будующий оплот хозяйства, был определен в отдельный дом...

II. Цена

В доме, пока мать собирала на стол, а отец умывался, наступило какое-то затишье, даже неловкость, которая обычно возникает между людьми после долгого разрыва. Будто опять вернулся момент приезда, и мне снова подумалось: «Вот сейчас отец вытрет руки, выйдет из-за печи и спросит: «Ну, как живешь там?» Перейду я в другую избу, чтобы мать не слышала, и скажу откровенно, без жалобы: «Плохо, отец». — «А чего такое?» — «Если смотреть на жизнь так, как учат, то вроде и пожаловаться не на что... А душно. Радость ушла, будто все валится... Впрочем, давай не будем об этом. Забыться я приехал. Передохнуть. Пожить, как в детстве. Я там, в городе, звонков в дверь боюсь, вздрагиваю. И телеграмм». — «А это чего?» — «Так вы же стареете...»

Но отец ничего не спросил. Он вытер руки, не спеша сходил в передовую избу к этажерке и вернулся с новенькой, чуть запыхавшейся бутылкой водки. Поставил, найдя место между сковородками и блюдами с едой, и сказал:

— Давай за приезд. И за все хорошее, чего осталось.— И уж глазами, движением, голосом, дал понять: «Понимаю, по письмам догадываюсь. А не надо...»

«За то, чтобы меня наконец хоть куда-нибудь вынесло»,— подумал я, подняв над столом синенький стаканчик, но ничего не сказал.

— Давайте не рассусоливайте, а то остынет все,— поторопила мать.— Оба, наверно, промерлись теперь, проголодались.

Выхлебали, громко хрустя репчатым луком, блюдо супу с крошениной — хорошо елось,— поковыряли в латке тушеного кролика, выпили свежего чаю, покурили, помолчали сыто, отяжелев. Повспоминали старых знакомых нарчужан — кто жив, а кто умер.

После обеда отец осмотрел мои подарки, сдержанно похвалил за хорошую работу бритвенный прибор, спросил, где сделано. Сказал: «Слышал такую страну» — и лег вздремнуть, а когда проснулся, ощущая на щеке папиросы и закурил. Молча, еще как бы досыпая, затынулся несколько раз. Уронив ноги с дивана, сел, стряхнул пепел в оттопырившееся голенище валенка. Увидев меня, бодро спросил:

— Ну, чево, отпускник? Уж загоревал? Чо пишешь? — И пошел к умывальнику.

— Отчет о дне приезда.

— Ещшо рано, не кончился... Вот пойдем-ко давай полоз гнуть.

— А может, на завтра какую-нибудь работу оставим? — пошутил я.

— Найдется и на завтра. Хо! Только не ленись,— ответил отец и начал перечислять всевозможные дела.— А это нельзя откладывать. Запарена у меня береза-то...

Не одни санки укатал я в детстве, а как они делаются, по-настоящему и не знал,— учили, что не в этом счастье, а в чем-то великом и где-то далеко. Теперь же предложение отца я принял охотно, обрадовавшись и заволновавшись, как ребенок.

Он достал из русской печи тесаную березовую заготовку, длиной метра два, сказал: «Хорошо разопрела», дал потрогать почти горячее дерево, и мы пошли в мастерскую.

— А долго ли надо распаривать-то?

— Часа три. Матерь в час унесла, теперь уж четыре скоро. В аккурат...

— Хорошо гнется?

— А вот сам увидишь...

В мастерской пахло стружками, смолой, инструментами, дымком, теплом, отцом, который, как я позднее убедился, казалось, всегда сидел тут на чурке или верстаке, даже если отсутствовал: тесал, строгал, точил, снимал кроликов, иногда белок, зайцев, теребил глухаря или рябчика...

— Давай теперь бало-то,— скомандовал отец, когда сделал на конце заготовки десятка два мелких запилов, пояснив:— А запилишь, так легче гнется...

Я поднес широкую плаху, стесанную по диагонали и закругленную на конце,— бало. Отец сунул в проволочную петлю запиленный конец. Подбил клин, потом второй, третий — с другой стороны, и заготовка туго зажалась.

Отец делал все это не спеша, но быстро, точно рассчитывая силу удара, чтобы клинья не выскальзывали, я завидовал его рукам и в то же время сомневался: выйдет ли? Дело мне представлялось кропотливым, даже рискованным — все-таки надо загнуть довольно толстый конец, хоть дерево и распарено... И я побаивался прикоснуться — вдруг треснет.

— Ну так что мнешься? Гни давай!

— Как? Так сразу и гнуть?

— А когда еще? Неужель завтра? Гни!

Бало стояло ребром, конец заготовки торчал вверх, доставая почти до матицы. Отец подогнул его ко мне и, когда я дотянулся рукой, опять понукнул: «Да нажимай, не бойся!» Понукнул не обидно, понимающе. Я нажал, почувствовав, как податливо гнется дерево, но все же усомнился: «Сломается ведь...»

- Да жми! Шибче жми.
- Да треснет!
- Давай! Знаю, чего говорю.

И я жму, но робко, и чувствую, что береза мягко, без разрывов волокон (без сарги, как говорит отец) огибает бало, сдержанно ликую и слежу, как под моими руками выходит нечто очень похожее на санки. От волнения я смутно осознаю себя, будто уж не в мастерской, а несет меня с горки, крутой, рискованной, соблазнительной...

— А теперь прихвати конец-то веревкой. Чтобы не сыграл... Привязал? Сыграет, так берегись. Счикнет башку-то.

— Привязал,— говорю я, прижимая полоз коленом.

— А теперь сострожи ножом бересту. А на сгибе-то аккуратно. Чуть застрогнешь — трещина побежит.

— А до гнутья-то было нельзя?

— А вот нельзя. Лопнуть может. Кора-то ведь держит.

— Ага, верно...

— Верно. А теперь бери да ставь над печкой... Вот туда, ладно. Дня три посохнет, потом уж не разогнешь.

— И все? — почти с огорчением спрашиваю я, не утолив по-настоящему проснувшийся азарт.

— А чего еще? Все,— подытоживает отец, садится на верстак, важновато этак закуривает и, пока я пристраиваю полоз над печкой, как бы про себя сказывает:— Хо-о? Сколько я этих санков-то переделал. Вот только в этом году уж четверы... А столько же и заказано. Только давай...

— Да куда их? В деревне и народу-то не видно.

— А вокруг-то сколь деревень? Кашино, Зотиха, Чаплиха, Ордивичи... Каждому дому надо. А хоть бы белье на речку волочить...

— Так ты что, на всю волость делаешь?

— Ну а как? Всем надо, а никто не делает. Старики остарели, а молодые не могут... А грабли? Хо-о! И того больше требуют.— Отец замолкает, глядит куда-то вдаль, как бы обозревая все, что переделал в своей жизни. Молчание у него, как у всякого человека, которому есть что вспомнить, тяжелое, густое, захватывающее в себя все окружающее, как течение реки в половодье. И в моей памяти, где-то далеко и впотьмах словно кто-то чиркает спичкой...

Ага, еще в Нарчуге... Отправляя в школу, мать всегда норвила перекрестить меня, не видя никакого разлада в том, что на шее у меня пионерский галстук, старательно выглаженный ею, а позднее — комсомольский значок на отвороте пиджака. А я в свою очередь норвил увернуться от этого, и тогда она крестила меня вслед. Зато после школы в первую очередь брала дневник и, если оценки были скромными, говорила: «У-у-у! А это чо? Троечка? Троечка, спрашиваю? А завтра, глядишь, кол принесешь! — И грозила:— Вот обожди. Придет вечером отец»...

Не дожидаясь, пока вернется отец, я сам забегал к нему в кузницу, и он сразу же спрашивал: «Чего опять наделал? А? Нахулиганил?» — «Не. Тройка по арифметике». — «Это то же, ежели бы я кое-как лошадь подковал. Или сани. Ну, башкой не можешь, давай руками.— И отец повышал голос:— Смотри! Еще раз тройку получишь — без хлеба по миру отпуска. Давай!»

Приподнявшись на носки, я доставал конец шеста, подвязанного к большим кузнечным мехам, и начинал раздувать горн. Отец подбрасывал древесного угля, совал в жараток заготовку и закуривал, ожидая, пока та нагреется до нужной температуры (это он определял безошибочно по цвету железа), и наконец говорил: «Хватит. Теперь так дойдет». Я опускал шест, переводил дыхание, пока доходила заготовка — то ли подкова, то ли шина для оковки санного полоза или болт,— и ждал около наковальни, приставив к ноге кувалду. «Той много не намашешь. Молод еще, возьми молоток, полегче», — охлажда-

дал мое рвение отец и запускал в горн клещи. А потом, словно держа раскаленное железо не клещами, а в руках, командовал мне каким-то ожигающим голосом: «Берегись! Искры! Глаза-то быстро не расщеперивай. Повернись, а то все на самого себя полетит». А я стоял с уже занесенным молотком, приготовившись расплющить железо с одного удара, а он опять успевал остеречь: «Не быстро первые-то разы, око- лони окалину-то... Вот так. А теперь бей как можешь. Бей, говорю, теперь ничего не бойся...» И я старательно молотил по наковальне, отработывая за школьную тройку, а отец ворочал заготовку и хвалил: «Молодец, по месту куешь,—потом подбадривал:—Давай, давай». Потом, когда удары мои слабели, оставляя на железе едва заметные следы, а оно уже остывало, начинал останавливать меня: «Хватит с тебя». Если я не соглашался, из последних сил махал молотком, подтрунивал: «Молотобойцем тебе на хлеб еще не заработать. Нет, сынок. Слабоват, лучше учись». Но чаще бережно обходил мое само-любие и отстранял от наковальни иначе. Говорил: «Еще раз ударь, и хватит. Дальше работа тонкая. Надо одному. Ты пока подожди, по-смотри. Я сам». И брал у меня молоток. Иногда просил подать другой, полегче, для одной руки...

Я посмотрел на отца, и он, будто спохватившись, сказал:

— Вот рам еще пять штук надо сделать в Павловск. Вот это обя-зательно надо!

«Обязательно» он произносит, опуская мягкий знак, чтобы вышло тверже.

— Папа, а ты сколько берешь?.. Ну, скажем, за санки.

Вопрос этот застал отца врасплох и даже заметно смутил.

— А кто сколько даст.

— Ну а все-таки?

— Хороший человек, да хоть и так поволокай (поведи).— Отец усмехнулся. Видя, что я жду, уточняет:— Ну, рублей пять. Шесть — это уж за глаза.

— Сколько?! Да ты что?

— А сколько, по-твоему?.. Э, нет, парень, работы-то с ними много...

— А я думал, рублей пятнадцать. Десятку, на худой конец...

— Ну, не-е-т. Это не православно.

— Как же много? — возражаю я. Не для того, чтобы подстрекнуть отца.— Давай подсчитаем, из чего складывается работа.

— А давай посмотрим.

— Надо две заготовки на полозья. Идти в лес, выбрать умело березу, срубить, расколоть, вытесать. В снегу, надо полагать, по пояс. Вязовье найти и нарубить. Все надо принести домой...

— Так, так, все ладно... Никто за тебя не принесет,— охотно соглашается отец. Берет нож и, чтобы не сидеть зря, потихоньку вы-глаживает неровности на недоделанном новом топорище.— Ну, даль-ше слушаю.

— Зачем дальше? Я тебе уж на пятерку-то наговорил. Считаю, день на это уйдет.

— А нет, поменьше. Не спать, так до обеда можно.

— Это сколько по времени?

— А часов с восьми до двух — и дома.

— Так это же шесть часов чистой работы.

— Ну, так я и говорю, что только до обеда... Чего смеешься? Так и есть.

— Ладно, до обеда. А потом что?

— А сразу-то ничего. Приду да в дровяник брошу... А потом отешу лишнее да в печь запаривать. А дальше сам только что видел. Вот и все дело...

— Так это же только полозья. А копылья, нащепы — выстрогать, выдолбить,—перечисляю я, «набивая» цену санкам. Отец слушает все

это, поддакивает: «Ага, верно. А как иначе-то?» и сосредоточенно отделяет топорище.— А кроме всего прочего, это же уметь надо. Ведь ты же мастер...

— Так я-то ведь умею. Мне ведь это ничего не стоит,— отзывается отец будто издалека, видимо, вспоминая, как осваивал разные ремесла.

— Тебе хоть кол на голове теши, ты все свое,— говорю я, шутливо изображая отчаяние.— Таскотни одной: из лесу в мастерскую, из мастерской в избу да обратно, да еще три дня сушки. Жди.

— Сохнут, хлеба не просят. Я-то ведь в это время не работаю. Я другим занимаюсь... Так что нет, парень, никак не выходит дороже-то,— подытоживает отец и как-то иронически, испытывающе усмехается. Редко «грешит» он этой усмешкой.

— Ты меряешь все по-старому. Работа, которая лет двадцать назад стоила пятерку, теперь дороже в два раза если не больше. Особенно ручная,— улыбаюсь я, смягчая свои слова.

— Когда мне раньше дрова привозили, я трактористу стопку к обеду ставил. Ну, две. А теперь — поллитры мало. Так что не думай, что я слепой.— И взглянув в упор, добавляет: — Понял? — Откладывает нож на верстак и сухими ладонями с поблескивающими мозолями гладит топорище, пробуя работу на чистоту.

III. Феня

Время течет, как речка по равнине. Длится, длится... Кажется иногда, что видно, как неторопливо, с расстановочкой и рассуждением вышагивает по полям и по деревне среди домов и амбаров каждый час дня. Идет, как мужик из леса, подпоясав полшубок, заткнув за пояс топор. Идет довольный от предчувствия отдыха, шапку эдак набок принововил и будто бы покуривает. А чтобы выходило еще степенней, покуривает не папиросы: вот остановился, достает кисет и сворачивает сигарку, бережно ровняя табачок... Вот послунял бумажку языком, огладил пальцами, примял конец, чтобы не сыпалось, и попробовал на затыг. Сплюнул с языка табачинки и уже после этого только и прикурил — как отец, когда вдруг захочется ему махорочки... А вот и затянулся, и долго, будто смакуя и раскушивая удовольствие, оглядывается как рачительный, хитроватый, себе на уме хозяин, осматривает свое хозяйство. И уж только после этого двинется дальше.

И вот уже мастерская, где мы с отцом только что загнули полоз, а потом и дом, в котором булькает на раскаленной плите чайник и тикают стенные часы, а снаружи трется о дерево дома рано наступающая зимой тьма...

Отец уже натирает постегольницу варом, заготовливая дратву, чтобы подшить валенки и мой дорожный портфель, лопнувший от натуги по углам, потому что в него укладывается всегда больше, чем можно...

Я сижу на круглом низеньком стульчике, привалившись спиной к горячему боку печки, приятно ожигаясь от долгого соприкосновения, смотрю вполглаза и на отца, и на то, как завершает свой вечерний туалет кошка Барка. Вылизывает, вывернув лапку, темные подушечки, потом нализанной лапкой утирает мордочку и, не спеша пройдясь по цветастым лоскутным половикам, вскакивает на кровать.

У порога, уставший от волнений знакомства, лежит Шарик. Развалился на боку и спит — глубоко, расслабленно. Правое ухо откинулось и будто валется рядом — отдельно, как калоша.

А мать выкладывает из сундука настиранное белье, готовя его для уютяжки: достанет, свернет, положит на кучку, пригладит. И вдруг этот ритм прерывается. Не глядя, я чувствую, как она стоит и что-то разглядывает дольше обычного, будто разгадывает, вспоминает, и по-

том, подойдя, наклоняется ко мне. Я поднимаю голову. Она держит, расстелив на руках, домотканое полотенце, расшитое по концам широким узором, и спрашивает, извиняясь за вмешательство тихостью голоса:

— Ну-ко, Егор, прочитай, чего тут вышито? То ли я думаю?

Я взглянул: чуть повыше узора красными нитками и какими-то детскими каракулями вышито: «12 апреля 1961 года».

— О-о? — изумленно, словно вспомнив что-то сердечное и давнее, отзывается мать и, будто не справившись со всей значимостью воспоминания, его неожиданностью, снова повторяет: — О-о?! Ишь, вот как? — И всматривается в вышивку, и разглядывает буквы, которые едва знает, трогает корявыми пальцами стежки и не отходит от меня. А потом опять спрашивает робко: — А это тогда и есть на небо-то полетели?..

Я кивнул, а отец, при каких-то военных обстоятельствах видевший в глаза самого Жукова, подтвердил:

— Так точно. Тогда! Товарищ майор Гагарин. Вот кто! — И торжественно затих и, привернув на гвоздик конец постегольницы, принался опять натирать ее варом.

А мать, всю жизнь пристрастная кротости, только взглянула на него и снова тихо спросила меня:

— А ты знаешь, кто это полотенце-то вышил?

— Нет, мама,— ответил я, почему-то смутившись.

— Это Феня мне подарила. Еще мы в Нарчуге жили. Фенюшка христовая,— уточнила мать и, видя, что мне все равно не припоминается, присказывает: — После войны-то я ей то картошки давала, то молочка, то когда чего. Сирота была, не девка, не баба, замуж так и не вышла. Эвакуированная. Божий человечек была... А потом, ты уж в школу давно ходил, она еще козлух караулила... Ну, так вот она мне и подарила. Уехала потом куда-то...

И мать как-то жалобно посмотрела мне в глаза, будто сожалея, что я забыл такого человека, как Феня, фамилия которой и сама не помнила. И отошла, как-то особо бережно сворачивая полотенце.

Я перебрал в памяти все детство, вспомнил его по годам, вспомнил все дома и сарай лесопункта Нарчуг, навсегда исчезнувшего с земли, вспомнил, то и дело ожигаясь от боли, всех мужиков и баб, собак и лошадей, стадо коз и сироту Ваську-козопаса, караулившего их еще до Фени. Феня же вспомнилась,— а может быть, просто почувдилось от сильного желания вспомнить,— каким-то грустным существом: вроде маленькая, в каком-то худеньком, с чужого плеча пиджачке, с веткой в руках, незаметно, как бы невзначай идущая внутри жизни; по представлению памяти — что-то теплое, блуждающее сзади, вдали, в темноте...

IV. Утро

К ужину зашел дядя Минакий. Отнекивался, когда я приглашал, но зашел вместе с женой к названному часу.

— Давай в передовой-то избе не собирайте стол. В другой раз погостимся ладом-то,— сказал он матери.

Выпил за мой приезд пузатый стаканчик, захлебнул супом, поковырялся в латке с тушеным кроликом; мать попотчевала овсяным киселем — хлебнул и киселя, потом уважил еще кусочек драчены... От второго стаканчика отказался и бочком вышел из-за стола, пересел на диван.

— Да чего так худо?! — повысив голос, спросил отец. И мать тоже и тетка Тоня — обе по-бабьи хлопотливо.

— А ничего. Наелся дома. Так посижу,— уклончиво, невинно хитря, отозвался Минакий, но и сидел как-то торопливо, поглядывая на часы.

— А знаю чего. Ишь заелозил. «Севонни в мире» опять поглядеть торопится. До того досидит новой раз — уснет. Я и кнопку сама нажимаю, — раскрыла тетка секрет мужа.

И Миня, как уличенный школьник, признался, но все же быстро взял себя в руки и сказал сдержанно, серьезно:

— А как иначе? Вишь, в мире-то опять раздор кругом... Чего-то все не согласны эте империалисты...

Кивнул на радио, негромко, похрипывая, иногда дребезжа, передававшее комментарий первой пресс-конференции президента Рейгана.

— Чуете, чего шумят. Чего им надо? Вы чего все делите там? — Посмотрел на меня, добавил: — Кто прав, кто виноват?..

— Ой, ну-ко давай, Минюшка, не шуми. Насмотрелся всего, наслушался... Егор отдыхать приехал. Знамо, кто прав... Только бы все ладом, без войны...

— Без войны бы только, — поддержала тетку мать.

— А я вот чего думаю, — вступил отец и, видимо, представляя картину мира как-то по-плотницки, разъяснил: — Вот ежели у меня дом хорошо срублен, фундамент, в стены не дует, тепло и крыша не течет, так мне на чужое лаять нечего. И отлаиваться тоже...

— Ишь как? Живо все рассудил, — сказала мать, не вникая в смысл отцовской речи, а возражая лишь ее категоричности. — Да бог один знает...

Отец хмыкнул.

— У тебя дети-то все уж отслужили. Тебе ловко рассуждать. А у меня вон внук осенью в армию ушел...

— Ну-ко, ты не страшай меня шибко-то... Это ты шумишь, чтобы убежать быстрее к телевизору.

Заволновавшись, тетка тоже вышла из-за стола, покрестилась вслед за матерью в иконный угол и засобиралась домой.

— Ну, так к нам ходите, — пригласила она по старому деревенскому обычаю, особо обратившись ко мне как к гостю.

Я одел полушубок и вышел за ними, пустил в конуру под крыльцом Шарика и остановился посреди двора — тянуло осмотреться внутри ночи, которая, как казалось еще из дому, терлась о его стены, словно темная вода о берег, издавая неслышимые, но явные звуки. Я будто вошел на повесть огромного старого дома, в котором долго жили и вдруг вышли, и над ним нависло тяжелое, как тучи, недоумение. Оглушала тишина, никого не было, ничего не двигалось, но все как будто копошилось. На задворье деревни, в снегах, излучавших мутный свет, не допуская тьму до самой земли, блуждали пятнами стога сена и клочки кустов. В другую сторону, уходя вдаль, вниз по косогору, к речке, низко над сугробами росли черные силуэты амбаров и бань. Очертания их были неразборчивыми, так что от долгого вглядывания начинало казаться, будто они ворочаются, словно кутаются, укладываясь, подбирая под себя полы темного одеяла ночи. Вот что-то не понравилось амбару — то ли дуло ветром, то ли что-то попало под бок твердое, — и он, старчески кряхтя, снялся с насиженного места и пошел устраиваться на другое.

Потом, прихрамывая на углы, поплелась банька, выстроенная еще по-черному... Перешла, огляделась, ошупала место и начала зарываться в сугроб, как курица в песок, раздвигая его боками. И вот улеглась, придавленная темнотой. Опять что-то пошло...

Было соблазнительно подглядывать за ними, отдаваясь оптическому обману, но и страшновато, как иногда в сказке, и я временами отводил глаза, ища чего-нибудь попривычнее, попроще — вроде трамвая, неоновой витрины, булочной, чего-нибудь такого, где бы чувствовалась не столь древняя душа и рука человека, но взгляд то и дело срывался в огромное вольное пространство, пропитанное темнотой и облаками, набухшими перед теплым снегопадом.

Чувства смущались, сознанию было трудно преодолеть разрыв между теснотой городской жизни, трение которой я еще помнил локтями, и первобытной неподвижностью. И я стал вспоминать городские улицы, площади, рестораны, потом все события сегодняшнего первого деревенского дня — дня приезда; потом все городские мысли, споры, заботы, пытаясь объединить все это под одной крышей жизни, или, наоборот — построить из этого единое тело жизни без крыши и дать ему какое-то общее имя и толкование, но внутри мычало лишь какое-то подобие мыслей: «Да, странно. Чего мы хотим? Какая разная земля. Неужель ей что-то грозит? Шарик исчезнет. Снега. Кролики... Полоз некому загнуть. Как же? Кто? Люди ли они? Как выглядят? Обыкновенно... Любят ли что-нибудь? Тогда как? Или они все забыли, иссохли, зачахли и жизнь вызывает в них раздражение, может, даже ненавистна от дряхлости...» Подумалось о себе: «Как нелепо сложилась жизнь! Где жить? Там, в городе? Здесь? За чем?..»

От могущества и таинства ночи было радостно и страшновато, и чтобы подтвердить свое существование, захотелось пошевелиться. Я вышел за ограду на проезжую дорогу, ступнями нащупывая колею. Скрип снега под валенками вернул уверенность и ощущение себя. В темном пухе ночи лишь дома стояли отчетливей, тверже, даже дальние из них «не переходили» с места на место. Через один, через два в них светились окна. Поток света, не подпуская тьму, будто стоял с лопатой и отгребал ее от стен, как снег от крыльца, и местами даже пересекал дорогу. А ночь еще только наступала, тьма давила на землю, и та упиралась в нее, как человек в ношу, чтобы не согнуться.

Я вернулся в дом, лег в постель, выключил свет, и тогда тьма, будто сорвавшись, вбежала через окна в избу. Все исчезло, и казалось, никогда не рассветет, и провода на улице, будто отпевая и скорбя, надолго загудели басами...

В ночи светилась лишь длинная строчка узких окошек фермы и через три поля одинокая лампочка на центральной усадьбе, которую я видел...

Но все-таки рассвело. Не спеша, но утро наступило. В окнах забрезжило, и чем светлее становилось, тем сильнее ощущалось, что за ними происходит что-то радостное. На улице будто что-то дышало, пенилось, играло...

Потом на дворе слышалось шарканье лопаты и покашливание отца. Я встал, оделся, смутно волнуясь, отворил дверь — и словно вошел в белые облака. Чуть выгребя крыльцо, отец стоял по колено в свежем пушистом снегу.

— Вот вишь, сколько добра-то? — сказал он, смущаясь.

От восторга я боялся пошевелиться, было боязно и в то же время хотелось все это схватить в охапку, зарыться, утонуть, и было отчаянно, что сделать это невозможно, и я просто захлеб ткнулся в сугробы ничком...

V. По следу

Светало медленно, тихо, и в тишине будто слышно было, как лопается паутина сумерек, чикая, как горящая лучина. Опять — уже третье утро — просидел на омуте под старой мельницей до «лампочек» под носом, я смотал удочки для подледного лова, взятые для пробы у городского приятеля-рыбака, и вернулся в деревню.

— Не клев, наверное, — конфузливо оповестил я отца, встретившего меня любопытным взглядом. — Ничего, парень. Только промерз. Никто даже не поинтересовался. Ни одной рыбки... Даже на червя никто не обзавился. — старательно оправдывался я, подсев на краешек верстака.

— А может, рыбы нет — вот чего, — предположил отец, не отвлекаясь от своего дела. Он уютно сидел на табуретке в натопленной

мастерской около печурки и, выстрагивая охотничьим ножом кромки нащепы для санок, снимал с дерева тонкие, завивающиеся хвостиками стружки. Строгал со старанием первоклассника, словно буквы выводил, но умело, как мастер, и от удовольствия работы пошмыгивал носом. — Вот чего! Нету ее, Егор.

— Да неужель в таком омуте ни одного хариуса нет? Да хоть бы пескаря?..

— Ну, тогда сам суди, — отступил отец, не зная, что посоветовать (сн в этой хитрой ловле разбирался не лучше меня), и все-таки подержал, как охотник, чтобы не крушить во мне надежд: — А может, и не клев? В другой раз уловишь. А сегодня чаю напьешься — хорошо с морозу-то... Верно, Шарик?..

Тот, поубегавшись, пока я рыбачил на омуте, меланхолично подермывал на стружках, налакавшись из таза кроличьих черев, и будто ничего не слышал. Но как только отец обратился к нему, расторопно, даже как-то лихо вынырнул из-под верстака, ткнулся мне в руки, скульнул, потом распахнул жаркую белозубую пасть и протяжным басом, срывающимся в высокие ноты, будто сказал: «А я готов. Давай пошли. Я не набегался. Там на речке-то ты клевал над своими дырками, а меня только отпихивал — то нельзя, это не трогай. Давай, давай...»

Время до вечера еще было.

— А поведи. Пущай промнется, — поддержал отец. — Ишь какой теленок, надо ему... Только в баню не опоздайте, топят бабы. — Помолчал. — Вот уж посмотрим, как ты зайца погонишь.

Зацепив в себе ревнивую, милую сердцу тему, отец произнес собаке строгую и ласковую речь:

— Смотри! Я дураков не терплю. Ты знаешь, какой до тебя Шарик-то был? Хо-о! Любой заяц евонный... Гений, настоящий был гений. — Отец вернул сказанное мною незнакомое ему слово. — Одному только не успел научиться — с гону сходить. Кабы на волков не нарвался, так не выдалься бы мы с тобой на этом свете...

Шарик, прислушиваясь, терся около него, норовя лизнуть в лицо.

— Ну, ну, молодец... Не лезь, говорю! А то строгну ножом по носу-то... — И опять ласково: — Мاستью-то весь в него, чистый... — Отец сострагивает очередную завитушку и говорит: — Ноги у меня худые стали, а погонишь, так я не подкачаю. Я, парень, ружье-то только с плеча сдерну — оно уж и спело. Не сзеваю. Недолго целюсь, а редко смажу. Вот так! А ты знай ищи. — Опять строго: — Не суйся, говорю!..

Пока я надевал во дворе широкие охотничьи лыжи, Шарик выскочил в сугробе около поленицы две янтарные дырки. Отстав, он бросился вдогонку и азартно запорхнул в снег.

— Вот сейчас сходим до Соргиля, нахлебаешься вдоволь. Шибко хотел, беда, — иронизируя, говорю я собаке, заметив, что пес уже перестал забегать вперед, и оборачиваюсь. — Ох хорошо промнешься...

А он ползет за мной, вывалив на сторону жаркий язык, вытянув вперед, как на плаву, голову, и, встретив мой взгляд, будто отвечает: «Ничего, ничего. Будь спокоен». И кажется, если бы не утопал в снегу, то поднял бы правую лапу вверх и сделал бы, как рукой, этакий успокаивающий жест: «Не бойсь, не отстану!»

И я поднимаюсь на некрутую гору, правя к редкому лесочку, который по меже, клинышком врезался в поле. Широко, бело и таинственно наверху. Вся деревня и будто вся земля на виду...

На чистых укатанных сугробах, словно вздыхающих, нет ни пятнышка, и единственный лисий след кажется живым, движущимся, ступающим, а не застывшим, будто лиса вот тут же и идет перед тобой, впереди, чуть только вышла из поля зрения — подними голову и увидишь. Но лисы нет, ямки даже кое-где припоросило, а след

все равно словно прокладывается на моих глазах и обвораживает своей аккуратностью и обдуманностью каждого стежка. У ямок редко где сдернута кромка, и в их ломаной цепочке будто читаются все думы и переживания зверька: «Тихонько, лисонька, тихонько. Чуешь, за бугром деревня? Там, конечно, есть чем полакомиться. Впрочем, куры — это летом. Поверни-ка лучше к лесочку, к кустикам, прикройся на всякий случай. А теперь по опушке, может быть, куропаточка зазевается... Но всегда обязательно тихонько, только тихо и с оглядкой...» И узор все усложняется, ухитряется. Кажется, что перед каждым следующим шагом лиса вынимает из снега переднюю лапку и, как рукой, ощупывает перед собой снег. Ощупает, но как-то не касаясь его: поднимет лапу подумает и вот — ступила. Теперь другой — и опять ступила, как бы сказав себе: «Хорошо получилось, не наследила лишнего. А теперь петельку сделай, сверни вот там калачик». И путает по кустам, спускается в крутой лог, где снега еще глубже, но ненадолго, и уходит совсем в другую сторону, на всякий случай сделав еще петлю.

Я стою, дожидаясь, пока добредет Шарик, и ревниво думаю, как он поведет себя: «В лесу, можно сказать, еще не бывал, ничего не нюхал. Пройдет ведь мимо и не заметит. Эх, дурак...» Стою поджигаю...

След он увидел и сначала, кажется, не очень заинтересовался, но морду в ямку все-таки умакнул, замер, вздрогнул, ткнул глубже и, будто нюхнув нашатырного спирта, всхрипнул, а по телу, словно рябь по чистой воде, побежала нервная дрожь. Еще раз понюхал — одну ямку, другую и... растерялся, встретившись с чем-то хмельным, жданным, будто сделал наконец уже назревшее открытие и не знал, как с ним быть. Словно вдруг повзрослел, даже постарел, оставшись ребенком, и огорчился невозвратностью, и вопрошающе, ища поддержки, обернулся на меня: «Что-то заманчивое? А?..» Я притих, понимая, радуясь и жалея его, будто около ямок в снегу повторялись мои первые шаги...

«Да, заманчиво было, — мысленно ответил я собаке, вспомнив все, с чем встречался первый раз в жизни. — Только не запутайся. Начинал я тоже азартно». Вспомнил, как растерялся первый раз, смутно почуяв обман...

А он уже брел вперед, упиваясь и мучаясь раздумьями, обнюхивал следы и трепещущим носом сдергивал с кустиков и пеньков запахи лисьего следа, лукаво, коварно и зазывающе уходившего в синий лес...

— Только на волков не наскочи, — сказал я ему вслед, подумав о своем, и не торопясь пошел сзади, будто охраняя его, как новичка, бросившегося в омут. А он жално преследовал лису по вытянутой петле, не подозревая, что напрямую, метрах в десяти, она идет уже в обратную сторону.

«Обледет она тебя, Шарик. Изматает, — подумал я и хотел подсказать: — Не надо туда, не надо!» — как себе, когда я, словно птенец из гнезда, выпал из любимого захолустного Нарчуга. Но промолчал.

Он шел уже не так страстно. Вот и язык вывалился на сторону, а потом, то ли устав, то ли почуяв хитрость, вопросительно оглянулся: «Может, не стоит?»

— Ищи! — тихо, но повелительно приказал я и все же не удержался, подсказал, кивнув в ту сторону, где след возвращался.

Он повернул голову и, дрожа ноздрями, взял по воздуху. Ощутить что-либо, наверное, было невозможно. Ветер давно разогнал запахи зверька, и Шарик спасительно покосился на ямки — тут все было очевидно: пахнет. И все же свернул.

«Молодец, Шарик, умница», — радуясь, подумал я. А он, снова

наскочив на след, обнюхивал его слева, справа, сравнивая, видимо, по силе запаха и будто говорил: «Ага! Вот ты куда ушла!..»

Но след вел к обрыву. Шарик брел почти ныром и у самого подножья вместе с осыпавшимся козырьком снега рухнул вниз.

— Ничего,— подбадриваю я, а он смотрит из-под горы, морда заляпана снегом, и глазами, всегда вопрошающими о чем-то, будто говорит: «Что делать-то? Может, не надо? У тебя ведь нет ружья. Одна лопата. Что толку?»

— Не хитри, Шарик, не ленись. Это твоя жизнь... — И я снова требую: — Ищи!

Он медлит, но вот возвращается на след и обнюхивает торчащие, как травинки, кустики. Мне его жаль. Под верхним слоем пушка снег смерзся (чир, как говорит отец) и царапает лапы, но я еще раз призываю:

— Ищи! Пусть больно. Потерпи...

И только убедившись, что собака послушно и точно реагирует на мои команды, подзываю ее к себе. Хвалю вслух, откровенно, глажу по голове, треплю по холке, даю обломок печенья. Шарик принимает ласку, лижет руку, светится глазами и спрашивает: «Ну что? Хорошо? Это кто был?»

«А вот вырастешь, сам и увидишь»,— подумал я словами отца.

VI. Шаманство

Среди сугробов черная, как монашенка, банька стояла на отшибе деревни. Как платком, она была покрыта широкой плоской крышей, кончики которого торчали где-то над входной дверью. Всякий раз на подходе к ней мне казалось, что она смотрит и что-то дружелюбно ворчит. Сегодня же взглянула на меня, как отшельница: «О? Давно не видались. Мыться идешь, грешник...»

«Ну, ну, не ворчи. Просто завалило тебя снегом. Устала ты»,— приближаясь, подумал я в ответ. Раздевшись в сенцах, шагнул из мороза в жаркий, тихий, словно колдующий полумрак и радостно проскулил от удовольствия: «Хо-о!»

Топили баню по-черному. В узкую форточку, через которую выпускали дым во время топки, туго пробивался луч света, выхватывая в закопченном пространстве лавку, полчок, бочку, мочалки. Слева от входа, широко, как наседка, расщеперилась камница — куча камней, сложенная наподобие печки. На ней ванна с горячей водой. Я запарил веник, наподдавал жару и разомлел на полке.

— Ох хорошо! — то и дело приговаривал я, хвоцаясь веником, потом еще раз поплескал на камницу, потом стал мыться, потом ошпарил руку. Кожа между пальцами мгновенно вздулась, будто под нее шприцем качнули воды, и она, не выдержав напора, сразу лопнула в нескольких местах. Я наспех домылся, оделся, запахнулся в полушубок и поплелся к дому, постанывая от боли, досадуя на себя и браня дядю, отцовского шурина Минакия...

А тетка Тоня, увидев меня через двор, звонко и ласково пропела:

— С легким да паром, Егорушко... Чо-то быстро намылся? Другие разы, бывало, не дождешься...

— Спасибо. Хорош пар,— пробубнил я. — Где твой обозреватель-то? Небось уж «Севонни в мире»?

— А верно. Сидит, уперся опять,— невинно подтвердила тетка.— Ждет. Он, вишь, не терпит такого жару-то, как ты.

— Не терпит!.. Говорил ему, сколько раз говорил: давай теплый предбанник срубим. А он все: «Нет, баня старая, на чо его?» — ворчал я, передразнивая Минакия.— Вот и на чо!..

Тут уж тетка, почуяв неладное, зачочала:

— Да чо такое, Егорушко христовый?

— Руку ошпарил! Вот чо! — рявкнул я — не на тетку, на себя от злости да и от боли: рука горела так, что даже холодный воздух едва успокаивал.

— Ой, ой, шибко? — сразу переменявшись в голосе, принялась причитать тетка. — Да как же ты? Ну-ко остановись...

— А просто. Наподдавал, напарился, а передохнуть негде. Предбанник-то холодный. А у меня прострел под лопаткой, побоялся выскочить на мороз. Смекаешь?..

— Ну-ну, смекаю, а не пойму.

— Мылся-то я уж поторапливаясь. Тяжело стало. Ну, в спешке-то и плеснул на руку кипятку. Думал, холодной воды зачерпнул... Ванну перепутал. Медпункт-то есть в деревне?

— Медичка-то есть, — ответила тетка, размышляя. — Да только ты, Егор, бежи-ко не туда, а к Фане-пастуху, к матери евонной, к Шаманихе. Она тебе все сделает не хуже. И намажет чем надо, а главное, боль-то сразу зашопчет... А нет, не смейся, точно заговорит. А сноха-то у нее ветеринарка Поля, так она и забинтует. Бежи-ко давай к Анюхе, это вернее...

От такого предложения на душе стало веселей. О старухах-знахарках я был с детства насльшан, но обращаться к ним не приходилось.

— Ладно, — сказал я тетке, — схожу...

Мать тоже запричитала, когда увидела руку, отец по-мужицки матюгнулся, добавив: «Худо да и мало». Не от жестокости, а с досады — ну что с такой рукой сделаешь? Ни топора взять, ни лопату... Помог переложить пальцы столетником и замотал руку чистым лоскутком, оторванным от старой рубахи: «А умней будешь...»

И пошел я к Анне Степановне. Насчитав по пути пять крашенных подзоров и три амбара вдоль дороги, я свернул к дому с желтой верандой. Около поленницы, стоя ко мне спиной, копалась баба, одетая в фуфайку.

— Здравствуйте, хозяйка, — нерешительно окликнул я.

Помедлив, та повернулась, держа на руках несколько поленьев. Оказалось, старуха не так уж стара, без каких-либо признаков колдуньи, только маленькие, как смородинки, глаза, да голова укутана платом, как в извоз.

Мы, не зная друг друга, испытывающе переглянулись: я немного смущенно, она спокойно, как усталый и опытный человек, которого смутить нелегко.

— К вам я, Анна Степановна, — сказал я, догадавшись, что это, должно быть, она и есть.

— Дак проходи в избу.

Я пошел в дом. В прихожей, из которой налево и направо были открыты двери еще в две комнаты — с полами, устланными цветными дорожками, с телевизором и радиолой в иконном углу, — сидела сноха Поля и читала толстую книгу.

— Здравствуйте, Полинарья Николаевна, — сказал я почтительно.

Полинарья, колхозная ветеринарка по осеменению скота, портрет которой я вчера видел в газете, а имя упоминалось в районной радиопередаче, кивнула.

— Я ваш приезжий сосед, — представился на всякий случай, так как и с ней мы были знакомы заочно.

— А я знаю по отцу...

— А я к Анне Степановне, — мотнул завязанной кистью, горевшей как в огне.

Тут с беремем дров вошла и сама Анна Степановна.

— Это к тебе, мама.

«Вот сейчас начнется», — подумал я, невольно воображая, как будет происходить шаманство. Уведет, думаю, в уголок, а то и в гол-

бец, куда-нибудь в потемки, возьмет мои ошпаренные пальцы и начнет прищептывать, плевать то через одно плечо, то через другое, и утихнет моя боль, и сразу на глазах все и заживет.

Анна Степановна не спеша, полено к полену, укладывала дрова около печки, а я в ожидании фантазировал: «Нет, так уж слишком просто. Сейчас посмотрит и скажет: «У-у? Приходи-ко, сокол, нынче в полночь. Шибко обварился». Приду я, и она где-нибудь на повети среди прялок и горшков в паутине начнет колдовать... Плюнет и даже, наверное, перекувырнется, понесется над крышей, как ведьма, и великий гул пойдет и затрясутся стропила...»

— Руку вот ошпарил,— пожаловался я виновато, когда она освободилась, и опять тряхнул своей замотанной в лоскут кистью.

То ли по моему поведению, то ли еще почему, но Анна Степановна определила сразу, что ранен я не смертельно, и, даже не взглянув на мою руку, ушла в избу справа и вернулась с баночкой какой-то мази, похожей по цвету на овсяный кисель. Я размотал пальцы, сочившиеся сукровицей, она выковырнула из банки этого киселя, начала мазать им и рассказывать:

— Володя, Терехин сын, летом ногу обварил. На ферме в ведро с кипятком ступил в потемках. В больнице лежал — ничего не помогало. Пришлось матери голову курице рубить. Сразу зажило... «Вот,— думаю,— шаманство-то...»

Обмазав пальцы жиром, который сразу подтаивал на руке, Анна Степановна распорядилась:

— Поля, заверни-ко бинтом. Ожог-то лучше не завязывать, если работа не грязная... Ну да слабенько-то можно...

Боль заметно утихала.

— Куриный жир-то лучше всего от ожога,— сказала Анна Степановна.

«Неужель и все? А заговаривать-то когда?» — подумал я с огорчением и, потоптавшись в нерешительности посередь избы, все же выкнул:

— А тетка сказывала, вы заговариваете?..

Скользнув мимо меня с баночкой, Анна Степановна негромко, кратко обронила:

— А все уж заговорено.— Вроде в шутку и в то же время будто бы что-то тая.

Возвращаясь домой, я уже едва чувствовал жжение, шел, усмеялся и сетовал: «Жаль, «Вия» не получилось» — и назавтра уличил было тетку:

— Ничего она не заговаривала. Куриным жиром только намазала — и все...

— А боль-то прошла?

— Прошла быстро,— не соврал я. — Так это же от жира.

— Нет, Егор, нет, сердешный,— бойко и уверенно возразила тетка. — Я в прошлом году руку посекала серпом, да пока Анюха не очертила рану-то, никак не заживало. Вот так. А тебе, видать, не надо было. А может, она чо и шопнула, а ты не слышал. Не поперечь зря-то! Она шибко хорошо шопчет. Ши-и-и-бко...

VII. Дути

Ночью, пока не заснули, было слышно, как он метался по улице. ворошил все, что плохо пристроено. Провода уже не гудели, а будто выли и стонали от усталости и просили об отдохновении, но ветер, как молодой пес от избытка сил и роста, не унимался. А когда проснулись, отвернули занавески на окнах, зеленоватое небо тихо мерцало угасающими звездочками и розовело на восходе, а чуть ярче рассвело — все сверкало.

Поля выглядели постелью, сначала хорошенько взбитой, а потом аккуратно застланной белым, оглаженным ладонями покрывалом. Ветер уложил снег снежинка к снежинке, а по верхам берегов витиеватой речки навел тонкие карнизы, плавно следуя ее изгибам. Вычертил их, словно брови, выщипав каждую лишнюю снежинку. И даже будто предусмотрел, что после восхода солнца под берегами лягут синие тени... Сверкали изголовья, выкруженные берегами, пухлые, как хлеба, только что вынутые из печи. Для полного наряда дня в безветренном воздухе трусили, искрясь на солнечных лучах, редкие снежинки, поднимавшиеся вверх будто от дыхания сугробов...

Ветер завершил свою работу, видимо, перед самым рассветом и казалось, что поля и пожни еще не привыкли к покою, а сам он еще не успел скрыться и вроде виднелся хвост его, убегающий к лесу. Но было тихо. ветер ушел или вдаль или просто прижался к земле. Ушел, а на снегах чувствовалась его работа, как чувствуются руки мастера на сделанной им вещи...

— Ишь, как обходил все,— сказал отец. — Пожни-то как колобушки.

Наконец-то собравшись, мы шли на охотничьих лыжах за польями для санок и вязовьем. Отец с топором за поясом и деревянной лопатой сзади, я порожняком впереди — прокладывая лыжню и отбиваясь от Шарика, который то и дело норовил проехать на задниках лыж. Они ускальзывали, и тогда он облапывал мою ногу и волокся на ней, буровя сугроб.

— Хороший, образцовый зимний день,— отозвался я отцу, надеясь еще что-нибудь услышать от него.

Но отец на лирику скуп.

— Ты давай к леску правь...

— К реке уйдем.

— А туда и надо...

В голых, едва заиндевевших кустах я не сразу и различил, где ива, где ольха, а отец, только подошли, уж прищурился и прикинул:

— Ужо остановись-ко. Вон тут черемушина-то сама на стужень просится...

— Где тут черемуха-то? Ивняк.

— А в ивняке-то чего?! — Отец снял лыжи и забрел в кусты.— О, а рядом-то на вяз пойдет...

Приглядевшись, и я стал разбираться в кустарнике, определять, куда что годится в саночном ремесле.

Мы не спеша движемся около прибрежных кустов, время от времени сворачивая в сторону. Отец вырубает все сам.

— У тебя рука-то худо зажила, зря не бередит,— говорит он, но я чувствую, что это от другого: ты, мол, еще не так срубишь, испортишь,— но больше от неумения его быть соглядатаем.

— Да тебе тяжело бродить. Ноги-то хулишь... А я прямо на лыжах зайду. Срублю как хошь. Я уже понимаю, что куда годится...

— Понял, и хорошо,— отвечает отец, пропуская остальное мимо, отстегивает ремни лыж и ухаает в сугроб, опираясь на лопату.

Топор один на двоих, он еще дома сказал: «А поче два-то?» Я там согласился и теперь стою на лыжне и доказываю право на самостоятельную работу:

— Влево-то смотри, там два хороших вяза, а рядом стужень... О-о! А чуть пониже-то сразу на пару санок.

Отец вырубает свои вязовья, но на последний мой возглас все-таки реагирует:

— Где, говоришь?

Я подбираюсь к кустам и уже руками нагибаю каждый отросток.

— Эти-то? Хорошие. Я уж их видал пораньше тебя. И у меня здесь не хуже...

Но потом все-таки перебрасывает мне топор и наказывает:

— Отопчи снег-то поглубже, под корень руби, так из того два выйдет...

— Под корень, теперь все под корень. Скоро нечего будет ни рубить, ни добывать.

— Топором лес не истребишь. Мы ссечем сейчас, а весной три отростка увидишь. Его тракторами испахали, вот это под корень...

Нарубили. Я собрал будущие стужни и вязовья, натканные вдоль лыжни, как вешки в пургу, и воткнул в снег всю охапку. По считали...

— Ну ладно, хорошо,— подытожил работу отец, предложил закурить.

Покурили и направились дальше. Впереди, светясь на солнце, покачивались березники, стайками росшие по крутому берегу речки Ановаж. К березам отец начал присматриваться тоже издали. Мне даже казалось, что он идет и прищуривается, будто норовит заглянуть внутрь ствола.

— Надо бы такую, чтобы начетверо расколоть,— про себя (и немножко для меня) рассуждает отец.

— Хорошо бы,— осторожно отвечаю я, уже держа на примете березку: стоит на чистом месте, прямая, без сучьев, только вершина метлою. Но отец равнодушно скользит мимо нее взглядом и правит под косогор.

Я не утерпел:

— Вот эта-то чем тебе?.. Прямая, расколется хорошо...

— Расколется-то, пожалуй, хорошо, да чепыжина она.

— Что это?

— Чепыжина-то? — переспрашивает отец. — Мне еще и тятя наказывал, когда я первый полоз выбирал. Ты, грит, не зарься на шибко-то прямые да высокие. Они и без сучьев и колются ладно, да лопаются при гнутье. Вот чего...

И отец выбирает дерево, более скромное на вид: «Этих сучков-то не бойся. А так вроде в аккурат»,— и огребает вокруг ствола снег.

— Я очищу, а ты срубишь, помоложе меня.

В ожидании я думаю: отчего же самые стройные березы называются чепыжником? — и спрашиваю:

— Чепыжина — это от слова чепать? Качаться?..

— А кто его знает!

— А колоть-то надо с комля?

— Не-ет, с вершины... С комля-то трещина чаще сбегает.

— А почему?

— Не знаю, а только чаще. Это точно...

Когда настало время колоть двухметровый обрубок, отец осмотрел его по изгибам, поворчал, аккуратно надткнул топором щель и вставил первый клин. Надвое береза распалась хорошо, одна из половин — тоже. Другую половину я попросил дать расколоть мне.

— Э-э? — сказал отец, когда под клином чуть наметилась трещина. — Ужо не торопись...

— Да ничего, расколется.

— Нет, убежит вбок. Зачем зря-то портить? — И заставил меня прорубить вдоль сердцевины узенькую бороздку. — Вот теперь коли, да и то не шибко поколачивай...

Солнце, перейдя полдень, быстро хладело, опускаясь к лесу, успокаивалось, затухало, как догорающая свеча, снежное поле меркло, гасли на поверхности снежинки, будто улетали, и домой возвращались мы молча, устало. Я нес заготовки на полозья, отец медленно шаркал лыжами, пригнувшись под пучком черемуховых колышков, и мне почему-то стало грустно. Около изгороди, перед выходом на машинную дорогу, он остановился, поставил пучок на столбик пряс-

ла, едва торчавший из снега, и огляделся, будто ища чего-то или вспоминая, и словно нечаянно подумал вслух:

— Эх, дуги, дуги...

Еще когда мы были у речки, он, осматривая кусты, вдруг ойкнул, как от неожиданной радости, и позвал меня: «Смотри-ко, Егор!» А сам гладит рукой чайного цвета прямой черемуховый ствол, обросший вокруг высоким ивняком, и говорит: «Ох, на дугу бы?! Вот дуга-то выросла! Как бы в прежнее-то время...»

Я тоже увидел в дереве дугу, почувствовал, как оно мягко выгнется на бале и потом аркой, уже со звоночком, застынет над лошадью, и даже порасспрашивал отца: «А вот, помню, папа, раньше были дуги-то широкие, их еще расписывали узорами... Такая вроде из этой черемухи-то не выйдет?» — «Не выйдет, верно. Те делали из вяза, у нас этого дерева-то нет. И мы их брали у купцов... У купцов на ярмарках покупали...»

Отец объясняет не спеша, подробно, вспоминая явно с удовольствием, и, прищурясь, глядит в сторону деревни. Глядит, будто под воду пропадает, и оттуда, из глубины, говорит словно самому себе: «Эх, бывало, по праздникам... Кошевочку запряжешь, да сбрую самоглавну, да под колокольцами. Кони у тяти — ох! Боевых держал, любил кавалерию... Пыль из-под полоза-то, бус, хиус! Эх!..» — И молчит, будто не хочет возвращаться оттуда, и мне боязно. А он, чуть подогнув колени, положил на плечо связку и, опираясь на лопату, пошел один, не позвав меня, будто вдруг обидевшись, оставив мне в наследство свое воспоминание. Подождав, я сделал несколько шагов и остановился на том месте, где только что стоял он, и, словно угадывая причину его неожиданного отдельного ухода, подумал: «Не знаю, как быть, отец». Вспомнил вечер первого дня: «Нелепо все сложилось... Уехав, я много увидел. И уж без чего-то, что есть там, не могу... Но без этого тоже не могу. Еще тяжелее...» Отец не оборачиваясь уходил. Глядя ему вслед, я почувствовал, как нарастает напряжение, будто надо было снова перебраться и пересмотреть такую запутанную жизнь. И, как заблудившийся человек, все оглядывался да оглядывался...

Машинная дорога, лихо взлетевшая на угор, проскочила перед глазами и, подхватив меня, как когда-то давно, выбросила на огромную привокзальную площадь, на которой в гуще народа озирался отец и, словно немой, показывал куда-то в другую сторону. И я повернулся: отец стоял на лыжне, вполуоборот глядя на меня, и ждал, почувствовав, что я почему-то отстал. За ним, то высываясь крышами домов, то скрываясь за плавными снежными сугробами, мигала первыми огоньками в сумерках деревня...

VIII. Материн крест

Ясные, с морозцем, светлые и озорные, как детство, дни коротки — чуть перевалит за полдень, уже тускнеют, слабеют блеском, будто тяжелеют... Коротки и редки, как заячьи следы в теплую снежную зиму. А она такая и стоит. Снегу везде нападало много, пока докопаешься до земли — самого едва видно, только чернь лопаты мелькает над сугробами.

Леса мягки и кажутся глубокими, затонувшими в сугробах, словно в омурах. Порошит, а то и по-настоящему сыплется с неба почти каждый вечер, так что поверхность сугробов всегда пушиста и нетронута. Пальцем ткнешь — дырка от него уж читается как заглавная буква, как заметное явление, а лыжня — это уже событие... Лишь иногда вышита на снегу аккуратной лисьей походкой строчка ямок, как бы ненароком приворачивающая к заячьему следу. Пересечет его, уйдет вроде бы и насовсем, не придав ему значения, а пойдешь дальше — увидишь: опять сечет лиса заячью тропку. Так

и видно, как шнырит она хитрой мордочкой, прислушиваясь к запахам.

А заячьи тропки тоже редки и одно-двухразового выбега. Мороз не гонит, отлеживаются зайцы, покормятся и опять залегают, так что кажется, что и их завалило и лежат они под снегом, выпучиваясь над поверхностью бугорками, как пеньки или кочки.

И деревня вся под сугробами. Тропинки между домами не крепнут и каждый день подтапываются вновь, а машинную дорогу через день расталкивает бульдозер, так что она похожа на глубокую траншею.

Матовый свет стоит в окнах домов, и светает словно с натугой. Небо опять набухло. Тяжелые, будто отеки, тучи обложили горизонт над синеватыми лесами. Редкие, но большие, как рукавицы, снежины неторопливо срываются с неба, уже не в силах удержаться в облаках, и бесшумно укладываются на земле одна подле другой, будто сторонясь...

До полудня погода так и держалась, а потом сорвалась и полетела. Снежины как-то незаметно измельчали, заюлили мошкаррой, разбежались и густо жесткими, словно конские хвосты, нитями захластали по воздуху. Запостанывало в закоулках, а потом ветер откровенно зарасходился. Сугробы будто поднялись в воздух, закружились. Леса зашумели так, что слышно было издалека, сдуло в них вчерашний серебристый иней и вместо него на ветки набило и наляпало въедливой снежной пылью. Деревня, и без того редкая на людей, совсем опустела. Лишь два раза, спеша успеть до заносов, проскочили по ней грузовики. Умолкли, покричав накануне, вороны. А ветер заходился, не щадя ничего, винтом взвизвал снег, трепал деревья, ломился в подзоры домов, потом останавливался — то ли передохнуть, то ли подумать: «Что бы еще потрепать?» — и как оголтелый задира хвост сороке, не успевшей укрыться.

Природа словно долго-долго что-то терпела, наблюдая, как мать за детьми, а они не унимались, и вот она разъярилась, чтобы напомнить о себе... И будто за грехи всех стонали провода.

— У-у-у, захохватывало. Одинова поись да из избы не лись. На света переставленье находит,— войдя в дом, определила погоду мать. Недолго погромела ведрами на кухне и залегла на печь.

— А точно, на то повело,— сонно и потому не убоявшись «переставленья», согласился отец. Потом перешел в передовую избу, взял с кровати подушку, бросил ее на диван, сел, ненароком кольнув меня отсутствующим взглядом. одиноко задумался, лег навзничь с погасшей в губах папиросой и будто ушел из дому, не заметив этого...

Шарик, заскочив в избу вместе с матерью, развалился у порога и, выпустив набок ниточку слюны, сладко разомлел в тепле.

Почувствовав, что в доме наступило какое-то особое затишье, прыгнула с печи Барка, длинная, стелющаяся, словно куница. Важно прошествовала по цветным лоскуткам самодельных половиков, ставя передние лапки как балерина, и вскочила на сундук перед окошком, по которому ветер стегал снегом. Вскочила, но села не сразу, осмотрелась, обстоятельно ощупала под собой коврик-накидку, обвилась хвостом и замерла, почтительно глядя на стихию...

Я сидел, привалившись к теплому боку печки, наблюдая за всем, что происходило в доме и на улице. Уже побаливала душа близостью отъезда, было грустно, беспокойно и смутно обнадеживающе...

Из угла тихим, привернутым голосом радио рассказывало о природе: «...это сложный и удивительный организм... необдуманная рубка леса привела к тому...»

«К тому, что у меня не стало Нарчуга»,— подумал я.

Потом рассказывалось о муравьях, какие они хорошие, потому что одно их семейство уничтожает за день до килограмма каких-то вредных насекомых. Заботливый женский голос, читавший чужой

текст, призывал к любви и чуткому отношению с природой, то и дело срываясь в умильность. И потому я невольно возражал: «Ведь эти насекомые, которых муравьи поедают килограммами, для них вовсе не вредные, для муравьев они пища. И не надо умиляться, надо просто жить на равных с природой, она не парник с огурцами и не поле с пшеницей. С поля, посеянного человеком, можно и нужно вырывать сорняки. В природе, сложившейся до нас и без нашего участия, сорняков нет. В ней все для чего-то нужно...»

— ...Егор? Да ты дома ли? Не докличусь,— расслышал я за спиной сонный голос матери и бодро отозвался:

— Дома. А что?

— Ну-ко, много ли время-то?

— Пятый.

— У-у! Вставать уж надо, поросенка кормить.

Мать, еще немного полежав, начала спускаться с печи, кряхтя и чикая суставами. Потом, учесывая гребенкой волосы, перешла в избу.

— Чего в окошко-то уставился?

— А вот с кошкой радио слушали...

— Вам еще Шарика не хватало да отца туда же,— добродушно усмехнувшись, сказала мать, не обращаясь ни к кому.

— Чего опять? — не открывая глаз, подал голос отец, видимо, опасаясь какой-нибудь семейной критики. Следом за ним широким рычащим зевком провещился и Шарик, высунулся в открытую дверь. Обнюхался, не решаясь пройти дальше, робко потоптался и лег, положив на порог только голову.

— А ничего. Говорю, всех бы вместе у окошка-то посадить. Хорошо, дружно,— пояснила мать, а потом повернувшись к Шарик, ласково укорила: — А ты куды налаживаешься? Нет, Шаричек, ты уж свое место знай. — И вдруг, пытаясь поймать что-то падающее, неожиданно вскрикнула: — О-ой! Опять лопнуло. Ох ты, господи!

Шарик отскочил, думая, что это на него. Я обернулся, услышав слабый металлический звяк...

— Ну-ко, хоть ты, Егор, скрепи-ко цепочку-то ладом. Вот хорошо в избе урвалась, а где на улице — потеряла бы все,— сказала мать уже с досадой в голосе и подошла ко мне.

Отец сразу поднялся, уронив ноги с дивана, не глядя нашарил на подоконнике пачку с папиросами и закурил.

— Ему, ишь, недосуг все. Сколько раз просила. Вот для других, так он чего хошь сделает.— Мать кивнула в сторону отца.

Тот принял упрек, затянулся дымом, стряхнул по привычке пепел в оттопырившееся голенище валенка и отошел смехом:

— У меня пальцы толстые для этого дела. Выскальзывают...

— Нет, пальцы тут ни при чем. Ты лучше скажи-ко, сколько раз перекрестился за всю жизнь-то?

— А ну ты все сама лучше знаешь...

Усмехнувшись их разговору, я взял цепочку из рук матери и, увидев на ней три медных крестика и маленькую алюминиевую иконку, вопросительно взглянул: «Почему столько-то? Мама?..»

Она будто ждала этого вопроса и сначала смущенно, а потом смелее, даже с нотами обиды в голосе, рассказала:

— Вот это же хирург у одной старухи спросил. Операцию ей сделал от аппендициту. Она когда в себя-то пришла, он на обходе подсел к ней на кроватку да и спрашивает... Молодой такой парень, толковый, говорят, хирург. Так вот — говорит, а сам эдак стесняется, совестливый видать, еще. Спрашивает: ты, говорит, бабушка, зачем три-то креста на шее носишь? Спросил, а сам улыбается, молчит, ждет... Ну, ждет, ладно — хорошо. Тогда старуха его спрашивает: «А ты, сокол, сам-то носишь крест-то?..» Нет, говорит... «Ну, так вот, христовый, оттого-то матери нонь по три да по четыре кре-

ста-то и носят. На вас нет, а нести-то его кому-то надо. Никуда от этого не денешься»...

Отец, заметно обиженный, что его попрекнули, отвернулся к окну и отдельно разглядывал снежную метель. Он всегда не понимал и недолюбливал мать за религиозность и ярился, когда она затевала разговоры на божественные темы: «Завела, завела опять. Дурость все это, блажь. Да и не нашего ума дело... Никто его не видал. Тебе надо, ты и молись». И сейчас он всем своим видом говорил то же самое, только, мне казалось, без ярости и с какой-то практической стороны обдумывал услышанное. Потом спросил от смущения:

— Это какая такая старуха-то? Откудова она? Из какой деревни-то?

Мать не ответила, глазами сказав, что дело не в том, откуда старуха, но чувствуя, что своим признанием привела нас в замешательство, сама растерянно стояла посреди избы, долгим взглядом смотрела на меня, молчала и будто повторяла то, что не раз говорила мне вслух: «Тот и есть самый большой грех, что веры-то у вас нонь нет. А и есть какая, так и та пустая, не та... Беспризорники вы, скитальцы. Вот ты за чем всю жизнь по всяким странам да городам едешь? Чего ищешь? Много ли нашел? Четвертый десяток живешь, а много ли у меня внуков-то? При чем это? Вы детей-то боитесь рожать, будто завтра все... Нет, работа-то работой...»

Отец, словно подслушав — то ли мои, то ли материнские мысли, — натужно хмыкнул. Я сидел, склонившись над пригоршней, и, неуверенно возражая матери, старательно нанизывал на тонкую рыболовную леску мелкие, как песок, звенушки цепочки, чтобы они не рассыпались в случае обрыва.

Руки, уже много лет служившие только тому, чтобы держать шариковую ручку, нажимать кнопки и набирать телефоны, писать и носить на подпись бумаги (еще и лукавить при этом), не умели делать свою естественную работу, и колечки то и дело выскальзывали из пальцев. Мать, то ли соображая, с чего начать обрядиться по хозяйству, то ли ожидая, когда я закончу работу, ждала. Наконец я связал кончики лески и, виновато улыбаясь, подал ей.

— На. Теперь не оборвется, не потеряешь. — Хотел добавить: «Я потом тебе новую привезу, венецианскую, крепкую», но отчего-то стало стыдно.

А мать, будто я и впрямь сделал для нее что-то стоящее, благодарно сказала:

— Вот спасибо, дитя... — И продев в цепочку голову, спрятала кресты под кофту.

Почувствовав, что все обошлось без разговоров, отец бодро встал, упершись руками в худые, чикнувшие колени, и как человек, наконец-то дождавшийся своего, с облегчением выдохнул:

— Ну, мне надо шагать в мастерскую. — И пошел, припадая на раненую ногу, в другую избу и уже оттуда, словно вдруг спохватившись и пожалев, позвал меня: — Ты пойдешь? Я переченья для рам шпунтовать буду. А потом надо еще с этажеркой поковыряться... Учись. Может, еще и пригодится...

И рассмеялся непонятно...



АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ



Малая Молчановка

В окошко веточка стучала тут,
Ну а зимой снега мели.
Стирали Малую Молчановку
Бульдозеры с лица земли.

Здесь клялись в нежности и верности,
Водили тоненьким пером.
Как не имеющие ценности
Ломали здесь за домом дом.

Кружилось семя тополиное
И застревало в волосах.
Стирали самое любимое,
Как будто ластиком, в веках.

Здесь в окна светлые, как в озеро,
Герань роняла лепестки..
Вовсю работали бульдозеры,
Дробя лепнину на куски.



Т. ТОЛСТАЯ



ПЕТЕРС

Рассказ

В Петерса с детства были плоские ступни и по-женски просторный живот. Покойная бабушка, любя его и таким, обучала его хорошим манерам — все-все-все прожевывать, заправлять салфетку за воротник, помалкивать, когда говорят старшие. Так что он всегда нравился бабушкиным подружкам. Когда она брала его с собой в гости, можно было спокойно дать ему в руки ценную книжку с картинками — не порвет, и за столом он никогда не выщипывал бахрому из скатерти и не крошил печеньем — чудный был мальчик. Нравилось и то, как он входил — степенно одергивал бархатную курточку, поправлял бант или кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабушкиных щек, и, шаркнув толстой ножкой, представлялся старухам: «Петер-с!» Он замечал, что это смешило и умиляло.

— Ах, Петруша, детка! Вы что, его Петером зовете?

— Да... так... Мы сейчас просто учим его немецкому, — небрежно начала бабушка. И, отражаясь в тусклых зеркалах, Петерс чинно шел по коридору, мимо старых сундуков, мимо старых запахов, в комнаты, где по углам сидели тряпичные куклы, где на столе под зеленым колпаком спал зеленый сыр и ванилью веяло домашнее печенье. Пока хозяйка раскладывала маленькие, съеденные с одного боку серебряные ложечки, Петерс бродил по комнате, рассматривал кукол на комод, портрет строгого, оскорбленного старика с усами как длинная спица, винетки на обоях или подходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, на солнечный мороз, где летали сизые голуби и съезжали с накатанных горок румяные дети. Гулять его не пускали.

Глупое прозвище — Петерс — так к нему на всю жизнь и прилипло.

Мамаша Петерса — бабушкина дочь — сбежала в теплые края с негодяем, папаша проводил время с женщинами легкого поведения и сыном не интересовался; слушая разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя негром под банановой пальмой, папашиних женщин — голубыми и воздушными, легкими, как весенние облачка, но, хорошо воспитанный бабушкой, помалкивал. Кроме бабушки, у него еще был дедушка; сначала он тихо лежал в углу на кресле, молчал и следил за Петерсом блестящими стеклянными глазами, потом его положили в столовой на стол, поддержали так дня два и куда-то унесли. В этот день ели рисовую кашу.

Бабушка обещала Петерсу, что если он будет вести себя хорошо, то когда вырастет, жить он будет замечательно. Петерс помалкивал. Вечером, взяв в постель плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую жизнь — как он будет гулять, когда захочет, дружить со всеми детьми, как приедут к нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фруктов, как папины легкие женщины будут летать с ним по воздуху наяву, словно во сне. Заяц верил.

Бабушка кое-как учила Петерса немецкому языку. Они играли в старинную игру «Черный Петер» — вытягивали друг у друга карты

с картинками, складывали парами: гусь и гусыня, петух и курица, собаки с надменными мордами. Только коту, Черному Петеру, не доставалось пары, он всегда был один — мрачный, нахохлившийся, и тот, кто к концу игры вытягивал Черного Петера, проигрывал и сидел как дурак.

Еще были крашенные открытки с надписями «Висбаден», «Карлсруэ», были прозрачные вставочки без перьев, но с окошечком; если поглядеть в окошечко, увидишь кого-то далекого, маленького, конного. Еще пели с бабушкой: «О таңненбаум, о таңненбаум!» Все это был немецкий язык.

Когда Петерсу исполнилось шесть лет, бабушка взяла его в гости на елку. Дети там были проверенные, без заразы. Петерс шел по снегу так быстро, как мог, бабушка за ним еле попевала. Горло у него было туго стянуто белым шарфом, глаза блестели в темноте, как у кота. Он спешил дружить. Начинаясь прекрасная жизнь. В большой жаркой квартире пахло хвоей, сверкали игрушки и звезды, бегали чужие мамы с пирогами и кренделями, визжали и носились быстрые, ловкие дети. Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. «Догоняй, пузан!» — крикнули ему. Петерс побежал куда-то наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как ванька-встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. Там он простоял до чая.

За чаем все дети, кроме Петерса, плохо себя вели. Он съел свою порцию, вытер рот и ждал событий, но событий не было. Только одна девочка, черная, как жучок, спросила его, есть ли у него бородавки, и показала ему свои.

Петерс сразу полюбил девочку с бородавками и стал ходить за ней по пятам. Он предложил ей посидеть на диване и чтобы другие к ней не подходили. Но ни двигать ушами, ни свертывать язык трубочкой, как она предлагала, он не умел и быстро наскучил ей, и она его бросила. Потом он не знал, что надо делать. Потом ему захотелось кружиться на одном месте и громко кричать, и он кружился и кричал, и вот уже бабушка тащила его домой по синим сугробам и возмущенно говорила, что она его не узнает, что он вспотел и что никогда больше в гости к детям они не пойдут. И действительно, больше они никогда там не были.

До пятнадцати лет Петерс гулял с бабушкой за ручку. Сначала она поддерживала его, потом наоборот. Дома играли в домино, раскладывали пасьянсы. Петерс выпивал лобзиком. Учился он неважно. Перед тем как умереть, бабушка устроила Петерса в библиотечный техникум и завещала беречь горло и тщательно мыть руки.

В день, когда ее похоронили, по Неве прошел лед.

* * *

В библиотеке, где служил Петерс, женщины были неинтересные. А ему нравились интересные. Но что он мог предложить таковым, буде они встретятся? Розовый живот и маленькие глазки? Хоть бы в разговоре он блистал, хоть бы немецкий, что ли, знал прилично, так нет же, кроме «Карлсруэ», почти ничего с детства не запомнилось. А так представить себе: вот он заводит роман с роскошной женщиной. Пока она там то да се, он читает ей вслух Шиллера. В оригинале. Или Гельдерлина. Она ничего, конечно, не понимает и понимать не может, но неважно; важно, как он читает — вдохновенно, с переливами в голосе... Близко подносит книгу к близоруким глазам... Нет, он, конечно, закажет себе контактные линзы. Хотя, говорят, они жмут. Вот он читает. «Оставьте же книгу», — говорит она. И лобзания, и слезы, и заря, заря... А линзы жмут. Он будет моргать и жмуриться и лазать пальцами в глаза... Она подождет-подождет и скажет: «Да отковыряйте же вы эти стекляшки, гос-споди!» Встанет и дверь хлопнет.

Нет. Лучше так. Милая, тихая блондинка. Она склонила головку к нему на плечо. Он читает вслух Гельдерлина. Можно Шиллера. Темные дубравы, ундины... Читает, читает, уже язык пересох. Она зевнет и скажет: «Гос-споди, сколько можно эту скучищу слушать!»

Нет, тоже не годится.

А если без немецкого? А без немецкого, допустим, так: изумительная женщина — как леопард. И он сам как тигр. Какие-то страусовые перья, гибкий силуэт на диване... (Сменить обивку.) Силуэт, стало быть. Падают диванные подушки. И заря, заря... И может быть, даже женюсь. А что? Петерс смотрел в зеркало на свое отражение, на толстый нос, перевернутые от страсти глаза. Ну и что такого? Немного похож на белого медведя, женщинам должно нравиться и приятно пугать. Петерс дул на себя в зеркало, чтобы остыть.

Но ни знакомства, ни адюльтеры не клеились.

Петерс пробовал ходить на танцы, топтался, тяжело дыша, и отдавливал девушкам ноги; подходил к смеющимся и болтающим и, заложив руки за спину, склонив голову набок, слушал разговоры. Вечерело, август дул прохладой из жестких кустов, сеял красную пыль последних лучей на черную зелень, на дорожки парка; зажигались огни в ларьках и киосках с вином и мороженым, Петерс строго проходил мимо, придерживая кошелек, и, не выдержав накотившего голода, купал полдюжины пирожных, отходил в сторонку и в уже наступившей темноте торопливо поедал их с поблескивавшей металлической тарелочки. Когда он выходил из тьмы, моргая, облизываясь, с белым кремом на подбородке, и, набравшись решимости, подходил и знакомился — напролом, наугад, ничего не разбирая от страха, шаркая плоской ногой, — женщины шарахались, мужчины думали бить, но, приглядевшись, раздумывали.

Никто с ним играть не хотел.

Дома Петерс крутил для себя гоголь-моголь, мыл и вытирал стакан, потом аккуратно ставил тапочки на ночной коврик, ложился в постель, вытягивал руки поверх одеяла и лежал, глядя в сумрачный пульсирующий потолок, неподвижно, пока не приходил за ним сон.

Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирали двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вел по темным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей.

Петерс бился в простынях, просил прощения и, прощенный на этот раз, вновь погружался на дно до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра.

* * *

Когда в библиотеке появилась новая сотрудница, темная и душистая, в платье цвета брусники, Петерс взволновался. Он дошлепал до парикмахерской, коротко подстриг бесцветные свои волосы, зачем-то лишний раз подмел у себя в квартире, поменял местами комод и кресло. Не то чтобы он рассчитывал, что Фаина так сразу придет к нему в гости, но, во всяком случае, Петерс должен был быть готов.

На работе праздновали Новый год, Петерс суетился, вырезал бумажные снежинки размером с блюдце и наклеивал их на библиотечные окна, развешивал розовую мишуру, путался в металлическом дожде, путался в мечтах и желаниях, маленькие елочные лампочки отражались в его перевернутых глазах, пахло хвоей и хреном, в открытую форточку наметало снежную крупку. Он размышлял: если у нее есть, допустим, жених — подойти к нему, тихо взять за руку и по-человечески, по-хорошему попросить: оставьте Фаину, оставьте

ее мне, что вам стоит, вы себе еще кого-нибудь найдете, вы это умеете. А я не умею, моя мама убежала с негодяем, папа плавает в небе с голубыми женщинами, бабушка съела дедушку с рисовой кашей, съела мое детство, мое единственное детство, и девочки с бородавками не хотят сидеть со мной на диване. Ну дайте мне хоть что-нибудь, а?

Горящие свечи стояли, напоенные по грудь прозрачным яблочным светом, обещанием добра и покоя, розовое, желтое пламя качало головой, сияли глаза, шипело шампанское, Фаина пела под гитару, портрет Достоевского на стене отводил глаза; потом гадали, раскрывая Пушкина наугад. Петерсу досталось: «Люби, Адель, мою свирель»,— над ним посмеялись, просили познакомить с Аделью; потом про него забыли, шума у своем, и он тихо сидел в уголке, хрустя тортом, прикидывая, как он будет провожать Фаину до дому. Стали расходиться, он бросился за ней в раздевалку, держа шубу на вытянутых руках, смотрел, как она переобувалась, как совала ногу в цветном чулке в уютный меховой сапожок, как обматывалась белым платком и рывком вздевала на плечо сумку,— все его волновало. Хлопнула дверь, и только он ее и видел — махнула варежкой, вскочила в троллейбус и скрылась в белой метели. Но и это было как обещание.

В ушах его били торжественные колокола, и глаза прозревали доселе невидимое. Все дороги вели к Фаине, все ветры трубили ей славу, выкрикивали ее темное имя, неслись над крутыми грифельными крышами, над башнями и шпилями, змеились снежными жгутами и бросались к ее ногам, и весь город, все острова — воды и набережные, статуи и сады, мосты и решетки, чугунные розы и лошади,— все свивалось в кольцо, сплетая для возлюбленной гремящий зимний веночек.

Ему никак не удавалось остаться с ней наедине, и он ловил ее на улице, но она всегда проносилась мимо него ветром, мячиком, снежком, пущенным ловкой рукой. И ужасен, невозможен, как больной зуб, был ее приятель, заглядывавший вечерами в библиотеку,— разбитной журналист, весь в скрипящей коже, длинноногий, длинноволосый, рассказывавший международные анекдоты. Журналист написал в газету заметку, где врал, что, мол, «всегда особенно людно у стендов с книгами по свекловодству» и что, дескать, «лоцманом книжного моря называют библиотекаря Фаину А. посетители». Фаина смеялась, довольная, что попала в газету, Петерс мучился и молчал. И все набирался духу, чтобы наконец взять ее за руку, отвести к себе домой и после сеанса страсти обговорить дальнейшую совместную жизнь.

На исходе зимы сырым чахоточным вечером Петерс сушил руки в мужском клозете под горячей струей механической сушилки и подслушивал, как Фаина в коридоре разговаривает по телефону. Сушилка содрогнулась и замолчала, и в наступившей тишине отчетливо засмеялся любимый голос: «Не-ет, у нас в коллективе одни женщины... Кто? Этот-то?.. Да это не мужчина, а дюдя. Дундук какой-то эндокринологический».

«Люби, Адель, мою свирель»... Петерсу стало внутри так, будто его задавило трамваем. Он обвел глазами жалкий пожелтевший кафель, старое зеркало, вспухшее изнутри серебряными нарывами, капающий ржавчиной кран — жизнь правильно выбрала место для последнего унижения. Он тщательно обмотал горло шарфом, чтобы не простудить гланды, добрал до дому и, нашарив тапочки, подошел к окну, в которое задумал выпасть, и подергал створки. Окно было хорошо заклеено на зиму, он сам клеивал, и жалко было своего труда. Тогда он включил духовку, положил голову на противень с холодными хлебными крошками и полежал. Кто-то будет есть рисовую кашу в память о нем? Потом Петерс вспомнил, что газа нет с утра, что на линии авария, рассвирепел, набрал дрожащим пальцем номер диспетчерской, страшно и бессвязно накричал о безобразиях в коммунальном обслуживании, сел в дедушкино кресло и просидел до утра.

Утром за окном шел крупный медленный снег. Петерс глядел на снег, на притихшее небо, на новые сугробы и тихо радовался, что молодости у него больше не будет.

* * *

Но пришла проходными дворами новая весна, умерли снега, сладкой гнилью повеяло от земли, синяя рябь побежала по лужам, и дикие ленинградские вишни снова осыпали белый цвет на спичечные парусники, на газетные кораблики,— и не все ли равно, в канаве ли, в океане ли начинать новое плавание, если весна зовет, если ветер повсюду один? И чудесными были новые галоши, купленные Петерсом,— мякотью цветущей фуксии было выстлано их нутро, лаком сияла тугая резина, обещавшая цепью вафельных овалов отметить земные пути его, куда бы он ни проложил их в поисках счастья. И он неспешно, заложив руки за спину, гуляя по каменным улицам, глубоко заглядывал в желтые подворотни, нюхал воздух каналов и рек, и вечерние, субботние женщины посматривали на него длинными, ничего хорошего не обещавшими взглядами, думая: вот больной какой-то, он нам не нужен.

Но они ему тоже не были нужны, а загляделся он на Валентину, маленькую, безбожно молодую — она покупала весенние открытки на солнечной набережной, и счастливый ветер, налетая порывами, строил, менял, строил прически на ее черной стриженной голове. Петерс пошел за Валентиной по пятам, не рискуя слишком приблизиться, трепеща неудачи. Спортивные юноши подбежали к прекрасной, подхватили смеясь, и она ушла за ними вприпрыжку, и Петерс видел, как были куплены и подарены прыгунье фиалки — темные, лиловые, слышал, как называли ее имя — оно оторвалось и улетело с ветром, смеющиеся скрылись за углом, и Петерс остался ни с чем — грузный, белый, никем не любимый. Ну а что бы он мог ей сказать — ей, такой молодой, такой с фиалками? Подойти на ватных ногах, протянуть ватную ладонь: «Петер-с»... («Какое странное имя...» — «Так меня бабушка...» — «Почему бабушка?» — «Немножко немецкий...» — «Вы знаете немецкий?» — «Нет, но бабушка...»)

Ах, если бы он выучил в свое время немецкий! О, тогда бы, наверное... Тогда бы, конечно... Такой трудный язык, он шипит, цокает и шевелится во рту, о танненбаум, его, должно быть, никто и не знает... А вот Петерс возьмет и выучит и поразит прекрасную...

Пугаясь милиционеров, он расклеил на столбах объявления: «Желаю знать немецкий». Они провисели все лето, выгорая, шевеля ложноножками. Петерс навещал родные столбы, подправляя размытые дождями буквы, подклеивал оторвавшиеся уголки, а глубокой осенью ему позвонили, и это было как чудо — из моря людей всплыли двое, отозвались на его тихий, слабый, косым лиловым по белому призыв. Эй, ты звал? Звал, звал! Напористого и басовитого он отверг, и тот снова растворился в небытие, а дребезжащую даму, Елизавету Францевну с Васильевского острова, обстоятельно расспросил: как ехать, и куда, и почему, и нет ли собаки, а то он собаки боится.

Все было обговорено, Елизавета Францевна ждала его вечером, и Петерс пошел на облюбованный угол сторожить Валентину — он выследил, он знал — она пройдет, как всегда, помахивая спортивной сумкой, без двадцати четыре, и впорхнет в большое красное здание, и будет прыгать там на батуте среди таких же, как она, быстрых и молодых. Она пройдет, не подозревая, что есть на свете Петерс, что он задумал великое дело, что жизнь прекрасна. Он решил, что лучше всего будет купить букет, большой желтый букет, и молча, именно молча, но с поклоном протянуть его Валентине на знакомом углу. «Что это? Ах!..» — в таком духе.

Дуло, крутило и лило, когда он вышел на набережную. За пеленой дождя мутно лежал красный барьер отсыревшей крепости, оло-

вянный ее шпиль мутно поднимал восклицательный палец. Лило с вечера, и запасов воды у них там, наверху, заготовлено было щедро, по-хозяйски. Шведы, ушедшие с этих берегов, забыли забрать с собой небо, и теперь небось злорадствовали на своем чистенком полуострове — у них-то голубой ясный морозец, черные ели да белые зайцы, а Петерсу кашлять здесь среди гранитов и плесени.

Осенью Петерс с удовольствием ненавидел родной город, и город платил ему тем же: плевал с гремящих крыш ледяными ручьями, заливал глаза беспросветным темным потоком, подсовывал под ноги особенно сырые и глубокие лужи, хлестал дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе, по пузечку. Осклизлые дома, натывавшиеся на Петерса, нарочно покрывались тонкими, бисерно-белыми грибами, мшистыми ядовитым бархатцем, и ветер, прилетевший с больших разбойничьих дорог, путался в его промокших ногах смертельными туберкулезными восьмерками.

Он встал на посту с букетом, а октябрь все рушился с небес, и гагоши были как ванны, и оползла клочьями газета, трижды обернутая вокруг дорогих желтых цветов, и время пришло и миновало, а Валентина не пришла и не придет, а он все стоял, продрогший насквозь, до беля, до белого безволосого тела, усеянного нежными красными родинками.

Пробило четыре. Петерс сунул свой букет в урну. Чего ждать? Он уже понял, что учить немецкий глупо и поздно, что прекрасная Валентина, вскормленная среди спортивных, пружинистых юношей, лишь посмеется и переступит через него, грузного, широкого в поясе, что не для него на этом свете пылкие страсти, и легкие шаги, быстрые танцы, и прыжки на батуте, и небрежно купленные сырые апрельские фиалки, и солнечный ветер с серых невских вод, и смех, и юность, что все попытки напрасны, что надо было ему в свое время жениться на собственной бабушке и тихо тлеть в теплой комнате под тиканье часов, кушая сахарную булочку и посадив перед своей тарелкой — для уюта и забавы — старого плюшевого зайку.

Захотелось есть, и он побрел наугад на приветный огонек забегаковки. купил супу и пристроился рядом с двумя красавицами, евшими пирожки с луком и отдувавшими туманную пленку с остывающего розового какао.

Девушки щебетали, конечно, о любви, и Петерс прослушал историю некоей Ирочки, которая долго кадрила одного товарища из братского Йемена, а может Кувейта, в расчете, что он женится. Ирочка слыхала, что у них там, в песчаных степях аравийской земли, нефти — как клюквы, что каждый приличный мужик — миллионер и летает на собственном самолете с золотым стульчаком. Вот этот золотой стульчак сводил с ума Ирочку, выросшую в Ярославской области, где удобства — три стены без четвертой с видом на гороховое поле, в общем, «Какой простор», картина И. Е. Репина. Но араб жениться не чесался, а когда Ирочка поставила вопрос ребром, выразился в том духе, что: «Ага?! А по ха не хо? Привет тете!» — и так далее, и выставил Ирочку со всеми ее убогими шмотками вон. Петерса девушки не замечали, а он слушал и жалел неизвестную Ирочку и воображал себе то гороховые ярославские просторы, опущенные по горизонту темными волчьими лесами, тающими в блаженной тишине под голубым блеском северного солнца, то сухой угрюмый повист миллионов песчинок, тугой напор пустынного урагана, коричневое светило сквозь стремительный мрак, забытые белые дворцы, занесенные смертной пылью или заколдованные давно умершими колдунами.

Девушки перешли к рассказу о сложных отношениях Оли и Валерия, о бессовестности Анюты, и Петерс, пивший бульон, развесил уши и невидимкой вошел в чужой рассказ, он близко коснулся чьих-то тайн, он стоял у самых дверей, затаив дыхание, он чуял, обонял и осязал, как в волшебном кино, и нестерпимо доступны — руку протя-

ни — были мелькание каких-то лиц, слезы на обиженных глазах, вспышки улыбок, солнце в волосах, стреляющее розовыми и зелеными искрами, пыль в луче и жар нагретого паркета, поскрипывающего рядом, в этой чужой, счастливой и живой жизни.

— Доели — пошли! — скомандовала одна красавица другой, и, расправив прозрачные зонтики, как знаки иногo, высшего существования, они выплыли в дождь и поднялись в небеса, в заоблачную, скрытую от глаз лазурь.

Петерс выбрал шершавую картонку из пластмассового стакана, вытер рот. Жизнь прошумела, обогнула его и унеслась, как огибает стремительный поток тяжелую, лежачую груду камней.

Уборщица прошла самумом по столикам, махнула тряпкой Петерсу в лицо, ловким движением подхватила двадцать грязных тарелок и растворилась в сдобном воздухе.

— А я не виноват, — сказал кому-то Петерс. — Ни в чем решительно не виноват. Я тоже хочу участвовать. А меня не берут. Никто со мной играть не хочет. А за что? Но я напрягусь, я победю!

Он вышел прочь — под ледяные брызги, под морозную хлещущую воду. Победю. Побежду. Побежу. Стисну зубы и пойду напролом. И выучу, выучу этот проклятый язык. Там, на Васильевском острове, в самой сырой ленинградской сыри, ждет, плавает тюленем или ундиной Елизавета Францевна, легко бормочущая на сумрачном германском наречии. Она придет, и они залопочут вместе. О танненбаум! О, повторяю, танненбаум! Как там дальше-то?.. Приду — узнаю.

Что ж, прощай, Валентина и ее быстрые сестры, впереди лишь немецкая старуха — взялся за гуж... Петерс представил себе свой путь, петлистый след в мокром городе, и неудачу, бегущую по следу, принюхивающуюся к вафельным отпечаткам подошв, и старуху в конце пути, и, чтобы сбить с толку судьбу, кликнул такси и поплыл сквозь дождь, — пар шел от его ног, шофер был мрачен, и хотелось сразу же выйти. Така-така-така-така, — стрекотали денежки.

— Здесь остановите.

Швейцар сторожил вход в злачное место — дверь в полуподвал, и за дверью глухо грохочет музыка, и лампы сияют из окон, как длинные трубки с ядовитым сиропом. Перед дверью клацали зубами в вихрях дождя юноши — все претенденты на Валентинину руку, — прощай, Валентина, — мест не было, но швейцар, обманувшись солидностью Петерса, пустил, и Петерс прошел, и с его боков прошмыгнули еще двое. Хорошее место. Петерс с достоинством снял шляпу и плащ, взглядом пообещал чаевые, шагнул в гремящий зал и протрубил в носовой платок о своем приходе. Хорошее место! Выбрал себе коктейль порозовее, пирожное-пагоду, выпил, куснул, еще выпил и расслабился. Хорошее, хорошее место. И под локтем его возникла, завязалась откуда-то из воздуха, из цветного сигаретного дыма девочка-мотылек; красное, зеленое платье — огни мигали — расцветало на ней орхидеями, и ресницы мигали как крылья, и на тоненьких лапках звенели браслеты, и вся она была предана Петерсу до последнего вздоха. Он махнул, чтобы дали еще розового нектара, боясь заговорить, спугнуть девочку, чудную перь, летучий цветок, и они посидели молча, удивляясь друг другу, как удивились бы, встретившись, козел и ангел.

Он опять махнул рукой — и дали даже еще и мяса.

— Кхэм, — сказал Петерс, моля небеса, чтобы они не сразу отозвали своего посланца. — Вот у меня в детстве был плюшевый заяц — фактически друг, и столько я ему всего наобещал! А сейчас иду на немецкий урок, кхэм.

— Я люблю плюшевых зайцев, они смешные-смешные, — холодно заметила перь.

Петерс подивился ангельской глупости — заяц не может быть смешным, он или друг, или ничтожество, мешочек с опилками.

— А еще мы играли в карты, и мне всегда доставался кот,— вспомнил Петерс.

— Кот тоже смешной-смешной,— сквозь зубы, как хорошо знакомый урок, повторила девочка, водя глазами по залу.

— Да нет! Ну почему? — возразил Петерс, горячась.— И дело же не в этом! Я не о том, я о жизни, а она все дразнит, показывает и отбирает, показывает и отбирает. И знаете, это как витрина — блестит, и заперто, и взять ничего нельзя. А спрашивается, почему?

— Вы тоже смешной-смешной,— упорствовала, не слушая, равнодушная девочка.— У вас чего-то на пол упало.

Когда он наконец выбрался из-под стола, ангел уже вознесся, а с ним и Петерсов кошелек с деньгами. Понятно. Ну что ж? Иначе и быть не могло. Петерс сидел над обедами, неподвижный, как чемодан, трезвел, представляя себе, как он будет объясняться, просить — презрение и усмешка гардеробщика,— вылавливать сырые рубли из болотистых карманов плаща, вытрясать мелочь, рыбкой скользнувшую за подкладку... Музыкальные машины топали, били в барабаны, возвещая о чьей-то наступившей страсти. Коктейль испарялся из ушей. Ку-ку! Вот так.

Что же ты такое, жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика? Или дар безответной любви — это и все, что мне предназначено? А счастье-то! Какое такое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься и падаешь, и тебе этого мало? Как?.. Мало?! Ах так, да? А больше ничего и нет.

...— Жду! Жду! — кричала Елизавета Францевна, быстрая завитая бабулька, откидывая крюки и запоры, впуская ограбленного Петерса, темного, опасного, полного бедой по горло, по верхнюю тугую пуговицу.— Вот сюда! Сразу и начнем! Присаживайтесь на диванчик. Сначала лото, потом чайку. Так? Быстренько берите карту. У кого коза? У меня коза. У кого цесарка?

Сейчас убью ее, решил Петерс. Елизавета Францевна, отведите глаза, сейчас буду вас убивать. Вас, и покойную бабушку, и девочку с бородавками, и Валентину, и фальшивого ангела, и сколько их там еще — всех, кто обещал и обманул, заманил и бросил; убью от имени всех тучных и одышливых, косноязычных и бестолковых, от имени всех, запертых в темном чулане, всех, не взятых на праздник, приготовьтесь, Елизавета Францевна, сейчас буду душить вас вон той вышитой подушкой. И никто не узнает.

— Францевна-а! — бухнули кулаком в дверь.— Давай три рубля, коридор за тебя вымою!

Порыв прошел. Петерс отложил подушку. Захотелось спать. Старушка шуршала деньгами, Петерс опустил глаза в карту «Домашние животные».

— Вы что задумались? У кого кот?

— У меня кот,— сказал Петерс.— У кого же еще? — И вышел боком, стиснув картонного кота в кулаке. К черту жизнь. Спать, спать, заснуть и не просыпаться.

* * *

Приходила весна, и уходила весна, и снова приходила, и расстилала голубые цветы по лугам, и махала рукой, и звала сквозь сон: «Петерс! Петерс!»— но он крепко спал и ничего не слышал.

Шуршало лето, вольно шаталось по садам — садилось на скамейки, болтало босыми ногами в пыли, вызывало Петерса на нагретые улицы, на теплые мостовые; шептало, сверкало в плеске лип, в трепете тополей; звало, не дозволяло и ушло, волоча подол, в светлую сторону горизонта.

Жизнь вставала на цыпочки, удивленно заглядывала в окно: почему Петерс спит, почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры?

Но Петерс спал и спал, и жил сквозь сон; аккуратно вытирая рот, ел овощное и пил молочное, брил тусклое лицо — вокруг сомкнутого рта и под спящими глазами, и как-то нечаянно, мимоходом женился на холодной твердой женщине с большими ногами, с глухим именем. Женщина строго глядела на людей, зная, что люди — мошенники, что верить никому нельзя; из кошелки ее пахло черствым хлебом.

Она всюду водила за собой Петерса, крепко стиснув его руку, как некогда бабушка, по воскресеньям они отправлялись в зоологический музей, в гулкие, вежливые залы — смотреть остывших шерстяных мышей, белые кости кита; в будни они входили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло и глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь.

— Скажите, — строго спрашивала женщина, — цыплята что — охлажденные? Вон того дайте. — И «вон тот» ложился в затхлую сумку, и спящий Петерс нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли — ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги. И дома под внимательным взглядом твердой женщины Петерс должен был сам ножом и топором вспороть грудь охлажденного и вырвать ускользящее бурое сердце, алые розы легких и голубой дыхательный стебель, чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями и мечтал о зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром.

А лета и зимы скользили и таяли, растворялись и гасли, урожай радуг повисали над далекими домами, молодые жадные метели набегали из северных лесов, двигали время вперед, и настал день, когда женщина с большими ногами покинула Петерса, тихо прикрыла дверь и ушла, чтобы покупать мыло и помешивать в кастрюлях другому. Тогда Петерс осторожно приоткрыл глаза и проснулся.

Тикали часы, в стеклянном кувшине плавал компот, и тапочки остыли за ночь. Петерс ощущал себя, пересчитал пальцы и волосы. Мелькнуло и улетело сожаление. Тело его еще помнило глушь пролетевших лет, тягучий сон календаря, но в глубине душевной мякоти уже оживало, приподнималось с лежанки, встряхивалось и улыбалось что-то давно забытое, молодое что-то и доверчивое.

Старый Петерс толкнул оконную раму — зазвенело синее стекло, вспыхнули тысячи желтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: догоняй, догоняй! Новые дети с ведерками возились в лужах. И ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР



ТАБУ

Рассказ

Недавно я был в селе Анхара у своих родственников. Это большая семья. Под одной крышей живут отец и мать, двое сыновей с детьми и две дочери, еще незамужние. Всего двенадцать человек, если, пока я пишу эти строки, не родились новые дети.

Старшая хозяйка дома — моя двоюродная тетушка. Она дочь брата моего деда и, как сирота, воспитывалась в его доме. В свое время Тата была красавицей, да и сейчас хороша своими правильными индианскими чертами лица, застывшими в суровой пристойности и тем более очаровательно теплеющими, когда она подымает свои добрые глаза или начинает говорить.

В свое время, по нашей семейной легенде, она приглянулась Раифу, и он зачастил в Большой Дом. Назревало предложение. В последний раз, уезжая, он сел на свою лошадь и еще не успел переехать двор, как дядя Сандро сказал вполголоса:

— Не тянет этот длинноносый на нашу Тату, нет, не тянет.

И тут Раиф, словно услышав его голос, хотя услышать никак не мог, огрел свою лошадь камчой и, перемахнув через изгородь, умчался.

— Потянет,— заметил дядя Кязым, увидев такое.

— Я поцелую задницу его лошади, если он сумеет жениться на нашей Таточке,— пообещал дядя Сандро.

Раиф сумел. И вот они уже около пятидесяти лет живут вместе. У них полдюжины детей и множество внучат. Раифу под восемьдесят. Тата лет на пятнадцать моложе. Он человек среднего роста, упитанный, держится все еще молодцом, хотя в последние годы прибаливает. У него круглое, лунообразное лицо, а нос, по крайней мере сейчас, да, вероятно, и всегда, соответствовал давнему наблюдению дяди Сандро. Не хочется впадать в мистицизм и думать, что нос постепенно пришел в соответствие с насмешливым указанием дяди Сандро. Некоторые явления жизни действительно приходят в соответствие с фантастическими наблюдениями дяди Сандро, но только не носы. Уши — да. Уши у некоторых людей в самом деле со временем вырастают до размеров, ранее пророчески указанных дядей Сандро. Но дядя Сандро недооценил силу его маленьких глаз под короткими бровями, как бы всегда иронически чувствующих свое преимущество хотя бы благодаря более удобной природной расположенности в глазницах (чуть не сказал — в бойницах), чем у собеседника. Видимо, дядя Кязым это вовремя усек. У него у самого были такие глаза.

...Стол накрыт во дворе под лавровишней. На столе дымящиеся порции мамалыги, утыканые пахучими ломтями копченого сыра, жареная курица, алычовая и ореховая подливы, влажные холмы зелени и, конечно, кувшин с еще молодой «изабеллой»¹. Рядом с этим кувши-

¹ «Изабелла» — сорт винограда, широко распространенный в Абхазии.

ном стояла чужеродная для абхазского стола кастрюля, как позже выяснилось, с компотом.

Но прежде чем рассказать о застолье, я должен признаться, что эта встреча была тайным знаком моего прощения и возвращения в семью этих родственников.

Дело в том, что несколько лет назад Раиф заболел и его привезли в Москву и положили в больницу. Сын его позвонил мне и рассказал о том, что случилось, и в какой больнице лежит его отец. Судя по голосу, он не испытывал большого беспокойства, но из перестраховки привез отца в Москву. Я предложил ему приехать ко мне, но он ответил, что смотрит по телевизору футбольный матч и не хочет отрываться. Даже по этим словам было ясно, что болезнь отца не слишком его угнетает.

— Сегодня я не смогу приехать, — сказал я Зауру, так его звали, — а завтра навещу твоего отца.

Так получилось, что на завтра я должен был срочно выехать в Абхазию по неотложным делам. Телефон у Заура я забыл попросить и не смог предупредить его о своем неожиданном отъезде.

Я пробыл в Абхазии дней двенадцать. Больной все еще находился в Москве. Примерно на третий или четвертый день моего приезда по Абхазии стали расползаться слухи о том, что я в Москве не навестил в больнице своего страдающего родственника.

Первым мне об этом поведал дядя Сандро. Это был тот период моей жизни, когда он мне смертельно надоел. Господи, если бы кто-нибудь знал, как он мне время от времени надоедает!

В такие времена, хотя я сам ему ничего об этом не говорю, он угадывает мое состояние и делается надменным и мстительным. Тогда в печати стали появляться мои рассказы о Чике, а не о нем, и он несколько раз говорил нашим общим знакомым, что, видимо, умственные силы его племянника пришли в полный упадок и он уже не в состоянии писать о мудрых, много переживших людях и снова взялся за детей. Разумеется, сам он моих вещей не читал, но люди ему пересказывали их содержание.

Увидев меня в кофейне с друзьями, дядя Сандро с траурной важностью отвел меня в сторону. Он начал издали. Раз уж так получилось, сказал он, что этот длинноносый исхитрился жениться на нашей Таточке, а мы тогда ее прохлопали, чего уж теперь хорохориться, когда все позади. Надо было этого горемыку навестить в больницу, нельзя было уезжать не проведав его.

Обилие прошедшего времени в его словах заставило меня заподозрить самое худшее.

— Он что, умер? — спросил я.

— Нет, — с достаточным ехидством заметил дядя Сандро, — видно, спасая твою честь, пока держится.

Потом мне об этом несколько раз говорили родственники и в конце концов заговорил сильно озабоченный, хотя и малознакомый человек. Он сказал, что, конечно, все это не его дело, это дело внутрисемейное, но ходят слухи, что ты просто-напросто сбежал из Москвы, чтобы не околачиваться возле больницы со всякими передачами.

Потом-то я узнал источник этих слухов. Просто Зауру позвонили из Абхазии и, в частности, спросили, был ли я у больного. Он, по-видимому, достаточно холодно ответил, что я обещал быть, но так и не пришел.

В день отлета, уже в аэропорту, я опять встретил дядю Сандро. Он важничал, я бы сказал, с мусульманским оттенком. У него был такой вид, как будто он только что проводил делегацию арабских шейхов, прилетающих его проведать.

— В самый раз подгадал улететь, — сказал он, — больного вчера привезли из Москвы.

Прошло с тех пор несколько лет. Я каждый год бывал в Абхазии и очень хотел встретиться с семьей нашей Таты, но что-то мешало поехать к ним. Мешала какая-то глупая необходимость объяснять, что и как. Но приехать и ничего не сказать, раз уж ходили такие слухи, тоже было неловко.

Потом нас постигли горестные события, и на похоронах моего брата я увидел нашу милую Тату. Она так убивалась! И все-таки позже, на поминках, я уже нашел нужным объяснить, почему я не смог посетить ее мужа в больнице. Несмотря на все случившееся, я почувствовал, что гора свалилась с ее плеч...

И вот я наконец здесь, и мы сидим за столом под лавровишней. Вокруг нас огромный зеленый двор, на котором пасутся телята, похаживают куры и индюки. Отдельно пасется индюшка с целым выводком индюшат и одним утенком. Индюшата время от времени отгоняют его от себя, но он совсем необидчивый, снова присоединяется к ним, забавно переваливаясь с ноги на ногу. Индюшка, если индюшата нападают на утенка поблизости от нее, строгим клевком восстанавливает справедливость. Тата для пробы подложила под индюшку утиное яйцо, и теперь наседке приходится защищать своего неунывающего уродца.

Большая черная собака сидит возле дома, сумрачно поглядывая на свое корытце, откуда кипящие воробьи что-то выклевывают. Время от времени она отводит в сторону голову, стараясь самой себе внушить, что ажиотаж воробьев — следствие чистой глупости, в корытце ничего нет. Но это ей трудно удается. Она снова направляет на корытце взгляд, исполненный якобы сонного равнодушия. И вдруг не выдерживает, словно спохватившись: «А что, если, пока я дремала...» И, бодро вскочив, подбегает к корытцу. Воробьи, пыхнув, разлетаются. Она несколько секунд принохивается к своему корытцу, убеждается, что там ничего нет, и с выражением: «Черт знает, что творится» — досадливо возвращается на место и брякается на траву. Постепенно воробьи снова слетаются, и все повторяется сначала.

На том конце двора дети играют в футбол. Очаровательный малыш в майке и коротких штанишках бегает по двору, то и дело шлепаясь. Видимо, он только научился бегать и, вскочив, бежит все быстрее, быстрее, быстрее, перебирая своими ангельскими ножками, словно невольно разгоняясь от невидимой силы притяжения, и, наконец, падает на траву. И кажется, зеленая земля мягко приучает его к тому, что она имеет форму шара.

Раиф возглавлял стол. Его желудочная болезнь оказалась не очень опасной, во всяком случае, он уже попил вино. Рядом со мной сидел Заур, кстати сказать, директор местной школы, своим непедагогичным телефонным сообщением ввергший столько людей в горестное недоумение по поводу моей бессердечности. У него такое же круглое лицо, как и у отца, однако о магической пронизательности отцовских глаз не может быть и речи. Напротив нас сидели Тата и пожилой сосед, преданно поглядывавший на Раифа.

Стол обслуживала легконогая, с шельмоватыми веснушками на лице жена младшего сына. Она лучшая в селе сборщица чая, ее несколько раз выбирали депутатом, но в этом году не выбрали. Не успели мы рассестись, как она, горячась и, видимо, ища во мне свежего союзника, стала рассказывать о том, что с ней несправедливо поступили.

— Подарили мне золотые часики, как сельской дурочке, — тараторила она, — а на черта они мне нужны! Я их даже не ношу! А выбрали другую сборщицу, потому что она родственница председателя, хотя они это скрывают. Подарили мне золотые часики: на, молчи! А я молчать не буду!

— Не всегда же тебе, невестушка, быть депутаткой, — перебил ее Раиф, — надо, чтобы и другие побыли.

— Почему другие?! — возмутилась она. — Пока я собираю чай лучше всех, я должна быть депутаткой!

— Доченька, — мягко заметила Тата, — когда разговариваешь с мужчиной, не надо полахать ему в глаза.

— Куда же мне смотреть, мама? — полахнула на нее невестка.

— Бери немножко левее, — сказала Тата и добавила, показывая, что деликатность в своем роде тоже необъятна: — Можно и правее взять. А в глаза мужчине полахать некрасиво.

— Тебя бы, мама, обидели так, — сказала невестка, разливая вино из кувшина в стаканы, — ты бы еще и не так распольхалась.

— Хватит, невестушка, — важно промолвил Раиф, подымая стакан, как бразды правления, — не все так просто, как ты думаешь. Везде своя политика...

Раиф сейчас, конечно, пенсионер, но он много лет был членом правления колхоза. После первых стаканов он стал мне рассказывать длинную сагу о том, как он боролся с жителями одного выселка Анхары, которые хотели отделиться, чтобы жить своим колхозом, а он, поддерживаемый односельчанами, их всячески не отпускал.

Жители этого выселка — выходцы из Эндурского района. В основном, они живут там, но, размножаясь со скоростью, несколько опережающей наше терпение, расселились и по остальным районам Абхазии. Их потешный с точки зрения общеабхазского языка выговор (наши видят в этом смехотворную, но упорную попытку порчи его) и их действительная жизненная напористость, доходящая до неприличия (с точки зрения нашей склонности к раздумчивости в тени деревьев), — предмет бесконечных шуток, пересудов, анекдотов.

Я никак не мог понять, почему он, собственно, должен держаться за них. Кстати, у меня было смутное чувство, что я эту историю когда-то слышал или даже она приснилась мне, и тогда же во сне было непонятно, почему их не отпускают жить отдельным колхозом.

Но, не спросив у него с самого начала об этом, теперь, когда он описал столько подводных рифов, которые ему удалось мягко обогнуть, я боялся, что мой вопрос прозвучит как сомнение в разумности его грандиозного предприятия.

Уточняя те или иные этапы своей борьбы, он кивал быстроногой невестке и говорил:

— Вынь у меня из сундучка бумажку... Ту, что розовенькая...

Невестка бежала, мелькая стройными ногами по зеленой траве, вбежала в дом и приносила розоватенькую справку.

— Ага, — кивал Раиф и, слегка погладив справку, как гладят щенка, передавая его в чужие руки, говорил: — Прочитай, что там написано.

Я читал, и справка подтверждала именно то, что он говорил. Рассказ, подтвержденный розовенькой справкой, двигался дальше, пока не упирался в необходимость нотариального подтверждения голубоватенькой справкой или той, что вроде рецепта, или той, на которой в середине печать, как пупок.

— Что ты задергал мою невесточку, — наконец не выдержала Тата и обратилась к ней: — Да вывали ты их разом!

— Нет, нет, — с комической важностью возразил Раиф, — пусть приносит те, что мне нужно.

При этом он с любовной снисходительностью посматривал на жену, давая знать, что не всякую справку можно вывалить, как бабское лоскутье, иная справка лишнего глаза не терпит, простушка ты моя.

Взгляд его бесшумно токовал, и она, мгновенно улавливая это токование, выпрямляла свой стройный стан и, опуская глаза в дозе сдержанного индианского кокетства, говорила:

— Если бы я хоть знала, чего ты убивался с этим выселком.

Он опять со снисходительной улыбкой направлял на нее токующий взгляд, под которым она еще больше выпрямлялась, после чего он, не удостоив ее ответом, продолжал рассказ.

И теперь, когда его собственная жена несколько раз выразила недоумение по поводу его многолетней борьбы, спросить его об этом было особенно неудобно. Я боялся, что он тут же намекнет на генетическую родственность нашей сообразительности. Но при этом я в отличие от его жены не мог рассчитывать на любовную снисходительность и тем более токующий взгляд.

Забавно было слышать, как жена его каждый раз, когда он пытался пригубить стакан, ворчливо замечала:

— Твое вино теперь — компот. А ты что пьешь?

Он снисходительно выслушивал ее, переводил задумчивый взгляд на кастрюлю, как бы из любви к жене почти готовый приняться за компот, однако не принимался и выпивал свой стакан.

Каждый раз, когда Тата напоминала про компот, все начинали смеяться. Дело в том, что компот — вообще не принадлежность абхазской кухни. Абхазцы переняли его у русских. Ее слова как бы означали, что она теперь переводит своего мужа в разряд русских мужчин, которые, по ее разумению, только и делают что пьют компот. А так как все остальные застольцы прекрасно знали, что русские мужчины далеко не всегда ограничиваются компотом, они начинали веселиться. Превосходство знания — теплый источник юмора.

Раиф в свое время был неплохим тамадой, то есть человеком, весьма стойким к питью. Стойким не в смысле устоять перед выпивкой, а в смысле устоять на ногах после хорошей выпивки. Но здоровье в последние годы слегка пошатнулось, и жена, жалея его, говорит перед каждым стаканом: «Твое вино теперь — компот. А ты что пьешь?»

Возможно, он ей иногда уступал, но я этого не видел. Кстати, после того как он выпивал вино, она иногда говорила с запоздалой надеждой: «Пусти хотя бы вслед...»

Раиф бросал задумчивый взгляд на кастрюлю и словно решив — нет, и там не стоит портить вино! — отворачивался.

Заур, по-видимому, решив уравновесить компотные намеки на одряхление отца, наклонился ко мне и шепнул с библейской простотой:

— А мой отец еще иногда восходит к маме.

В это время его все еще восходящий отец поднял стакан за всех наших мальчиков, которые служат в армии. поднес его ко рту и вдруг с дурашливым удивлением отвел его от губ, как бы пораженный, что нравоучения не последовало. Все рассмеялись.

— Оставь, ради бога,— досадливо махнула рукой Тата.

Раиф опять дурашливо посмотрел на жену, потом удивленно на остальных, словно спрашивая: о чем она? Я же ничего не говорил.

Насладившись некоторой растерянностью жены, он опять направил на нее свой токующий взгляд. Тата опустила глаза и снова замерла в позе статичного индианского кокетства.

— Когда она мне приглянулась,— кивнул он головой на жену, как бы торопя обратить наше внимание на четкость форм ее индианского кокетства, пока они не размякли,— и я стал бывать в Большом Доме, вот что случилось. Однажды я уезжал... Молодой был, влюбленный... Не то что сейчас, правда?

Он многозначительно замолк и взглянул на жену.

— Не в наши годы об этом говорить,— тихо вымолвила Тата и, замирая, опустила глаза.

Раиф кивнул в сторону жены, на этот раз обращая внимание на мгновенную силу своего гипноза. Потом продолжил:

— Да, молодой был, горячий. Я сел на свою лошадь и уже отъехал в сторону ворот, и тут на меня нашло. Я огрел лошадь камчой и пере-

скачил через изгородь. Изгородь была изрядная, но я перемахнул. Да и лошадь была с перцем... Так вот... Оказывается, Сандро в это время сказал: я поцелую задницу его лошади, если этому длинноносому достанется наша красавица. Мне это потом передали. Кязым, царство ему небесное, был за меня, но Сандро был против. Ладно, думаю, а сам затаился. Я выждал время, пока у нас не родился первый ребенок. Сразу вскидываться некрасиво. Все же молодой зять. И вот однажды Сандро приезжает к нам домой. Чем могли встретили. Хлеб-соль, туда-сюда. Я и за столом выждал время, пока все в настроение не вошли. Значит, выждал время и говорю: «Слушай, Сандро, ты сказал, что поцелуешь задницу моей лошади, если я возьму твою сестренку?» Он смеется. «Да, сказал!» «Ну тогда,— говорю,— пошли в конюшню, выполней свое слово!» Но разве этого шайтана поймашь! «Я бы,— говорит,— поцеловал, да ведь у тебя теперь другая лошадь, а я имел в виду ту!» В самом деле, я сменил к этому времени лошадь... Да, Сандро! Во время войны приезжает к нам и говорит: «Помоги мне участочек земли получить. Время трудное, хлеба не хватает». Я уже был членом правления. Мы тогда городским помогали. Поговорил с председателем, выделил ему земли. Я говорю ему: «Я тебе вспашу и засею участок. А ты приезжай мотыжить кукурузу». — «Спасибо,— говорит,— конечно, приеду». С тем и уехал. Пришло время мотыжить, а его все нет и нет. Уже сорняк выше кукурузы. Встречаю его на одной свадьбе. «Ты чего не едешь мотыжить свою кукурузу?» А он мне: «Сейчас у меня со временем плохо. Никак не могу. Ты промотыжь мою кукурузу, чтобы твои труды не пропадали, а я приеду на вторую прополку». И на вторую прополку не приехал, только приехал собирать урожай.

Тут Заур захохотал и сквозь хохот выкрикнул:

— Папа сам всю жизнь искал, кто бы на него поработал, а тут попался на Сандро!

— Как ты, сынок, можешь такое говорить об отце,— покачала головой Тата,— твой отец всю жизнь член правления колхоза... Он, конечно, больше головой работал, чем руками...

— Головой своих лошадей! — со смехом перебил ее Заур.

Отец с добродушным превосходством оглядел сына и сказал:

— Голова худшей из моих лошадей уж на директора школы потянет.

И он снова приступил к рассказу о борьбе с жителями выселка, которые хотели выделиться в отдельный колхоз. И тут вдруг обнажилась удивительная деталь. Оказывается, это его многолетняя борьба была глубоко законспирирована от жителей самого выселка.

Оказывается, в один прекрасный день Раиф пришел в обком партии с заявлением, написанным городским адвокатом. Он положил его на стол и еще устно рассказал работнику обкома о невероятном вреде отделения небольшого выселка от богатого, сильного хозяйства.

И так случилось, что на обратном пути у автобусной станции он встретил нескольких жителей выселка, делегированных в обком партии с совершенно противоположной целью.

Раиф им, конечно, ничего не рассказал о своем посещении обкома, и они вместе пошли в ресторан, чтобы перекусить и обсудить проект жалобы. Выслушав их, Раиф предложил им включить в жалобу просьбу о необходимости в новом колхозе новой школы, потому что детям выселка далековато идти в школу на центральную усадьбу.

— Зачем? — насторожились делегаты.

— Я слышал, что секретарь обкома очень любит детей,— сказал им Раиф.

Бедняги включили в свою жалобу и просьбу о новой школе, которая, как последняя соломинка, надломилась спину верблюду.

Оказывается, эта многолетняя тяжба надоела секретарю обкома, и он решил сам на месте во всем разобраться. Объехав вместе с Райфом все бригады, он убедился, что выселок находится от центральной усадьбы ненамного дальше, чтобы в случае необходимости возить людей на любые места работы.

В тот же день было устроено общее собрание колхозников, где секретарь обкома выступил со своими соображениями о нецелесообразности распыления большого хозяйства. В конце он сказал:

— Если мы будем строить школы для каждой бригады, мы разоримся и нас прогонят.

Речь секретаря обкома вызвала бурные аплодисменты, и подавляющее большинство крестьян проголосовали за братство и дружбу с эндурацами в рамках одного колхоза.

— Но почему же все-таки ты не дал им выделиться? — вырвалось у меня.

— Они и так богаче нас, — просто сказал Райф.

— Почему? — спросил я.

— Надо же правду говорить, — отвечал он, мирно сокрушаясь, — они лучше наших работают и больше получают.

— Какая тебе разница, где они больше зарабатывают, в своем колхозе или в общем? — спросил я.

— Есть разница, — сказал он, подумав, — надо же правду говорить. Они и лучше наших работают, но и шахер-махеры умеют делать лучше наших. Если они будут жить отдельным колхозом, у них от учетчика до бухгалтера, от бухгалтера до председателя одна линия будет. Рука руку моет. Я им сломал эту линию.

Мы выпили за сломанную линию, и тут Заур, похотывая, начал рассказывать давнюю историю о том, как мы с ним, тогда еще совсем мальчишки, жили с пастухами на альпийских лугах. Ночью разразилась страшная гроза с градом и сильным ветром. Наш балаган наполовину развалился, скот от ударов градин стал разбегаться, и пастухи криками сгоняли его. А я, оказывается, все это время, стоя верхом на раскладушке, орал: «Давай сильней! Еще сильней!»

Сам я эту ночную грозу хорошо помню, а то, что кричал, забыл. Но ему мои крики врезались в память. Конечно, на взгляд деревенского мальчика это было то же самое, что говорил Иванушка-дурачок при виде похоронной процессии: «Таскать вам не перетаскать!»

Но с тех пор прошло столько времени! Можно было и позабыть об этом случае. Нет, он каждый раз вспоминает о нем и рассказывает со все возрастающим энтузиазмом.

С годами, я думаю, каждый нормальный человек созревает до здорового консерватизма, и напоминание о его юношеских призывах к буре, если они имели место, ему крайне неприятно. Возможно, именно по этой же причине с годами Зауру мое поведение во время ночной грозы представляется все более и более смешным.

Тут во двор вошел младший сын Райфа, высокий стройный Валико. Он заведующий животноводческой фермой. Такой же любитель лошадей, как и его отец в прошлом. Оказывается, сегодня колхоз приобрел несколько скаковых лошадей, и по этому поводу было небольшое возлияние с черкесами, которые их привезли.

К немалому моему удовольствию, он бесцеремонно перебил брата и стал рассказывать о великолепных достоинствах этих лошадей, уже опробованных, надо полагать, до выпивки. Во время рассказа взгляд его случайно остановился на кастрюле с компотом, и он, пробормотав: «Эта проклятая чача!» — взял кастрюлю и осторожно всю ее выцедел, как-то мимоходом решив компотную проблему.

Нахмурившийся было старший брат, воспользовавшись паузой, пока младший пил из кастрюли, холодно отогнал его лошадей и про-

должил рассказ о той далекой альпийской ночи, но уже с меньшим успехом.

Младший брат, поставив опустошенную кастрюлю на место, снова перебил его и припустил на своих скаковых. Теперь было видно, что он на очень хорошем взводе.

Старший брат нахмурился и сказал:

— Что ты меня перебиваешь! Я хотя бы на один день старше тебя?!

Младший вдруг растерянно осекся, словно осознав, что он не только на один день, но на целых три года моложе своего брата, и, как бы прикинув длину предстоящего застолья и чувствуя, что он невольно снова может выскочить на своих скаковых или на чем-нибудь похлестче, вдруг встал и повинным голосом сказал:

— Я, пожалуй, пойду лягу.

— Иди, кто тебя держит,— заметил старший, и тот пошел в сторону дома.

Тата молча посмотрела вслед уходящему сыну, потом взглянула на его жену и сделала ей многозначительный кивок. Невестка немедленно ответила кивком — сигнал принят. Тогда Тата сделала еще один кивок, на который невесточка ответила радостным кивком и, еле сдерживая смех, рысцой бросилась вслед за своим лошадиником. Мой прикидочный анализ кивков в их последовательности дал такую расшифровку: приготовь постель... поставь у изголовья тазик...

— Послушай,— вдруг обратилась Тата к мужу,— я тебя прошу, поговори со стариками. Я знаю, что бедный Нури извелся среди чужих. Пусть простят его. Слава богу, уже пять лет прошло.

И тут лицо Раифа окаменело. Он посмотрел на жену со сдержанным гневом.

— Я, что ли, не впускаю его в наш род,— тихо проговорил он,— мы вместе со старейшинами решили это.

— Ты же сам знаешь,— примиряюще сказала Тата, уже опустив веки,— твое слово — золото.

— Вот сидит родной брат человека, которого он оскорбил,— кивнул Раиф на соседа,— если хотят, пусть впускают в свой дом. Но я с этим хулиганом за один стол не сяду. Вам же будет стыдно, если я не приду на фамильные торжества.

— Как можно! — воскликнул сосед и мягко добавил: — Но и времени, Раиф, извини, что режу твое слово, много прошло.

— Как хотите,— сказал Раиф, и лицо его продолжало оставаться непроницаемым, как скала,— можете его впустить. Но я с ним за один стол не сяду.

— Что ты, что ты, Раиф,— поспешил сосед,— без тебя мы и шагу не ступим.

Дело было вот в чем. У этого Нури шесть лет назад умер отец. Когда справляли годовщину его смерти, Нури, оказывается, подошел к старику односельчанину и спросил у него, почему он не возвращает деньги, взятые в долг у покойного отца.

— Я ему давно возвратил этот долг,— презрительно ответил старик,— и не тебе, мальчишке, со мной об этом говорить.

И Нури вспылал. Он решил, что этот старик, пользуясь смертью отца, пытается присвоить деньги. И он ударил старика. Конечно, его тут же схватили, скрутили и увели.

Ударить старика да еще на поминках было большим позором для всего рода. Старейшины рода в тот же день, собравшись, обсудили этот случай, попутно выяснили, что долг был возвращен, но отец Нури почему-то дома не сказал об этом, да и умер довольно внезапно. Старейшины решили, что Нури должен быть полностью исключен

из жизни рода и не допускаться ни на какие траурные и праздничные сборища вплоть до самых далеких родственников.

В тот же год Нури вынужден был вместе с семьей покинуть деревню. Он поселился в Нижних Эшерах. Пока обсуждали подробности этого дела, я вспомнил, что два года тому назад видел его. Дело было так.

Я уезжал из Верхних Эшер, где был на могиле брата. Семейное кладбище наших эшерских родственников расположено прямо на усадьбе одного из них, у крутого заезжечивенного откоса. Мы с зятем (он привез меня сюда на своей машине) постояли возле могилы брата, выпили за помин его души по стаканчику, грустно вспомнили, как он при жизни любил это дело, слишком любил, повздыхали, постояли, озираясь.

Отсюда далеко смотрится И близкая стена моря, как уместная вечность перед глазами, и круглящиеся зеленые холмы с крестьянскими домиками, с табачными сараями, кукурузными полями и мандариновыми плантациями, с купами деревьев, чья округлость мягко повторяла округлость холмов, и белыми пятнами коз на склонах — вся эта чистая, опрятная застенчивость продолжающейся жизни тихо умиротворяла кладбищенский кругозор.

И вот, уже спускаясь на машине по очень крутой дороге, я увидел двух своих родственников, стоявших у обочины. Рядом был дом одного из них. Мы вышли из машины и обнялись. Родственники были несколько смущены тем, что мы, побывав на могиле брата, не зашли ни к одному из них.

Хозяина той усадьбы, где расположено кладбище, не было дома, а к остальным я не хотел заходить, потому что спешил в город. Теперь они стали уговаривать, и я уже склонялся зайти к ним на полчаса. Все-таки неудобно, давно у них не бывал.

И вдруг на дорогу выскочила машина, со скрежетом затормозила, подняв облако пыли, и из нее вышел водитель. Это был человек среднего роста, широкоплечий и очень небритый. Одет он был в ковбойку с закатанными рукавами и черные брюки. Обнажив в улыбке зубастый рот, он двинулся в нашу сторону, заранее распахнув объятия, которые, как мне подумалось с облегчением, были предназначены зятю. Облегчение оказалось преждевременным.

Такие вот заранее расставленные для объятий руки почему-то всегда раздражают. Ты чувствуешь, что тебя принуждают к лицедейству. Чтобы соответствовать миру, танцующему в глазах пьяного человека, ты как бы в самом деле должен пускаться в пляс. И потом эти широкие объятия, идущие на тебя, одновременно означают: обниму и не пущу.

Мне показалось странноватым, что наши родственники при виде этого человека как-то ступселись. Я думал, что они просто отошли, а они, оказывается, совсем ушли, забыв о приглашении. Не успел я осмыслить причину исчезновения родственников, как вдруг оказался в мощных объятиях этого человека.

Обжигая меня наждачными щеками, он несколько раз яростно поцеловал меня, при этом я пытался увернуться, делая вид, что страшно озабочен исчезновением родственников, которые прямо-таки сквозь землю провалились.

Человек был очень небрит и очень пьян. Можно было подумать, что одна и та же причина заставила его перестать бриться и начать пить. Однако, как и многие люди физически крепкие, внешне он держался.

— Что,— гаркнул он, взяв меня за плечи и отодвигая для лучшего обзора и в то же время продолжая меня крепко держать, чтобы немедленно привлечь, если возникнет необходимость в новых поцелуях,— забыл, как мы с тобой в детстве буйволов пасли в нашем любимом селе Анхара?

Это был Нури — я его вспомнил. В детстве одно лето я проводил у Таты и встречал его тогда среди деревенских мальчигов. Он был на несколько лет старше меня.

Однажды мы с ним пришли на мельницу в соседнее село, и он подрался с одним мальчиком. Они довольно долго дрались, иногда бодаясь, как бычки, и упираясь друг в друга головами. А рядом стояли враждебные незнакомые мальчики. Мне эта драка показалась потрясающим героизмом: кругом чужие, а он дерется! Конечно, я несколько преувеличивал его храбрость, потому что для меня мальчики из соседнего села были совсем незнакомы, а он с ними не раз встречался.

И вдруг вспыхнула другая картина. Розовеющая от предзакатного солнца запруда — и голый мальчик Геркулес, стоя в воде, моет коня. И тихая рябь проходит по воде, и тихая рябь проходит по рыжему крупу замершего коня, когда мальчик ленивыми пригоршнями шлепает ему воду на спину, и мускулы играют под кожей юного тела, хотя мальчик совсем не напрягается...

— Когда ты из ФРГ выступал по телевидению, — крикнул Нури, гася далекую картину, — я поцеловал телевизор!

— Я по телевидению из ФРГ никогда не выступал, — возразил я твердо, чувствуя, что это уж слишком далеко заходит, хотя и не совсем понимая, что именно.

— Как не выступал? — опешил он.

— Не выступал, — повторил я несколько мягче, чтобы успокоить его.

— Может, ты еще скажешь, что не был там?! — спросил он с тихим бешенством.

— Был, но не выступал по телевизору, — сказал я, стараясь быть внятным.

Бешенство в глазах его сменилось смутным озарением.

— Ха! — хмыкнул он понимающе. — Ты уже забыл, где выступал, а народ помнит. Для тебя это семечки. После твоего выступления наши играли в футбол с ФРГ и выиграли. И я второй раз поцеловал телевизор! Едем ко мне домой, и ты посмотришь, как я живу.

Я попытался возразить, но он был непреклонен.

— За поворотом обрыв знаешь? — кивнул он на дорогу.

— Да, — сказал я.

— Клянусь матерью, я туда выброшусь вместе с машиной, если вы сейчас же не поедете ко мне, — сказал он.

— Хорошо, поехали, — согласился мой зять, и мы сели ~~по~~ машинам.

Он ехал впереди нас, высунув из окна руку и время от времени, помахиывая ею с ленивой властностью, напоминал, что следовать надо именно за ним, а не сворачивать в сторону, хотя свернуть было некуда.

Надвигалось предчувствие кошмара. Дело в том, что в этот вечер мне надо было прийти на банкет к моему хорошему другу. Я любил его и обещал прийти. Но, с другой стороны, я знал, что там будет один человек, видеть которого было непереносимой мукой.

Когда-то у нас с ним были самые дружеские отношения, хотя он намного старше меня. Он пошаливал писательским пером, и я считал, что для любителя у него даже неплохо получается. Распивая бутылку вина с дилетантом, мы, сами того не ведая, порождаем в нем страшный комплекс, комплекс сообщающихся сосудов. Но тогда я этого не знал, а потом вот что случилось.

В одном моем рассказе затрагивался сложный вопрос, связанный с историей нашего края, и редакция предложила отправить его на рецензию какому-нибудь специалисту.

— Есть у тебя в Абхазии знакомый специалист по этому периоду? — спросили меня.

— Да, — бодро сказал я, — как раз мой друг — такой специалист.

Это был он. Редакция отослала рассказ, а я спокойно дожидался рецензии. Наконец мне позвонили из редакции и сказали, что отзыв прибыл. Когда я пришел ознакомиться с ним, работники редакции встретили меня гомерическим хохотом.

— Хорошие у тебя друзья! — сказали мне. — Читай.

По существу вопроса рецензия не содержала никаких возражений, хотя была весьма кислой. Но не в этом дело. Возмутило меня то, что автор весьма недвусмысленно намекал, что в республике есть люди, которые об этом могли бы написать гораздо лучше. А так как эти люди не были названы, то, видимо, по замыслу рецензента мучительное любопытство редакции неминуемо должно было привести к нему, стоящему вдалеке со скромно опущенными глазами.

Второе место в рецензии, которое меня оглушило своей глупостью, это пышное перечисление успехов республики в области сельского хозяйства и промышленности. Что это должно было означать? Что я углубился в далекую историю, когда вот оно, здесь, под ногами, организованное им Эльдорадо? Этот оттенок тоже улавливался, учитывая, что автор был человеком в немалых чинах, разумеется, в масштабах нашего края...

Надо отдать редакции справедливость, она рассказ напечатала, не дожидаясь тех, которые об этом могут написать лучше. Однако мой кавказский патриотизм был посрамлен.

Я давно заметил, что в гуманитарной области чаще всего встречается такой тип подлеца с неожиданностью. Вот что я думаю по этому поводу. В самой природе искусства заложена естественная необходимость пребывания на определенной этической высоте. Но если душа гуманитария не имеет внутренней склонности пребывать на этой высоте, то она, отбывая ее, как повинность, накапливает злобную эмоцию и в конце концов собственной низостью как бы расправляется с ненавистной ей высотой. Катарсис зла.

С тех пор я его издали встречал, но подойти и сказать человеку, который намного старше меня, что он поступил как подлец и дурак к тому же, я не мог. Трудно преодолеть всосанное с молоком матери.

А вот написать могу. Из этого я делаю заключение, что творчество — это возмездие. Мы забрасываем в прошлое крепкую леску с крючком, чтобы вытащить врага, но, увы, наживкой служит наше собственное сердце. На другую он не клюет.

И вот сейчас я боялся, что, если мне придется выпить в доме этого Нури, там на банкете нервы у меня не выдержат и произойдет какая-нибудь нелепость. Мы продолжали ехать по очень крутой извилистой дороге, а Нури впереди все помахивал рукой, хотя на такой дороге лучше бы обеими руками держаться за руль.

— А ты догадался, почему исчезли твои родственники? — спросил у меня зять.

— Понятия не имею, — сказал я.

И тут я впервые от него услышал обо всей этой истории.

— Откуда он взял, что я выступал по телевидению ФРГ? — спросил я, все еще неприятно озабоченный этой странной фразой.

— Спутал, — ответил зять, — ты выступал по нашему телевидению, и, может быть, в тот же день наши играли с командой ФРГ. В голове у него все смешалось.

Наконец Нури свернул с дороги, машина боднула ворота, они распахнулись, и мы вслед за ним въехали во двор. Мы вышли из машин, и хозяин ввел нас в свой еще не совсем достроенный дом.

— Хозяйка! — гаркнул он. — Гости! Гости!

Из кухни вышла миловидная полная женщина и, не обращая внимания на мужа, ласково с нами поздоровалась.

— А ну, скажи, — крикнул он, — когда вот он, мой братик, выступал по телевидению ФРГ, что я сделал?

— Поцеловал телевизор, — сказала она и добавила: — Не стыдно, пьяный пришел с людьми, которые первый раз в нашем доме?

— Это мой брат, — крикнул Нури, — он пришел в свой дом! Сейчас же приведи из школы детей! Я хочу, чтобы мой брат увидел моих детей!

— Может, тебе кости моего деда Хасана принести из могилы? — спокойно спросила жена.

— При чем твой дед, — бормотнул Нури и, видимо, поняв несокрушимость метафоры сопротивления, раздраженно добавил: — Ладно, чтобы курица через полчаса была готова!

Мы попытались его остановить, но он был неумолим. Хозяйка вышла во двор и стала сзывать кур. Я обреченно стал бродить по комнатам нового дома, и это ему понравилось.

— Все сам построил, вот этими руками! — сказал он, выворачивая вперед мощные и прекрасные рабочие руки. — Наверху немного осталось. В этом году закончу.

Мы снова вошли в залу. Он посадил нас за стол. На столе стояли графин с чачей, ваза с яблоками и рюмки. Он разлил чачу. Пить ужасно не хотелось.

— Ты слышал о моем горе? — вдруг спросил он.

Я взглянул ему в глаза и увидел две раны.

— Да, — кивнул я.

— О смерти твоего брата мне не сообщили, — проговорил он, и в горле у него клокотнуло. — Ни одного человека я так не любил, как его. Ты что по сравнению с ним? Тень!.. Только он слишком увлеклся, так тоже нельзя.. Выпьем за помин его души. Если там что-то есть, пусть будет ему хорошо! За товарищество, за дружбу погиб!

Он отплеснул из рюмки в знак памяти об умершем и выпил.

— Ты о моем горе слышал, — сказал он, взглянув мне в глаза, — и ты, как брат, пришел в мой дом. А там в деревне мои не хотят встречаться со мной! Если вы такие честяги, чего в милицию не сообщили, а?! По советским законам от силы дали бы год! Я бы уже давно забыл об этом деле. Да, да, я виноват, но я был выпивший. Я решил, что отец умер, а тот теперь издевается над нами. Меня родных лишили. Мою кровь от меня оторвали, мою кровь!

Последние слова он произнес с такой силой, что в дверях кухни возникла его жена с прирезанной курицей в руках. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной, и только лицо ее выражало удивление как бы самой высоте ноты, которую он взял.

— Ты иди своим делом занимайся, — кивнул он ей, и она исчезла в дверях. — Я знаю, чьи это интриги, — продолжал он, наклонившись ко мне, — это все Раиф! Об его интригах книгу можно написать. Там у нас в деревне, ты знаешь, есть выселок. Люди этого выселка живут спаянно, дружно, одной семьей. И вот они хотя свой колхоз иметь. Нет, не дает! Слушай, какое твое дело? Налоги будут платить? Будут! План будут выполнять? Будут! Чем они тебе мешают? Нет, не дает! Им не дает отойти от себя, а мне не дает войти к своим. Что он от меня хочет? Я что, не человек?!

Последние слова он выкрикнул с такой страстью, что жена его опять появилась в дверях кухни, курица в ее руках уже была наполовину ошипана. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной. И только слегка склоненная голова напоминала позу курицы, разумеется, не ошипанной, а живой. Лицо ее выражало чисто вокальное удивление: «Как? Еще выше?!»

— Ты не думай,— сказал он,— что я всегда такой. Это я тебя увидел и разволновался... Вот этот телевизор я поцеловал, когда ты там выступал. Я болею за наших... У меня есть все — дети, дом, друзья, товарищи. У себя в гараже на работе тоже ни от кого не отстаю. Мои соседи — все армяне. Прекрасные люди! Да, послушай, что со мной сделали. У дочки моего двоюродного брата рак определили. Десятилетняя девочка — и рак глаза. Ужас! Родители вывезли ее в Москву показать профессорам, положить в хорошую больницу. Ради этой девочки я узнал их адрес и послал от моего имени сто рублей. Что мог послать! Деньги вернулись! Они мне плюнули в глаза! За что? Почему меня сторонятся? Я человек или бешеная собака?!

Он это выкрикнул рыдающим голосом, и глаза его были как две раны. Жена его снова вышла из кухни. Теперь у нее в руке телепалась ошипанная курица. Полная, миловидная, она опять посмотрела на мужа с выражением терпеливого любопытства к его голосовым возможностям.

Нури внезапно отяжелел, взглянул на жену и сумрачно кивнул мне:

— Любого с ума сведет.

Жена исчезла в дверях кухни.

Тут зять мой встал и произнес энергичный тост за его прекрасный дом и прекрасную семью и выразил твердую надежду, что и этому печальному наказанию придет конец, только надо набраться мужества и терпения.

Нури совсем отяжелел и с сонным одобрением слушал тост. Он почти не отпил из рюмки. Зять попросил его не обижаться на нас, но больше времени нет, мы должны ехать в город.

Нури вяло попросил остаться. Он совсем отяжелел и, я думаю, был рад, что мы уходим. Правда, ему удалось настоять, чтобы мы взяли эту нелепую ошипанную курицу. Жена его завернула ее в газету, и мы, положив сверток в багажник, уехали.

На банкете я чувствовал себя неважно, хотя с этим человеком мы сидели в разных углах. Облик его тускло светился смущенным убогостворением. Он как бы говорил: укусил-то я как-то непроизвольно, но, не скрою, укус был приятен. Мне становилось все хуже и хуже. Хотя предательство и мелкое, но находиться с предателем в одном помещении противоестественно. Высидев приличное время, я ушел...

— ...Мне жалко Нури,— сказала Тата, опустив веки,— он так тянется к нашим.

— Я же сказал, можете посадить его себе на голову,— вразумительно ответил Раиф,— это я не сяду с ним за один стол... Вот брат оскорбленного, с ним и говори!

— Ты же знаешь, что они без тебя...— не договорила Тата и погасла, не подымая глаз.

Раиф строго посмотрел на жену. За столом воцарилось молчание.

— Она всех жалеет,— кивнул Раиф на жену, помедлил и, вдруг потеплев глазами, добавил: — Всех, кроме своего мужа.

— Как это я не жалею своего мужа? — тихо проговорила Тата, не подымая глаз,— кого же мне жалеть, как не своего мужа...

Она так и застыла с опущенными веками. Раиф уже спокойно взглянул на нее, потом на остальных и сказал:

— Я же не зверь... Подоспеет время, и об этом поговорим. Тебя послушать, так нас, стариков, палками начнут бить.

...День клонился к закату. Тата кормила кур и индюшек, разбрасывая из ведерка кукурузу. Индюшата все время пытались отогнать утенка, и Тата самых задиристых несколько раз огрела хворостиной. Было странно видеть ее сердитые движения.

После вечерней кормежки куры стали лениво впархивать в курятник, а индюшки, неуклюже вспрыгивая, по перекладинам лесенки забирались в индюшатник.

Петух похаживал возле курятника, нетерпеливо дожидаясь, когда наконец куры войдут в курятник и угомонятся. В своем нервном нетерпении петух, должно быть, забываясь, доходил и до индюшатника. При некотором пристрастии можно было подумать, что его раздражение относится и к индюшкам.

Именно это случилось с индюком, степенно ожидавшимся, когда его тяжеловатые на подъем соплеменницы заберутся в индюшатник. Раздувшись внутренним ветром ярости, он стал похож на пиратский фрегат при поднятых парусах. Он пошел на петуха. Однако сильно уступая в скорости фрегату, догнать не сумел. Вернувшись на место, он еще некоторое время оставался при поднятых парусах, потом ветер угас и паруса опустились. Петух спокойно вернулся к курам.

У колодца невестка, до этого обслуживавшая нас, помогала детям мыться. Звонкие вскрики, споры, смех и не менее звонкие затрецины. К воротам подошли коровы и время от времени сдержанным мычанием напоминали о себе. Пора было собираться в дорогу.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ



Вера

«Неверующие суеверны», —
Сказал мне, плечами пожав,
Епископ. И я согласился
С епископом, ибо он прав.
 Не будем же лицемерны —
 Ведь это нисколько не ложь:
 Неверующие суеверны,
 Не все хоть, но многие все ж.
Кто верует в сны,
Кто — в подкову,
Кто — ветру, что воеет в трубе,
Кто верит льстивому слову,
А кто — пустой похвальбе,
Но каждый ли верит себе?
Скажи мне:
Ты веришь себе?
 Иди же по белому свету,
 И дальних и ближних любя,
 Но все ж исповедуя эту
 Скромнейшую веру в себя.

Да будет твой путь неспокоен,
Но знай: побеждает в борьбе
Ученый,
Художник
И воин,
Сумевшие верить себе.

Мед Одина

Есть
Древо Мира.
Ясень тот, Игдразил,
Цветет все неуемней, что ни год.
Он медоносен. Горек, но прекрасен
Его цветами порожденный мед.

«Поэзия — мед Одина!» — вещали
Когда-то скальды.

 Кто же Один?

 Он

И сам того не понимал вначале.

Людским воображеньем порожден,
Он жил в Асгарде, выстроенном той же
Безумною фантазией людской,

И распрей асов больше все и больше
Гнушался.

И убраться на покой
Он порешил.

И в мир древесных сучьев
Зеленохвойных скандинавских чащ
Он опустился, шляпу нахлобучив,
Закутан в синий вылинявший плащ.

Леса кишели и зверьем и дичью,
Но и людские бились в них сердца,
И принял Один скромное обличье
Охотника, а также и купца.
И конь возник, ему подставив стремя.
Тот конь, как на рисунках дикарей,
Детей и футуристов в наше время,
Был восьминогим, чтоб скакать быстрой.
И вынес Одина на кручи гор он,
А между тем над головой неслись
Два ворона — был Память первый ворон,
Второй из них именовался Мысль.
Но чем питались, что они клевали,
Увидел Один: мертвые тела —
Здесь, на земле, где скальды воспевали
Ему приписываемые дела.
И понял из людских он разговоров,
Что, ими же и выдуманный бог,
Он будто бы виновник всех раздоров,
Кровопротитий, склок и суматох.

Самозабвенно эти люди лгали,
И убедился Один: на земле
Еще ужаснее, чем там, в Валгалле.
И, размышляя о добре и зле
И наблюдая этих сил боренье,
Взаимопожирание живьем,
Решил сменить на внутреннее зренье
Свой глаз и прободать себя копьем,
Чтоб тайну рун постичь и чтоб всезнанье
Ценой страдания приобрести.

Вот для чего, как говорят сказанья,
Решил себя он в жертву принести.

Быть может, долетел, еще неясен,
К нему рассказ о миссии Христа,
Но Мировое Дерево Игдразил
Он местом жертвы выбрал неспроста,
Чтоб сучья не трещали его голы.
И Мировое Дерево цветет,
Чтоб вековечно собирали пчелы
Мед Одина,
Хмельной и горький мед.

Европа

Под Москвой,
Недалёко от устья стремительной Истры,
В том районе, куда устремлялись прорваться фашисты,
но — выдохлась мощь! — не дошли,

Я нашел этот камень, пудовую глыбу в серо-золотистой,
Как погаснувший пламень, дорожной пыли.

Фиолетовокудрый, коричневобровый,
С первобытно большими очами лазурного цвета небес,
Он напомнил мне смысл полотна «Похищение Европы»
работы Серова,
Ибо в нем через женственный облик царевны проглядывал
бычье обличье принявший Зевес.

Я подумал:
И быть может, Серов прежде всяких дельфийских
позднее увиденных фресок
И Эллады, дающей картине весь фон, колорит ее,
цвет,
Здесь, у берега Истры, однажды входил в перелесок
И наткнулся на камень вот этот, лежавший здесь многие
сотни, а может быть, тысячи лет.
Ибо глыба быть может не только являться
игрою природы,
А какой-нибудь резчик по камню давнишних времен,
стародавних племен,
По рассказам других или сам увидав средиземные воды,
Уловив своим варварским слухом сладчайшую музыку
древних античных имен,
Здесь, над берегом Истры, и выразил смутные чувства
И, взирая на этот сосново-березовый лес,
Изваял средь древесного свиста, а может быть,
даже и снежного хруста
И тебя, о Европа моя, и тебя, быколикий Зевес.

Словом,
Профиль Европы,
Который, конечно, не мог оказаться положен как пресс
На поверхность какой-нибудь бочки для
свежесоленой капусты,
Я из пыли извлек, несмотря на довольно большие размеры
и порядочный вес,
И привез.

Пусть она улыбается вам златоусто!

Впрочем,
Может быть, скажете:
Где тут Европа, на сельской дороге,
где бродит скотина
И при этом Юпитер, присвоивший образ быка,
И зачем вообще я Серова припутал сюда
Валентина,
Никогда, может быть, не бродившего возле
известного мне небольшого леска,
Возле которого разве что, седы,
кое-где валяются ледниковые валуны,
Там, за прудами, которые копали когда-то
для князя Голицына пленные шведы,
И за буграми французских могил
первой Отечественной войны,
Близ которых во вторую Отечественную войну
и были нарыты окопы,
Но, по счастью, фашисты сюда не дошли.

Потому-то,
Жива и здорова,
Здесь и мне улыбнулась Европа,
У стремительной Истры восставшая
в мотоциклетной пыли!

* * *

А подыматься, не упав,
Судьба амфибий и купав
В какой-нибудь запруде.
А люди — это люди:
Невесть куда летят стремглав,
Чтоб, и споткнувшись даже,
Чтоб даже и упав, могли
Приподыматься вновь с земли
В венцах своих померкших слав,
Хотя бы как миражи!

Логика повествованья

Ты знаешь логику повествованья,
Дабы на правду тень не навести,
Ты должен богику повествованья
Мечты крылатость в жертву принести.

А может быть, что жертвенною птицей
Окажешься и сам ты наконец,
Дабы заклал тебя знаток традиции —
Афантастичности верховный жрец.

Но может статься и другое тоже:
Ты, словно гриф, чтоб уничтожить ложь,
Лежащее на погребальном ложе
Повествованья тело расклюешь!

Творчество

Есть такое,
Что весь век тревожит,
Но не удается. И поверьте,
Есть такое, что творец не может
Завершить всю жизнь и после смерти
И к чему готов не подражатель,
А иной, которым овладела
Та же страсть, — упорный продолжатель,
Но еще не завершитель дела.

* * *

Он говорит, печалась:
— Кажется временами,
Что от меня остались
Только воспоминанья!

Только воспоминанья! —
Он говорит, ликуя.—
Эти воспоминанья
Я и опубликую!

Важные в них места есть,
Жив каждый знак препинанья,
Чтоб от меня не остались
Только воспоминанья!

Дух споров

— Я никому не встречаюсь,
Но никому и не навязан! —
Так он возвал, и, не смущаясь,
Проник в бунтующий наш разум
Тот дух сомненья, порожденье
Премудрости, отнюдь не книжной,
Что с вольным духом утвержденья
Извечный родич самый ближний.
Его я помню буйный норов,
Я видел глаз его мерцанье
При созерцанье наших споров
О положенье отрицанья
И отрицанье отрицанья!

Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ.



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

Навстречу XXVII съезду КПСС

АНАТОЛИЙ ИВАЩЕНКО

★

ЗЕМЛЯ

Руководствуясь решениями апрельского и октябрьского Пленумов ЦК КПСС (1985), редакция усилила внимание к важнейшим социально-экономическим проблемам, которые будут обсуждаться на предстоящем XXVII съезде партии. Журнал опубликовал публицистические статьи А. Никитина «От околицы до окраины» (№ 7), В. Селюнина «Эксперимент» (№ 8), В. Выжutowича «Инженерный расчет» (№ 9), Г. Лисичкина «За ведомственным барьером» (№ 10), очерк Г. Резниченко «Бригадир» (№ 11).

Помещая в этом номере очерк А. Иващенко «Земля», редакция продолжает начатое на страницах журнала обсуждение актуальных вопросов современной жизни.

Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном, основном богатстве России...

В. В. Докучаев.

Едешь, бывает, в командировку с четко определенным заданием, уже в вагоне или в самолете стараешься представить людей, с которыми надо встретиться, думаешь, как построить очерк или статью, а прибыл на место — все не так. Факты не подтверждаются, авторы письма смущены, конструкция, прорисованная в пути, валится.

Вот и сейчас отправился я на Ставрополье написать о первых шагах РАПО, поинтересоваться локальным вопросом: как работают с землей в одном из трудных районов? Разговоры оказались сложней, интересней, чем думалось в дороге. И увели меня в давнее и недавнее, далеко и близко от этой степи.

В памяти всплывали то залитые дождем окопы Миус-фронта; то споры с Лысенко из-за дубрав, не выросших в Сальской степи; вдруг виделся трактор, запряженный в плуг на минном поле и управляемый, вроде лошади, вожжами; первые палатки и снега казахстанской целины; потом Яшка, отправленный на колбасу; темень среди дня в черную бурю; злосключения Золотарева...

Но расскажу все по порядку.

1

Совсем еще молодой, в здешних местах недавно, первый секретарь Шпаковского райкома партии Александр Егорович Селиванов сразу после майского Пленума стал замечать, как приосаниваются председатели — тверже голоса, цепче взгляды — и, напротив, как сутулятся их вчера еще всеильные партнеры, притихают в споре, соглашаются даже с тем, против чего недавно стояли горой. На бюро, собраниях, полевых станках возникали неожиданные вопросы, вносились противоречивые, а то и вовсе исключающие одно другое предложения. Перемены в настроении радовали. Но все ожидали итогов осени, чтобы точнее знать: с каких точек отсчета начнет свою жизнь районное агропромышленное объединение?

Когда все сосчитали, выяснилось, что только за 1981 — 1982 годы фонды хозяйственного назначения возросли в районе на 44 миллиона 500 тысяч рублей, или на 33,9 процента. Поставки техники и удобрений поднялись соответственно на 19 и 27 процентов. За это же время энерговооруженность каждого занятого в колхозах и совхозах увеличилась на 17,9, зарплата — на 15 процентов... Всего за два года!

А отдача? Задолжали государству много молока, шерсти, подсолнечника, овощей, плодов, картофеля... Рентабельность хозяйств, входивших в РАПО, снизилась с минус

18,1 до минус 33 процентов. Убытки составили больше 20 миллионов рублей. Вот уж **поистине** в долгах, как в шелках.

Это про колхозы и совхозы. У партнеров же все оказалось, как всегда, в полном, по местному выражению, абажуре. Прибыли! Тепло, светло, уютно... Нигде комар носа не подточит.

Тут нужны были меры кардинальные. Новая стратегия и новая тактика. Начали с ломки стиля в самой работе: полное доверие руководителям хозяйств и специалистам, **никаких** уполномоченных по проведению кампаний из райцентра не посылать, перекрыть поток бумажных указаний, от понедельника до пятницы ни один человек не может быть вызван в инстанции, бывшие накачки заменить семинарами на местах, рабочие совещания проводить кратко и только в субботу, совету РАПО собираться раз в месяц для обсуждения самых принципиальных проблем...

В объединение вошли 13 из 22 колхозов и совхозов. Как видим, не все. Не вступили три предприятия Птицепрома, два звероводческих хозяйства — одно осталось за Министерством сельского хозяйства РСФСР, другое за Роспотребсоюзом. Хозяйства научных учреждений — их 5 — тоже не стали членами РАПО... Словом, на первых порах с 13 колхозами и совхозами объединились Сельхозтехника, Сельхозхимия, Межколхозстрой, городской молочный завод, передвижные мехколонны, Райпотребсоюз, хлелоприемные предприятия, Межлесхоз, ветеринарная станция, ветлаборатория...

И все же объединение получилось внушительное. Перво-наперво здесь занялись формированием централизованных фондов, чтобы, не распыляя средства, работать на перспективу, быстрее вводить в строй то, что годами не поднималось выше фундаментов. Стали отчетливее проступать многие прорехи. Самой большой из них был откорм крупного рогатого скота. В свое время на паях его сосредоточили в откормсовхозе № 1, принадлежавшем Скотопрому. На деле получилось так, что колхоз вез сюда не только бычка, но и концентраты для него, травяную муку, зеленую массу, сено и даже солому. Что касается Скотопрома, то он не давал совхозу ни средств, ни материалов. Те бычки томилась тут осенью и зимой под открытым небом, барахтаясь по брюхо в грязи. Какие уж тут привесы? К весеннему теплу и зеленой траве «отвес» стада достигал 150 тонн.

Велся откорм не то что без прибыли, а давал убытки. Делить пайщикам было нечего. Конфликт следовал за конфликтом. Идет председатель в управление сельского хозяйства, а оно беспомощное, влиять на Скотопром власти не имеет. Дорога одна — в райком партии, и речи одни: «Найди, дорогой товарищ первый секретарь, управу на этих захребетников».

С упразднением «прома» знающие специалисты отправились в совхоз не просто зафиксировать недостатки, а найти систему мер для прибыльного откорма. На поверку оказалось, что если перестроить структуру посевных площадей, оказать помощь в строительстве, то на тех же площадях можно выращивать в достатке все корма и за год откармливать 4700 голов скота.

Так оно и обернулось потом на деле — корма своим бычкам колхозы не возят, а прежний «отвес» превратился за первую же зимовку в 150 тонн привеса. Раньше совхоз должен был продавать по 600 тонн зерна. Теперь эти тонны взяли на себя пайщики, а совхоз меняет свой хлеб на комбикорм. Выиграли все, начали считать не убытки, а прибыли. И вот почему.

Те же дотошные специалисты, которых освободили от текучки и сочинения справок, сосчитали, что в среднем за год район забивает на мясо до 2500 телок, не давших приплода. Последовало предложение не отправлять телушку на мясокомбинат, а отдать в совхоз № 1, откормить, получить телят, выпойить, поставить бычка на откорм, а молодую корову, если хорошо доится, вернуть на молочную ферму, если плохо — забить.

Что это дало? Ни много ни мало, а до 1500 тонн дополнительного мяса в год. Резерв? И какой!..

Потом совет объединения начал «выяснять отношения» с химиками. Дело в том, что из края по старой привычке им довели план в тоннах. РАПО это не устраивает. Объединение требует, чтобы Сельхозхимия в новых условиях, как здесь говорят, «комплексно ремонтировала поля, отвечала за конечные результаты». Начинать эту работу надо было перво-наперво с паровых полей — 7500 гектаров! — которые свободны все лето. Причем заправить удобрениями так, чтобы растениям хватало основной пищи: в восьмипольном севообороте на восемь лет, пока ниве опять дадут отдых.

Химики упирались — при двойном подчинении не выберешься из-под двух огней, — но с советом РАПО не считаться не могли, вынуждены были кооперироваться с хозяйствами и вместе ремонтировать истощенные поля.

На 1983 год Шпаковскому району уже не диктовалось, сколько, когда и чего сеять. Был только заказ на продукцию, а это меняет ситуацию. Раньше сюда спускали команду: занять зерновыми 56 тысяч гектаров. 50 процентов пашни! При такой структуре подсолнухи возвращались на исходные поля не через восемь лет, а через пять-шесть. Пшеницу по пшенице сеяли два, а то и три года кряду. Отсюда болезни, низкая урожайность.

Площадь под зерновыми здесь не просто сократили, а основательно пересмотрели структуру их посевов. Больше места отвели кукурузе, ячменю. Что касается главного богатства ставропольских степей — озимой пшеницы, то ее решили размещать по паре, горожу, эспарцету, люцерне, обогащаящим почву дефицитным азотом.

Сколько же поколений агрономов, председателей колхозов, зоотехников, директоров совхозов мечтало об этой поре! Прятали люцерну за пшеницей, пары выдавали засеянными. Наживали инфаркты, получали выговора, а берегли как могли землю, понимая, что у нее суровая память, что ее не обманешь.

У их преемников руки теперь развязаны. Из краевых инстанций в район вскоре приехали 14 специалистов. Увяли былые красноби, виднее стали те, кто действительно знает дело. Каждый специалист рабочего аппарата РАПО не менее двух-трех дней в неделю проводит в хозяйствах. Молодые называют все это сменой составов по ходу игры, ветераны — боем с марша. Но и те и другие пристально оглядываются в прошлое, чтобы сделать выводы из ошибок, благих и не благих намерений, яснее представить день завтрашний.

— Помните большое совещание в ЦК партии восемнадцатого апреля восемьдесят третьего года? — раздумчиво говорил Селиванов. — Там прямо отмечалось, что надо обеспечить устойчивость земледелия, переходить на зональные системы. Да, они разработаны практически повсеместно, но внедряются медленно, рекомендации ученых и специалистов годами лежат на полках, а земледелие ведется по старинке. Это ведь и про наш район. Что называется, не в бровь, а в глаз. Пора капитально заняться землей...

Потом, знакомясь в управлении сельского хозяйства с залежавшимися бумагами и просто глядя на эти места из окна машины, я не раз вспоминал легенду, услышанную от старого украинского писателя Александра Елисеевича Ильченко: «Когда землю первый раз пахали, то по бороздам текла кровь. Всевышний в своем заоблачном далеке услышал мольбу земли и сказал: терпи, в том твое предназначение».

Легенда легендой, но вот горькая статистика. С 1871 по 1895 год, когда в ставропольских степях площадь распашки с 15 процентов возросла до 30, было всего 4 пыльных бури. С 1896 по 1920 год (за такой же период) припахали еще 10 процентов земель, и пыльные смерчи бушевали уже 6 раз. За последующие двадцать четыре года (1921—1945) дополнительно распашали всего 5 процентов — бури случились 7 раз. С 1946 по 1970 год плуг властвовал на 70 процентах пахотнопригодной площади. А плата? Было 14 пыльных пожаров. В 1969-м здесь полностью погибло 758 тысяч гектаров озимых, выдуванию подверглось почти два миллиона. На следующий год последовал новый удар. Буря вымела 300 тысяч гектаров. Во многих местах сорвало весь пахотный слой. До гальки! До глины!..

Пыльные пожары полыхают и поныне, хотя в разной степени. Нет никакой гарантии, что катаклизм 1969-го не повторится. А ведь, кроме эрозии ветровой, не прекращается и водная. Протяженность овражно-балочных систем в Шпаковском районе достигла угрожающих размеров — 1319 километров. Из них более 200 километров появилось за пять последних лет. В этом районе почти 100 тысяч гектаров эродированных почв. Расположенный на склонах Ставропольской возвышенности, этот район очень разнообразен как по рельефным, почвенным, так и по микроклиматическим условиям.

В 1955—1965 годах здесь было распашано много склоновых земель. Площади под пропашными культурами необоснованно расширили до 33 процентов. Наполовину урезали многолетние травы. Из-за того, что гигантские площади озимых не успевают ко времени засеять, только треть их уходила в зиму раскустившимися и могла ук-

рыть землю. Остальные поля, особенно отвальная зябь, становились и являются пони-не очагами ветровой эрозии.

Сильнее других пострадали в буревые 1969-й и 1970-й колхозы имени Свердлова и имени Ленина. Они практически не получили урожая ни озимых, ни яровых культур. На отдельных полях выдуло слой почвы от 10 до 20 сантиметров. И сегодня в колхозе имени Ленина за лесными полосами лежит 3 миллиона кубометров плодородного мелкозема, снесенного с полей. Протяженность этих валов — почти 30 километров, ширина до 50 метров. Потребуются огромные средства, чтобы вернуть землю земле.

Как все это увязывается с требованием партии о бережном отношении к природе? С задачей, которая выдвигается и на двенадцатую пятилетку? Нет, никак не увязывается. А идти можно только этим курсом. Другого не дано.

2

Давно сказано и многократно повторено: если трактор тащит за собой не только сеялки, но и шлейф пыли, то надо бить тревогу. А как же без пыли? Она ведь образуется еще при вспашке, из-за чего степь потом и полыхает черным огнем. Верно, здесь повинен отвальный плуг, особенно современный со своими всесокрушающими лемехами. Я не раз в своих статьях и книгах обрушивал на плуг гневные филиппики. Но только ли от плуга страдает земля?

Чтобы получить ответ на этот непростой вопрос, из космоса через особые светофильтры сделали снимки опытного участка, обработанного без плуга, только противозерозионными орудиями. Проявили пленку, сделали отпечатки и ахнули — пыль лежала на каждом гектаре десятками тонн, будто здесь работала дьявольская мельница. Откуда? Ведь пыль здесь не могла образоваться! Однако была.

В свое время великий русский ученый В. И. Вернадский назвал почву биокосным телом, обозначив так биологическую структуру, расположенную промежуточно между живой и мертвой природой. Но как трактовать это слово «косное»? Невосприимчивое, приверженное к привычному, неподвижное, инертное?.. Если так, то обидно за почву. Животворящая, питающая, она не механический конгломерат инертных частиц. В каждой граммe почвы живет около 100 миллионов микроорганизмов, бесчисленное множество не зримых глазом беспозвоночных, личинок... В почве непрерывно идут процессы обмена, вершится одно из сложнейших таинств природы — круговорот веществ.

Мы ходим, ездим, давим и крошим по живому и живое, ибо неживое родить не способно. Вернадский превосходно знал это, и его термин более многогранен, чем кажется с первого прочтения, ибо слово «косная» по отношению к почве может означать также молчаливая, безгласная, беззащитная.

Если бы мать наша земля имела голос, она бы сегодня уже не стонала, а кричала от боли, которую мы, наделенные разумом и титулом властителей природы, причиняем ей. Что такое, скажем, годовой проход по полям наших тракторов? Примем во внимание машины тяжелее 2,5 тонны. Их у нас сегодня больше двух миллионов. Если сложить кромка к кромке колеи их шин и гусениц, то ширина такого непрерывного макси-следа составит величину в 1652 километра. Примем, что тракторы движутся по полю 400 часов в год со средней скоростью 4 километра в час. Вот и получается, что площадь, покрываемая следами ходовых систем, составит 264,5 миллиона гектаров. Это на 38,5 миллиона гектаров больше всей пахотной земли нашей страны!

Мы взяли для расчетов лишь тяжелые тракторы. А ведь, кроме них, поля бороздят и более легкие, и комбайны, и грузовики с прицепами и без прицепов, тележки. Всего на поля за сезон наваливается более 6 миллионов всевозможных ходовых систем плюс свыше 15 миллионов разных других орудий и устройств, имеющих по два или по одному колесу. Каждая пядь пашни за сезон как минимум 2, а в среднем от 3 до 5 раз подвергается действию ходовых систем. Если учесть, что, например, один трактор «Беларусь», работая на сухих фонах, образует на каждом гектаре по 13—14 тонн пыли, то станет понятно, почему и без черных бурь ежегодно сносятся миллиарды тонн плодородного слоя.

Названные выше 13—14 тонн пыли на гектаре — это еще цветики. Ягодки особенно быстро вызревают на торфяниках. Здесь трактор оставляет после себя на гектаре 350 тонн пыли.

На координационном совещании по воздействию ходовых систем на почву, которое проходило в 1983 году в Мелитополе, известный белорусский ученый А. М. Кононов рассказывал, как быстро иная тракторная колея превращается в промоину, затем в канаву и дает начало еще одному оврагу. Еще раньше мне запомнились слова главного агронома Целиноградского района Ю. Захарченко о том, что колеи, оставляемые двенадцатитонными «Кировцами», не удастся заделать потом никакими орудиями. «Поэтому стараемся все предпосевные работы выполнять только гусеничными тракторами. В результате увеличивается влагообеспеченность, снижаются потери урожая из-за переуплотнения». В технической литературе уже появился термин «машинная деградация почвы», сокращенно МДП. Так наречен комплекс вредных последствий массивного воздействия на нее ходовых систем и рабочих органов почвообрабатывающих орудий. Сюда входят переуплотнение и истребление почвенных микроорганизмов, нарушение структуры, снос перемолотой земли водой и ветром. Только из-за переуплотнения, по словам вице-президента ВАСХНИЛ В. А. Кубышева, урожай зерновых снижается на 20 процентов, бесполезно расходуется до 40 процентов минеральных удобрений и 18 процентов горючего.

В Благовещенском сельхозинституте подсчитали, что один трактор «Т-150К», возделывающий сою на 500 гектарах плантации и снижающий из-за переуплотнения урожай только на десятую часть, наносит годовой убыток почти в 30 тысяч рублей. Эта сумма в 2,5 раза превышает стоимость самого трактора.

Подобные примеры приводить можно до бесконечности. Что касается общей картины в стране, то, по данным ВНИИ защиты почв от эрозии, в крайне опасном состоянии у нас находится 120 миллионов гектаров пашни — 53 процента. Ежегодно сносится 1,5 миллиарда тонн почвы, что равноценно утрате 180 миллионов тонн зерна.

Тут мне могут заметить, что Россия еще ковыряла землю сохой, а Америка вовсю пахала, что там есть тракторы и потяжелее наших оранжевых богатырей и не она у нас, а мы у нее покупаем зерно. Да, пока покупаем... Но вот слова фермера Эдварда Фолкнера из его сенсационной книги «Безумие пахаря», вышедшей еще в 1943 году: «Мы снабдили наших фермеров большим тоннажем машин на человека, чем любая другая нация. Наше сельское население стало использовать эти машины так, что почва разрушается у нас гораздо быстрее, чем это делается у любого другого народа. Вряд ли можно этим гордиться». Машинная деградация почвы получила глобальный характер, а опыт США показателен в том смысле, что природа капиталистического способа производства, его сущность проявилась и в отношении к почве. Потребность постоянно наращивать прибыли, создавать все более сложную технику привела к преувеличению роли универсальности трактора, совмещению в одной машине пахаря, автомобиля и укладчика асфальта. В США колесных тракторов 97 процентов! А они, как известно из практики, создают пыли в 3—4 раза больше гусеничных.

Америка долго задавала тон в мировом тракторостроении. Наши специалисты тоже рассуждали в том духе, что капиталисты, мол, умеют считать деньги и знают, какие направления развивать в технике. Тем не менее сверхрасчетливые янки часто поступают близоруко и потом дорого расплачиваются за ошибки. Яркий пример тому пшеничный бум, который кончился катастрофическим пылевым котлом. Интенсивная распашка, сев хлеба по хлебу истерзали почву, ветер поднял ее с такой силой, что не только перемело железные дороги, засыпало фермы, но завалило даже городские крыши. Фермеры бежали от этого бедствия как от чумы. А те, что переселились в США из России и Украины, вспомнили непризнанного агронома Овсинского, восставшего против плуга еще на рубеже XIX и XX веков, и перестали пахать. За тем опытом наши специалисты ездили потом за океан, чтобы спасти закурившиеся поля целины.

На выездной сессии ВАСХНИЛ вот тогда-то, в начале 1969 года, слова попросил донской агроном Прокофий Золотарев. Свое выступление он начал так:

— Чтобы получать высокие урожаи пшеницы, землю не надо ни пахать, ни дисковать, ни культивировать, ни бороновать, ни лущить, ни прикатывать. Надо только сеять и убирать урожай.

В зале раздался смех, затем иронические аплодисменты. Собственно, эти аплодисменты и заставили Золотарева уйти с трибуны, не закончив выступления. Но прежде чем вернуться на свое место, он, повернувшись к президиуму, задал один вопрос:

— Товарищи академики, доктора наук! Почему бывает сплошь да рядом так: пшеничное поле засорено осотом, молочаем, овсюгом, а рядом на целине — ни одной осотины, молочайны, овсюжины? Ведь семена этих сорняков разносятся на десятки километров. Значит, есть они и на целине. Так почему они все-таки не прорастают на почве нетронутой?

Быступлению Прокофия Тихоновича на сессии предшествовала многотрудная и долгая работа. Началась она со скандала. Нагрязнул в поле глава областного треста совхозов и ахнул — озимую пшеницу сеют прямо по стерне! В тот же день главного агронома хозяйства П. Т. Золотарева приказом по тресту с работы уволили, а материалы передали органам отнюдь не агрономическим — для привлечения к ответственности.

На суде один из народных заседателей резонно заметил, что разбирательство можно отложить до урожая, дабы «не упечь человека ни за что ни про что». На это Золотарев ответил: раз, мол, тут сидят люди, разбирающиеся в хлеборобском деле, то можно рассудить и по всходам. Комиссия выехала в поле. В двадцати местах кидали шапку и там, где она падала, считали среди жухлой стерни пробивающиеся зеленя. Теперь пришла очередь ахать другим: полевая всхожесть составила по двадцати тем пробам от 92 до 97 процентов! Для знающего толк в таких делах тут хоть стой, хоть падай.

Перебрались на посев по «культурной вспашке». Опять двадцать раз кидали шапку — взошедших семян было где 50, где 80 из 100.

«Дело Золотарева» пришлось прикрыть «за несостоятельностью обвинения», но на работе Прокофия Тихоновича не восстановили. Стал он трудиться в другом хозяйстве, еще пять лет ставил опыты. Ни одно орудие, кроме плоскорезущей сеялки, сделанной самим агрономом, земли у него не касалось.

В сравнении с пахотным контролем прибавка урожая озимой пшеницы по годам образовала такой ряд: 4,1—5,5—7,7—20,4—13,3 центнера. В четвертый год выскочка в 20,4 центнера объясняется тем, что озимые тут повсеместно вымерзли и контрольный участок пересевали весной яровыми. А так как дождя с весны до 14 августа не было, то яровое даже не косили. Контроль дал, таким образом, только убытки, а урожая — нуль. Тогда как золотаревская озимь, пройдя через мороз и засуху, принесла ему все-таки почти 20,5 центнера зерна. Без дождя!

Это было еще дерзновенней, чем у агронома Овсинского, дерзновенней, чем у Мальцева. Чудо? Никакого. У Золотарева даже в жару «дождь идет под ногами», потому что сохранена естественная почва, она не распылена и не укатана колесами.

Еще И. Овсинский писал: «Дневная роса... осаждается обильнее в том слое почвы, температура которой более низкая, т. е. обыкновенно в более глубоких слоях, где господствует температура более или менее близкая к температуре погреба. Но так как нам нужна влага в верхнем более теплом слое, то поэтому необходимо, чтобы: 1) влага, осаждающаяся обильнее в глубине, могла свободно подниматься вверх, что возможно только тогда, когда почва капиллярна, и 2) чтобы почва достаточно энергично проводила теплоту, ибо тогда верхний слой будет иметь температуру более низкую и сам по себе сможет осаждать росу. Достигается это тем, что верхний 2-дюймовый рыхлый слой предохраняет почву от перегрева. Получается, таким образом, что почва здесь работает как насос, собирающий влагу как раз у корней».

Тут вроде все понятно, но вывод?

«Так как дождь не идет всякий раз, когда это желательно, то приверженцам глубокой вспашки остается только одно: беспомощно ждать дождя да жаловаться на хорошую погоду. Я применял новую систему, ...где засухи приносят очень много вреда, и, несмотря на это, я всегда был рад хорошей погоде, потому что мне не нужно было прерывать полевых работ, земля же всегда была настолько влажна, что можно было лепить из нее шарики».

Вот на этом-то фундаменте растил свои хлеба и Золотарев. В четвертый год опытов температура воздуха в донских степях поднималась до 40 градусов, земля

трескалась, а на опытном поле верхний слой не нагревался выше 23 градусов. Сорняки Золотарев не подрезал в предпосевные культивации, как это делали Овсинский и Мальцев. Во второй год опыта сорняков здесь было уже вдвое меньше. На третий осталось немного. С четвертого пропали вовсе. Отсюда и вывод Прокофия Тихоновича: 1) растения — как дикие, сорные, так и культурные — имеют общие объективные закономерности роста, питания и размножения, 2) утверждение о наличии каких-то особых преимуществ у сорной растительности по сравнению с культурной является ошибочным, 3) гибель открыто расположенных на поверхности почвы семян сорной и культурной растительности — объективная закономерность, 4) любая отвальная вспашка, проводимая после осеменения сорных и культурных растений до зимы, является одним из методов накопления семян.

Казалось бы, теперь переноси, агроном, все это в широкое производство, предьявляя свои опыты на суд ученых и руководящих инстанций. Не вышло. «Дикую» сельку Золотарева велено было переехать тяжелым гусеничным трактором. Сел за чертежи, чтобы сконструировать, раз уж так обернулось, другую, попросил помощи у конструкторов. Из ВНИИМЭСХ ответили на это: «С выводами Золотарева, отрицающего необходимость ряда операций по подготовке почвы, в частности вспашку, согласиться нельзя».

Пришло дальше действовать уже на маленьких делянках. Озимую пшеницу и ячмень «кубанец» он три года подряд размещал на одних и тех же местах по непаханой земле. За три года пшеница в пересчете на гектар дала урожаи: 39,6—43,8—58 центнеров. Ячмень: 32—38—51,4 центнера. Ну а потом была та сессия и тот конфуз. И еще было в перерыве знакомство Золотарева с тогдашним начальником зернового главка МСХ СССР И. И. Хорошиловым. Выслушал он агронома и заметил: не пришлось бы нам и за этим опытом ехать в Канаду, как ездили смотреть плоскорезы, стерневые сеялки и т. д. Но И. И. Хорошилов по возвращении в Москву запросил мнение о дерзком агрономе у Донского научно-исследовательского института сельского хозяйства и получил ответ: «При рассмотрении истории развития системы обработки сплошное рыхление с оборотом почвы, применяемое в настоящее время, он называет варварским земледелием и видит в нем основную причину снижения почвенного плодородия... Ранний срок сева яровых культур т. Золотарев считает анахронизмом и рекомендует сеять «в момент оживления природы». Тов. Золотарев категорически отрицает глубокую вспашку, в то время как с переходом на пропашную систему и расширение посевов кукурузы и свеклы размеры ее применения должны будут увеличиваться».

Вот этой бумагой и заслонились от Золотарева. Но к нему мы еще вернемся, и по повсуду еще более важному. А пока продолжим о тракторах.

По инерции погоня за лошадиными силами продолжается, растет масса тракторов, что приводит к повсеместному переуплотнению пахотных и даже подпахотных слоев почвы. В поисках выхода из положения сдваивают и страивают шины, чтобы увеличить площадь опоры, но это не спасает от переуплотнения и вдобавок пылят такие колеса еще больше. Тяжелые колесные тракторы за последние пятьдесят лет в США погубили, например, около 40 миллионов сельскохозяйственных угодий, еще на 40 миллионах смыто больше половины почвенного покрова. Эрозии здесь подвержено не 53, как у нас, а 75 процентов пашни. Расчеты показывают, что к концу века Америка потеряет еще не менее 20 миллионов гектаров угодий. Почвоведы предупреждают стране в первую очередь падение урожайности, а через десять лет — нехватку плодородных земель более острую и тревожную, чем энергетический кризис. Уже сейчас с пелей и лугов здесь выдувается и уносится с водой питательных элементов больше, чем потребляют растения и пасущийся скот.

США не считаются с этим и экспорт зерна используют для политического давления на другие государства. Бывший министр сельского хозяйства Дж. Блок откровенно говорил: «Я думаю, что продовольственное оружие — самое мощное оружие которого мы располагаем сегодня. Так будет и в течение ближайших двадцати лет, пока другие страны будут зависеть от Америки в отношении своего питания».

Есть, конечно, за океаном и интересный опыт. Особенно в улучшении условий труда человека, сидящего за рулем или рычагами. Там к примеру широко переходят на прицепные комбайны. Двигатели наших самоходов работают 30 дней в году а 11 месяцев являю собой мертвый капитал. Пока мы клепаем отвальные плуги, в

Штатах создали прекрасную машину для поверхностного рыхления полей. Создали и великолепную сеялку точного высева. У нас решение о создании подобной конструкции уже лет пятнадцать пылится в архивах Минсельхозмаша. Серийными рядовыми сеялками мы бездумно валим в землю до трех центнеров пшеничных семян, ошибочно полагая, что «запас» поднимет урожай, а он падает. Американцы так густо не сеют. Эффекта они достигают разумным распределением растений по площади питания.

Но вот ошибки в тракторостроении мы упорно продолжаем копировать. В результате почва стала ареной, где столкнулись два крупных процесса. Один — нарастающие дозы удобрений, все более интенсивные сорта, мелиорация. Другой — расширяющиеся последствия машинной деградации почвы. Вот почему так медленно растут или застыли на одном месте урожай, не дают проку удобрения, влага не впитывается почвой, а скатывается грязевыми потоками. Причина тому теперь не столько в химических, сколько в физических характеристиках почвы.

Ведущие наши почвоведы и специалисты по ходовым системам пришли к единому мнению: если в ближайшее время не будут приняты кардинальные меры, то машинная деградация почвы приведет сначала к частичной, а затем и к полной абиотичности ее, то есть к омертвлению.

Означает ли это, что тракторы, и в первую очередь колесные, надо немедленно прогнать с поля? Конечно, нет. Не будь у нас теперешних 2,6 миллиона этих машин, мы не имели бы хлеба насущного. Другое дело, что агронома уже не могут удовлетворить созданные по устаревшим и ошибочным зарубежным меркам ходовые системы. Они должны быть агрофильными — почволюбивыми, — обладать комплексом качеств, исключающих переуплотнение и растрескивание комьев в пыль, не допускать повреждения травостоя на лугах и пастбищах.

В нашей стране уже пробовались первые машины с агрофильными ходовыми системами — пневмокатковый вноситель удобрений, опытные пневмогусеничные тракторы «Эврика», «Руслан», «Прометей», обутые в легкие резиновые «лапти». Кроме этого, на смену колесным тракторам скоро придут многоосные и многоопорные машины. Наибольшие изменения коснутся конструкции самих колес, ибо нет сейчас у поля более опасного врага после плуга, чем десятки миллионов тракторных, комбайновых и автомобильных шин. При конструировании их не учитывают требований сохранения плодородия, все усилия отдаются, как и прежде, отвлеченно-рекордным показателям тяги. Но ведь тяга, которая уничтожает землю, антисоциальна, и если колесо вредит хлебу, то не нужны ни это колесо, ни нормативы, по каким его делали. Наиболее несовершенны в этом отношении грузовые автомобили. Даже комбайны так не душат почву, как заезжающие на поля с удобрениями самосвалы, а в жатву — грузовики с прицепами. Автостроители отмахиваются от жалоб агрономов, а когда их припрут к стенке, то в качестве особого успеха указывают, что «уплотняющее и разрушающее давление уменьшено до уровня этого воздействия колесных сельскохозяйственных тракторов». Сейчас создаются новые грузовики, предназначенные двигаться рядом с комбайнами завтрашнего дня. И тут встает вопрос: можно ли допустить, чтобы машины, которые будут работать в тринадцатой и четырнадцатой пятилетках, продолжали разрушать поля? Ведь пыль, снятая из космоса, была образована именно колесами.

Завидную дальновидность в этом направлении проявили Всесоюзный НИИ торфяной промышленности и ленинградское производственное объединение «Красный треугольник». Они создали пневмогусеничный движитель к трактору «К-701». Эта конструкция полностью реабилитирует наш самый большой трактор. Кроме движителя, сделан большегрузный самосвалный прицеп с кузовом объемом в 40 кубометров. Он при таких внушительных габаритах не трамбует землю и позволяет вывозить удобрения прямо на поля. Белорусский политехнический институт и «Красный треугольник» создают пневмогусеничные движители к «Ниве», новому рисоуборочному комбайну и ряду других машин. Словом, задел есть, но он пока невелик, с ним не решить проблем, вызванных машинной деградацией почвы. Здесь нужна целевая комплексная программа, объединяющая воедино усилия почвоведов, экологов, агрономов, агрохимиков, мелиораторов, конструкторов почвообрабатывающих орудий и ходовых систем.

Задача сохранения почвы и наращивания плодородия затрагивает сферы многих ведомств, она неразрешима в рамках какого-либо одного министерства, а тем более района. Здесь, на местах, приходится действовать подручными средствами, чтобы на первых порах хоть притормозить разрушение почвы.

3

В Шпаковском районе после всесторонней оценки состояния владений решили специализироваться на производстве животноводческой продукции. Ученые и специалисты по защите почв рекомендовали совету РАПО организовать для этого 9 узкоспециализированных предприятий. Производство мяса птицы и яиц предложили сосредоточить на трех птицефабриках, размещенных на землях с расчлененным рельефом. 55 процентов говядины, показали расчеты, может поступать из откормсовхоза № 1, расположенного на недоразвитых эродированных почвах. Производство семян зерновых сосредоточили в опытном хозяйстве «Михайловское» и в колхозе имени Чапаева, имеющих земли с незначительным уклоном. Семена бобовых и злаковых трав предусматривали выращивать в совхозе «Верхнедубовский», чьи поля наиболее сильно подвержены влиянию эрозии.

По новой структуре зерновые заняли 43, технические — 5,5, а кормовые — 40,8 процента площадей. Почему пропашные зажаты до 6,7 тысячи гектаров? Да потому что эта максимально возможная площадь для размещения их посевов на участках с крутизной не более трех градусов. Посей больше — смочет, как уже смывало не раз.

Комплекс почвозащитных мероприятий здесь включает в себя почвозащитную организацию территории, почвозащитную технологию возделывания культур, лесо- и гидромелиоративные работы. Пока здесь преобладает прямоугольная организация территории, при которой длинная сторона полей направлена поперек господствующих восточных ветров. По мысли вроде правильно. Но делалось это без учета рельефа. Такой подход, вполне оправданный в равнинных условиях, на склоновых землях вызывает бурные стоки ливневых и талых вод.

Для преодоления совместного действия ветровой и водной эрозии предложена новая модель контурно-полевой организации угодий. На основе топографического плана выделяются водосборные участки, однородные по крутизне и экспозиции склона, почвенному покрову. Но мешает сложившаяся сеть искусственных рубежей — дороги краевого и районного значения, границы хозяйств, которые не ты проводил, полезащитные полосы, не тобой посаженные.

Продумали обмен участками между землепользователями: колхоз имени Ленина предложил совхозу «Дружба» Изобильненского района взять у него 100 гектаров, а он получит столько же неподалеку, чтобы обоим соседям лучше организовать свои владения. Колхозу имени Свердлова и совхозу «Заозерный» предстояло обменяться 250 гектарами...

На первом этапе переустройству намечено подвергнуть 32 тысячи гектаров угодий. 80 процентов севооборотов здесь будут носить почвозащитный характер — включение многолетних трав, полосное размещение, промежуточные посевы. Все это заставит механизатора впредь работать как бы зигзагами, поперек склона, а не пахать по прямой от неба до неба. Тут ничего не попишешь — другого пути не дано. Размещать пары надо полосно, ибо они в наибольшей степени подвержены обеим эрозиям: смыв достигал в районе 150—200 тонн с гектара за один ливень. В науке такие факты называют катастрофическим разрушением почвы.

У шпаковцев под лесными полосами было занято 2,7 тысячи гектаров — 2,2 процента к площади пашни. Решили, что на первом этапе надо иметь вдвое больше. Кроме горизонталей, предстоит сажать деревья вокруг балок и оврагов, водоемов, ферм. Перед вершинами оврагов предстоит соорудить водозадерживающие валы, распылители стока. На склоновых землях вырыть канавы для отвода воды, чтобы не порождать новые овраги. Планируются также работы по устройству прудов, водосборов, плотин в устьях оврагов и балок. Как видим, молодому Шпаковскому РАПО на первых порах было что взять с поля и переложить на свои пострадавшие поля. И не только ему.

Та статистика, которую я приводил по Ставропольскому краю, ничуть не лучше у соседей — краснодарцев и ростовчан. В начале бурового 1969 года я бродил в пылевом армавирском коридоре, натянув на голову полиэтиленовый пакет. По дорогам, занесенным черными сугробами, днем мы ездили с зажженными фарами. Видел, как до верхушек заносило лесополосы, как бульдозерами откапывали фермы.

В Ростове поразился цифре. При наложении карт послевоенных аэрофотосъемок на современные выяснилось: длина овражно-балочных систем увеличилась только по правобережью Дона более чем на 7 тысяч километров!.. Летя солнечным безоблачным

днем из Москвы в Волгоград, глянул я на изъеденные оврагами берега и оцепенел: это страшнее воронежских и днепровских овражных систем, не раны на теле земли — уже метастазы.

А ведь когда-то все здесь было не так... После ледниковой поры холода отступили к северу, сверкавшие под солнцем ледниковые языки, упиравшиеся в Крым и устье Дона, растаяли, и на месте нынешних таврических и донских степей распростерлась неоглядная тундра. Она-то и положила начало нашим степным пространствам. Природа творила здесь почву, чтобы укрыть некогда мертвую породу одеялом, стеганным травами и лесами.

К новым условиям приспособились не успевшие перебраться на север олени, каспийский тюлень и лососевые рыбы. К высоким широтам переселились хвойные деревья, песцы, белые куропатки... Пониже воцарялись царственные дубы и грабы, а еще южнее — травы. Здесь, в умеренно теплой и влажной степи, отмирая, они творили наилучшие в мире почвы, имя которым на всех языках и наречиях — чернозем.

Удачный водный режим, не палящее, а достаточное тепло, благодатные тихие дожди, частые туманы позволяли развиваться пышной, сочной растительности. Она не перегорала по осени, осыпав травы, а медленно прела, укрыв степь мягкой, но плотной подстилкой, которая постепенно разлагалась снизу, превращалась в черный жирный перегной. Лучшие наши черноземы залегали в глубину на 100—110 сантиметров. Если учесть, что голоцену¹ десять тысяч лет, то выйдет: на создание сантиметрового слоя чернозема природе требовалось примерно сто лет.

В Париже есть Международное бюро мер и весов, где — все это знают — при постоянной температуре под стеклянным колпаком хранится эталонный метр. Но мало кому известно, что там же хранится и кубический метр русского чернозема, привезенного из-под Воронежа в качестве эталона для оценки качества почвы. Плодородные равнины есть на всех континентах планеты — это степи Европы и Азии, саванны Африки, Австралии, прерии Северной и пампы Южной Америки. Самые лучшие свои земли венесуэльцы называют льянос, бразильцы — кампос. Но наиболее точным мерилом остается оценка: в какой степени они приближаются по своим достоинствам к кубу того чернозема. Именно приближаются, ибо превзойти его нельзя. И поныне там, в Каменной степи, оберегается участок земли в том виде, в каком она была с изначальных своих времен. Не просто любопытно, а весьма поучительно рассмотреть естественный срез той почвы, рассмотреть и глубоко задуматься.

Вот колышутся на ветру серебряные нити ковыля. Разгреби его — и увидишь в приземном слое недавно отмершие травы. Живые и мертвые стебли, корни растений образуют как бы плотный войлок, или, как его еще называют, дернину. Под нею толстым пластом лежит маслянистый и темный перегной. Чем глубже он, тем черней и смыкается с материнской своей основой.

И как озарение приходит: боже, да ведь это же страница за страницей перед тобой лежит история целых десяти тысячелетий земли! Как же было мучительно трудно первым прапраарастениям уцепиться за каменистый грунт, дать проростки, неброско отцвести и увянуть, чтобы оставить после себя крупницу плодородного перегноя — гумуса! С него начиналась в земле жизнь многосложной почвенной флоры и фауны. Через отверстия от перегнивших корней сюда все глубже проникали тепло, вода, воздух, черви, насекомые, в доступную для усвоения форму переходили химические элементы подстилающей породы... Да это же подземная кладовая солнца и всепланетарной атмосферы. И сегодня растения берут из почвы для своего формирования лишь десятую часть строительного материала, все остальное дает небо. Но как важна та десятая часть!

Тучные черноземы до распашки и хищнической перегрузки содержали 8—12, иногда 16 процентов гумуса, а это 700 и более тонн на одном только гектаре. Поэтому В. В. Докучаев утверждал: «...нет таких цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь... нашего русского чернозема».

К концу прошлого века не только не стало травяных лесов — лучшие черноземы были распаханы, скудели. Но еще не все было потеряно. «Однажды взволнованно, с непокрытой головой вы пройдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной

¹ Последний этап четвертичного периода, продолжающийся и сегодня.

степи, где махитовые стены — деревья, а крыша — ослепительные, рожденные ими облака». Эти проникновенные слова принадлежат перу Леонида Леонова, а написаны они о крае, где в 1891 году разразилась жесточайшая засуха, которая охватила черноземные губернии России, Поволжье, Украину... Тогда голодали более 35 миллионов крестьян.

Такая «крайняя пагуба», по выражению В. Короленко, встревожила лучшие умы государства, ее приняли близко к сердцу Л. Толстой, К. Тимирязев, А. Чехов, Д. Менделеев... Следующей весной в знойную, уже изрезанную глубокими шрамами — оврагами Каменную степь и прибыла первая подлинно комплексная экспедиция специалистов во главе с профессором Петербургского университета В. В. Докучаевым «по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйств в степях южной России».

Проработала экспедиция здесь только четыре года, затем лесной департамент не считал нужным выделять «дальнейшие ассигнования», несмотря на то, что в результате хищнической эксплуатации почв, массовой их распашки, вырубки лесов мелели реки, падал уровень грунтовых вод, а недороды грозили повторяться все чаще. В этой обстановке горстка энтузиастов вопреки позиции чиновного Петербурга и косности многих ученых-коллег успела совершить подвиг, до сих пор поражающий размахом, мудростью и дальновидностью, подвиг, зримо показавший людям, как надо обращаться со своим богатством — землей, хранить и приращивать ее хлебородную силу.

Главным в борьбе с засухой и эрозией почв Докучаев считал лесные полосы и пруды. Первопроходцы-исследователи создали в Каменной степи систему защитных лесонасаждений, облесили балки и овраги, создали пруды и водоемы. Все это превратилось в уникальный оазис — рукотворную лесостепь, где коренным образом изменился микроклимат, а урожаи стали гарантированными.

...Середина осени, а дни стоят удивительно ясные, теплые и безветренные. Мы ездим и ходим по Каменной степи, раскинувшейся на водоразделе живописных рек Битюга и Хопра, и любуемся мощными полосами леса, останавливаемся у затянутах зеленым покрывалом когда-то глубоких, мрачных оврагов, приветливо сверкающих прудов. Особое чувство вызывают здесь у каждого уникальные памятники природы — заповедные столетние залежи, где бережно сохраняется все, что росло в степи многие века назад.

Но это оазис. Общая же картина остается тревожной. Из-за неразумного хозяйствования плодородие почв катастрофически рушится. В центральночерноземных областях полей, которые содержали бы не то что 16, а даже 13—10 процентов гумуса, не осталось. А их-то было почти 3 миллиона 600 тысяч гектаров. В конце прошлого века пашни с 10—7 процентами гумуса насчитывалось почти 8 миллионов гектаров — осталось чуть больше трех. Почв с 7—4 процентами гумуса набралось 4 миллиона, а теперь уже 11. Площадь черноземных полей, имевших 4—2 процента гумуса, возросла на 35 процентов, а с содержанием гумуса 1—2 процента почти в 4,5 раза. В подавляющем большинстве районов зоны черноземные почвы, имеющие около 2 процентов «чистого элемента», по плодородию уже приравниваются к подзолам, которые во время работы экспедиции В. В. Докучаева встречались лишь отдельными, очень редкими пятнами.

Уже тогда Докучаев писал: «Огромная часть (во многих местах вся) степи лишилась своего естественного покрова — степной, девственной, обыкновенно очень густой растительности и дерна, задерживавших массу снега и воды и прикрывавших почву от морозов и ветров; а пашни, занимающие теперь во многих местах до 90% общей площади, уничтожив свойственную чернозему и наиболее благоприятную для удержания почвенной влаги зернистую структуру, сделали его легким достоянием ветра и смывающей деятельности всевозможных вод».

Его волновало, что создавшаяся в степи ситуация даже при сохранении прежнего количества осадков должна была неминуемо вызвать обострение почвенных и атмосферных засух, понижение уровня грунтовых вод, оскудение источников, что начался уже «энергический, все более и более увеличивающийся смыв плодородных земель со степи и загромождение речных русел, озер и всякого рода западин песком и иными грубыми осадками». «...в таком надорванном, надломленном, ненормальном состоянии находится наше южное степное земледелие, уже и теперь, по общему признанию, являющееся биржевой игрой, азартностью которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться». Подводя итог своим наблюдениям, Докучаев

писал: «...само собой, разумеется, что так дело продолжаться не может и не должно; никакой даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить таких бедственных случайностей, какая выпала в настоящее время на долю России. Безусловно должны быть приняты самые энергические и решительные меры, которые оздоровили бы наш земледельческий организм».

Как все это виделось сделать, какие предпринять меры, Докучаев обстоятельно изложил в своей книге «Наши степи прежде и теперь», где намечалась конкретная программа перехода от экстенсивного земледелия к интенсивному, являющемуся одновременно и природоохранным. Сюда входили не только более совершенная обработка полей, внедрение севооборотов, надежных сортов, но еще и управление обрабатываемыми почвами путем воздействия на ландшафт самой степи: регулирование как поверхностного, так и грунтового стока, борьба с эрозией, защитное лесоразведение, посадки деревьев и кустарников на песчаных массивах, завражных склонах, орошение речными, паводковыми и артезианскими водами.

Кочковатая тундра не вдруг превратилась в донские, калмыцкие, таврические или заволжские степи. На этих сильно увлажненных растаявшими льдами пространствах сначала разрослись могучие леса. Они шумели под ветром от Каспийского моря до Черного. Но вот запасы обильной влаги пошли на убыль, леса выкачали ее в атмосферу, климат становился суше, жарче, и леса шаг за шагом отодвигались и уступали место травяной растительности. Деревья здесь сохранялись по берегам рек и озер, в низинах, на горных склонах. Это были самой природой созданные водоохранные зеленые массивы, где лес и степь соседствовали в прекрасном сочетании. Но с массовой распашкой под топор ушли те боры и куртины, оголились предгорья и горы. Вот почему и сегодня исключительно важно предложение Докучаева о выработке «норм, определяющих относительные площади пашни, лугов, леса и вод; такие нормы, конечно, должны быть соображены с местными климатическими, грунтовыми и почвенными условиями, а равно и с характером господствующей сельскохозяйственной культуры и пр.».

Такой опыт к тому времени уже был. Еще по указанию Петра Первого под Таганрогом посадили рощу «Дубки». Затем, уже в XIX веке, заложили лесные полосы и леса для защиты полей в ряде других мест черноземной степи. Известные получили примеры успешного укращения оврагов облесением и постройкой простейших гидротехнических сооружений. Кое-где практиковалось и лиманное орошение.

К числу таких «счастливых островов» в безбрежном море экстенсивного земледелия относился и хутор Трудолуб неподалеку от Полтавы. Здесь В. Я. Ломиковский вел древопольное хозяйство, которое, по его определению, «...есть и самое привлекательное, и самое близкое к природе, потому, что здесь человек, засевая землю настоящим хлебом, на одном и том же месте извлекает сугубые пользы и от дерев лесных и плодоносящих, так, чтоб зернистые класы и цветные травы могли в свое время озлащаться теплым светом солнечным, а порой прикрываться прохладною тению дерев, умножающих сребристую росу и охраняющих влаги от преждевременного высыхания».

Но острова есть острова, они не могут составить материк. Так и здесь. Приемы рационального земледелия и пользования природой существовали разрозненно. И только Докучаев объединил их в четкий комплекс. Уже к 1917 году в России было посажено 130 тысяч гектаров полезащитных лесополос. Еще шире эта работа развернулась в наше время после коллективизации деревни. В первые десятилетия после Октября черноземы без всяких удобрений, только за счет накопленного в них плодородия, без капитальных затрат кормили истрадавшую страну хлебом. Под такими землями у нас сегодня лишь 8,6 процента территории, но с них мы берем почти 80 процентов зерна, много подсолнечника, свеклы, кормов, плодов, винограда...

4

В эти края собирался я давно, едва прочитал леоновский «Русский лес». Но было все недосуг. И только теперь наконец-то удалось пройти «по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи...». Действительно это походило на созерцание шедевра, который до этого видел только в плохих копиях. И вот он передо мною во всей своей величавой красе: вековые ковыльные залежи, обросшие зеленой оторочью глубоченные овраги, приветливая голубизна озер, разлив озимей.

И трудно вообразить, что это вот здесь, на выжженном юру, стояла под соломенной крышей бревенчатая хатка, в которой поселился со своей особой экспедицией автор знаменитого «Русского чернозема» Василий Васильевич Докучаев; потрескавшаяся земля, линия от зноя небо, профессор с белой патриаршей бородой в окружении мужиков у распаханной полоски с крохотными прутиками-деревцами.

Да, это было здесь. Но какими большими стали те дубы и ясени! Им за девяносто лет, взметнулись к небу и на двадцать и на двадцать пять метров. Какие-то из них сажал своими руками Докучаев. А деревьям этим еще расти и расти. Для них первый век — детство. Было время, когда тому, что ученый сделал здесь с горсткой энтузиастов всего за четыре года, изумлялись, потом интерес гас и вновь вспыхивал, сюда ехали учиться, отсюда черпали идеи преобразования природы. Потом опять следовало забвение, раздавались даже предложения пустить все это под топор на деловую древесину, поскольку, мол, деревья, посаженные одновременно, так же враз засохнут.

Что касается лет не столь давних, то здесь одни настроились по отношению к лесу в степи воинственно, утверждая, будто он обедняет плодородие черноземов, превращает их в скудный подзол, грабит поля, забирая себе и снег, и вешние потоки, и небогатые летние дожди. Другие добавляли: лесополосы стали рассадниками сорняков, гнездилищем вредителей. А раз так — корчуй, распахивай, засевай...

Рубили, понятно, не все. А вот ухаживать за недавно еще зеленым другом бросили в степи почти все, лесоводческие звенья что в колхозах, что в совхозах распались. Черные бури драматического 1969 года, когда лесные посадки приняли на себя удар такой катастрофической силы, что кору с деревьев сточило, словно кожу до кости, заставили одуматься. Только ненадолго.

На Всероссийском совещании по совершенствованию систем земледелия, которое проходило менее чем в двухстах километрах от Каменной степи — в Воронеже, начальник управления лесовосстановления Минлесхоза РСФСР Д. М. Гиряев с горечью говорил, что объемы работ по посадке ползещитных и противэрозионных насаждений повсеместно и резко сокращаются, некачественно и несвоевременно проводится уход за существующими лесополосами, допускается погрыва скотом, повреждение лесных культур транспортом и химикатами.

За восьмую и девятую пятилетки под влиянием постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии» в Российской Федерации были заложены лесные насаждения примерно на одинаковых площадях — 740 и 738 тысяч гектаров. В десятой пятилетке наметился спад — посадки чуть больше 500 тысяч гектаров. Что касается одиннадцатой пятилетки, то на всю ее было запланировано уже в два с лишним раза меньше, чем сажали после постановления.

К 1985 году производство зерна в хозяйствах Центрального Черноземья намечалось довести почти до 14 миллионов тонн против 11 миллионов, полученных в среднем за каждый год в предыдущем пятилетии. А это значило, что надо было поднять урожайность зерновых до 24 и даже до 26 центнеров с гектара. Кроме того, планировалось поднять валовой сбор сахарной свеклы с 12 652 тысяч тонн до 17 700 тысяч, подсолнечника — с 359 тысяч тонн в год до 605 тысяч. Для выхода на такие рубежи Центральное Черноземье получило крепкую материально-техническую базу. За пятнадцать лет энерговооруженность хозяйств возросла более чем в два раза, огромные средства были выделены на мелиорацию, возросли поставки удобрений. А отдача? К сожалению, темпы роста урожайности замедлились, а в ряде областей урожаи зерна и свеклы застыли на месте. Воронежцы уже три пятилетки кряду собирают в среднем всего по 18 центнеров зерна с гектара. А урожаи свеклы даже упали. Почему?

Засуха за засухой.

Действительно, бедствие это приходит все чаще. Засуха 1984 года схожа с той сушью, которая нагрянула в 1899, 1921 и 1933 годах. Ее действие усугубилось большим дефицитом почвенной влаги с весны, малыми осадками летом, жарой. Особенно тяжелыми выдались апрель и май — всего 20 миллиметров осадков вместо обычных 80.

Главный агроном таловского колхоза «Луч Октября» Семен Захарович Шишленников, работавший ранее в научно-исследовательском институте Центрально-черноземной полосы, весело рассказывал:

— Приедешь в бригаду, а у механизаторов в глазах отчаяние. Порой нам казалось, что даже семена не вернем. И еще в лицах людей читался немой вопрос: что же, агроном, агитировал, сулил золотые горы, а лесопосадки твои не работают, только июль, но с берез падает лист. Да, деревья сохли. Тут уж было не до хлеба, хоть бы не сгорели деревья. Слабые они у нас еще. В шестьдесят седьмом году была всего одна лесополоса, чуть больше гектара. А к нынешнему году, если вытянуть в длину, они заняли бы девяносто четыре километра. Это больше трех с половиной процентов по отношению к пашне. Иными словами, облесились хорошо, но.. листопад летом — я такого еще не видел. Хлеб не сторел только у посадок, хоть они сами еле выжили. От этих картин в душную ночь не уснешь. И знаете, что я делал? Читал Докучаева, Костычева, Вильямса. А в самый зной заворачивал хоть ненадолго в институт, чтоб там отдышаться.

И впрямь Каменную степь вроде бы стороной обходят засухи. Она всегда с хлебом. И в этот раз кругом все горело и никло от жары, безводья, пыльных смерчей — тут же все красовалось и росло под защитой зеленых бастионов. В одном из хозяйств, где давно занимаются лесом, мне привели разительный факт. На расстоянии пяти высот деревьев от посадки озимая пшеница дала летом по 26,5 центнера с гектара. Отступили на десять высот, пустили комбайн, взвесили намолоченное зерно — и оказалось, что урожайность упала на 10 центнеров с гаком. На расстоянии двадцати пяти высот брали меньше 13, а вне зоны действия лесополосы намолот оказался совсем мизерным — 7 центнеров.

Вот ведь как!

Не десять, не двадцать и даже не пятьдесят лет назад столкнулся местный пахарь лицом к лицу с бедами земли. Вот выдержка из стародавних «Записок Воронежского уездного комитета по выявлению нужд сельскохозяйственной промышленности», где говорится буквально следующее: «В короткий пореформенный период местность уезда изменилась до неузнаваемости. Леса поределели, и сократились их площади, реки обмелели или местами совершенно исчезли, летучие пески надвинулись на поля, сенокосы и другие угодья (распаханные), поля поползли в овраги, и на месте когда-то удобных земель появились рытвины, водоемы, рвы, обвалы и даже зияющие пропасти; земля обесценилась, производительность ее понизилась.. количество неудобий увеличилось, природа померкла, естественные богатства истощены, а естественные условия обезображены. Вместе с тем в самой жизни населения появилась скудность, обеднение, вопиющая нужда».

Только в 4 уездах Воронежской губернии с 1880 по 1905 год овраги поглотили 50 тысяч десятин пашни, а неудобий стало на 70 процентов больше. Места, почти наполовину покрытые лесами, куда царь Петр приказал силком «сволочь» мужиков (отсюда оскорбительное «сволочь»), чтобы строить флот, оказались без своих достославных боров и рощ. Приехав сюда после страшного голода 1891 года, Василий Васильевич Докучаев пообещал: «Мы попытаемся реставрировать наши черноземные степи, эту общепризнанную житницу России, которая, к великому сожалению, оказалась пустой в самое нужное и тяжелое для нас время».

Собираясь в командировку, я взял с собой не так давно вышедшую книгу «Великая степь» и с большим интересом прочитал главы, принадлежащие перу кропотливого исследователя журналиста А. Мурзина. Он собрал по крупицам все сведения о происхождении наших степей, их прошлом и настоящем, с тревогой смотрит в будущее. О многом заставляет задуматься эта книга, по-другому посмотреть на вещи, еще вчера казавшиеся привычными и незыблемыми.

И раньше было известно, что перегной в почве — это подлинный клад всех питательных элементов, необходимых для питания растений. Под воздействием микроорганизмов, воды, воздуха и температур эти элементы высвобождаются в форме различных соединений и только тогда становятся доступными для большинства растений. Есть и обратная связь: леса, разрушенные горные породы дали начало гумусу, но и гумус активно воздействует на минеральную часть почвы. Потому что только он способен поднимать из глубин новые запасы чистых минеральных веществ, переводить их в доступную для растений пищу.

«В этом — и только в этом! — смысле можно говорить о бесконечном плодородии земли, — пишет А. Мурзин. — Без бережного же отношения к почвенному слою, без наращивания его, без увеличения запасов гумуса в нем (даже при условии минеральных добавок) говорить о «неисчерпаемом» плодородии наших полей не при-

ходится. Оно так же исчерпаемо, как исчерпаемы нефть, уголь, леса или рыба в океане, как небеспредельны на планете любые ее ресурсы, созданные неживой, а часто и живой природой.

Тем более не вечен гумус... он относится к трудно восполнимым природным ресурсам».

Эти строки я читал вечером в гостиничном номере, а утром в тишине институтского музея думал о Докучаеве, которому, как и всякому человеку, не суждено было войти в лес, посаженный его руками, и смотрел на образцы чернозема, спасенного лесом. Вот она под стеклом, метровая толща земли, взятой с участка «некосимой залежи». Как свидетельствует табличка, в верхнем ее слое 12,4 процента гумуса. Чистое золото! Рядом образец, взятый с обычного выпаханного склона, — 4,7 процента. И наконец монолит из балки Таловая — метровая толща богатейшего чернозема, одинаково темного сверху до низу.

Как тут не согласиться, что блестящий многолетний опыт полевых лесоразведения, осуществленный в Каменной степи, являет собой величайший из научных подвигов. Каменная степь — наша национальная гордость, общенародное достояние. Здесь, в самой экстремальной части юго-востока Центральночерноземной полосы, создана модель экологически и энергетически рациональной системы земледелия, надежно обеспечивающей высокие и стабильные урожаи всех культур, прекратившей все виды эрозии почв, обеспечившей расширенное воспроизводство плодородия знаменитых русских черноземов.

В Каменной степи уже давно работает ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦЧП, носящий имя Докучаева. Здесь трудится большой коллектив ученых и специалистов разных областей знаний. Их работы по преобразованию степи ведутся теперь не на ограниченном экспериментальном участке докучаевского оазиса, а в трех крупных опытно-производственных хозяйствах института. У них только пашни больше 15 тысяч гектаров. Мне показывали снопы озимой пшеницы с селекционного участка, которая по чистому пару и в сухом году дала по 60 центнеров великолепного зерна. Объясняется это тем, что агролесные комплексы, представленные системой лесополос, в результате биологического взаимодействия лесных и агрокультурных биоценозов образуют идеальные биологические модели с оптимальными условиями для стабильного повышения урожая, интенсивного развития всех звеньев агропромышленного комплекса. Здесь на деле доказано, что в Центральночерноземной полосе и в ряде других регионов без защитного лесоразведения нельзя добиться уверенного наращивания урожаев, не причиняя ущерба плодородию черноземов. Почти сто лет назад Докучаев, анализируя причины деградации «царя почв», установил, что лесостепь, представляющая собой «явление вполне естественное, от века существующее», сформировала эти почвы, а поэтому восстановление уничтоженных здесь в прошлом лесов посадкой лесополос следует считать естественноисторической и вполне обоснованной мерой для сохранения и наращивания плодородия полей.

Именитые «авторитеты» до недавнего времени, радея за «рациональное использование каждого клочка земли», своими докладными записками в партийные и советские органы, выступлениями на всякого рода совещаниях и личными советами специалистам корчевали степные леса, разводили долгие годы сплошного, какими должны быть полосы — узкими или широкими, продувными или плотными... Хотя ответы на такие вопросы можно давно найти в докучаевском оазисе. Здесь есть старые посадки в один, два ряда, густые и редкие, посаженные шеренгами и вразбивку, поперек ветров и по горизонталям. В этих посадках с прошлого века испытываются дуб и терек, шиповник и липа мелколистная, крушина и ясень обыкновенный, ракитник и сосна, жимолость татарская и клен остролистный, вяз и ясень американский, акация и береза, яблоня и берест, можжевельник и груша. Более девяноста лет наблюдают за ними ученые, их записки — банк ценнейшей информации, которая сегодня дает возможность строить безошибочные модели.

При пересмотре взглядов на лес как не вдуматься, например, в такие вот сведения. По сравнению с открытой степью почва под защитой лесопосадок промерзает на меньшую глубину (до 50 процентов), скорость ветра падает на треть, а то и наполовину, в полтора-два раза больше накапливается снега, который распределяется равномерно, и после таяния в почве остается значительно больше (до 45 миллиметров) влаги, непроемчивый распад ее сокращается чуть ли не наполовину. Вдвое

быстрее под защитой леса протекают процессы накопления в почве питательных элементов, на процент и полтора содержится больше гумуса. За одну минуту в почву лесополосы просачивается 0,37 миллиметра влаги, на межполосном поле — 0,17, а на открытом безлесном массиве только 0,08 миллиметра, вынос мелкозема черной бурей сокращается в 24 раза. Нельзя переоценить значения водоохранных лесов, которые обеспечивают защиту больших и малых рек от обмеления и загрязнения, сохраняют дебит и чистоту всех источников питьевой воды, чьи запасы на планете сокращаются угрожающими темпами.

Специалисты однажды занялись кропотливой работой и, перелопатив статистические отчеты всех 445 воронежских колхозов, установили, что при облесенности пашни до процента средняя урожайность зерновых составляет 16,4 центнера, с облесенностью от 1,1 до 2 процентов — уже 17,8, от 2,2 до 3 процентов — 18,8, а там, где лес занимает больше 3 процентов пашни, — 20,2 центнера с гектара.

Убедительно? Вполне. Выходит, выгодно отводить «ценные пахотные земли» под лес, который «не скоро будет давать эффект и биомассу, превышающую по своему объему массу урожая полевых культур». Полезательные лесные полосы начинают оказывать положительное влияние на поле уже на следующий год после посадки, и это влияние усиливается по мере роста деревьев. Через десять лет зона защиты составляет уже 35—40 процентов межполосной площади, и только одной прибавкой урожая полностью окупаются все затраты на создание зеленых оазисов и уход за ними.

5

Наши нивы все чаще страдают от засух, и засухи эти чем дальше, тем глубже вторгаются в регионы, где их никогда не знали. В XVIII веке было 9 острозасушливых лет, в XIX — 26, в первой половине нынешнего столетия — 17. Если в первой четверти XIX века отмечен лишь один засушливый год, то в первой четверти XX века их было 9. Почти после каждого из них бушуют черные бури.

Одни ученые происхождение засух объясняют вырубкой лесов, чрезмерной распашкой, перетравливанием пастбищ скотом, что нарушило единство между почвой, влагой и растениями. Другие — циклической активностью Солнца, которая порождает области устойчивого антициклона в ясную теплую погоду. Третьи исследователи объединяют эти два подхода и строят на них свою концепцию, которая тоже до конца не раскрывает сути проблемы. В результате рекомендации науки для преодоления засухи и сегодня сводятся к агротехническим и мелиоративным мероприятиям для удержания естественных осадков, защиты полей лесными ветроломами: орошению, посеву многолетних трав, соблюдению севооборотов. Все эти меры полезны и в разрозненном виде, а еще больше в комплексе. Но, увы, они не устраняют губительного воздействия зноя на растения, почву и урожай, а лишь ослабляют удары стихии.

Где же выход?

Недавно я услышал ответ на этот проклятый вопрос многовекового земледелия. Помните донского агронома Прокофия Тихоновича Золотарева? Того самого, который выступил на выездной сессии ВАСХНИЛ в Целинограде?

После долгой разлуки Прокофий Тихонович сидит передо мной. Тот же богатырский рост, пристальные черные глаза мыслителя под густыми бровями, почти не тронутая седина шевелюра... Говорит неторопливо, каждое слово будто чеканит:

— Годы опытов, наблюдения, литература, анализ фактов привели меня к открытию: почва обладает свойством порождать засуху.

Я остолбенел, в недоумении закрыл глаза, встряхнул даже головой и растерянно выдохнул:

— Быть этого не может!..

Чуть придя в себя, вспомнил Терентия Семеновича Мальцева, который вот так же ошеломил меня когда-то, сказав: «Не однолетнее растение убивает землю, а плуг».

— Каким же это образом земля сама на себя вызывает напасть? — Я в нетерпении уставился на Золотарева.

И он начал объяснять:

— Земля ничего на себя не вызывает. Вызывать беду заставляем ее мы. Да-да... Только лучше изложить все по порядку. Для начала то, что известно. В прошлом поверхность девственной степи вмещала в себя годовые осадки целиком и плавновотдавала воду родникам. Земля была укрыта на полтора-два сантиметра отмирающими

ми остатками трав, ниже шла подстилка. Едва высохнув, верхний слой весной разрыхлялся, и всякое испарение влаги тут же прекращалось. Никакого поверхностного стока не было. Земля под подстилкой постоянно лежала влажной. Засух не было, а растительность развивалась пышно. Теперь установлено, что солнечная радиация за время существования биосферы существенным колебаниям не подвергалась. Зафиксировано и то, что голая, разрыхленная почва, лишенная обработки растительного покрова, нагревается до пятидесяти, а то и до восьмидесяти двух градусов. А закрытая органическим одеялом — только до восемнадцати — двадцати трех градусов. В три-четыре раза слабее! Замечу — голая почва так сильно раскаляется только в самом верхнем, сантиметровом, слое. На глубине трех — пяти сантиметров здесь нет даже суточных колебаний температуры. Значит, в отличие от девственной степи, где почва прогревается глубже и равномернее, вспаханная и распыленная поверхность не аккумулярует энергию Солнца. Истерзанная впрах земля не впитывает и воду. Она долго стоит лужами или скатывается. Будучи плохим проводником тепла, воздух здесь нагревается в точке соприкосновения с почвой. Турбулентный поток срывает его и бросает вверх. К нагретой поверхности тем временем подаются все новые и новые массы воздуха, они нагреваются и поднимаются. В атмосфере возникают конвекционные токи, за которыми тянется целая цепь других изменений. Под влиянием суховея обнаженные верхние слои влажной почвы могут быть высушены буквально за один день.

Это было как удар молнии, среди крошечной ночи вдруг высветившей вокруг все до мельчайших деталей. Вот оно, текучее марево над парующей свежеспаханной нивой. Земля отдает здесь влагу быстрее, чем испаряют ее листья пшеницы. А это, это же...

— Дальше будет понятней, — продолжал излагать Золотарев. — Исушение верхнего слоя угнетает всходы, задерживает развитие корней, затухает жизнь микроорганизмов, даже самая богатая почва хуже отдает питательные элементы. Все это сказывается на формировании всех частей растения. А если жажда не утоляется долго, они вообще могут погибнуть. И никакой это не парадокс, когда на непродуктивное испарение в засуху тратится пятьдесят — шестьдесят процентов осадков.

Я слушал и видел перед собою раздольную степь. Почти вся еще в росных травах, посеребренных тяжелыми росами, редкие хутора по берегам тихой речки, озеро поодаль, а за ним лес. Степь распахана кое-где небольшими лоскутами. И солнце в зените. Пашня нагревается, как сковородка, воздух от нее столбом метнулся было вверх, но тут повеяло от озера прохладой, «сковородка» остыла. Но вот лоскуты становятся шире и шире, подпахали речной берег чуть не до воды, теперь уже почти вся разогретая степь тянет на себя влажный воздух с озера, окрестных лесов, иссушает их и отторгает горячий воздух к безоблачным небесам. От картины этой стало страшно. Золотарев же добивал меня теперь вселенскими доводами:

— Экспериментально и теоретически установлено неизвестное ранее явление образования засухи почвой, возникающее при взаимодействии обнаженной, разрушенной поверхности земли с открытой солнечной радиацией и атмосферой, приводящее к излишнему поглощению тепловой лучистой энергии Солнца, расходуемой исключительно на перегревание и обезвоживание почвы и атмосферы. То есть на образование почвенной и атмосферной засухи.

После этой суховатой, но точной формулы открытия Прокофий Тихонович предложил мне проследить за механизмом возникновения и развития очаговой засухи на самой истории земледелия. Участки, вовлеченные в хозяйственный оборот, он называл сельскохозяйственными оазисами. Здесь формировался свой микроклимат, оазисы были окружены естественной флорой и фауной. Тем не менее эти расширяющиеся вкрапления все больше влияли на окружающую среду. Наиболее ярко климатическая индивидуальность оазисов проявлялась летом, что объясняется совершенно противоположной реакцией поверхности, покрытой растительностью, и черной разрушенной пашни в течение семи, а то и восьми месяцев в году. Распаханный оазис прогревает над собою воздух на высоту более двух с половиной километров. На многие километры осушение распространяется и в горизонтальной плоскости.

Оазисные перегревы, сливаясь воедино, создают уже крупную сельскохозяйственную засуху, которая взламывает извечный климат местности. Деревья начинают сохнуть, падает уровень грунтовых вод, меняется ботанический набор растительности, учащаются пыльные бури, срыв вызывает овражную эрозию... Но это лишь на-

чало, а потом... Потом рождаются полупустыни и наконец пустыни. Впрочем, не наконец. Земледельческие засухи, объединяясь с устойчивыми пустынными, образуют региональную, а потом глобальную сушь.

Я читал раньше, что пустыни и полупустыни занимают уже 53,3 миллиона квадратных километров — более трети земной поверхности. Но только теперь осмыслил размеры наступления песков. Они убивают каждую минуту 44 гектара плодородной земли. А ее-то на планете лишь 10 процентов.

Если на море большая часть радиационного тепла расходуется на испарение воды, формирование атмосферных осадков, повышение относительной влажности воздуха, то в пустыне оно целиком уходит на нагрев песка и создание суховея.

Распределение атмосферного давления и его колебания вызываются и будут всегда вызываться циркуляцией воздуха. Что касается погоды, то она складывается из атмосферного давления, температуры воздуха, силы ветра, облачности, дождей, туманов, метелей, гроз... Там, где теплый воздух поднимается, формируется область низкого давления. Это центр циклона. Где давление высокое — образуется антициклон. Осадки и влажный воздух атмосферы движутся из области высокого давления в направлении низкого. На своем пути они перемешиваются с обезвоженной воздушной массой, рассыпаются, уменьшаются, обедняются. И дождь, которого так ждали пахари, здесь уже не прольется. Его не хватало и донской и приволжской степи в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом...

Непродуктивная для урожаев потеря влаги на распаханной земле из-за нерегулируемого уже стока и интенсивного испарения достигает теперь 60—80 процентов. При годовых осадках в 460—600 миллиметров для Северного Кавказа и Украины это потеря 3 и даже 4 тысяч кубометров воды на каждый гектар. Той самой воды, которая в прошлом насыщала почву, питала растения, поднимала уровень грунтовых источников и пополняла реки.

Но мало кричать по такому поводу караул. Землю надо лечить.

Задавшись целью восстановить русские черноземы, Василий Васильевич Докучаев начал не только с посадки леса в продутый всеми ветрами Каменной степи. Одновременно он создавал здесь в балках и овражных провалах систему прудов и водоемов, поля орошения... И диву даешься, какими темпами все это делалось. Если к 1894 году успели заложить всего 8 первых лесополос, то через четыре года их уже было почти 50!

Сейчас только на территории Докучаевского опытно-производственного хозяйства зеленые бастионы поднялись уже на площади, превышающей 500 гектаров. Число прудов приблизилось к 30, и вмещают они 3,5 миллиона кубов воды!

Скупые на реки края — и такое богатство воды. Откуда? Все за счет местного стока. Здесь научились ловить и дожди и вешние потоки. В последнюю сушь воду приходилось качать днем и ночью, многие поля поливали по десять раз, чтобы не принести в жертву засухе. И выстояли, хотя к осени пруды оказались пустыми чуть не до дна.

Чтобы заполучить эти спасительные резервуары, все овраги и балки надо было облесить, сделать все разумно, на века. Одни деревья и кустарники здесь давно отжили, другие еще входят в силу, растут и будут служить нашим далеким потомкам.

Вода в Каменной степи после летних ливней не скатывается бурными мутными потоками, нет, в посадках она как бы проваливается под землю и с водоразделов от этажа к этажу опускается все ниже, питает поля и попадает в хранилище идеально чистой. Ее можно пить.

В областях Центральночерноземной зоны сейчас насчитывается около 9 тысяч прудов и водоемов: более полумиллиарда кубометров воды. Они, конечно, улучшают микроклимат, ослабляют влияние суховея. Но этого слишком мало, если учесть, что площади орошения здесь уже достигли 300 тысяч гектаров и увеличить их в значительных размерах невозможно из-за того, что просто нет богатых рек. Значит, как и в Каменной степи, надеяться можно только на местный сток, чего пока в своей земледельческой стратегии хозяйства зоны не учитывают.

Вода расходуется здесь не столько для растений, сколько на разрушительную эрозию. Плодородный гумусный слой, ежегодно смываемый с полей, содержит в себе вдвое больше питательных веществ, чем их вносится со всеми вместе взятыми минеральными туками. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, постоянные жалобы на нехватку удобрений, тревога за судьбу урожая, а с другой — полная бес-

помощность перед утратой земного плодородия, когда на глазах еще недавно черные, как вороново крыло, массивы становятся серыми, желтыми и наконец обнажаются мертвый песок или мел.

Вот почему назрела необходимость как можно скорее регулирование стока увязать с непрерывным повышением плодородия земель, добиться устойчивого баланса органического вещества на каждом поле. Между тем органические удобрения по разным причинам долго недооценивались, предпочтение повсеместно и сегодня отдается минеральным тукам, с которыми легче иметь дело. Глубоко ошибочный подход. На деле выигрывает тот, кто поступает иначе.

Воронежский колхоз «13-я годовщина Октября» Нижнедевицкого района долго возглавлял Павел Иванович Иваньшин — сейчас он председатель исполкома Аннинского районного Совета народных депутатов На выдутых и смытых холмах и косогорах Павел Иванович со своими колхозниками начал поднимать урожай с 16 центнеров с гектара и ушел за 30. Как удалось это сделать? Грамотно работали с землей. Каждому гектару поочередно давали ни много ни мало — по 100 тонн добротно подготовленного навоза.

Даже в засуху по хорошо заправленному черному пару колхоз «Дружба» Верхнехавского района берет в среднем 32 центнера, совхоз «Лискинский» — по 37, а колхоз «Заветы Ильича» Ольховатского района — по 42 центнера озимой пшеницы с гектара. Ежегодно за счет хозяйского использования органики стабильные урожаи получают липецкий совхоз «Красный колос», колхозы «Заря коммунизма» Кореневского района Курской и «Ленинское знамя» Знаменского района Тамбовской областей. Их практикой доказано, что внесение 20 тонн полуперепревшего навоза повышает сборы зерна на 5 центнеров, а сахарной свеклы — на 42 центнера с гектара.

В хозяйствах зоны даже по заниженным прикидкам скопилось не менее 100 миллионов тонн органики. Вывези их — и гектар чернозема получит дополнительно по 10 тонн щедрой подкормки. Но этого не делают и сегодня.

Были у меня в той поездке долгие разговоры с авторитетным знатоком степного земледелия Владимиром Ефимовичем Шевченко. Молодым агрономом сеял он здесь хлеб-пшеницу, долгие годы отдал дожучаевскому институту, отстраивал его, разворачивал все более широкие комплексные программы борьбы с засухой, недавно стал ректором Воронежского сельскохозяйственного института... Сидим в общежитии: новый ректор не успел еще тогда получить квартиру.

— Случилось так, что мы все время лечим последствия, до причин же дело не доходит,— говорит Шевченко.— Засухи становятся все более частыми не только из-за скудных осадков или зимнего бесснежья. Нет! Это еще и расплата за то, что было недоделано или не сделано совсем, что было недодумано или по ошибке принято за истину и пять, и десять, и тридцать лет назад. Сколько надежд, например, связывалось с мощной ультрасовременной техникой! Тут вроде бы одним махом решались проблемы кадров, высоких темпов полевых работ, условий труда. И что же? Сначала обезобразим поле могучим многокорпусным плугом, потом тратим еще больше энергии и времени, чтобы залечить травмы, нанесенные земле. Колесные громады переуплотняют почву под каждой колеей чуть не на полметра. И стоишь перед дилеммой: не трогать больше — влага не впитается, дожди упустишь, удобрения не сработают; пустить легкие гусеничные тракторы, чтобы разрыхлить, вернуть почве нормальную плотность, когда и влага не потеряется, и удобрения не вымываются,— упустишь сроки сева. Допустим, избирается второй вариант. Но он потребует еще больше техники... Тупиковый это путь. Так скоро весь металл будет уходить на полевые машины. То же самое с химией. Негативные ее последствия все чаще превышают полезный эффект. Американцы, скажем, для того чтобы увеличить урожай в два раза, выпуск туков на заводах увеличили в шесть раз. А теперь и вовсе отказываются от них, берут курс на так называемое органическое земледелие.

— Где же выход? — спрашиваю.

— Учиться у природы,— вздохнул ректор,— у земли. Растущее население и потребности людей при ограниченности экологических ресурсов планеты заставляют нас искать новые пути повышения биологической продуктивности почвы. Нам нужны не просто урожайные, а стабильные сорта, минимальная, даже нулевая, бесплужная обработка полей, полосно-контурная организация территорий, совмещенные и повторные посевы. Да еще сочетание поля с лесными культурами и садом, полив не напуском, а увлажнение почвы и воздуха распылением с подачей влаги по команде самих расте-

ний, возврат всех органических остатков земле, повышение продуктивности лугов и пастбищ...

Я слушал Владимира Ефимовича и думал: все это так, но ведь не делаются и куда более простые вещи. Недостаточное внесение удобрений, пренебрежение плодосменом, игнорирование севооборотов, перенасыщенность пашни поздноубираемыми техническими культурами — все это распространено слишком широко. Кому не известно, что пахать землю вдоль склона недопустимо, но ведь пахут! Известно также, что зернобобовые культуры обогащают почву азотом, после них остается много подземной органики. Поля, занятые ими, не нужно пахать, они являются прекрасными предшественниками для размещения озимой пшеницы. Воронежские специалисты отвели такой бобовой культуре, как горох, 10 процентов посевных площадей. В Тамбовской же ограничились 4 процентами, а в Курской — 2,5 процента.

Длительное хозяйствование без учета особенностей почв, рациональной структуры земледелия, влагообеспеченности, севооборотов и привело к слабой устойчивости против засухи, к продолжающейся деградации черноземов.

6

Известно, сколько страна понесла жертв за войну, сколько потеряли убитыми и ранеными фронты, армии, полки. Но мы никогда, наверное, не сосчитаем, в скольких бойцов еще летели пули и после мая 1945-го. Летели, настигая в госпиталях и через много лет — дома.

Весной 1943 года текла посередине войны степная речка Миус. До победы отсюда было ползти и топать столь же, сколько отступали до Волги. Скольким окопов, блиндажей, огневых позиций, ходов сообщения нарыл в каменной здешней земле только наш 107-й гвардейский стрелковый полк. Копали до кровавых мозолей, чтобы уцепиться, удержать тот знаменитый плацдарм под названием Миус-фронт. Потом было наступление, и мы ушли дальше. Остались лишь саперы — разминировать танкоопасные направления, подступы к утратившим смысл позициям. Работа эта еще не кончилась, когда в Матвеевом Кургане появились два худых однолетка — агроном Манченко и учитель Лямцев. Пройдут долгие годы, и один из них станет главным агрономом Матвеево-Курганского района, другой — председателем колхоза «Россия» (сейчас имени Гречко) в соседнем Куйбышевском районе.

А тогда учителям надо было двенадцати- и тринадцатилетних парнишек обучать чтению «по складам», ребят и девочек постарше агрономы приобщали к пахоте да посеву. И хоть по обочинам дорог стояли деревянные таблички с надписями «Проверено. Мин нет» и внизу значились фамилия и звание сапера, а все же страшно сунуться в поле, где еще смердели ржавеющие танки да глядели в небо пушки с развороченными стволами.

Чтобы ребятня не робела, Василий Манченко подавал пример сам. К рычагам управления в кабине трактора вязал хитроумные петли, через заднее окно выводил длинные вожжи, заводил мотор и, дернув за веревку, пускал трактор вперед. Таким же манером переключал скорости, сбрасывал газ и шел за трактором, держа в руках вожжи, как мужик за диковинным железным конем.

День-другой обучения — и, глядишь, пацанва уже шурует вовсю. Валит обросшие бурьяном брустверы, засыпая окопы, заравнивая воронки... И, пусть медленно, растет, ширится распаханное поле. Значит, можно сеять, будет хлеб, и первый раз те пахари наедятся досыта. Но сколько раз из-под гусениц их тракторов или плужных лемехов всплескивались фонтаны взрывов и сколько их, совсем еще мальчишек, не увидело на своем поле даже всходов.

Работали тогда, пока смеркнется. Пахали бы, может, и ночью, но фары без лампочек не светили. К тому же было опасно: в одичавших полях успели развестись волки. Если сидишь в кабине — одно, а шагать за трактором с вожжами... Нет, уж лучше днем.

С вечерними сумерками проводили заседания бюро райкома партии, собрания актива. Вопросы в повестку дня набиралось порой за полсотню. Помощник секретаря с фонариком метался по двору райкома, выискивал в бурьяне среди спящих нужного человека и, света в лицо, шептал: «Вставай, тридцать шестой вопрос: борьба с нашествием суслика».

С победой потянулись ко дворам уцелевшие трактористы и механики, комбайнеры, плотники, кузнецы, слесари. Пошла техника, развернулась стройка. Только теперь Манченко занялся тем, чему его учили. А Иллариона Емельяновича Лямцева выбрали заместителем председателя райисполкома. Хоть и учитель, а отвечал за сельское хозяйство.

Вместе с Манченко они много ходили пешком по примуусским буграм, ездили на лошадах, пока Лямцев не получил отслуживший все сроки, латаный-перелатаный «виллис». Замечали: хоть и раненая, но отдохнувшая земля оживает, от весны к весне хорошеет.

Оживая, она подкинула одну головоломную загадку. Везде, где окопы тянулись поперек склонов, ниже оплывших брустверов трава всегда была зеленой, чем наверху, пробивались деревца. Что на пашне или в низинах долго не просыхают лужи, что даже после сильного дождя луговой идешь почти как посуху, понятно: в траву вода засасывается будто губкой потому, что под травой из перегнивших и живых корней образовался степной войлок. Про это слушано на институтских лекциях и читано у столпов российского земледелия. А вот почему ниже бруствера все растет лучше?

Вопрос долго не давал покоя. Но сразу отодвинулся на задний план, когда объявили о грандиозном Плане преобразования природы. Появился плакат: Сталин склонился над картой страны, разбитой зелеными лесополосами на ровные квадраты. Поверху плаката шли слова: «И засуху победим!»

Спешно создавались лесозащитные и дубравные станции. Большой Академик выдвинул идею сажать дубы квадратно-гнездовым способом. Сказал: «Дуб любит расти сначала медленно, без шапки, но в шубе из других деревьев. Потом он обгонит их». Особый восторг вызывал проект лесополосы от Урала до Каспия, чтобы остановить губительные ветры из пустынь Средней Азии. Молоденькие девчонки — специалистов не хватало — на вагмане повторяли во всех гипроземах те зеленые квадратики, но уже для каждого района, колхоза, бригады...

Посадки заложены были среди прочих как в Шпаковском районе Ставрополя, так и в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Шпаковцы их берутся корчевать только сейчас. На Миусе к такому выводу пришли значительно раньше. И вот как.

Из-за больших перепадов в высотах весной и в пору летних ливней вода скапывалась между посадками, заложенными вдоль склонов, такими мощными потоками, что разрушала и дороги и посадки. По балкам стали расплзаться промоины, углубляясь, они образовывали все новые овражки, овраги...

Многие лесополосы работали на себя, собирая сдутый снег в подлеске. По всей ветровой тени пшеница здесь красовалась, лесом стояла кукуруза, чуть же поодаль растения оказывались на голодном пайке. Рос машинный парк, все больше вносилось удобрений, а урожай еле-еле карабкался вверх. Засух стало не меньше, а больше. Подпахались до речных берегов, заилили ручьи. Не Миус, а «черти شو». Словно не отсюда мужики когда-то гнали обозами торговать в Москву жирных до прозрачности рыбцов и шемаю. И будто не из-за этого бывшее торжище поныне зовется Миусской площадью...

7

Разрозненные мои наблюдения и размышления Золотарев в тот раз выстроил в стройную систему.

Выше я привел только первую часть его открытия о свойстве почвы создавать засуху. Вторую он формулировал так:

— Это свойство исчезает при создании постоянной и полной органической защиты (отенения) поверхности почвы и при содержании пахотного слоя в монолитном состоянии.

Впервые доказывалось не только земное происхождение и сущность засухи, но и определялась возможность ее ликвидации! На основе открытия Золотарева возникает новая концепция о причине и механизме возникновения, развития и прекращения засухи. Определяющая роль в этом процессе принадлежит постоянно возобновляемой и полной органической защите монолитного поверхностного слоя. Подлежат коренной

ломке теории, обосновавшие необходимость, полезность, целесообразность и обязательность интенсивной обработки почвы бесчисленными проходами всевозможных орудий.

Основные доказательства верности такого подхода дает сама природа. Тоненький слой почвы даже на каменных крутых склонах всегда покрыт густым живым и мертвым растительным материалом, не смывается, в достатке обеспечивает травы, кустарники и деревья влагой. Старопахотный же чернозем даже на равнине страдает от почвенной и атмосферной засухи. Иля возьмите заветренную сторону любой скирды, где поверхность припорошена соломой и половой. Разгребите их даже в самое сухое лето — и почва здесь окажется влажной. Такие вот факты и надумили Прокофия Тихоновича заняться выявлением механизма действия засухи. После долгих и многолетних опытов в условиях Ростовской, Воронежской, Донецкой, Харьковской областей и удалось наконец выявить многогранные различия между нетронутой и старопахотной землей, осмыслить роль органической защиты для почвы, растения, микроорганизмов, равновесия окружающей среды, климата.

Что такое, скажем, обработка поля? Из учебников явствует: это механическое воздействие на почву, способствующее повышению ее плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений. Правильная обработка рассматривается как одно из главных звеньев формирования высокого урожая, борьбы с засухой, эрозией, деградацией, сорняками, вредителями, болезнями и т. д. и т. п. Все технологические процессы здесь сводятся к удалению старики, стерни, оборачиванию пласта, крошению его, перемешиванию, дроблению, уплотнению, выравниванию, подрезанию прорастающих сорняков, созданию борозд, гряд, гребней. В то же время исследователи признают, что неизбежным результатом вторжения железа в почву является обеднение ее органикой, прогрессивное развитие эрозии, засуха, засоренность полей, убывание естественного плодородия, ухудшение структуры.

Таким образом, налицо серьезное противоречие между теорией, с одной стороны, практикой и природой — с другой по вопросу все той же целесообразности, полезности, необходимости и всесторонней обоснованности обработки почвы под культуры вообще, а пропашные в особенности.

Как же под современными посевами практически возродить богатое прошлое наших почв, равновесие климата, затормозить губительное дыхание засух, а затем полностью спасти от них планету? Надвигающаяся катастрофа, как уже говорилось выше, к нашему счастью, имеет обратимый характер и пока дело поправить можно.

Опытным путем Золотареву удалось установить, что процесс полного разложения вызревшей и отмершей растительности в естественных условиях на поверхности длится дольше, чем в запаханном состоянии. В первом случае из года в год в почве устойчиво накапливается органическое вещество как на поверхности, так и под нею благодаря разложению корневых остатков. При вспашке же создать органическую защиту нельзя из-за ускоренного разложения.

Золотарев не пахал. Он заделывал семена на шесть-семь сантиметров плоско-режущей сеялкой. За пять лет на поверхности накопилось столько лежачей стерни, что она сформировала сплошную растительную подстилку толщиной в два сантиметра. Снег здесь ложится ровно, не сдувается. Почва промерзает меньше, снег сходит медленнее. Количество и сила внешних потоков, а также мутность воды по годам заметно падает, вода стекает все более чистой. Температура нагрева поверхностного слоя летом падает, сокращаются потери влаги на сток и испарение. Пахотный горизонт, пронизанный свежими и отмирающими корнями, приобретает более рыхлое, пористое и структурное строение. Поверхность постепенно задерживается. Ветровая эрозия теряет силу, а водная падает до нуля...

Гибель озимых со второго года исключается вообще. Окраска листьев у растений с каждым последующим годом становится более темной, с усилением специфического блеска. Влажность почвы ежегодно повышается и дольше сохраняется. Трещин в земле здесь нет даже среди лета. Созревают же хлеба позже обычных на пять — восемь дней. Урожай в сравнении с пахотными участками до образования подстилки и разной степени разложения растительных остатков повышался так: в первый год на 2—3, во второй на 4—6, в третий на 7—9, в четвертый на 8—10 и на пятый год — 10—15 центнеров с гектара.

Все это должно окончательно утвердить беспашотное направление в развитии новой сельскохозяйственной науки и практики.

Но для этого нужна и принципиально новая техническая политика и новая техника. Я поднимал по этому поводу тревогу, писал письма, стучался в разные двери. И что же? Заявка Золотарева на открытие так и лежит в долгом ящике. Плохо и с агрофильной техникой. Если практика за нее, то ведомства и инстанции навстречу ей поворачиваются медленно.

«Пренебрегать законами, нарушать равновесие, созданное природой, значит заведомо обкрадывать себя, лишать самого дорогого, что имеет наша планета. По профессии я агроном и прекрасно понимаю, что эти проблемы волнуют каждого,— пишет из Киргизии Е. Нестеров.— Техника — она и польза, она же и вред. Мало того что идет непрерывное разрушение обнаженной почвы, от работающих моторов атмосфера загрязняется вредными выбросами. Вот почему не когда-то, а сегодня, сейчас давайте подумаем — все ли сделано для того, чтобы оздоровить нашу природу? Есть ли нужда всегда безудержно будоражить, перелопачивать наши поля?»

Старшему научному сотруднику Института ботаники Академии наук СССР Л. Белашеву по роду работы постоянно приходится сталкиваться с результатами перенасыщения полей и лугов колесными тракторами, обрабатывающей техникой, многочисленными орудиями, грузовиками: «Могу засвидетельствовать, что если на пашне наблюдается машинная деградация почв, то на лугах тяжеловесные тракторы и автомобили вызывают настоящую деградацию травостоя. После колес на долгие годы остаются следы в виде зарослей сорной растительности и мелкотравья. Грузовики на вывозке зеленой массы и сена в довольно короткий срок образуют широкую, укатанную, как асфальт, дорогу. Даже специальные машины КСК-100, пресс-подборщики, стогометатели — хорошая в основном техника — образуют глубокие рытвины на влажных участках и выбивают зеленый покров на сухих».

Он считает, что если ставится вопрос о создании для полей машин с агрофильными ходовыми системами, то уже давно пришла пора приступить и к созданию систем пратафильных (луголюбивых). Это особенно важно сейчас, когда повсюду развернулась обширная работа по укреплению кормовой базы ферм, когда поставлена задача резко повысить урожайность естественных кормовых угодий, а хозяйства получили возможность удобрять, подсевать и орошать окультуренные луга.

«Очень интересно было узнать о создании пневмокаткового вносителя удобрений. Он пригодится как в поле, так и на лугу,— пишет далее Л. Белашев.— Такое орудие нужно скорее дать в производство. Ибо поверхностное улучшение пойменных лугов сейчас ведется с гораздо меньшим эффектом, чем оно того заслуживает. С нынешними вносителями удобрений в пойму весной просто не заедешь, а внесение туков и органики летом и осенью дает меньшую пользу».

Моя почта полна примеров, говорящих об утратах, к которым приводит уплотнение, нарушение водно-теплового режима, распыление структурных зерен, угнетение микрофлоры.

«Помню, еще в годы, когда у нас были единоличные хозяйства, иногда среди мужиков возникали ссоры из-за того, что кто-то проехал через поле повозкой,— пишет из Ровенской области агроном Е. Жигальский.— В этом не было никаких амбиций. Просто издавна бывало правило, передаваемое от старшего к младшему, что нужно меньше ходить и ездить по ниве, тем более без надобности».

Что ж, конная повозка ушла в прошлое. Ее сменила мощная техника. И вот иной раз видишь, как трактор «К-700» несется с тяжелым прицепом через массив, в прицепе всего несколько тонн зеленки. И возникает у людей вопрос: а не больно ли земле от этого? Чтобы разрыхлить и выровнять верхний слой, применяют культиваторы, потом шлейфы, катки, всевозможные бороны. В засуху для разбивки комьев приходится дополнительно раз за разом утюжить поверхность самыми неожиданными орудиями. Порой даже сваренными в клетки рельсами! Тут уж не над трактором — над всем полем клубится пыль. Причем главными «героями» в этой работе остаются известные еще нашим дедам отвал, культиваторная лапа, колесо и зубья бороны. И снова возникает вопрос: а не пора ли объединить разрозненные агроприемы, создать разнообразные агрегаты, способные решить комплекс задач в один проход? Да, это непростое, это дорого. Но прислушаемся к строкам в одном из писем: «Вы скажете, что овчинка не стоит выделки. Но тогда давайте сложим руки и будем ожидать, пока овчинка совсем исчезнет. Я отсчитываю уже 70 годы, мне не нужно плодородие.

Но у меня есть внуки, а у них тоже будут внуки, которые унаследуют поля, которые мы колесуем где надо и где не надо».

На Черкасщине в Лысянском районе проанализировали за несколько лет хозяйственные результаты и пришли к выводу, что поля, которые засеивали с помощью колесных тракторов, давали урожай зерна как минимум на 5—6 центнеров ниже, чем там, где посев проводился широкозахватными агрегатами на тяге с гусеничными машинами. Лысянские специалисты считают, что сто раз прав агроном Целиноградского района Ю. Захарченко, когда старается все предпосевные работы выполнять гусеничными тракторами, что не только предпосевные операции, но и сев следует вести этими же машинами.

Проблему использования колесных тракторов на полевых работах в научных кругах обсуждают давно, накоплено много экспериментальных и практических данных, которые говорят не в пользу этих машин. «Министерство сельского хозяйства на этот счет почему-то отмалчивается и не дает никаких рекомендаций,— жалуется главный инженер Лысянского управления сельского хозяйства И. Безвершенко,— а Министерство сельхозмашиностроения все дальше и дальше наращивает без какой-либо необходимости мощности тракторов типа «Беларусь», оставляя без изменения ширину захвата шлейфа, который они тянут».

Основания для такого заключения есть. Со времени выпуска трактора «МТЗ-2» мощность двигателя — на машине «МТЗ-142» — возросла с 38 до 142 лошадиных сил. Старую марку агрегатировали с культиватором КРН-4,2, сейчас промышленность выпускает КРН-5,6, то есть при росте мощности двигателя у трактора почти в 4 раза ширина захвата пропашного культиватора возросла только на 28 процентов.

Далее. Чтобы повысить выработку, рекомендуется сеять на повышенных скоростях. Даже в заводской характеристике на зерновую сеялку черным по белому записано, что рабочая скорость посева составляет 12 километров в час. Нередко сцепки таких сеялок гоняют и быстрее — до 14—15 километров в час,— и это «достижение» даже рекламируется. Что происходит при повышении скорости тракторного агрегата, в частности сеялки? Резко увеличивается тяговое сопротивление сеялки, почва от дисковых сошников отбрасывается далеко в сторону, сухая земля перемешивается с влажной, сошник вибрирует, подпрыгивает, семена ложатся уже не на твердую влажную подошву, а оказываются в рыхлом полусухом слое...

«Уже сегодня надо смотреть вперед. И уж коль мы допустили ошибку, если знаем, какой непоправимый урон наносим почве, так необходимо во всеуслышание признаться в просчете разъяснить земледельцу, как лучше выполнять полевые работы сегодня. И когда труженики полей будут знать действительное состояние вещей, то смогут при ограниченном числе гусеничных тракторов так организовать дело, что в период напряженных кампаний большинство работ будет вестись на гусеницах,— заключает И. Безвершенко.— А для колесных тракторов на селе есть большой объем транспортных перевозок».

Эти письма еще шли по почте или уже лежали на столе, как в подтверждение каждого из процитированных и не процитированных здесь положений на Дону, в Ставрополье, на Кубани опять разразились черные бури. Мело на тысячеверстовом пути, от Волги до Днепра. Опять пыльные смерчи. Почему?..

Ветровая эрозия на Северном Кавказе, как показывают архивные и статистические материалы, а также собственные наблюдения,— явление довольно обычное. А вот масштабы ее проявления далеко не одинаковы в отдельные годы пыльные бури достигали прямо-таки катастрофической разрушительной мощи. В 1969 году черные бури воспринимались как непредсказуемое стихийное бедствие. О них я о героизме людей в борьбе со стихией много писал и говорил. О пыльных бурях 1984 года сказано было мало, однако и те и эти стихийные бедствия были вызваны одними и теми же причинами. Сходство обнаруживается как в климатической обстановке, так и в почвенно-агрономических условиях осенне-зимних периодов 1968—1969 и 1983—1984 годов: засушливая осень, слабое состояние озимых посевов, открытый, сильно разрушенный поверхностный слой. Подобные потенциально опасные ситуации фиксировались и в период между 1969 и 1984 годами, но не было ветра или дожди не давали закуриться полям. К тому же площади зяби, вспаханной с лета отвальными плугами и истерзанной потом ветрами, как правило, не фиксируются в статистической отчетности, хотя известно, что именно такая зябь, распыленная многочисленными проходами орудий, становится добычей бурь.

Специалисты считают так: если на данном этапе управлять природно-климатическими факторами невозможно, то предупредить эрозию или смягчить ее можно лишь направленным изменением тех сторон хозяйственной деятельности, которые ее порождают; поэтому в нынешние зональные системы земледелия, не обеспечивающие защиту почв, следует внести поправки.

Правильную позицию занял тогда на этот счет Госкомсельхозтехника. В официальном документе, подписанном заместителем председателя комитета В. Дубовиком, сообщается следующее:

«Проблема переуплотнения почвы движителями тракторов, сельскохозяйственных машин и транспортных средств является в настоящее время актуальной. Действительно, насыщение сельского хозяйства техническими средствами имеет и негативные стороны... Назрела острая необходимость создания движителя энергетических и транспортных средств, обладающего минимальным разрушающим воздействием на почву. Проводимые в настоящее время в нашей стране работы по созданию такого движителя ведутся малыми силами, разрозненны и не координируются. В результате этого пока не создано ни одной работоспособной конструкции. Госкомсельхозтехника СССР поддерживает предложение о необходимости создания под руководством Государственного комитета СССР по науке и технике комплексной программы по сохранению плодородия почвы, куда, по нашему мнению, должны быть включены как вопросы внедрения новых почвозащитных технологий, так и создание новых ходовых систем... с низким удельным давлением на грунт. Со своей стороны Госкомсельхозтехника СССР готова к всесторонним испытаниям технических средств, снабженных новыми видами ходовых систем».

Выдающийся авторитет современного земледелия В. Ковда прислал выписку из решения совместного заседания Центрального совета Всесоюзного общества почвоведов и Научного совета Академии наук СССР по проблемам почвоведения и мелиорации почв, где говорится:

«Одобрить постановку вопроса о машинной деградации почвы, о необходимости осуществления целевой комплексной программы «Плодородие», где поднимается проблема общегосударственной важности, имеющая большое общественное и народнохозяйственное значение, и ставится на высоком научном уровне.

Просить президиум Академии наук СССР возбудить ходатайство перед Советом Министров СССР о подготовке постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о нацеленности целевой комплексной программы «Плодородие» для обеспечения расширенного воспроизводства составляющих плодородия и устранения машинной деградации почв».

А как прореагировали на это те, кому надлежит переобуть полевою технику, сделать ее агрофильной, переложить в металл и резину новые идеи, которые, как известно, уже давно по своему значению приравниваются к богатейшим месторождениям полезных ископаемых? Как отнеслись ко всему этому в Министерстве транспортного и сельскохозяйственного машиностроения СССР? Заместитель начальника технического управления И. Мацеренко сообщает:

«Допустимые удельные давления на почву от ходовых систем тракторов установлены государственным стандартом. Однако исследования ряда организаций указывают на целесообразность уменьшения предельных значений этих давлений. В связи с этим Минсельхозом СССР утверждена программа работ по исследованию ходовых систем с. х. техники на изменение характеристик почв, урожайность... и установлению допустимых уровней воздействия на почву. Головным исполнителем программы являются организации Минсельхоза СССР. По завершении работ по программе будут уточнены соответствующие государственные стандарты.

Работы в отрасли тракторного и с. х. машиностроения по снижению воздействия на почву ходовых систем ведутся в НПО «НАТИ». Для тракторов Минского и Харьковского заводов, Южного машиностроительного и производственного объединения «Кировский завод» выданы рекомендации на применение шин большего размера, чем применяемые в настоящее время. Эти рекомендации реализуются на тракторах.

Для тракторов Минского и Харьковского заводов разработаны конструкции приспособлений для спаривания ведущих колес. Большие партии этих приспособлений будут изготовлены в текущем году для проверки в различных почвенных зонах страны».

И все! Ни слова о пневмогусеницах для тракторов, новых разбрасывателях удобренней, комбинированных агрегатах, колесах для комбайнов будущей пятилетки... Ни слова о специальных конструкторских бюро, экспериментальных цехах, сотрудничестве с другими отраслями. Обыкновенная канцелярская отписка!

Особенно огорчительным был пространный и благодушный ответ из Государственного комитета СССР по науке и технике, завершавшийся словами: «Организациями сельского хозяйства и промышленности ведутся планомерные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы». Все, мол, хорошо. Но хочется добавить: за исключением пустыка. Земля в беде, просит защиты. Комитет по науке и технике так и не взялся возглавить разработку комплексной программы «Плодородие». А она нужна нам уже так давно!

9

Когда унялась одна из страшных бурь, Манченко позвал Лямцева съездить с ним посмотреть старые реперы. Сразу после войны Василий Иванович в сырые бетонные плитки вогнал прутья толстой проволоки длиной в метр, нарыл в разных местах такой же глубины ямы, опустил в них свои реперы, утрамбовал грунт. Пусть стоят. Ни лемеху, ни сошнику не мешают. Да и не видно их — ведь вровень с поверхностью.

И вот приехали. Выходов еще не было. Из земли торчали только железные стержни. На десять сантиметров, на двенадцать, пятнадцать, двадцать два. У Иллариона Емельяновича по спине пробежали холодные мурашки: «Железные всходы... Вон как вылезли. Столько же выдуто и смыто самого плодородного верхнего слоя!»

Зампред разошелся:

— Почему молчал про реперы? Семинар тут проведу. Соберу всех специалистов. Пусть поймут, почему земля теряет черный цвет. Рыжеет, белеет. Это что же получается — новый председатель или там директор совхоза принимают технику, хомуты, ведра, ищут недостающий в наличности пятак, а земля передается по карте. Да ее надо принимать по таким реперам, по анализам на плодородие. Ну и подкинул ежа за пазуху. Теперь я тебе подкину, давно собираюсь. Поехали.

Лямцев привез Василия Ивановича на место, где тот не был много лет, — к старой еле приметной фронтовой траншее поперек ската безымянной высотки. Вершину ее выдуло почти до гальки. Там чуть пробивалась зеленца. Ниже траншеи шумели на ветру стройные деревья.

— Те малыши? — изумился Манченко.

Да, это были они. Ниже траншеи. И всплыл забытый вопрос: почему?

Ответ на него они получили, когда познакомились в Новочеркасске с директором Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Яковом Ивановичем Потапенко чья владения тоже страдали от эрозии, особенно водной. Но теперь институт запитил от гибели свои плантации, сады и поля. Оказалось, что класть в основу организации территории со склонами, балками и оврагами зеленые квадраты и прямоугольники для удобств механизации — полный абсурд. А как иначе?

Директор института ответил неожиданно и просто:

— Возьмите картофелину покрупнее, но лучше неправильной формы, разрежьте пополам и половинку похуже плоским срезом положите на стол. Похоже будет на ваши высоты?.. Ну а раз похоже то срежем мысленно верхушку, потом еще срез, еще... Теперь сложим кусочки как было. Так вот, если бы посадки сажались криво, по этим срезам, тогда бы они своей дерниной, своим войлоком поглощали поверхностный сток. Еще лучше, когда перед ними выкопаны, также по горизонтали, канавы и забиты соломой, камышом. Любым гниющим материалом. В этих канавах будет скапливаться вся вода.

У Манченко вырвалось:

— Так мы ж это видели на старых окопах!

— Как? — удивился теперь Яков Иванович. — Ничего не понимаю... Приеду, раз приглашаете.

С того в районе и началась организация угодий названная контурно-полевой. Изыскания помог провести Институт виноградарства, он же составил проект. Как только зарядят осенние дожди, Потапенко надевал плащ поплотнее, на ноги болотные

сапоги — и на Миус. У оголовков оврага ставил новые колышки, мерил, на сколько приблизился овраг к старым, следил, чтобы сток из кюветов поворачивали в водосборные каналы, вырытые по горизонталям и кое-где уже засыпанные соломой...

Для выполнения всей этой работы в районе создали межхозяйственный отряд, оснастили его техникой, средствами, материалами. И раз за разом дивились люди: то весной подтапливало дворы, заливало погреба — теперь нет, разросшийся по нязинам камыш засыхает, в пустых верховых колодцах опять появилась вода.

Зимой тут, как и на Ставрополье, часты оттепели, почти весь тающий снег скапывается в балки. Теперь вешние воды собирались в канавах. Земля в них не промерзала благодаря теплу разлагающейся соломы. Все проходило здесь, как когда-то в девственной степи.

...Через все это собираются пройти теперь и хозяйства Шпаковского РАПО. Как и где они будут размещать полевые культуры, я уже рассказал. Что касается повышения отдачи естественных угодий, то поверхностному улучшению будет подвергнуто на первом этапе 23 тысячи, коренному — чуть больше 5 тысяч гектаров. Применят в переустройстве способ так называемого буферного освоения. Его уже опробовали в «Михайловском». Малопродуктивное пастбище — едва давало по 5—7 центнеров зеленой массы с гектара — на склоне крутизной от 3 до 8 градусов с эродированными легкими почвами было разбито на контурные полосы шириной в 10—20 метров. Полосы через одну распахали и засеяли тритикале и озимой рожью в качестве промежуточной культуры. Нетронутые полосы оставили как буфера для предотвращения эрозии. Урожайность зеленой массы здесь сразу же превысила 130 центнеров.

В Шпакове засели за расчеты. «Минск-32» показала: потребность в удобрениях составляет по азотным 37 788, фосфорным — 36 695, калийным — 11 042 тонны. Всего 85 525 тонн, ежели считать в стандартных туках. Но на 1985 год району было запланировано этих самых туков 36—40 тысяч тонн. Зияющая пропасть? Не совсем. На фермах района будет почти 60 тысяч условных голов скота, что позволит накапливать за год 340—400 тысяч тонн навоза — более 20 тысяч тонн азота, фосфора и калия в пересчете на те же туки. Приплюсовали все это — и вышло, что потребность в удобрениях будет удовлетворена на 50, от силы на 60 процентов.

Чем покрыть дефицит?

Вопрос пока остается открытым. Как, впрочем, и некоторые иные не менее важные. Например. Для приведения угодий в порядок и перехода к поверхностной обработке вместо классической отвальной пахоты хозяйствам РАПО позарез нужно получить 150 тяжелых дисковых борон, луцильников АДГ-15 не менее 40 штук, культиваторов КРГ-3,6 — 81, штанговых — 50, культиваторов КПШ-5 — 20 единиц, борон зубовых и посевных — 4 тысячи и т. д. и т. п. Попроси сейчас шпаковцы столько удобрений, техники, дай расписку, что производство валовой продукции повысят на 30—40, а продажу на 50 процентов, — в краевых инстанциях за голову схватятся: «А других что — на мель посадить? Размечтались! Сто пятьдесят БАТ-7! Да мы их делим как когда-то Ставка делила бронебойки. По-штуч-но!»

И все же работать шпаковцам уже стало легче. Не надо по команде сверху расписывать задания по каждой культуре в гектарах. По свистку косить и обмолачивать хлеба не за семь рабочих, а за семь календарных дней, даже если льет дождь. А это уже много. По новой структуре посевных площадей озимой пшенице здесь будут обеспечены лучшие предшественники. В севооборот включили куда больше гороха, сои, нута, чины, тритикале, рапса... Расширение посевов промежуточных культур обеспечит рациональное использование влаги и защиту от эрозии, повысит продуктивность земли на 20—30 процентов.

За годы десятой пятилетки объемы производства и производительность труда в районе выросли лишь на 21,7 и 10,2 процента, в хозяйствах, вошедших в состав РАПО, эти показатели оказались даже ниже уровня, достигнутого в девятой пятилетке. Сползли потому что пользовались устаревшей системой управления производством и оплаты труда. Многоступенчатая узковедомственная структура управления не позволяла специалистам, руководителям бригад и отделений сосредоточить усилия на главных проблемах развития каждой отрасли на период массовых кампаний многие культуры вообще оставались без внимания. Где уж тут петься о плодородии земли! Вот почему здесь начался переход на цеховую структуру управления производством и работу по методу бригадного подряда.

Только принимал это решение не совет РАПО, а бюро райкома партии. Почему? Да потому что другого выхода не было: в объединение входят далеко не все хозяйства, партийная же дисциплина одна.

— И все-таки где нам взять сто пятьдесят тяжелых дисковых борон? — спрашивал меня секретарь райкома Александр Егорович Селиванов. Высокий, статный, в хорошо сшитом костюме, он не походил ничем ни на Лянцева, ни на Манченко, которых я вспоминал в нашем разговоре. Совсем другое поколение специалистов, но заботы те же. — У нас ставят в пример кочубеевский колхоз «Казьминский», — продолжал Селиванов. — Там перешли на укрупненный севооборот. В одном месте сконцентрирована вся колхозная свекла — полторы тысячи гектаров! В другом — весь подсолнух и кукуруза, в третьем — хлеба. Не надо метаться по двадцати массивам в разные точки, техника, люди — один кулак. Идеал! Но там степь ровная, как стол, лесополосы через каждые пятьсот метров. Эрозия не страшна. А наложить эту схему на шаповские хозяйства — что получится? Три тысячи гектаров пара и зяби черные, незащищенные лежат с лета до весны. А вдруг загудит буря? Она же сорвет землю, засечет озимые. Было уже, было. Нам теперь работать только на контурных полосах, ибо землю довели до ручки...

10

В той ставропольской поездке я подолгу разговаривал со шаповским секретарем райкома о заботах, неурядицах и проблемах, которые навалились теперь на район и которые так не просто расхлебывать. Выходило, что в Селиванова из далекого далека, как во фронтовых бойцов, тоже летят пули. Только имя им другое — расплата за старые просчеты, ошибки, попытки одним рывком все и вся догнать и перегнать. Северный Кавказ ведь тоже осваивал целинные и залежные земли, искоренял травополку, сводил на нет овсы и ячменя. Да только ли он?

Помню, как ездили мы по воскресеньям из Сальска сажать дубравы у берегов Маньча. По всем правилам квадратно-гнездовым способом заложил я рожицу и дома. Только не выросли «дубы без шапки» ни в продутой всеми ветрами степи, ни в тихом нашем дворе. Через годы в Институте генетики в Москве на Калужской, 33 грызся я с Лысенко: «Как же вы, Большой Академик, втравили нас в эту авантюру, обманули!..» Чего не наговоришь по молодости лет, да еще в запальчивости. Впрочем, развернул последний «Советский энциклопедический словарь» я прочитал: «Лысенко Троф. Денисович... сов. биолог и агроном, акад. АН СССР... в области агробологии; ряд положений Л. не получил эксперим. подтверждения и производств. применения». Всего девять строк вялого петита.

Как-то осенью лет семь назад в Москве на Кунцевском кладбище хоронили мы своего коллегу, бывшего сталинградского комбата Александра Польшикова. Когда расходились, чуть в сторонке я остановился у другой могилы: металлическая табличка с давно знакомой фамилией — «Академик Т. Д. Лысенко», даты жизни, давно засохшие цветы, разноцветная яичная скорлупа, занесенная еще весенним пасхальным ветром с соседних надгробий. И больше ничего. Сюда, похоже, никто не приходил сбить траву забвения. Да. Большого Академика нет, но пули и с этого рубежа долго летели в нас, и не все раны еще успели зажить.

Не предупреждал ли Терентий Семенович Мальцев и другие знатоки степного земледелия в самом начале распашки ковылей в Казахстане, что при таком подходе быть беде? Предупреждали. Целина закурилась пыльным пожаром уже через четыре года. Вот чем обернулось, когда не послушали разумных предупреждений. Ну а чем дальше в лес — тем больше дров. Крым тогда тоже объявил, что начинает освоение «горной целины». Виноградарский «Магарач» предложил принцип взрывного плантажа: пахать склоны хлопотно и долго. Смело те участки — 10 тысяч гектаров! И где — на Южном берегу всесоюзной здравницы! Тем подрывникам, прежде чем класть тол, заглянуть бы в гидрологические азы и зарубить на носу, что при увеличении скорости стока только вдвое разрушительная сила воды возрастает в 64 раза.

Между тем, рассказывают, здесь когда-то каждый кусочек берега ценился дорого. Даже в степи землю продавали так: собьет чабан отару поплотней, пообедаст посохом вокруг нее черту, потом ударят по рукам, продавец угоняет овец себе, а очерченный круг земли остается чабану. В самой же Ялте цены на нее вообще были кошмарными. Мой давний наставник, не увядавший до глубокой старости садовник Аким Иванович Бомик, рассказывал:

— На самой окраине, выше уж некуда, купил я у чиновника в двенадцатом году, перед первой мировой, подворье. Отвалил по купчей четырнадцать тыщ! Привел сад в порядок и за два года расплатился с долгами, вернул те деньги до копейки. Многие ходят ко мне поныне, чтоб научил уходу за деревьями.

Все это я записывал, когда Аким Иванович, будто в другую цивилизацию, водил меня в горы показать заброшенные оросительные системы, погибающие сады, умершие при взрывах плантажа источники.

— Какие росли тут табаки! С ума сойдешь! Разницу в ароматах между высшим и лучшим сортом улавливал только дегустатор. Разница же в цене.. ну как между однодневным цыпленком и индюком. Ей-богу. Даже воздух был другой — чистейший. Стоишь на этой горе и с соседом за версту переговариваешься на другой. Или взять столовый виноград — кисти прямо неподъемные. Теперь, если выставка, «Магарач» у меня такие берет, а тогда у всех были.

Последнее письмо старик писал мне с болью: «Нету больше моего Яшки. Хотел отдать ребятишкам в лагерь Артек — не берут. «Не лошадь,— говорят,— Пржевальского, простой ишак, нам такая мерзость не нужна». А с кем, спрашивается, сам Черкасов снимался в картине «Дон-Кихот»? С Яшкой. Он есть во всех фильмах, какие делались в Крыму. Заслуженный артист. Даже любил, когда его подкрашивали. Водил и в лесхоз: не везде же, допустим, семена довезешь в горы на машине. Тоже не взяла. Отдал мясокорминату на колбасу салами, потому как та колбаса без ослатины не делается. Вернулся домой с одной уздечкой. Лучше б не ходил туда. А еще говорят, что даже глупая свинья чует бойню. Ничего мой Яшка не чувствовал, не ждал, наверное, такого предательства».

Что там взрывной плантаж или горькая Яшкина судьба. Все протесты специалистов против строительства Каховской плотины легли под сукно. ГЭС построили. Мощности у нее с гулькин нос, а так как закона сообщающихся сосудов не отменишь, то начало заливать шахты. Для откачки воды каховских киловольт не хватает. К тому же затопленными оказались десятки и десятки тысяч гектаров бесценных украинских черноземов, а те, что не достались морю, подтапливаются. Я не раз видел в Полтавской области не то что блюда, а разливаемые озера, не высыхающие до середины лета. Озимая пшеница тут вымокает, ячмень в воду да в грязь не посеешь. Никто тех мокрых, подтопленных морем гектаров с колхозов не списывает, они — «уборочная площадь».

Люди жалуются: «Дичь-то высиживает птенцов по инстинкту природы в привычных местах. А тут накатывает вода. Что творится: дети ночами ревмя ревут, слыша истошный утиный крик. Кто же в том Гидропроекте удумал нам такую кару?»

Или еще одно огорчение. Как-то Василий Иванович Манченко повез меня к берегам Сухого и Мокрого Еланчика. Практически нет уже ни того, ни другого. Остался каскад заиленных прудов среди голой степи. Да еще историческое свидетельство: тут царь-бомбардир Петр Первый ходил на кораблях за лесом. Нету больше тех боров и дубрав. А сколько таких Еланчиков, Серебрянок, Овечек, Камышанок, Глазюмок?.. Специалисты прикинули — и вышло, что только в России список погибающих малых рек содержит около 100 тысяч названий. Еще горше, чем Каховское море. Там вода губит черноземы, здесь снесенная земля убивает воды.

Вот оно — покорение природы, вот оно — «и на Марсе будут яблони цвести». С одной стороны, конституционное положение о рачительном отношении к окружающей среде, законы о земле и ответственности за нее. С другой — пробей соответствующие визы и заливай ее, бессловесную, морями, уродой столбами электролиний, прокладывая дороги, как твоему ведомству выгодно, оно ведь тоже государственное. Ставь, не спросясь председателя, буровую посреди кукурузной плантации, которую завтра косить, огораживай забором, чтобы развернуть новый квартал...

Мы создали спутники, целые космические системы, ощупавшие и Марс и другие планеты. Только вот ни в одной лаборатории мира не воссоздана и крупинка живой земли. У нас она бесценна только потому, что на нее нет цены. В поездке по Америке узнал, что в центре Нью-Йорка на Манхэттене квадратный метр земли стоит 40 тысяч долларов. Наши политэкономы до сих пор не предложили, как оценивать землю в эпоху социализма. Лишь однажды услышал более или менее конкретное суждение на этот счет от одного председателя: «Заплати за сто урожаев вперед — и тогда хоть копай тут шахту, хоть строй охотничий дом с сауной». Но кто выложит колхозу такие деньги? Он же не владелец, а землепользователь. Хозяин — государст-

во. Значит, и цена должна быть государственной, ставящей всех перед необходимостью комплексного подхода к эксплуатации угодий, будь то луг, сад, плантация или поле.

Это когда-то говорили, что жизни одного поколения мало, чтобы заметить в природе даже незначительные изменения. Сегодня же... Пора бить в набат перед фактом: небрежение обходится нашей стране ежегодной потерей 100 тысяч гектаров земли, которую пожарили одни овраги. 274 гектара ежедневно! А смысл в балки, низины, выдувание, потеря качества... Не слишком ли дорогая плата, чтобы не задумываться, как со всем этим быть дальше? Я завел речь о былом для того, чтобы извлечь из него предметный урок. Не завтра в Шпаковский район пришлют 150 тяжелых дисковых борон. Придется, видимо, механизаторам снимать с плугов отвалы и не переворачивать, а только рыхлить землю. Не завтра очистится Миус — усилий двух районов для этого мало. В планы по реализации Продовольственной программы сегодня можно включить только первоочередные мероприятия по сохранению почвенного плодородия. Но доколе же первоочередные? А перспектива? Не словесная — рабочая!

Я годами готовился к нелегкому этому разговору и не раз задумывался: как же привыкли мы свои ошибки и заблуждения оправдывать необходимостью. Сколько раз в жарком, до хрипоты споре слышал: «Что б вы кусали в своих академиях да институтах, если бы мы не пахали землю? Что?! Да, гнали годами хлеб по хлебу, развалили пилашлика, черепашку, корневые гнили. Теснили траву, занимали пары. А как иначе? Нет, ты скажи, как было жить иначе? Ты голодал хоть раз после войны?»

Что ж, все так. Только вот как быть с ленинским завещанием беречь и хранить землю как зеницу ока? Оно ведь — и к первым коммунарам, и к тем, кто будет жить после нас. Мы же не только в горевое лихолетье народных бедствий, а постоянно подтачиваем хлебодородную силу земли. Отрадно, что куб земли из Каменной степи и сегодня хранится в Париже как мерило самого большого богатства планеты. Но он и укор нам, напоминание о том, каким русский чернозем был в прошлом. Век назад специалисты подсчитали — и вышло, что если плодородные поля Центрального Черноземья, откуда берут истоки самые лучшие твердые и сильные пшеницы России, совсем не удобрять, то гумусного потенциала хватит, чтобы получать урожаи в 30 центнеров зерна с гектара на протяжении пятисот лет. Правда, при одном условии — гумус не будет разрушаться плугом. Сейчас здесь берут не больше 18—20 центнеров и считают такой урожай нормой.

Где же приумножение, где расширенное воспроизводство почвенного плодородия, которое должно быть первой обязанностью социалистического общества, коль социалистическая революция одним из первых своих декретов сделала декрет «О земле»? Лучше всего, «весомо, грубо, зримо» на вопрос этот, пожалуй, ответит образец того же чернозема, взятого с обычного воронежского поля в наше время и хранящегося под стеклом в музее НИИ сельского хозяйства Центральночерноземной полосы имени В. В. Докучаева. Никаких ковыльных серебряных нитей, как и иных слежавшихся растительных остатков, на поверхности нет — открытая, голая, обращенная в прах почва не способна выдержать малейшего дуновения ветра. Не черен, мертвен и пласт, следующий ниже. В верхней своей части он перуплотнен, мало проницаем для воды и воздуха. И к тому же не достигает былой метровой глубины сантиметров на 30. Не меньше. Выпахан!

Поставить бы тот изначальный и нынешний кубы чернозема на ВДНХ для всенародного обозрения, чтобы, стоя перед ними, каждый из нас понял наконец, что плодородная почва — то же самое, что пласты нефти и угля, что если бережно к ней не относиться, то через двадцать пять — тридцать лет от русских черноземов останется лишь название. Вот во что выливается та самая все объясняющая и оправдывающая «необходимость».

Были, конечно, в нашем земледелии первоначальные издержки, были промахи и просчеты. Без них, когда идешь первым, не обойтись. Кроме того, имели место явные перегибы и косность, волонтаризм и боязнь назвать вещи своими именами. А это никак не впишешь в поступательное движение вперед. «Мы научились брать сегодня, — сказал однажды директор того НИИ, где в музее лежит истощенный чернозем, — а о завтрашнем дне думать завтра. И проблема эта уже далеко не агрономическая — проблема нравственная. Брать займы без отдачи — чего же хуже?»

За годы десятой пятилетки в Центрально-Черноземной зоне поступало в почву азота с туками чуть больше 31 килограмма и с органикой еще около 13 кило на гектар. Отчуждалось же с урожаями почти по 80 килограммов. В целом, например,

за 1981 год по зоне внесена с туками и навозом 521 тысяча тонн азота, а урожаи вынесли его около 800 тысяч тонн. На одиннадцатую пятилетку планировалось в урожайности выйти к рубежу в 24—25 центнеров. При этом растения должны были вынести из земли около миллиона тонн азота. Но из кувшина можно вылить лишь то, что в него налили. Искомое миллиона не было, не оказалось и запланированного зерна. Что могло выручить? Еще более интенсивные сорта? Да, но для этого пришлось бы залезать к земле в еще большие долги.

Как можно было планировать строительство гигантских молочных и мясных комплексов, предприятий по откорму и доращиванию молодняка, яичных и бройлерных фабрик, не изучив и не освоив во всех до последней мелочи аспектах технологию наилучшего использования продуктов жизнедеятельности скота и птицы?! Они же сплошь и рядом идут не по почве, а своими стоками отравляют окружающую среду еще хуже, чем стоки промышленных предприятий. А ведь по логике развития можно было ждать, что те продукты будут производиться по плану, как производят мясо и молоко. Нет, просмотрели.

Для того только, чтобы приостановить убыль гумуса, в среднем по стране необходимо ежегодно давать земле 1,6 миллиарда тонн органики, что составит 7 тонн на гектар. Фактически вносится меньше 4 тонн. Но представим, что ситуация резко изменилась, органики стало вдоволь. Увы, ее нечем будет транспортировать. Даже нынешний вал для качественной работы с этими удобрениями требует в 2,5 раза больше погрузчиков и навозоразбрасывателей.

Медленно возводятся и противозерозионные гидротехнические сооружения, являющие собой неотъемлемую часть почвозащитного комплекса. Общий объем их в Центрально-Черноземной области должен составить 270 миллионов кубометров. Дай их — и Черноземье ежегодно станет дополнительно получать около 4 миллионов тонн зерна, 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, почти 2 миллиона тонн сена.

В Каменной степи, о которой подумали вчера, крупное опытно-производственное хозяйство НИИ имени В. В. Докучаева под тем же солнцем и теми же дождями, что идут окрест, получает урожай в 1,5—2 раза выше, чем берут в среднем по региону. Каменная степь до сих пор остается искусственно созданной экологической нишей, где во многом решена проблема ведения устойчивого интенсивного земледелия. В целом же в Черноземной полосе России, несмотря на колоссальные материальные затраты, урожайность не растет. Более того, игнорирование комплекса мер по борьбе с эрозией, свертывание работ по агролесомелиорации привели к усилению разрушительных процессов. Только за четыре года (1976—1980) площадь эродированных земель, по данным Института земледелия и защиты почв от эрозии, возросла с 2,9 миллиона гектаров (15,2 процента общей площади) до 4 миллионов (28 процентов), ежегодный ущерб от эрозии составляет 400 миллионов рублей. На эродированных землях теряется 30—60 процентов потенциального урожая. Вот они, деньги, которые можно было бы расходовать на воспроизводство плодородия.

Мало? Что ж, поищем еще. 40 процентов минеральных удобрений из-за того, что земли наши слишком утопаны колесами различной техники, не срабатывают. Другими словами: 4 из каждых 10 заводов химической индустрии страны работают не просто впустую, а во вред земле, отравляют ее.

Но и это не все, даже далеко не все. Десятками лет держа курс не на умение брать с каждого гектара больше зерна, картофеля, свеклы, хлопка или овощей, а на все возрастающее число этих гектаров, чтобы больше было не множимое, но множитель, мы стали по всем параметрам рекордсменами пахоты. В наших степях и лесостепях пашня занимает от 45 до 83 процентов территории, тогда как Франция распахана на 42, «тесные» ГДР и ФРГ — на 32, а США — лишь на 27 процентов. Кснетно, у нас меньше осадков, засушливей климат, короче безморозный период, но только этим принципы экстенсивного земледелия не оправдаешь.

Не американские или французские фермеры — наш Чаганак Берсиев проломил потолок урожая проса в 200 центнеров; там же, в Казахстане, звеньевой Ибрай Жахаев взял с гектара по 172 центнера риса. Никем в мире до сих пор не превзойденные результаты. Еще до войны звеньевая Сергеева на Алтае получила больше 100 центнеров яровой — не озимой! — пшеницы с гектара. А кукурузовод Марк Озерный, а гвардия украинских свекловодов-пятисотниц во главе со знаменитой Марией Демченко... Всех их родили не только ошеломляющие рекорды, их родило еще одинаково хозяйское отношение к плантации, участку, ланке. Собирали по дворам золу,

птичий помет, пестовали каждый стебелек, бурячок... Так молодой социализм утверждал свое авторское право на высочайшие образцы ведения земледелия в условиях коллективного хозяйства.

На машинную основу, индустриальные рельсы все это мы не поставили не потому, что технике неподвластно то, что подвластно рукам на малых площадях, а потому, что хотели брать лишь вершки, забыв о корешках, и телегу запрягли впереди лошади. Все возрастающий промышленный потенциал уходил и уходит в то, что над землей. Стальные лавины могучих тракторов с их многокорпусными плугами смогли бы сегодня распахать все и вся от Балтики до Тихого океана, от вечной мерзлоты до Кавказского хребта и снежных вершин Памира и Тянь-Шаня. Только зачем тратится столько металла, горючего и труда на каждый гектар пашни? Мы вбухиваем капитал сначала на травмирование почвы, потом, повторяю, на заживку зияющих ран. Пора непомерные вложения переадресовать, отдать «под землю» — для воспроизводства плодородия, ибо без фундамента невозможна ни одна прочная постройка. Никакие самые интенсивные сорта, никакие самые совершенные технологии сева, ухода и уборки не сдвинут урожай с места до тех пор, пока корешки не обретут в достатке влагу, пищу, благодатное тепло и здоровое дыхание. Пока же урожай падают не только в Черноземье, но и на нечерноземных почвах Белоруссии, по всей Украине, Поволжью. И не в засухе тут дело — настала расплата, а сук уже сильно подрублен.

Пора задуматься и заняться выработкой долгосрочной комплексной программы возрождения и обновления земли. Будем справедливы, вспомним, в какое время принимался, пусть несовершенный, тот План преобразования природы. Только отгремела война, еще поднимались из руин и пепелищ наши города и села. А средства нашлись. Огромные.

Проблемы, проблемы... От них не уйти. Потому решение их и вошло составной частью в Основные направления экономического и социального развития СССР на двенадцатую пятилетку и на период до 2000 года. Эти вопросы остры и сегодня. Еще острее они могут стать завтра.

Нынешняя ситуация диктует необходимость более широкого плана, учитывающего уровень и потенциал развитого социалистического общества. Кропотливая, на долгие годы работа. Без забегания вперед, без рывков, со скрупулезным анализом накопленного опыта работа под эгидой ВАСХНИЛ и институтов Академии наук СССР, где сплавились бы воедино пути сохранения и приумножения богатств окружающей среды — почвы, воды, лесов...

Не на Марсе — пусть на Земле цветут яблони.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО

Несколько лет назад, едва приступив к работе в качестве собственного корреспондента «Известий» в Риме, я познакомился с Федором Федоровичем Шаляпиным — сыном Федора Ивановича. Помнится, тогда он отправлял в Москву — не без хлопот! — портрет своего отца, написанный совместно Коровиным, Серовым и самим Федором Ивановичем. Несмотря на разницу лет, мы подружились. Я не раз заходил в его скромную квартирку на улице Сан-Томмазо д'Акуино. Федор Федорович бывал в нашем доме.

Готовя для своей газеты материал по воспоминаниям Федора Федоровича, я внимательно прочел переписку Ф. И. Шаляпина с А. М. Горьким, напечатанную в трехтомнике «Федор Иванович Шаляпин» («Искусство». 1976). Особенно меня интересовали 1922—1930 годы — период жизни Горького и Шаляпина очень не простой, в том числе и с точки зрения их личных отношений (в эти годы оба они жили главным образом за границей). Скорее это даже не переписка. Напечатано восемь писем Шаляпина к Горькому и только одно письмо Алексея Максимовича. А ведь нельзя не заметить, что Шаляпин то и дело отвечает на какие-то вопросы Горького. Где же письма его самого? Почему они не попали в книгу? Без них переписка выглядит неполной, даже не во всем понятной. Я поделился мыслями на этот счет с Федором Федоровичем.

— Письма Горького к отцу? — переспросил он и, словно припомнив что-то, после короткой паузы добавил: — Да ведь они в нашем семейном архиве. После смерти отца в Париже в тридцать восьмом году его архив поступил в распоряжение Марии Валентиновны¹. Позднее она передала горьковские письма своей дочери Марине, которая жила в Риме. Еще при жизни моего брата Бориса я несколько раз просил отдать их мне. Она обещала, но обещания не сдержала. Потом я узнал, что она продала их сестре Марфе².

— И они не были опубликованы?

— Насколько я знаю, нет. Марфа была против публикации. Она считает, для этого еще не пришло время.

— Почему?

— По ее словам, речь в них идет о финансовых отношениях между отцом и Горьким, а их, мол, предавать гласности не стоит...

С тех пор в течение нескольких лет я не раз заводил с Федором Федоровичем разговоры о письмах Горького. Высказывал сомнение, что Алексей Максимович писал только о финансовых делах. По логике вещей не мог он, так любивший и ценивший певца (вспомните крылатые слова Алексея Максимовича: «В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин»), свести многолетнюю переписку с другом к денежному вопросу! К тому же я знал, что сам Федор Федорович этих писем не читал и судит об их содержании только понаслышке.

И вот, помню, однажды за обедом словно бы невзначай Федор Федорович сказал:

— Горьковские-то письма Марфа из Лондона прислала.

— Вы прочитали?

— Пока нет. Почерк у Алексея Максимовича не больно разборчивый, да и глаза у меня стали сдавать. Давайте-ка почитаем их как-нибудь вместе...

¹ Шаляпина М. В. — вторая жена Ф. И. Шаляпина, урожденная Элухен, по первому мужу Петцольд.

² Шаляпина Марфа Федоровна (1909) — дочь Ф. И. Шаляпина от второго брака.

Боясь своим нетерпением повредить делу, я выждал несколько дней и позвонил Федору Федоровичу.

— Да, да, заезжайте ко мне,— приветливо отозвался он.

Спустившись к машине, Федор Федорович протянул мне желтый, чуть помятый конверт:

— Вот полюбуйтесь, десять писем Горького. Девять рукописные, одно отпечатано на машинке, но с его собственноручной припиской и подписью. Я в вашем распоряжении.

Не знаю, может быть, есть люди, привычные к горьковским оригиналам. Я же держал в руках письма А. М. Горького впервые. И волновался. По мере чтения становилось ясно — письма хотя и носят личный характер (а какое письмо, если оно пишется другу, не носит его!), тем не менее позволяют выявить дополнительные факты и детали жизни и быта Горького 1922—1930 годов и с большим знанием дела судить о его взаимоотношениях с великим певцом.

Неопубликованные письма охватывают восьмилетний период. Первое датировано 5 мая 1922 года. Это письмо А. М. Горький послал Шаялину из Берлина в Россию через несколько месяцев после отъезда за границу (в октябре 1921 года). В нем он указывает и свой берлинский адрес на случай, если Шаялин приедет в Германию. Последнее, десятое письмо датировано 18 июля 1930 года. Именно оно опубликовано в шаялинском трехтомнике. Однако публикация явно сделана по копии. В самое письмо, отправленное Шаялину, Алексей Максимович вписал от руки фразу, которая в опубликованном тексте отсутствует.

Судя по письмам, отъезд за границу дался А. М. Горькому нелегко. Оказавшись за рубежом, он остро почувствовал отрыв от родины. Уже в первом письме Шаялину из Берлина, сообщив новости о его дочери Лидии Федоровне³, Горький жалуется на одиночество: «И, знаешь, сердцу скучно, очень уж одинок я; я, положим, и всегда одинок жил, несмотря на множество окружающих, но раньше не чувствовал этого; жилось — и довольно забавно — интересами других».

Недуги вынудили писателя внять советам В. И. Ленина и уехать на лечение за границу. Известно, что далеко не все, в том числе близко знавшие М. Горького, поняли необходимость этого шага и высказывали ему свое недовольство.

Случалось, Алексея Максимовича даже упрекали, как это сделал в своем письме рабочий ленинградской «Электросилы» Попов, что он польстился на зарубежные «комфорты» и «виллу».

Но укоры и упреки ни в коей мере не были заслужены писателем. «„Виллу“ и „комфорт“ навязала мне буржуазная пресса эмигрантская,— навязала с простой целью: компрометировать меня в глазах искренних, но доверчивых социалистов»,— писал Горький в ответе Попову. Он надеялся подлечиться, хотел как можно больше поработать. Это подтверждают письма Горького Шаялину. В них он часто жалуется на нездоровье, сетует на старость: иной раз серьезно, иной — полушутя «Время-то, а? С горы катится». Это в письме от 15 ноября 1928 года. Его Алексей Максимович отправил Федору Ивановичу, когда друг сообщил ему о свадьбе дочери Марфы Федоровны. Шутливый тон горьковского письма подхватывает Федор Иванович: «Да, да, дружка, действительно время катит, как с горы. Лицо делается все больше и больше похожим на «порожний кошелек», и так иногда неприятно бывает смотреть на него в зеркало, а надо! — как же быть с галстухом?»⁴.

Постепенно самочувствие Алексея Максимовича улучшается, видимо, сказывался благодатный климат солнечного Сорренто. Все чаще в письмах проскальзывают юмористические нотки. «Живу — как всегда,— пишет он 11 августа 1924 года, — очень много работаю, ибо жить очень дорого, а я, как всегда, оброс людьми. В свободное время — кашляю, но, в общем, сильно поправился и уму не скоро. А вот А. Н. Алексин⁵ — помер».

В мае 1928 года Горький едет на несколько месяцев в Советский Союз, где незадолго до этого было широко отмечено его шестидесятилетие. Повсюду Алексея Мак-

³ Ш а л я п и н а Лидия Федоровна (1901—1975) — драматическая артистка, одна из основательниц Студии имени Ф. И. Шаялина.

⁴ «Федор Иванович Шаялин». Том первый. Литературное наследство Письма, стр. 360.

⁵ А л е к с и н Александр Николаевич (1863—1923) — врач-терапевт, лечивший А. М. Горького.

симовича встречали тепло, сердечно, как великого русского советского писателя. Вернувшись в Сорренто 19 октября, он спешит поделиться впечатлениями о поездке в письме к своему другу.

Горький любил и высоко ценил Шалапина, переживал его затянувшееся пребывание вдали от родины и был убежден, что Шалапин нужен своей стране и еще больше сам нуждается в ней. Писатель страстно желал, чтобы Шалапин вернулся в Советский Союз.

20 мая 1928 года по пути в Москву он встретился с Федором Ивановичем в Риме и сказал ему: «А теперь тебе, Федор, надо ехать в Россию». «Это был голос любви и ко мне и к России,— пишет Шалапин.— В Горьком говорило глубокое сознание, что мы все принадлежим своей стране, своему народу и что мы должны быть с ними не только морально, как я иногда себя утешаю, но и физически — всеми шрамами, всеми затвердениями и всеми горбами».

Из письма Горького от 15 ноября 1928 года следует, что в Москве за множеством больших и малых дел он не забыл обсудить возможность возвращения Ф. И. Шалапина на родину. Судя по письму, обсуждение было весьма детальным и велось, как сейчас принято говорить, на высшем уровне. «Очень хотят послушать тебя в Москве... — сообщает Горький.— Даже «скалу» в Крыму и еще какие-то сокровища возвратили бы тебе».

В ответ Шалапин пишет Горькому: «Радовался очень твоему пребыванию в России. Приятно было мне знать и слышать, как выражал народ наш любовь свою к своему родному писателю. Еще бы!.. Насчет скалы и сокровищ — это, конечно, вздор! Скалу я хотел иметь тогда, когда был полон вздорными мечтами о «Шильонском» замке искусства».

В книге Шалапина «Маска и душа» я встретил упоминание о Пушкинской скале в Крыму, которую Федор Иванович, как он пишет, «приобрел в собственность». Более подробно историю этого приобретения мне рассказал Федор Федорович.

— Отвесная скала, носящая имя Пушкина, была частью обширного имения Суук-Су возле Гурзуфа, что по-татарски значит холодная вода. Старики сказывали, что на этой скале, выступающей в море, бывал Пушкин, а его отец чтил безмерно. Насколько я помню, бюст Пушкина всегда стоял у него в комнате. Имение принадлежало некоему богачу Соловьеву. Когда Соловьев умер, отец заторелся желанием купить Пушкинскую скалу. Состояние Соловьева тем временем перешло к жене — простой крестьянке, на редкость красивой и обаятельной женщине. Поначалу она, правда, отказалась продавать скалу. Но как-то раз ей довелось услышать в казино выступление отца. Едва он кончил петь, она поднялась и на весь зал крикнула: «Скала — ваша!» А чтобы купля-продажа приобрела законный характер, отец заплатил за скалу символическую цену — десятку. Конечно, никакого замка он на ней не построил, хотя проект заказал архитектору и даже купил для стен гобелены. Отец, скажу вам, был изрядным фантазером... Всей семьей мы жили там, как мне помнится, летом пятнадцатого года. Отец готовился к постановке оперы «Дон-Карлос», всю выручку он хотел передать в фонд помощи раненым на фронте солдатам. Спектакль давался дважды, шел с неизменным успехом. Помню, кресла в первом ряду стояли двадцать пять рублей, а в ложе и того больше — сто рублей. Тогда это были большие деньги. Отец содержал в годы первой мировой войны два лазарета: один в Москве, другой в Петрограде. Вообще он охотно помогал людям, попавшим в беду, в первую очередь актерам. Ему доставляло радость одаривать деревенских ребятшек, а в деревне он бывал часто — любил русскую природу. Многократно отец давал бесплатные концерты. После Февральской революции пел революционным морякам прямо на набережной в Севастополе, одевшись в матросскую форму. Сохранились фотографии, запечатлевшие его выступления перед рабочими в Орехово-Зуеве в восемнадцатом году, перед красноармейцами в Москве в девятнадцатом и другие. Не случайно Шалапину в ноябре 1918 года присвоили звание народного артиста республики, и он им очень дорожил. Но это уже другая тема.

Трения между Горьким и Шалапиным возникли в связи с публикацией в 1926—1927 годах в издательстве «Прибой» первой половины автобиографии Федора Ивановича. Постепенно недоразумения переросли в конфликт, закончившийся разрывом. Неизвестные до сих пор письма писателя из шалапинского архива позволяют лучше понять позицию Алексея Максимовича в этом конфликте. В письмах даны точные объяснения того, в каком виде и когда именно была напечатана автобиография Ша-

ляпина «Записки». Горький высказывает предположение, что певца сознательно ввели в заблуждение люди из его парижского окружения.

Вкратце эта история такова. По настоянию Горького Федор Иванович продиктовал стенографистке — весьма отрывочно — свою биографию. Ее литературно обработал Алексей Максимович («„Записки“ твои на три четверти — мой труд», — напишет он позже певцу). В 1917 году «Записки» были опубликованы в горьковском журнале «Летопись». За их публикацию Шаляпин получил соответствующий гонорар. Почти десять лет спустя «Записки» были переизданы «Прибоем».

Из-за чего разгорелся сыр-бор? Кто-то наговорил Федору Ивановичу, что «Прибой» опубликовал не только ту часть «Записок», которая уже была ранее напечатана в «Летописи», но и ту, которая якобы хранилась у Алексея Максимовича и была им «продана» издательству. Шаляпин счел, что его интересам нанесли ущерб, так как книга его воспоминаний готовилась тогда к печати в Америке. В письмах Алексей Максимович убеждает друга, что дело обстоит иначе. Он старается скрупулезно восстановить подробности публикации «Записок», вспоминает сумму гонорара, полученную за них Шаляпиным, отвергает голословное обвинение людей из окружения Федора Ивановича, в том числе Марии Валентиновны, в свой адрес. К сожалению, история для Шаляпина тогда так и осталась невыясненной. Через несколько месяцев Горький возвращается к этому вопросу и практически целиком посвящает ему письмо от 14 июля 1927 года.

На это письмо Ф. И. Шаляпин отвечает почти незамедлительно. «Дорогой Алексей Максимович, слухи, дошедшие до тебя о том, что я говорил, будто бы книгу «Прибою» продал ты, — абсолютно неверны и переданы они тебе личностью, которая имеет, конечно, определенное лицо... Тон твоего письма показался мне обидным. Если я забочусь и беспокоюсь о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними... Я уверен в том, что ты сам знаешь хорошо: недостатков у меня много, но мерзости в душе я никогда не ношу, а всегда тебя люблю и уважаю!..»

Алексей Максимович боролся за Шаляпина как мог. Он был убежден, что пагубное влияние на него оказывает та часть его знакомых, которая в прямом смысле паразитирует на успехе великого певца у публики. Эти люди всячески стремились не только помешать возвращению Шаляпина на родину, но и поддерживать контакты с ней. Они точно рассчитали, что самый простой и верный путь — втянуть Шаляпина в разного рода антисоветские истории или спровоцировать его на высказывания, которые ими же интерпретировались в антисоветском духе. Горький насколько мог противодействовал интригам, которые плелись вокруг Шаляпина. Случалось, Алексей Максимович защищал Шаляпина даже... от него самого: «...мне очень дорого и важно, чтоб артист Шаляпин не был, не раскисал, не разводил искусственно в душе своей словесной сырости и плесени. Баста».

Увы, Шаляпин тогда не внял советам далекого друга. И вскоре адвокат Д. Печорин от имени Ф. И. Шаляпина передал во французский суд иск к Советскому правительству. Иск мотивировался тем, что советские учреждения без согласия автора напечатали и стали продавать, в том числе в Париже, биографическую книгу Шаляпина. Надо сказать, суд, тщательно разобравшись в обстоятельствах дела, отклонил иск. Поступок Шаляпина возмутил Горького до глубины души. 18 июля 1930 года он пишет ему письмо, ставшее известным по копии. Оригинал его, как я уже говорил, хранился в личном архиве Ф. И. Шаляпина. В нем Алексей Максимович сделал от руки приписку, не попавшую в прежнюю публикацию: «Не мог представить себе, что придется разговаривать с тобой в таком тоне, но ты заслужил его. Прощай. А. Пешков».

На этом письме переписка Горького с Шаляпиным оборвалась.

Я поинтересовался у Федора Федоровича, кто был адвокатом Шаляпина, передавшим его иск во французский суд.

— Один из тех паразитов, о которых пишет Алексей Максимович в письмах отцу, — ответил он. — Мне доводилось его встречать. Это был муж сестры Марии Валентиновны. Кстати, сама Мария Валентиновна сначала уговаривала отца уехать из Советского Союза, а затем всячески удерживала его от возвращения на родину. Умом этот наш родственничек не отличался, даже французский сносно не выучил, зато энергии и амбиции у него было хоть отбавляй. Несмотря на преклонный возраст, он всеми правдами и неправдами добился того, что стал французским адвокатом, хотя работы так и не нашел. Он всячески толкал отца предъявить иск. Для него это была возмож-

ность заработать. Остальное его не интересовало. Отца он воспринимал как дойную корову...

Порвав с Шалапиным, Алексей Максимович тем не менее не прекратил попыток содействовать его возвращению на родину. Когда Екатерина Павловна Пешкова весной 1935 года поехала во Францию, Горький поручил ей побывать у болевшего тогда Шалапина. «Увидишь Федора, скажи ему: пора вернуться домой, давно пора!» — наставлял он ее перед дорогой.

Е. П. Пешкова вспоминает, что в разговоре Федор Иванович много говорил о родине, о Москве.

«— Что же вам мешает вернуться домой?

— А пустят?.. Узнайте, пустят?»

Тут же, как записала в своих воспоминаниях Е. П. Пешкова, в разговор вмешалась Мария Валентиновна:

«— Куда ты такой больной поедешь? Я с тобой не поеду.

— Ну что ж,— ответил Федор Иванович,— я с Даськой поеду.— Поедешь? — спросил он, обращаясь к своей младшей дочери Дасии.— Поедешь со мной?

Та живо ответила, обнимая отца:

— Конечно, папа, с радостью поеду...»

О том, что Федор Иванович не раз мысленно обращался к родине перед смертью, рассказала мне в Риме его дочь Татьяна Федоровна Шалапина. Она провела с тяжело больным отцом три последние недели его жизни. Ее воспоминания до сих пор нигде не опубликованы.

— Незадолго до смерти отец вдруг решил попробовать голос. Голос звучал пресуходно. «Конечно, я имею грандиозный успех, публика меня очень любит,— сказал он с грустной улыбкой,— но как бы мне хотелось спеть в Самаре. Как русский народ, меня никто не любит...» Последними словами отца были «русский театр, русское искусство».

Шалапин, несмотря на разрыв, продолжал любить и чтить Горького. О смерти великого писателя он узнал на борту парохода, которым возвращался с гастрольной поездки из Азии в Европу. Он тут же послал дочери Ирине в Москву телеграмму: «Передай Екатерине Павловне следующее: потрясен, прочитав ужасающую телеграмму. Всех вас всегда обожал. Пусть будут с вами силы и здоровье. Федор Шалапин».

После смерти А. М. Горького он написал короткие, но идущие от сердца воспоминания о своем друге, о его «вечной боли за народ» и его главной страсти — «любви к России». Эти воспоминания со всей очевидностью свидетельствуют о глубоких чувствах Шалапина к Алексею Максимовичу, которые он сохранил до самой смерти. Так искренне ценить дружбу, пронести ее через все испытания, может только большой человек. Таким человеком и был Федор Иванович Шалапин.

Из публикуемых писем видно, что в некоторых из них речь действительно идет о финансовых отношениях Горького с Шалапиным. Но и эти строки из писем Горького, на мой взгляд, интересны, ибо характеризуют его как исключительно щепетильного человека в денежных вопросах. В одном из писем Горький обращается к Федору Ивановичу и Марии Валентиновне с просьбой одолжить ему денег. Но по письму видно, как тяжело дались Алексею Максимовичу эти строчки, хотя, в общем-то, взять у друга деньги взаймы в России никогда не считалось, да и сейчас не считается зазорным. Зато с каким облегчением Горький сообщает 29 июня 1927 года Федору Ивановичу, что готов рассчитаться с ним. По письмам видно: денежные вопросы тяготили Горького и он старался по возможности упростить расчеты с Ф. И. Шалапиным, свести их к минимуму. «Прочитал я твое письмо, и хотя мне не весело — хохотал. Пожалуйста, кончим эти смешные счета, к черту их», — писал он.

С согласия Федора Федоровича перед моим отъездом на родину я снял в Риме копии с писем А. М. Горького. Можно не сомневаться: тексты неизвестных писем из шалапинского архива, став достоянием гласности — а Федор Федорович собирается передать их в дар Советскому Союзу, — привлекут внимание литературоведов, будут ими изучены и прокомментированы. Я же, пользуясь знакомством с детьми Ф. И. Шалапина — Федором Федоровичем и Татьяной Федоровной, — постарался рассказать об отдельных эпизодах, упоминаемых в переписке. Хочу выразить искреннюю благодарность Федору Федоровичу и Татьяне Федоровне за то, что они поделились со мной — а теперь и с читателями «Нового мира» — своими воспоминаниями.

Николай ПАКЛИН.

* * *

Милый друг мой Федор Иванович!

Вероятно, Антики написали тебе о том, что Лидия ушла от них, и я уверен, что они оболгали ее. Советую тебе: не верь этим жуликам. Они рассчитывали «сделать дело», спекульнув именем Шалапина, эксплуатируя твою дочь, и Лидия поступила вполне разумно, не позволив им этого. Третья имя твоё в предприятиях сомнительного характера дело гадкое. За последнее время отношение молодого Антика к Лидии приняло характер пошлейшего издевательства.

Сейчас она живет в одном пансионе с Ив. Ракицким — который кланяется тебе и М.В. — в хорошей компании русских, почти каждый день бывает у Максима и чувствует себя недурно. Разумеется, ей недешево далась эта история, но ничего, она душевно здоровый человек. Не беспокойся о ней; в случае нужды какой-либо — она обратится ко мне.

Как ты живешь? Говорят, — снова собираешься за границу? Приятно было бы повидаться с тобой.

А у меня, брат, здоровье трещит по всем швам. Шварцвальд — не помог. И хотя настроение мое — очень хорошо, работаю я много, но — чувствую: старость пришла! И, знаешь, сердцу скучно, очень уж одинок я; я, положим, и всегда одиноко жил, несмотря на множество окружающих, но раньше не чувствовал этого: жилось — и довольно забавно — интересами других.

Передай сердечный привет мой милому и дорогому человеку, умнице Марии Валентиновне, очень я люблю ее и тебе того же от души желаю. Умный, славный друг она тебе.

Будь здоров, Федор, обнимаю.

Кланяется тебе и М. В. Максим, Радэ и всякий другой народ.

Всего доброго.

А. Пешков.

5.V.22.

Berlin, Kurfurstendamm 203/204 bei Stotzheim.

Антикам не верь. Жулики.

Дорогой друг мой,
письмо твое я получил, тоном и содержанием его — недоволен.

Ты в письме обидно ругаешь сам себя, а, на мой взгляд, делать этого не надо, ведь, изругав Шалапина, ты лучше, чем есть, не будешь, а ругаясь — можешь обидеть артиста в себе. Я знаю немало людей, которые Шалапина ругали, и, поверь мне, — это их не украсило.

Затем: я — не поп, не судья; я тебя знаю вот уже почти двадцать пять лет; некоторые недостатки твоего характера мне, наверное, известны не хуже, чем тебе самому, но у меня вполне достаточно своих недостатков, а — зачем же я буду бить клопов в квартире соседа, оставляя своих без внимания? Мы оба — не святые и сдавать экзамены на этот чин не собираемся, да если б, случайно, оказалось, что именно мы-то и есть праведники, все равно, брат, газетчики нам не поверят. А если газетчики не поверят — кто же поверит? Так уж лучше давай оставим пороки и добродетели наши для «самоснабжения» и на прокорм обличителям пороков, а сами себя ругать не станем. Я, разумеется, не одобряю свободное разведение пороков, но мне так надоело и свои, и чужие, что у меня нет охоты думать и говорить о пороках.

Закрываю: людей такого типа, как ты, обыкновенным аршином не измерить. Ты знаешь: я никогда не льстил тебе как человеку, но мне очень дорого и важно, чтоб артист Шалапин не ныл, не раскисал, не разводил искусственно в душе своей словесной сырости и плесени. Баста.

Живу — как всегда. Очень много работаю, ибо жить очень дорого, а я, как всегда, оброс людьми. В свободное время — кашляю, но, в общем, сильно поправился и умру не скоро. А вот А. Н. Алексин — помер. Мне это было очень больно, я его любил, это один из двух моих друзей, с которыми я на «ты».

Очень тронут сердечной припиской М. Вал. к твоему письму, пишу ей отдельно.

Будь здоров, дорогой мой, всего доброго тебе! Будь здоров. Изредка вспомни обо мне, напиши.

Обнимаю.

А. Пешков.

11.VIII.24.

Sorrento.

Дорогой мой Федор,

спасибо за письмо и портрет. Дася — славная и, кажется, похожа на Марию Валентиновну? А у тебя на портрете почему-то прехитрое лицо, что вовсе не идет к тебе. Спасибо за поздравление. Внучку мою зовут Марфа. Здоровая и тихая девочка. Мать — молодец. Все с ней — в порядке, все здоровы. Здесь Екат. Павловна, просит поклониться тебе и Марии Валентиновне. Она недавно хворала, оперировали. Я чувствую себя отвратительно.

Вот что, Федор Иванович: недели две тому назад я собирался писать тебе и М. В., но — не решился. Повод тяжелый: выступаю пред вами просителем, а не хочется мне примешивать в мое отношение к вам обоим «дела», да еще денежные.

Я очень прошу обоих вас дать мне в заем до июля 27-го года 1500 долларов. Деньги необходимы к 12-у октября, пришлите, пожалуйста!

Ну, вот с этим кончено. Да, — если почему-либо не можете дать денег, телеграфируйте — «нет». Был слух, что ты, Федор, едешь в Италию, — я очень ждал тебя. Хочется видеть, давно не видались.

Больше писать не стану, нервы у меня ни к черту не годятся. Написал большую повесть, скоро выйдет, пришлю. Пишу роман.

Будь здоров. Не забывай.

А. Пешков.

Адрес:

M. Gorki

Sorrento.

Письмо не датировано. — Н. П.

Дорогой Федор Иванович!

Мария Валентиновна не совсем права: у меня был рукописный экземпляр «Записок», но пред отъездом за границу он мною сожжен вместе с другими рукописями. Возможно, что копия была у стенографистки. Но все это к делу не идет, ибо ясно, что парижские «Дни» перепечатывали «Записки» из «Летописи», где они печатались в 16-м году. «Летопись» была закрыта раньше, чем удалось допечатать «Записки» до конца, и «Дни», очевидно, напечатали все, что было в «Летописи», потому что прервали «Записки» твои и печатают К. С. Станиславского. Таким образом: целиком до конца «Записки» в России не печатались. Разумеется, к делам «Дней» я не имею никакого отношения. Помню, что «Летопись» платила тебе 500 р. за лист, но не знаю, сколько листов напечатано ею.

Вот уже второй месяц здесь живет Борис с женою. Он очень подружился с Максимом и ездит с ним писать этюды в Амальфи, Позитано. Написал немало, и есть весьма удачные вещи. Вообще — парень даровитый. Порою — до смешного похож на тебя.

Был и сын А. Н. Бенуа, тоже славный малый, он уже уехал в Милан ставить «Бориса» и «Преступление — наказание». Он — тоже с женою, и эти три пары такое разделяли тут, что итальянцам пришлось очень широко раскрыть рты. Хороша молодежь, нахожу я. Не столь многим интересуется, как, бывало, мы интересовались, но, может быть, это для нее полезней?

Сердечный мой привет тебе и всем твоим. Дасен — особо.

Крепко жму руку Марии Валентиновне.

Будьте здоровы все! Я вот хвораю, рука болит, писать мешает, кашляю, температура и вообще — раскис.

А. Пешков.

16.X.26.

Милый Федор Иванович —
 посылаю тебе письмо М. Н. Михайлова, парижского адвоката. Удостоверяю, что он не «политик», а только гуманист.

Ему удалось сделать гораздо больше того, что он пишет. — карандашей он добыл тоже около миллиона штук. Все это идет прямо в деревенские школы.

Может быть, ты найдешь возможным для себя помочь ему в деле этом? Думаю, что при твоём обширном знакомстве это было бы тебе нетрудно. В то же время это дело хорошо поставило бы тебя в отношении к России, с которой тебе ссориться — не следует. А ты, вероятно, и сам чувствуешь, что вел себя по отношению к ней не всегда тактично, хотя в этом — допустимо — и не ты виноват, а репортеры, интервьюеры и вообще болтуны, окружающие тебя в избытке.

Подумай, может быть, что-нибудь сделаешь. Очень хорошо было бы это.

Обнимаю тебя, целую руки Марии Валентиновне, привет детям. Будь здоров, дорогой друг.

А я все прихварываю, недавно едва не схватил воспаление легких, это был бы конец мне, ибо сердце уже слабое.

Кажется, я писал тебе, что летом жил здесь Борис с женой и Бонуа-сын. Борис несомненно талантлив, но — лентяй.

История с «Записками» выяснилась? Я знаю только одно: издал их «Прибой», хорошее книгоиздательство, но книги самой я еще не видел. И. П. Ладыхников говорил, что «Записки» изданы по «Летописи», — как я и предполагал. Значит — изданы они не целиком, без конца и с пропусками.

Еще раз — будь здоров!

Обнимаю.

А. Пешков.

27.I.27.

Sorrento.

Дорогой Федор Иванович —
 в половине июля я получу возможность уплатить мой долг тебе 1200 дол. Пересылка денег отсюда затруднена некоторыми местными условиями, и мне нужно совершенно точно знать, в какой банк и на чей счет должны быть переведены деньги. Пожалуйста, сообщи это поскорее.

А с газетчиками ты напрасно разговариваешь... Звание же «народного артиста», данное тебе Совнаркомом, только Совнаркомом и может быть аннулировано, чего он не делал, да, разумеется, и не сделает.

Как здоровье твое, М. В., крестницы и всех твоих вообще?

Всего доброго.

А. Пешков.

29.VI.27

Sorrento.

Дорогой мой друг,
 как я уже писал тебе, «Прибой» издал только ту часть твоих «Записок», которая была напечатана в «Летописи», не помню, сколько листов там напечатали, но гонорара ты получил 6500 — шесть тысяч пятьсот. — кажется, «Записки» не были допечатаны до конца, потому что «Летопись» закрыла цензура. Я не знаю, кто работает в «Прибое», и никакого отношения к этому издательству не имею, это я тебе тоже, помнится, писал, но считаю нужным повторить, ибо до меня дошли слухи — может быть, неверные, — будто бы ты говорил, что книга «Прибою» продана мной. Это, разумеется, неверно, повторяю.

Тебе следует написать в «Прибой», чтоб издательство это выслало тебе гонорар за книгу или же передало этот гонорар лицу, которое ты укажешь. Я к этому делу и вообще к «Запискам» не хочу иметь никакого отношения и от тех американских денег, которые ты отчислил на мою долю, — отказываюсь.

Адрес издательства:

Москва, Лубянский пассаж, 46—49.

Деньги — 1200 дол. — из Москвы я еще не получил, получу на днях и немедленно переведу в банк, указанный тобою.

Будь здоров.

А. Пешков.

14.VII.27.

Sorrento.

Милый друг, Федор Иванович,

я ведь в письме моем писал, что не считаю тебя творцом слуха о моей афере с книгой и «Прибоем». Коротенькое письмо мое могло задеть тебя — как я думаю — только его сухим тоном и заявленным мною нежеланием говорить о книге и т. д. Тон объясняется тем, что у меня в душе черти в чехарду играют и что я до безумия устал от глупости и подлости человеческой. Устать — пора, 60 лет прожил. Разумеется, у меня не было и не могло быть сознательного желания обидеть тебя, и если ты думаешь так, это — грустно.

Снова — все-таки! — приходится писать тебе о «долге». Вот, я послал тебе — на Париж — 600 дол. Ты сказал, чтоб мне прислали 2000. Ладно. Из этих 2000 я пошлю тебе еще 600. Забавная игра старых приятелей в деньги! Почему бы тебе не устроить так: из 2-х т. послать мне 800 и — мы с тобою квиты? Т. е. мой долг 1200 был бы погашен. Или же вообще не посылать мне ничего, а зачислить долг мой «в счет гонорара»?

Чудак ты. Прочитал я твое письмо, и хотя мне не весело — хохотал. Пожалуйста, кончим эти смешные счета, к черту их.

Сейчас у меня молодые литераторы Леонид Леонов и Валентин Катаев — талантливые люди, очень. Леонов несколько напоминает тебя, когда тебе было под 30. Как тогда ты, он также сверкает, светится, шутит. Большущий писатель и очень русский будет. Сейчас печатается его роман «Вор» — вещь исключительного интереса и большого мастерства.

Катаев тоже — талант. Умен и обладает хорошим юмором.

Будь здоров. Привет всем твоим и Марии Валентиновне особо сердечный.

Жму руку.

А. Пешков.

29.VII.27.

Дорогой Федор Иванович!

Получил извещение о свадьбе Марфы, поздравь ее сердечно от моего имени, и поздравляю тебя с Марией Валентиновной — через год вы получите право на чин бабушки-дедушки. Время-то, а? С горы катится.

Побывал на родине, в мае снова поеду. Интересно там. Был в Казани — мало изменился город, сильно потрепала его гражданская война. Однако строится понемножку. И в Тифлисе был, там строят прекраснейший музей на Головинском, да и вообще — столица, — как следует. Очень много видел всякой всячины.

Говорят — ты будешь петь в Риме? Приеду слушать.

Очень хотят послушать тебя в Москве. Мне это говорили Сталин, Ворошилов и др. Даже «скалу» в Крыму и еще какие-то сокровища возвратили бы тебе. Хороша Москва стала, такой живой город. А Петербург — город лирический. Удивительно красиво разрослись насаждения на Марсовом поле и прекрасны отремонтированы Павловские казармы.

Зимний дворец я не узнал, его перекрасили в те цвета, как он был окрашен до пожара в 60-х годах, и теперь он как-то вырос, стал легче, воздушней. Вообще Петербург замечательно милый город, хотя я его не любил.

Ехал по Волге от Царицына до Нижнего на теплоходе. Вот, брат, стерлядей поел! Река — великолепа, последние три года были дождливы и воды много. Чудесно. До свидания, дорогой, если ты действительно будешь в Риме.

Марии Валентиновне — сердечный привет. Здесь — Катерина, кланяется вам. Завтра утром едет в Рим с Максимом и Тимофеевкой.

Жму руку.

А. Пешков.

Если поедешь в Рим,— захвати с собою те фигуры, которые передал тебе Мориц Гест.

А. П.

15.XI.28.

Sorrento.

Второй раз пишу тебе, Федор Иванович, предыдущее письмо ты, должно быть, не получил — только этим я могу объяснить твое молчание. Писал я тебе о нелепости и постыдности твоего иска к советской власти, которая — что бы ни говорили негодяи — власть наиболее разумных рабочих и крестьян, которые энергично и успешно ведут всю массу рабочего народа к строительству нового государства.

Я совершенно уверен, что дрянное это дело ты не сам выдумал, а тебе внушили его окружающие тебя паразиты, и все это они затеяли для того, чтоб окончательно закрыть пред тобою двери на родину.

Ты хорошо знаешь, что я всегда пытался оградить тебя артиста и человека от попыток различных жуликов скомпрометировать тебя так или иначе; это было не только в случае с писательницей Нагродской, которую я выгнал из твоего дома на Пермской. Поверь, что и теперь мною руководит только одно это желание: не позорь себя, Федор! Не знаю, на чем твой адвокат построил иск, но позволь напомнить тебе, что к твоим «Запискам» я тоже имею некоторое отношение: возникли они по моей инициативе, я уговорил тебя диктовать час в день стенографистке Евдокии Петровне, диктовал ты всего десять часов, не более, стенограмма обработана и отредактирована мною, рукопись написана моей рукой, ты наверное не забыл, что «Записки» были напечатаны в журнале «Летопись». За что тебе было заплачено по 500 р. за лист. Я, конечно, тоже помню, что с американского издания в 26 г. ты прислал мне 2500 дол. Какось, что принял эти деньги! Но из них я уплатил долг мой тебе 1200 д.

Все это я напоминаю тебе, для того чтоб сказать «Записки» твои на три четверти мой труд. Если тебе внушили, что ты имеешь юридическое право считать их своей собственностью, — морального права твоего так постыдно распоряжаться этой «собственностью» я за тобой не признаю.

По праву старой дружбы я советую тебе: не позорь себя!

Этот твой иск ложится на память о тебе грязным пятном. Поверь, что не только одни русские беспощадно осудят тебя за твою жадность к деньгам. Много вреда принесла твоему таланту эта страсть накоплять деньги. Последний ее взрыв — самый постыдный для тебя. Не позволяй негодяям играть тобой как пешкой. Такой великий, прекрасный артист и так позорно ведешь себя.

Не мог представить себе, что придется разговаривать с тобой в таком тоне, но ты заслужил его. Прощай.

А. Пешков.

18.VII.30.

Публикация Н. А. ПАКЛИНА.

БОЛЬШЕВИКИ

Письма Анны Кравченко и Александра Спундэ
(1917—1923)



В ряду архивных документов, периодических изданий минувших десятилетий и веков, мемуаров и прочих источников, помогающих нам воссоздать прошлое, особое место занимает эпистолярное наследие. «Письма,— писал А. И. Герцен,— больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

Проникновенные слова великого русского революционера-демократа вспомнились мне, когда я узнал о ценной коллекции писем, сохранившихся в домашнем архиве семьи Спундэ. Тут сберегли письма Н. К. Крупской, Е. Д. Стасовой, М. В. Нечкиной, М. С. Шагинян, А. В. Щербы и других видных партийных и государственных деятелей, писателей, ученых. Самую большую часть коллекции составляют письма, написанные А. Г. Кравченко и А. П. Спундэ друг другу в 1917—1960 годах. Их более тысячи!

Читая эти письма, отчетливо видишь двух достойных представителей славной большевистской гвардии, безгранично преданных великим ленинским идеалам. Мне знакомо имя А. П. Спундэ, оно упоминается в ряде трудов по истории Октябрьской социалистической революции; несколько раз довелось мне беседовать с А. Г. Кравченко. Это были вдумчивые, честные, самостоятельно мыслящие коммунисты, склонные к анализу происходящих событий, стремившиеся понять их истоки и заглянуть в будущее, о чем убедительно свидетельствует переписка, с которой могут познакомиться сегодня читатели «Нового мира».

Кстати, именно в «Новом мире» были опубликованы воспоминания участника Октябрьской революции А. П. Спундэ, в которых он, в частности, писал: «Двадцать шестого октября я долго ходил по улицам нашего Петрограда. Хотелось остаться наедине со своими мыслями. На душе было радостно и в то же время тревожно. Хватит ли у нас сил, ума, способностей, умения для того, чтобы выполнить наши обещания? Оправдаем ли мы надежды тех, кто дал нам власть, и тех, кто погиб, не дождавшись побед?»

Этими мыслями пронизаны едва ли не все письма А. П. Спундэ и А. Г. Кравченко. В них отражается благородная тревога авторов за чистоту рядов нашей партии, за благополучие Советского государства. Их сокровенные мысли и чувства близки и дороги нам, современникам.

Академик И. МИНЦ.

Самыми памятными событиями, оставившими неизгладимый след в сознании Анны Кравченко и Александра Спундэ, были их встречи и беседы с В. И. Лениным и Н. К. Крупской.

В 1918 году Спундэ посчастливилось наблюдать Владимира Ильича на заседаниях Совнаркома, на совещаниях, и, вспоминая об этом, он писал:

«Мы знали Ленина по его деятельности в течение четверти века как наиболее дальновидного, стойкого и преданного руководителя борьбы пролетариата. Теперь мы наблюдали его на посту председателя революционного правительства крупнейшей страны мира. Вдобавок к прежним средствам политического воздействия он располагал теперь силой государственной власти.

В новых условиях он был, как и прежде, товарищем в самом глубоком смысле этого слова. Во всей своей деятельности он стремился поддержать в большевиках дух коллектива добровольных единомышленников-революционеров. Во взглядах и предложениях любого товарища он искал элементы наиболее правильного решения вопросов революции, корректируя и улучшая их своими замечаниями, если в этом была необходимость. Он следил за тем, чтобы все члены коллектива, отстаивая свои взгляды и предложения, на деле находились бы в одинаковом положении, чтобы ничья инициатива не подавлялась, не заглушалась. Его значительное превосходство по уму и знаниям даже над наиболее талантливыми из большевиков было очевидным и общепризнанным. Но он не допускал и намека на то, чтобы вносимые им предложения считались правильными лишь в силу того факта, что они исходили от него, Ленина. Решали только доказательства.

В подавляющем большинстве случаев, несмотря на горячие споры, принимались предложения Ленина. Но так как это происходило без малейшего привкуса какой бы то ни было монополии, то принятые решения воспринимались как наилучшие решения, достигнутые коллективом».

Ленинскими идеями была озарена вся жизнь большевиков Кравченко и Спундэ, ленинский стиль сопутствовал их успехам в партийной и государственной работе. А. П. Спундэ являлся председателем ряда губкомов партии, членом коллегий Наркомата финансов и Наркомата путей сообщения. А. Г. Кравченко семнадцать лет работала под непосредственным руководством Н. К. Крупской, пять лет была ее заместителем в Главполитпросвете. 76 лет в партии, десятилетия плодотворной педагогической и политико-просветительной деятельности — таков славный жизненный путь А. Г. Кравченко.

С помощью писем, этого своеобразного рентгена, постараемся проникнуть в мир чувств, мыслей, побуждений этих двух людей.

Письма шли из Мотовилихи, Перми, Петрограда, Москвы, Омска, Красноярска, Читы, Борисоглебска, Калуги, Вятки, Орши, Ростова, Симферополя, Курска, Риги, Ташкента, Берлина, Токио, Нью-Йорка, Беркли, Лос-Анджелеса и многих других советских и зарубежных городов. Написанные иногда в спокойной обстановке, а чаще наспех, на листах, вырванных из ученических тетрадей или из конторских книг, на фирменной почтовой бумаге и на листочках из карманного блокнотика, на красочных карточках и на самодельных открытках, послания эти доносят до нас сиюминутные чувства, мысли, настроения пишущих и вместе с тем подлинный колорит той эпохи.

Незадолго до кончины Анна Григорьевна разрешила ознакомиться с письмами и те из них, которые, по мнению редакции, могут представить интерес для читателей, напечатать.

Думается, что было бы небезынтересно сначала хотя бы бегло проследить, как жили Анна и Александр в ту пору, когда еще не знали друг друга...

1905 год. Рига. Артиллерийская, 40. Многоголосый говор и шум наполнили вечером 7 сентября квартиру столяра Русско-Балтийского вагоностроительного завода латыша Петра Спундэ. Рабочие взволнованно обсуждают из ряда вон выходящее событие: отряд боевиков ворвался в Рижскую центральную тюрьму и освободил двух революционеров, ожидавших смертного приговора. Восхищенный подвигом героев, с затаенным дыханием вслушивается в разговор взрослых младший сын хозяина квартиры тринадцатилетний Саша Спундэ.

В те же сентябрьские дни пятого года в полутора тысячах километров от Риги, в небольшом приазовском городе Ейске дочь педагога пятнадцатилетняя гимназистка Аня Селиванова с жадностью вникает выступающим на митингах ораторам-революционерам, участвует в ученической забастовке и демонстрации. В том же году после смерти отца переезжает в Харьков, где вскоре вступает в контакт с революционной студенческой организацией.

1907 год. Александр Спундэ, окончив Рижскую торговую школу, начинает самостоятельную трудовую жизнь. Ученик в канцелярии Общества товарных складов, продавец книжного магазина, конторщик на железнодорожной станции Рига-товарная, письмоводитель присяжного поверенного...

Весной этого года Анна Селиванова становится членом РСДРП, осенью приезжает в Петербург на Высшие женские (Бестужевские) курсы. Сразу же устанавливает контакт с Петроградским комитетом РСДРП и разносит по заученным адресам большевистские прокламации и брошюры.

1909 год. Александр Спундз, обладающий голосом профессионального звучания, отказывается от карьеры артиста императорского театра, которую сулят ему меценаты, и выбирает путь борца-революционера. Вступив в Рижскую организацию социал-демократии Латышского края, начинает активную агитационную деятельность.

Анну Селиванову за распространение нелегальной литературы на год высылают на родину ее родителей — в донскую станицу Урюпинскую (ныне город Урюпинск Волгоградской области). Не прерывая учебу на курсах, она экстерном сдает экзамены.

1912 год. В январе первый арест Спундз. За участие в противоправительственной демонстрации, которая, как сообщал лифляндский губернатор, проходила с «выкидыванием красного флага и с пением революционных песен». В июле второй арест — «за принадлежность к сообществу, которое поставило перед собой цель изменения в России образа правления». Состоявшийся вскоре суд приговорил А. П. Спундз к ссылке в Сибирь на поселение.

Анне Селивановой вручено свидетельство об окончании историко-филологического отделения Высших женских курсов. Из двух предложений — остаться в Петербурге для научной работы при кафедре русской истории Бестужевских курсов или ехать в провинцию учительствовать — Селиванова выбирает второе. И вот она в небольшом городе Спасске Гамбовской губернии. Помимо изучения с гимназистками старших классов учебной программы по истории и литературе, молодая учительница ведет с ними беседы на волные темы, а с некоторыми читает запрещенные книги. Об этом доносят начальству, и Селивановой объявляется, что для данного учебного заведения она является персоной нон грата. Анна Григорьевна обменивается местами со знакомой преподавательницей и переезжает в станицу Каменскую.

1916 год. Начальник Енисейского губернского жандармского управления доносит департаменту полиции, что Спундз и некоторые другие ссыльные используют легальные возможности работы в кооперативах, ибо там «им всего удобнее прививать и развивать свои революционно-социалистические идеи». Этот начальник еще не знал, что вместе со своими единомышленниками Спундз организовал в Минусинске нелегальную социал-демократическую группу, в которую вошли тридцать человек, в том числе несколько солдат местного гарнизона и приказчиков...

За Селивановой, заподозренной в антиправительственной пропаганде, устанавливается полицейская слежка. Верный человек предупреждает ее о готовящемся аресте; она покидает Каменскую и приезжает в Петроград в надежде восстановить прежние связи с большевистским комитетом. Однако эти попытки оказываются тщетными. Полиция разыскивает Селиванову, угроза ареста возрастает с каждым днем... Случайно Анна встречает на улице приехавшего с фронта в столицу на несколько дней друга юности Якова Кравченко (десять лет назад в Ейске они вместе входили в нелегальный молодежный кружок) и, подумав, что, возможно, и он член партии и у него есть связи, рассказывает ему, в какой ситуации оказалась. Выясняется, что он не член партии и никаких связей у него нет. «Но есть выход, — говорит Яков, — тебе надо сменить фамилию. — И после небольшой паузы продолжает: — Я нахожусь на таком участке фронта, где не сегодня-завтра могут меня убить... Давай обвенчаемся — ты получишь чистый паспорт и новую фамилию». Селиванова соглашается.

Прапорщик Кравченко уезжает в свой полк. Через два с половиной месяца Анна получает известие о его тяжелом ранении и смерти.

Прочитав в одной центральной газете объявление о том, что Оханскому уездному земству Пермской губернии требуется работник по внешкольному образованию, Анна Кравченко уезжает туда, поселяется в селе Частые и ведет среди крестьян окрестных деревень не только просветительную, но и пропагандистскую работу.

1917 год, март. Центральная площадь Минусинска заполнена жителями города и солдатами местного гарнизона. Примостившись на узком подоконнике третьего этажа пожарной каланчи, ссыльный большевик Александр Спундз произносит страстную речь о совершившейся в России революции.

Школьное помещение деревни Змиевка, Оханского уезда, Пермской губернии битком набито крестьянами. Учительница Анна Григорьевна сообщает им о свержении самодержавия. Уряднику же, который требует «прекратить крамольные речи об императоре», бросает в лицо: «Ваша власть кончилась вместе с царем. Вы не можете уже больше запрещать говорить народу то, что есть. Снимайте шапку и кладите ее на стол, иначе мы ее снимем сами». Опешивший урядник озирается, видит устремленные на него угрюмые лица мужиков и снимает шапку.

1917 год, апрель. Александр Спундэ приезжает в Петроград, чтобы, как он говорил, «подышать воздухом революционной столицы». Центральный Комитет партии направляет его в Пермь с заданием нейтрализовать влияние меньшевиков и эсеров в массах. В вагоне он познакомился с Я. М. Свердловым, ехавшим в Екатеринбург (ныне Свердловск). «Сразу же выяснилось, что мы единомышленники,— вспоминал Спундэ,— и после нескольких первых фраз стали говорить не столько о том, что делать, а как делать».

Чуть ли не с корабля на бал Спундэ попадает на открывшуюся 14 апреля 1917 года Первую освободную (так она именуется в протоколе и так вошла в историю) Уральскую областную конференцию РСДРП и сразу же занимает ленинскую позицию.

Анна Кравченко решает, что в дни таких исторических событий ей необходимо установить контакт с большевиками губернского центра, и в мае 1917 года приезжает в Пермь.

В этом старинном уральском городе и пересеклись их жизненные пути. Весной они познакомились, осенью стали мужем и женой.

На общегородской партийной конференции, состоявшейся в конце мая — начале июня семнадцатого года, Спундэ избирается председателем Пермского партийного комитета, Кравченко — секретарем. Вскоре Александр Петрович становится разъездным инструктором Уральского областного комитета РСДРП(б). В середине июля 1917 года на Второй Уральской партконференции, состоявшейся в Екатеринбурге, Спундэ избирается членом областного партийного комитета, Кравченко — кандидатом в члены обкома. После конференции Анна Григорьевна возвращается в Пермь, Александр Петрович остается в Екатеринбурге.

Первая разлука. Сколько еще будет! В тревожное время революции и гражданской войны, в годы великой стройки им нередко приходилось подолгу жить врозь. Но крепкие узы любви и духовного единства, постоянная забота друг о друге помогали им мужественно преодолевать длительные разлуки. Где бы ни находились Кравченко и Спундэ, в какой бы обстановке ни оказывались, они при первой возможности пишут друг другу письма, обмениваются депешами. Известно, сколько всего посланий отправили они друг другу. К сожалению, не удалось обнаружить письма А. П. Спундэ, присланные Анне Григорьевне до 7 сентября 1918 года; возможно, они были утрачены летом 1918 года, когда Кравченко оказалась в белоказачьем плену. Не все письма удалось сберечь и в период Отечественной войны. Но 1112 писем и телеграмм, написанных ими друг другу в 1917—1960 годах, сохраняются и по сей день.

Публикуем небольшую часть этой обширной переписки, опуская в письмах некоторые повторы, детали и частности. В комментариях использованы документы центральных и местных архивов, периодические издания 1917—1923 годов, а также материалы домашнего архива семьи Спундэ.

23 июля 1917 г., Пермь.

Дорогой Александр Петрович, не сердитесь на меня за то, что я пишу Вам не сразу по приезде. Масса дел сразу поглотила меня всю, и прямо не было минуты, когда удалось бы спокойно перекинуться с Вами парой слов. Сегодня я пользуюсь бессонницей и пишу Вам. Почему я не сплю? Не думайте, что от нездоровья, нет, я здорова, совершенно здорова (это правда), а просто не могу спать после последних известий... Как-то остро почувствовала я приближение новых кровавых дней, снова приблизилось искаженное, искверканное лицо жизни, и многое, многое бродит в голове, хочется быть со своими мыслями, а не спать.

Попробую теперь рассказать Вам обо всем, что может быть, для Вас интересно. Наша партийная работа начала расти. В организацию вошло несколько студентов (живых!), которые предложили себя как лекторскую силу, и мы решили устроить кружки среди рабочих, кружки, дающие общее политическое развитие, а также ряд популярнейших лекций...

К приезду Шейнкмана все готово: и афиши, и помещение. Список кандидатов в городское самоуправление тоже готов, в понедельник сдадим его в городскую Управу¹. Сегодня я обошла несколько заводов и окончательно собрала подписи.

Мотовилихинские² выборы опротестованы, но мотовилихинцы думают устроить ковыпротест, не унывают. И сегодня у нас было фракционное заседание, намечался план работы в ближайшее время. Как мне показалось, волостное земство — дело мало

кому известное, ну да на практике поймут. Типографию на Чусовой купить не удалось, поехали сегодня в Осу³...

Как Ваше здоровье, дорогой? Я постоянно думаю о Вас, и так больно, что ничем не могу помочь Вам, хотя бы немного покою Вам было. Сегодня отправила Вам с т. Вайнером одеяло и подушку, завтра с т. Шейнкманом⁴ отправлю белье. Обо мне не беспокойтесь, я себя совсем хорошо чувствую. Домой я решила не ездить... Скорее всего я отдохну недельки две где-нибудь около Перми...

Ну, всего хорошего пока. Пишите...

А. К.

¹ Речь идет о подготовке к выборам в местное самоуправление. Они принесли большевикам немалый успех. В списке новых гласных Пермской городской думы, опубликованном «Пермским вестником Временного правительства» 22 августа 1917 года, читаем:

«...Кравченко Анна Григорьевна, 27 лет, с-д., большевичка, секретарь Пермского комитета Р. С. Д. Р. П.

...Спундэ Александр Петрович, 25 л., с-д., большевик, член обл. ком. Р. С. Д. Р. П.».

² Мот о в и л и х а — пригород Перми; Мотовилихинский оружейный завод насчитывал в то время около 18 тысяч рабочих.

³ Ч у с о в о й (ранее Чусовая), О с а — города Пермской области. Пермские большевики были лишены возможности выпускать газету, так как не имели собственной типографии, о поисках ее и пишет Анна Григорьевна. Вскоре типографию нашли, и 29 октября 1917 года в Перми вышел первый номер первой большевистской газеты «Пролетарское знамя».

⁴ В а и н е р Л. И., Ш е й н к м а н Я. С. — видные уральские большевики, погибшие в годы гражданской войны; их именами названы улицы в Свердловске.

26 сентября 1917 г., Петербург.

Дорогой Александр Петрович!

Не знаю, где застанет Вас это письмо¹, но все же пишу.

Вот уже неделя, как я из Мотовилихи, и за это время ничего не сделано, да и не будет сделано, по всей вероятности. Министерство народного просвещения, ради которого я ехала главным образом в Петербург, представляет из себя печальное зрелище полного развала. Люди в нем не только ничего не делают, но со злорадством посматривают на муки демократии и ждут, ждут с радостной злобой, когда все революционное полетит в пропасть всеобщего развала. Когда увидимся, подробно расскажу целый ряд мелких, но чрезвычайно характерных подробностей.

Ждать, чтобы наши провинциальные начинания поддержал центр, — нечего. Если мы сами не справимся на местах, нечего и ждать скорого обновления страны².

Петроград сам как-то захирел и обнаглел в одно и то же время. Никогда я не видала его таким грязным, людей таких беспокойно суетливых, а с другой стороны, никогда на витринах центра не было столько дорогих и роскошных вещей, как теперь. Слово «товарищ» в центре произносится только как ругательство.

Была у наших³, здесь работа кипит. По-хорошему кипит. Много говорила с т. Иоффе⁴, который будет руководить нашим муниципальным журналом. Я настаивала, и, кажется, безрезультатно, чтобы в журнале был введен специальный отдел для волостного земства.

Была на собрании культурно-просветительной комиссии нашей фракции при городской думе, слушала Луначарского, и тут мне также понравилось.

Встречаюсь со многими из своих прежних знакомых, так что впечатлений масса. Порой все эти впечатления дают картину, полную ужаса, даже в мою душу закрадывается иногда страх за будущее России, но как-то вера в лучшую сторону жизни берет скоро верх. Ведь не может же победить тупость и пустота? Путь страданий ведет через муки к радости. Только очень еще долго придется страдать всем. Порой мне кажется, что наше поколение не дождет завершения начавшегося длительного революционного процесса...

Дня через три закончу свои дела и, если к этому времени кончится забастовка железнодорожников, выеду из Петрограда...

А. К.

¹ Спундэ мог находиться в те дни в одном из городов Урала; вероятно, письмо было адресовано в губком партии с просьбой переслать ему. Кравченко приезжала в Петроград хлопотать об ассигновании средств на нужды народного просвещения; в удостоверении, выданном Мотовилихинской волостной земской управой, говорилось, что ей поручено «заведывание делами народного образования».

² О твердой стене бюрократизма и безразличия, на которую Анна Григорьевна наткнулась в министерстве народного просвещения Временного правительства, она решила рассказать в печати. «В одном из «обновленных» министерств» — так называлась ее корреспонденция, опубликованная в двух номерах «Уральского рабочего» в октябре 1917 года.

³ В большевистской фракции Петроградского Совета.

⁴ И о ф ф е А. А. — в то время член Петроградского Совета, позднее на дипломатической работе.

22 октября, 1917 г., Мотовилиха¹.

...Итак, съезд отложен до 25-го². Страшно мучает незнание того, что происходит в Петрограде, газеты опаздывают как никогда. Я Вас очень прошу в случае каких-нибудь крупных событий телеграфировать мне немедленно, какие бы ни были известия, все же они лучше, чем неизвестность. Не знаю почему, может быть, просто нервы разошлись, но эти дни я переживаю как-то очень тревожно, все чего-то жду...

Изо дня в день кручусь по всевозможным собраниям и чего только не наблюдаю на них! Жаль, что нет времени записывать всю эту мозаику жизни.

Очевидно, Вы еще не скоро попадете в Мотовилиху, так хоть пишите почаще. Пока всего хорошего.

А. К.

¹ Письмо адресовано в Петроград, куда Спундэ уехал на Второй Всероссийский съезд Советов.

² Сначала было объявлено, что Второй съезд Советов состоится 20 октября.

8 ноября 1917 г., Мотовилиха.

Дорогой Александр Петрович!

Сегодня в Мотовилиху доковыляла Ваша открытка из Перми. Как видите, почта день ото дня улучшается...

Кроме газет, прочитала еще весь «Сборник латышской литературы»¹. Чем больше я читаю, безразлично какой национальности писателей — английских ли, французских, немецких и т. д... тем больше жизнь, в самых неуловимых ее мгновениях, отливается в художественно законченные формы. Не по-разному подходят к жизни писатели той или другой нации, а только с различных сторон, и когда много читаешь, то видишь, какой огромный, многоузорный ковер — жизнь. И каждая нация кладет свою тень на нем. Ваши лирики очень интересны тем, что они обыденную, повседневную жизнь хотят видеть полной значенья. В этом их большая ценность.

Что же написать Вам еще? Моя внутренняя жизнь крайне смутна. Может быть, и от болезни, а может быть, и сама по себе. Я уже говорила Вам как-то, что принадлежу к очень тупым людям, очень долго оформляется у меня какой-нибудь процесс переживаний или какая-нибудь мысль. Это у меня с детства еще. Нападает, бывало, тоска какая-то бесформенная, гнетущая, все она съест — и радость жизни, и мысли. Целыми днями полная прострация. И так с неделю. А потом вдруг неожиданно откуда-то выплывает давно-давно мучивший вопрос и ответ на него. Где-то под сознанием идет работа. Не знаю, что сейчас со мной, стараюсь не думать и не анализировать, пустое препровождение времени.

Тов. Лузин² принес мне в подарок полочку для книг, такую большую и емкую, что на нее почти все книги усталились. Газеты я привела в порядок. Кое-каких №№ «Новой жизни» и «Рабочего пути» нет, нет также № 178 «Правды». Теперь в мою комнату можно еще много всякой всячины положить.

Если буду себя хорошо чувствовать сегодня, то напишу кое-что в «Уральский рабочий», он стал выходить как всегда, видимо, в Екатеринбурге спокойно.

Пока всего хорошего, дорогой.

А. К.

¹ Сборник под редакцией В. Брюсова и М. Горького. Пг. «Парус». 1916.

² Лузин А. В. — активный коммунист парторганизации Мотовилихи; комиссар продовольственного отряда, убит кулаками 26 июня 1918 года в селе Шлыки Оханского уезда.

2 декабря 1917 г., Мотовилиха.

Милый Саша!

Вот я и пишу тебе сегодня письмо.

Проснулась я с чувством страшной пустоты вокруг, так страшно было не видеть тебя в комнате. Поскорее принялась за делишки. Надела новые ботинки как сред-

ство стать обворожительнее и прекраснее и отправилась к горному начальнику хлопотать о проводке электричества в школы. Ботинки помогли, с понедельника начнутся работы.

Потом пошла в Совет рабочих и солдатских депутатов и так далее и так далее. Провертелась все утро, потом... признаюсь уж откровенно — улеглась спать да так славно выспалась. А теперь, вечером, написала статью «О декретах Народного Комиссара по просвещению»¹, письмо т. Луначарскому и вот пишу тебе...

Сейчас как-то нет настроения сказать хоть частичку того многого, что хочется сказать. Поэтому не сетуй на коротенькое письмо. Пусть оно будет просто коротеньким отчетом за день...

А.

¹ Статья А. Кравченко «О декретах Народного комиссара по просвещению» напечатана в газете «Пролетарское знамя» 5 декабря 1917 года.

4 декабря 1917 г., Мотовилиха.

...Официально объявлена в Перми власть неведомо кого (всякая мешанина) и ведомо зачем — противодействовать власти Народных Комиссаров. Наши приняли бой и во вчерашней газете призывают не подчиняться этой власти¹. Возможно на этой почве даже вооруженное столкновение. Мотовилиха вся на ногах.

А.

¹ 3 декабря 1917 года газета «Пролетарское знамя» напечатала на первой полосе такой набранный крупным шрифтом призыв:

«РАБОЧИЕ, СОЛДАТЫ, КРЕСТЬЯНЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ!

В Перми образован «Совет по управлению Пермской губернией» тесным союзом врагов революции — меньшевиков, правых эсеров и кадетов!

Он объявил войну вашей Советской власти.

Он не признает власти Совета Народных Комиссаров.

РАБОЧИЕ, СОЛДАТЫ, КРЕСТЬЯНЕ, ВЫ НЕ ПРИЗНАЙТЕ ЕГО САМОГО!

Через свои Советы на местах откажитесь признать эту жалкую кучку обнаглевших буржуазных наймитов.

Долой изменников и врагов народа!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ НА МЕСТАХ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ!»

5 декабря 1917 г., Мотовилиха.

От заходящего солнца сейчас вокруг все прозрачно-ало, и снег переливается всеми цветами радуги, пушистый большой снег, который выпал всего несколько часов тому назад.

Глаза мои улыбаются всему этому, а на сердце немного больно. Больно оттого, что сегодня я ждала письма от тебя, а его нет. Утешаюсь только тем, что газеты из Екатеринбурга пришли от 2-го. И что это почта так неповоротливо действует.

Вчера у меня были тт. Толмачев, Белобородов и Костарев¹. Этот последний подарил мне томик своих стихов с надписью. Приедешь, почитаем вместе, если будет время, и стихи, и надпись и «посплетничаем».

С т. Костаревым мы сегодня будем читать в рабочем клубе, там все еще не могут наладить литературных вечеров.

Все эти дни я как-то не могу наладиться, войти в колею, как-то беспокоино. Не пойму отчего. Неужели из-за твоего отъезда? Но ведь это малодушие, с которым я упорно боролась еще и раньше. Что же будет, когда ты уедешь в Петроград? Видишь, Саша, как много во мне бабьего, и ничего я с собой поделать не могу.

Телеграмму в Глазов я отправила еще в воскресенье, в Вятке выборы начались 3-го².

Пусть бы открылось Учредительное собрание, пусть бы эсеры показали свою близость к кадетам и все вместе они — свое бессилие перед новыми задачами. Популярность Учредительного собрания умерла бы быстро, пока же она еще живуча³.

Как-то идет твоя работа? Отдыхаешь ли ты хоть немного?..

Аня.

¹ Толмачев Н. Г. — член партии с 1913 года, участник Октябрьской революции и гражданской войны. Был членом Пермского комитета РСДРП(б), Уральского обкома партии и областного Совета, делегатом Восьмого съезда партии. В мае 1919 года в бою против войск генерала Юденича был тяжело ранен, окруженный белогвардейцами, застрелился. Похоронен на Марсовом поле в Ленинграде. Белобородов А. Г. —

член партии с 1907 года; в то время, когда написано это письмо, член Исполкома Уральского областного Совета, с января 1918 года председатель Исполкома; в последующие годы на военной и советской работе. К о с т а р е в Н. К. — участвовал в революционном движении с 1911 года; после Февральской революции один из организаторов Красной гвардии в Перми; участник октябрьских событий на Урале и гражданской войны на Дальнем Востоке; в 1926—1927 годах участвовал в Северном походе Народно-революционной армии Китая; автор книги «Мои китайские дневники».

² Имеются в виду выборы в Учредительное собрание. А. П. Спундэ был избран в Учредительное собрание от Вятской губернии по списку большевиков.

³ Предположение А. Кравченко, что популярность Учредительного собрания, подерживаемого кадетами и эсерами, быстро умрет, подтвердилось. Как известно, контрреволюционное большинство Учредительного собрания, открывшегося в Таврическом дворце 5 (18) января 1918 года, отказалось обсуждать предложенную Я. М. Свердловым от имени ВЦИК Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, оно также не признало декреты советской власти, принятые на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Декретом ВЦИК, принятым в ночь с 6 на 7 января 1918 года, Учредительное собрание было распущено.

10 декабря 1917 г., вечер, Мотовилаха.

...Когда тебя нет около, особенно ясно ощущается недостаток той постоянно бьющейся, загорающей мысли, какой так много у тебя.

Вчера мы с т. Толмачевым, который перед отъездом в Петроград зашел ко мне, говорили о тебе, и он тоже сказал, что редко у кого бывает такая свежесть и самостоятельность мысли, как у тебя, а т. Костарев назвал тебя «практическим мечтателем» — это ли плохо? Одно только мешает тебе быть и самому довольным собой — постоянное перепрыгивание от одной работы к другой. Органическая постоянная работа для тебя необходима, где ее только найти теперь? Я вот только и мечтаю о том, как мы будем жить вместе, и я постараюсь сделать все что можно, чтобы тебе легче работалось. Так уж и быть — уступлю тебе часть своих книг и письменный стол, хотя оставляю за собой право отзыва их обратно, если ты обнаружишь свой плохой характер. Согласен?..

На последнем собрании школьной комиссии было очень интересно. При помощи товарищей рабочих удалось отстоять право свободной критики родительскими комитетами преподавания в школах. Сколько спора было! На 17-е назначено общее собрание родительских комитетов, это возникает очень живая ячейка, от которой я многого жду...

А.

27 декабря 1917 г., Мотовилаха.

...Вчера с твоим отъездом¹ я переживала очень много. Ты спрашивал, что со мной, но мне трудно было сказать это на словах. Я ничего, Саша, никогда не могу забыть из пережитого. Совершенно не понимаю людей, которые говорят: одно кончилось, другое началось или еще что-нибудь в этом роде. Для меня жизнь — одно целое, где прошлое, настоящее и будущее неразрывны. И в моих отношениях к тебе это сильно сказывается. Ты для меня не случайно встретившийся человек (даже в самом лучшем смысле этого слова), не новая привязанность, а воплощение моих очень, очень давнишних мечтаний и чаяний. С моим первым мужем ты для меня как-то неразрывно связан, и порой я о тебе думаю как о нем, а о нем как о тебе. В этом ничего нет обидного для тебя, ибо и он, и ты для меня одна и та же огромная сторона жизни. Прошлое не ушло, оно только вылилось в новую форму. И когда ты уезжал, вспомнились все прежние проводы, ожила вся прежняя боль...

Сегодня принялась за очередную работу, все же мешает какая-то слабость. Начну брать себя в руки...

Аня.

¹ Избранный членом Учредительного собрания, А. П. Спундэ уехал в Петроград.

2 января 1918 г., Мотовилаха.

Прочитала несколько газет от 28-го. Итак, революционная война — дело дня. Думала о ней. Нечего, конечно, и говорить об отношении к ней вообще, но, в частности, какое место займем мы с тобой в ней. Нужно идти. И вот тут у меня начи-

нается раздвоенность. Не в отношении себя, ты знаешь это, Саша, а в отношении ребенка. Я теперь как-то определенно верю, что он у меня будет. Как вот в этом случае быть? И чего я только не передумала за сегодняшний день. Если ты уйдешь на фронт, то я знаю, что это добром не кончится. Так уж как-то все рушится вокруг меня. Я долго искала внутри себя такой точки, которая дала бы мне уверенность в возможности выдержать все, что снова падет на мои плечи, и, пожалуй, нашла. Как много сил надо иметь, чтобы жить, не боясь жизни! Как многое надо убивать в себе для этого.

Ты в Петрограде больше знаешь обо всем, чем мы здесь, пиши, когда удастся. Одно только, Саша: не уезжай, не повидавшись со мной. Если тебе не удастся приехать ко мне, я приеду к тебе, сколько можно, пробудем вместе.

А минутами все же хочется верить, что не будет войны, что, может быть, еще порадуемся мы с тобой и радостями интимной, радостями индивидуальной жизни. Не из сибаритства хочу этого, а потому, что растешь от этих переживаний, еще сильнее начинаешь любить жизнь.

Я уже верчусь со своими очередными делами. Не знаю, как улаживать вопрос с квартирой, больше всего беспокоит то, что а вдруг ты приедешь, и мне негде приютить тебя. Ну да это все пустяки по сравнению с главным...

Аня.

9 января 1918 г., Мотовилаха.

Милый Саша! У меня окончательно начинает ум за разум заходить. До сих пор от тебя ни одного письма из Петрограда. Послала тебе срочную телеграмму с запросом, а к вечеру принесли твою телеграмму: «Постарайся приехать съезда Советов¹. Мой адрес Астория №». Как видишь, № нет, и от какого числа эта телеграмма, тоже неизвестно, видимо очень давнишняя...

Хотела было я выехать все же, но тут столкнулась с препятствием в лице земства и рабочих. Когда некоторые из них узнали, что я собираюсь уезжать, мне прямо заявили: бросать нас в такое время нехорошо.

Надо тебе сказать, что у нас очень остро стоит продовольственный вопрос, в кредит нигде не продают зерна. Сегодня позвали местных тузов и взяли у них 100 000 р. Пришлось мне с ними объясняться.

О Питере знаем, что Учредительное собрание распущено. Знаем, что были столкновения, и я уже один момент совсем не чаяла увидеть тебя.

Пришло из дому письмо от 17 декабря. Мама описывает подробно, как издеваются над ней. Послала и ей срочную телеграмму.

Саша, родной, как только можно будет — приезжай². Порой совсем у меня сил не бывает, мучаюсь за тебя, за маму...

Аня.

¹ Третий Всероссийский съезд Советов состоялся 10—18 января 1918 года.

² Анна Григорьевна еще не знала тогда, что в тот самый день, каким датировано ее предыдущее письмо — 2 января 1918 года. — Ленин подписал постановление СНК о назначении А. П. Спунде комиссаром Государственного банка «на правах товарища управляющего» и Спунде остался в Петрограде.

16 января 1918 г., Пермь.

Милый, родной Саша!

Дома осталось большое недописанное письмо к тебе. Я его допишу и дошлю, а сейчас просто, чтобы не пропустить дня, пишу это коротенькое из Перми.

Я здесь на губернском крестьянском съезде. Наши уговорили меня участвовать во что бы то ни стало. Сегодня пришлось говорить об Учредительном собрании и Советках. Съезд довольно интересен. Подробности расскажу после, а теперь скажу только, что крестьянство, даже пермское, расслоилось резко. Левая и правая сторона — два непримиримых врага. Попытались было на собрание пронести знамя с лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!», но что поднялось! Один момент рукопашная схватка казалась неизбежной. Я стояла прямо под знаменем (конечно, это вышло случайно) и видела сотни испуганных лиц, сжатых кулаков, вой стоял невообразимый. Знамя принуждены были свернуть и унести...

Завтра иду отвечать на кипу записок, поданных мне, потом придется опять приниматься за текущую работу.

Сильно скучаю по тебе.

Целую тебя, милый. Пиши, бога ради, хоть открытки заказные; в Питере есть автоматы, принимающие заказные письма, так что и расписки ждать нечего.

Аня.

21 января 1918 г., Мотовилиха.

...Крестьянский съезд раскололся, правые эсеры метались туда, сюда, пошли было сначала на соглашение, потом отказались. Обыкновенная картина поведения партии без линии. Наши свою позицию выдержали, продолжают работу отдельно и разьедутся с тем, чтобы помочь на местах, в деревнях «прорастанию Советской власти». Кулаки, конечно, воют. Не знаю, кого я больше ненавижу: городского миллионера-буржуа или тысячника — деревенского паука: один другого стоит.

В резолюции о конструкции власти в губернии внесен у нас особый пункт о лишении права голоса при выборах в Советы крестьянских депутатов гг. подрядчиков, лавочников и прочих «трудящихся» за счет других.

Вчера и сегодня у нас инструктор биржи труда из Екатеринбурга. Завтра наша биржа труда начнет функционировать.

Сегодня было организационное собрание из представителей от профессиональных союзов, Совета рабочих и солдатских депутатов, Управы; очень хорошо прошло это собрание: деловито, с пониманием положения. Я решила, что время от времени буду отрываться от земской работы и посещать собрания других организаций. съезды, митинги (как вчера в Курье), это очень освежает, расширяет круг наблюдений...

Аня.

26 января 1918 г., Мотовилиха.

Сегодня шла я домой страшно усталая (пришлось начать работу в 7 часов утра), придавленная той мелочной злобностью людей, какой так много вокруг сейчас, и сразу ожила, увидев на столе твое письмо, бандероль, газеты. Сразу теплее стало на душе, отогрел ты меня издали, Саша. А когда я прочитала твое письмо (19/1), то и совсем почувствовала, что мы с тобой действительно свои люди. Скажу тебе правду: меня мучало отсутствие таких вот серьезных, сложных писем от тебя. Я оправдывала это тем, что ты очень занят, но где-то в глубине души поднимался другой голос — найдется всегда время, если очень близок человек. Было больно от сознания, что ты многое переживаешь без меня, и сама я невольно сжималась от этого. Такой уж я несуразный человек. На этот раз все мои сомнения рассеялись, и только немного больно, что ты извиняешься за скучное письмо. Неужели ты не понимаешь, что такие письма никогда не могут быть скучными для меня...

Завтра в рабочем клубе буду вести беседу на тему «Роль Советов рабочих и солдатских депутатов в Европейской революции». Так жаль, что нет под рукой газетного материала о первых днях наших русских Советов, статистики о Первом съезде их. Ну и работы же будущим историкам оставит наше поколение!

Сейчас думаю пораньше улечься и почитать сборник финляндской литературы...

А.

* * *

В январе, когда Спундз звал Анну Григорьевну в Петроград, у нее не было возможности отправиться туда. Лишь через полтора месяца Кравченко едет в столицу. И связано это было с очень тревожными событиями.

В феврале до Мотовилихи дошла весть о серьезных разногласиях в ЦК по вопросу о предъявленных немцами тягчайших условиях мира. Одни члены ЦК требовали отклонить их и объявить Германии «революционную войну», другие, в том числе Ленин, настаивали на немедленном принятии этих условий, так как для революционной войны нужна армия, а ее нет. В Мотовилихе еще не знали тогда, что разногласия эти достигли такой остроты, что на заседании Центрального Комитета партии 23 февраля 1918 года Ленин поставил ультиматум: если политика революционной фразы будет продолжаться и германские условия не будут приняты, он выходит из правительства и из ЦК.

На экстренном заседании мотовилихинского парткома коммунисты рассудили так: наверно, Ленин не знает, какая большая сила есть на Урале, какие боевые тут красногвардейские отряды, громившие банды атамана Дутова, как много оружия

может дать Мотовилихинский завод: надо послать в Петроград своего представителя, пусть расскажет обо всем Владимиру Ильичу и заявит, что уральцы за революционную войну с Германией. Решили послать Кравченко...

В Смольном Анна Григорьевна встретила Ф. И. Голощекина, секретаря Уральского областного комитета партии, который с таким же наказом приехал из Екатеринбургa. Они разговаривали в коридоре, когда Ленин вышел из кабинета. Владимир Ильич, хорошо знавший Голощекина, сразу подошел к ним, познакомился с Анной Григорьевной и стал расспрашивать их, как обстоят дела на Урале; они рассказали ему об-уральских настроениях и о том, с чем приехали.

Кравченко вспоминала, что в ответ на горячие речи уральцев, ратовавших за революционную войну с немцами, Ленин сказал:

— Походите по улицам, послушайте, что говорят солдаты.

И в тот день (1 марта 1918 года) и в последующие три дня Анна Григорьевна по долгу ходила по улицам столицы, побывала на многих митингах, сама выступала, беседовала с солдатами и поняла, что старой армии уже нет, а новая еще не создана; значит, чтобы сохранить советскую власть, надо немедленно принять немецкие условия мира, хотя они и тяжки и унижительны.

С таким убеждением Кравченко вернулась в Мотовилиху. На собраниях и митингах она разъясняет рабочим сложившуюся в стране обстановку, говорит о мудрости ленинской позиции, позволяющей отстоять мир и сохранить завоевания Октябрьской революции.

Много лет спустя (в 40-х годах), готовясь к выступлению на собрании, посвященном годовщине со дня рождения Ленина, Анна Григорьевна написала в своем конспекте:

«Встреча с Лениным в Смольном. Предметный урок. Чему он научил:

а) глядеть на жизнь открытыми глазами. Пошире, поглубже глядеть. Пусть эта действительность неприглядна. Все рассмотреть, не бояться трудностей;

б) уметь идти в наступление с оружием в руках, уметь отступать, сжав зубы; выжидать возможности нового наступления; никогда не забывать целей борьбы».

В вопросе о Брестском мире у Спундэ поначалу также были колебания. Условия, предъявленные немцами, он считал неприемлемыми. Среди подписей группы работников, подавших 24 февраля 1918 года заявление об уходе с ответственных партийных и советских постов, есть и его фамилия. Однако должности своей он не оставил и ни на митингах, ни в печати взгляды «левых коммунистов» не отстаивал. Переосмыслив события, Спундэ энергично проводил в жизнь линию большевистской партии. Но ошибку свою он помнил всю жизнь. Спустя почти сорок лет он в «Личном листке по учету кадров», отвечая на вопрос: «Были ли колебания в проведении линии партии и участвовали ли в оппозициях (каких, когда)?» — написал: «В 1918 году в течение месяца был сторонником группы „левых коммунистов“».

12 марта 1918 г. и. ст., Мотовилиха.

Милый, дорогой Сашенька, не писала тебе эти дни, потому что жила это время, выражаясь языком кинематографов, «в чаду любви» или как там еще.

Не успела я появиться в Управе, как начали приходить на квартиру, и все приходящие так искренно радовались мне, так тепло глядели, что я и сама, сбросив то серое и тяжелое, что налегло в Петрограде, засветилась. Оказывается, без меня люди соскучились, стосковались по живому темпу работы, по освещению ее с педагогических и прочих точек зрения...

Дел накопилось столько, что я перебралась вчера совсем в Управу, даже с ночевкой, благо мы теперь перешли в д. Бакошина и у меня есть своя собственная конурка. Городская, уездная и губернская организации по народному просвещению хромают, ловят тоже меня и засыпают рядом вопросов, придется и тут немного поработать; ясного, отчетливого плана, видимо, у людей нет, это очень больно.

Уездного и губернского земства и нас уже больше нет, все служащие согласились работать с советскими организациями. У нас волостное земство сливается с И. К.¹, пришлось составлять проект слияния, кое-как состряпали. Посылаю его тебе. Посылаю с немного коварной целью: может быть, тебя прельстит какой-нибудь из отделов. Мне поручено разработать программу курсов дошкольного воспитания, которые хочет провести Народный университет, разработать план детской летней колонии, которую мы решили организовать на бывшей архиерейской земле. Это не-

отложенная задача, ибо к нам в Пермскую губернию из Петрограда едет 5000 заморенных детей, да и некоторых своих надо летом поукрепить...

Насчет немцев здесь существует удивительно хладнокровное отношение — никто о них даже не говорит. Когда я на вопрос: «Ну, как в Петрограде?» — начинаю говорить о наших внешних делах, меня перебивают и просят рассказать о работе в комиссариатах, о нашем финансовом положении и т. д. То, что мы с тобой так мучительно пережили две недели тому назад, для рабочей среды совершенно чуждо. Все ставится на практическую почву, и только... А что немцы на нас войной пошли, так иначе и быть не могло, только немецкий пролетариат скоро поймет, где правда. Так все просто и спокойно. По улицам Перми марширует разными шагами «Социалистическая армия» — один отряд уже уехал в Питер. И здесь, в этой атмосфере спокойствия, деловитости и веры в свои завоевания, у меня рождается прямо какое-то новое отношение к силам и будущему русского народа. Не только выдержит он все, но и как-то по-своему, не торопясь создаст крепкую, здоровую жизнь.

Весна наша опять поворотила на зиму, хотя солнышко и светит, но очень холодно. Скорее бы тепло.

Целую тебя, родной, крепко. Жду не дождусь весточки от тебя, а газеты все еще идут те, какие я читала в Петрограде, значит, и письмо твое где-то путешествует.

Аня.

¹ Исполнительный комитет Совета.

19 марта 1918 г., Мотовилха.

...Я опять начинаю сильно скучать о тебе, ведь уже 16 дней как не имею от тебя никаких известий, хорошо еще, что в «Правде» от 10-го под одним из распоряжений по банку увидела твое имя. Знаю, что виновата во всем почта, и все жду, жду. Стараюсь работать как можно больше, только в работе и нахожу успокоение. Многое удалось наладить за это время: организован целый отдел по дошкольному образованию, разработана программа по этому отделу педагогики для народного университета, беру под свою защиту пенсионеров, которые все ходят и ищут защиты своих прав.

15-го был день в пользу беднейших учеников, и все население отнеслось к нему очень внимательно...

А.

21 марта 1918 г., Мотовилха.

Хороший мой, Саша, получила твое письмо от 12-го, ну и, конечно, жизнь сразу полнее стала. Пиши почаще, милый. Хочется мне, чтобы поскорее приехал ты ко мне отдохнуть от всего пережитого, а с другой стороны, хочется вместе поехать на южное солнышко, но думаю, что это последнее желание — одна только мечта, что летом совсем не до отдыха будет, и поэтому прошу тебя — приезжай поскорее, я очень боюсь, что ты окончательно вымотаешься...

Вчера Исполнительный Комитет преподнес мне великолепный маленький никелированный браунинг. Я ему очень рада. Привези мне, Сашенька, пуль к нему (размер известный — малый браунинг).

В Перми начинает издаваться педагогический журнал нашими, просят принять участие. Хочется писать, но нет времени. Думаю уж один день в Управу не пойти, а все-таки что-нибудь написать!¹...

Аня.

¹ 30 апреля 1918 года в Перми вышел первый номер журнала «Известия по народному образованию». В числе членов редколлегии А. Г. Кравченко.

24 марта 1918 г., Мотовилха.

Милый Сашенька, я не только скучаю, когда нет от тебя писем, но и когда сама не пишу тебе. Хочется говорить с тобой, просто как-то реальнее ощущать живую связь...

Мои дела идут своим чередом, работаю много. Утомляет очень работа с учителями — до ужаса застывшие люди застывшие и боящиеся всего. По окончании учебного года — в мае месяце у нас будут выборы учителей. Думаю использовать их для широкой агитации вообще идеи школы. Начинаем уже готовиться к этому. Меня все тянут в город, но я не хочу идти туда...

Я опять принялась тащить в свою нору что можно, поджидая тебя. Опять ку-

пила муки, масло есть, на днях мне подарили 5 фунтов сахару. Долги я почти все выплатила, потому что нам прибавили жалование с 1 января. Через месяц, я думаю, и все выплачу...

С каким бы удовольствием я тебя сейчас просто по руке погладила, в глаза заглянула...

Аня.

28 марта 1918 г., Мотовилаха.

Уже третий день, милый Саша, как я получила твою телеграмму и не знаю, что отвечать на нее, решаю лучше писать письмо, а тем временем и от тебя придет письмо с более подробным пояснением твоего переселения в Москву.

Сначала я твердо решила остаться здесь, пока мне позволит здоровье, остаться единственно из-за работы, к которой я привязалась очень. Вчера же произошло кое-что, что нарушило твердость этого решения, и мне, кажется, больше чем когда-либо раньше захотелось к тебе.

Произошло слияние волостного земства и Исполнительного Комитета. Вместе с этим последним снова в работе по самоуправлению оказался т. Мясников¹, и сразу же в дело внесся дух упрощенного разрешения всех вопросов, фракционщина и т. д. Я не стану подробно описывать тебе все наши споры, скажу только, что я почувствовала себя выбитой из моего мирного рабочего настроения. С т. Мясниковым вдвоем нам не работать, и я буду спешить окончить зимнюю работу, организовать летнюю и тогда выеду к тебе...

А.

¹ Мясников Г. И.— состоял в большевистской партии с 1906 года, работал в Перми, с 1921 года в Петрограде. В 1922 году был исключен из партии за антипартийную деятельность и систематическое нарушение партийной дисциплины. Позднее организатор контрреволюционной так называемой рабочей группы, эмигрировал за границу.

12 апреля 1918 г., Мотовилаха.

...Хочется мне очень сейчас, прямо до непреодолимости хочется читать. Читать красивые, серьезные мысли о жизни, людях, и, воруя время от текущей работы, урывками читаю Горького «В людях», А. Франса «Боги жаждут». И их слова, такие различные, но одинаково образные и сильные, еще больше возбуждают у меня желание писать самой. И вдруг у меня за лето что-нибудь выйдет?¹

Моя работа по отделу народного образования идет полным ходом. Детские площадки уже начинают приводиться в порядок. Народный университет организует краткосрочные курсы для подготовки помощниц руководителям, закупаем всевозможные игрушки. У меня в комнате стоит уже огромный ящик с мячиками, которые мы получили, можно сказать, с бою. Выборы учителей решено использовать для пропаганды новых школьных идей вообще, и для этого решено устроить публичные лекции, выпустить ряд листовок для населения. Две таких листовки я уже написала: 1) Для чего надо выбирать учителей и 2) Каков должен быть народный учитель и как к нему должно относиться население.

Вот в такие моменты, как сегодня, набираешь запаса сил на долгие недели и месяцы. Даже десант японцев, отказ немцев выйти из занятых областей не очень расстраивает меня — есть вера в непобедимость лучшего.

Саша, милый, береги только ты себя.

Пришла домой, и еще неожиданная радость — два твоих письма от 6/IV. Ведь я так радуюсь твоим письмам...

Надо кончать письмо и опять бежать на заседания.

С понедельника начну сдавать дела.

Господи, и неужели опять все наши планы будут разрушены, неужели еще придется быть врозь? Как ни готовлю я себя к самому худшему, а все же моему человеческому сердцу хочется порой покоя.

Ну, пока кончаю. Целую крепко, дорогой мой, жду писем, телеграмм.

Аня.

¹ Эта фраза в письме Анны Григорьевны связана с желанием написать рассказ или повесть. На литературные способности юной Анны Селивановой обратил внимание А. М. Горький, напечатав в 1916 году в октябрьской книжке основанного им жур-

нала «Летопись» ее очерк «Три года в провинции (Из воспоминаний учительницы)». А. М. Горький пригласил А. Селиванову к себе, дружески беседовал с нею, советовал писать дальше.

14 апреля 1918 г., Мотовильха.

...Сегодня воскресенье, и я забастовала — взяла и не пошла ни на одно собрание. И одно чувство того, что не надо торопиться, не надо накидывать на бегу план речи, сразу же успокоило меня. У меня сейчас одна из моих прежних спасских учениц — Шура Ивановская, беру ее в свой отдел. Мы мирно беседовали с ней, и вдруг в 8 3/4 ч. утра принесли твою телеграмму. Она сразу подняла мое настроение, как-то близко около себя почувствовала тебя. Принялась за всякую домашнюю возню, а в 12 часов получила от тебя 3 письма: от 6, 7, 8 — и целую грудку книг от Натальи Сергеевны¹. Твои письма были таким радостным сюрпризом, что я долго их даже не распечатывала и лежала с закрытыми глазами, просто безотчетно радуясь, видя твой почерк. Сашенька милый, пиши всегда так же часто, как хорошо мне в такие дни.

Все твои мысли, все твои переживания делают мою жизнь гораздо полновеснее, расширяют ее. Твои боли и радости заставляют еще острее переживать все...

Попадем ли мы теперь с тобой, Саша, в Урюпинскую? Харьков занят, а это так близко от нас. С ужасом думаю о том, что будет твориться по станицам, если их начнут занимать. Наши казаки без боя сдаваться не будут, и возможно вырезывание целых станиц. На переговоры с Радой как-то мало надежды...

Ручьи неумолкаемо журчат весь день, снега почти уже нет. Выставила везде — и в Исполкоме, и в квартире — зимние рамы и гляжу, гляжу вокруг. Во мне, видимо, живет еще какой-то зверь дикий, у которого весной обостряются и зрение, и слух, и обоняние.

Наталья Сергеевна прислала мне Уэллса «Мистер Бритлинг и война» и еще несколько книг издательства «Парус». Можно сказать, все лучшее этого издательства у нас теперь есть. А вот о чем я попрошу тебя, Саша, — если будет время, зайди в магазин издательства «Сегодня» (против цирка Чинизелли), купи их издания и завяжи с ними связи. Со всех сторон их хвалят как чрезвычайно оригинальных, хороших работников в области детской литературы. Я им писала, но ответа нет. толкнись к ним. А также, если будут деньги, купи Гончарова собрание сочинений. Позондируй почву в «Ниве», если можно, купи в переплетах...

Из так называемых классиков он самый любимый мой писатель. Он и Лермонтов...
Аня.

¹ О ком идет речь, установить не удалось.

* * *

В начале июня 1918 года А. Г. Кравченко, ждавшая ребенка, приехала к матери в станицу Урюпинскую. Вскоре станица была захвачена белоказаками. Когда ей наконец удалось покинуть Урюпинскую и приехать в Борисоглебск, она прежде всего начинает разыскивать Спундэ. 14 июля 1918 года Кравченко пишет Н. Н. Крестинскому (в тот период нарком финансов РСФСР), который хорошо знал и ее и Спундэ по работе на Урале в 1917 году:

«Товариш Николай Николаевич!

Только что вырвалась из казачьего плена, в котором пробыла почти целый месяц. Описать все пережитое нет сейчас никаких сил. Из Урюпинской я вырвалась только в том, что на мне, все остальное погибло... Вырвавшись из Урюпинской, я сейчас же дала телеграмму А. П. Спундэ но мне ее вернули из Москвы «за выбытием адресата» Не знаете ли Вы что произошло с ним, жив ли он, по крайней мере? Я настолько больна после всего пережитого плюс то, что я скоро должна стать матерью, что чувствую себя совершенно выбитой из колеи, не могу работать, думать и это в такое время Черкните хоть пару слов: г. Борисоглебск Тамбовской губернии, почтово-телеграфная контора До востребования А Г Кравченко.

С товарищеским приветом А Кравченко. Ответьте поскорее».

В том же конверте домашнего архива семьи Спундэ, где обнаружилось это письмо, оказалось и такое:

«23-VII-18

Многоуважаемый Александр Петрович! Пересылаю Вам полученное мною вчера от Анны Григорьевны из Борисоглебска письмо. Ей я телеграфно ответил, что вы здоровы и в Перми. Пишите, жму руку. Ваш Н. Крестинский».

18 (31) июля 1918 г., Борисоглебск.

Милый мой, родной Саша, сегодня получила телеграмму, подписанную тобою, если бы ты знал, как обрадовалась я этому...

Я сейчас почти что душевно больной человек после всего пережитого, могу начать плакать ни с того ни с сего (во время плена этого со мной не было, я вела себя совершенно спокойно), или начинается нервная лихорадка, такая, что зубы стучат, по ночам я вскакиваю аккуратно в час (обыкновенно время обыска) и как зверь слушаю — не идет ли кто. Ходила в больницу к доктору, прописал он мне каких-то капель и... покой. Капли что-то плохо помогают, а покой — каким он может быть теперь...

Вчера и Борисоглебск был объявлен на осадном положении, потому что казаки снова овладели рядом ближайших станций...

Родить буду в больнице, а там и за работу какую-нибудь возьмусь, а сейчас не могу. Знаешь, Саша, оно даже хорошо, что я сейчас человек без всяких привилегий, простой обыватель, которого бьют со всех сторон (мне даже газет в рабочей секции не хотели продавать на том основании, что меня никто не знает). Газеты здесь очень трудно получать...

Господи, как хочется к тебе, к своим...

Ну, кончаю, понесу письмо. Когда-то я видела, как старый казак со старухой женой во время войны опускали в почтовый ящик письмо, вероятно сыну на позицию, и крестили письмо, ящик, а потом, как сговорившись, низко поклонились иконе, так и мне теперь хочется сделать.

А.

25 августа (7 сентября) 1918 г., Борисоглебск.

...У нас не проходит недели без натиска на город казаков. В случае войны в городе я решила куда-то не уезжать, да и куда уедешь с грудным ребенком, которого приходится кормить еще коровьим молоком. Моего не хватает, порой оно и совсем пропадает. Это и понятно, принимая во внимание мое нервное состояние. Неужели могут убить мальчика? Эта мысль не дает мне покоя. Не знаю, что тогда будет со мною...

А.

* * *

О жизни и делах А. Г. Кравченко за минувший период мы уже кое-что знаем из ее писем. Немаловажные события произошли также и у Александра Петровича.

Чем глубже вникал Спундз в деятельность банка, тем чаще задумывался о роли этого учреждения в социалистическом государстве. В середине марта 1918 года он написал Председателю Совнаркома письмо, в котором высказал некоторые соображения на этот счет. А через месяц под председательством Ленина состоялся ряд совещаний, посвященных обсуждению банковской политики Советского правительства, в которых принимал участие и Спундз. На совещании Ленин составлял «Тезисы банковской политики» в виде протокола с отметками о результатах голосования.

По вопросу как составить отчет частных банков Спундз не согласился с мнением члена коллегии Наркомфина Я. С. Ганецкого, наркома финансов И. Э. Гуковского и Ленина и высказал несколько иные соображения. Ленин помечает в протоколе: «Особое мнение Спундз». И далее записывает это мнение (Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 219—220).

По второму вопросу — о руководстве деятельностью составления отчетов и приглашении опытных специалистов — мнение участников совещания было единодушным. А вот по третьему — о превращении банков в единый аппарат счетоводства и регулирования социалистически организованной хозяйственной жизни всей страны в целом — обнаружилось разногласия. Гуковский высказался против, Ганецкий воздержался. А остальные участники совещания? Владимир Ильич записывает: «Спундз и Ленин за» (там же, стр. 220).

Во второй половине апреля 1918 года Ленин знакомится с присланной ему главным комиссаром Госбанка А. П. Спундз краткой программой совещания специалистов банковского дела, состоявшегося в Петрограде 10—18 апреля 1918 года. В сопроводительной записке к этому документу Александр Петрович писал Ленину: «Пока работа идет успешно, хотя бывают очень напряженные моменты».

В июне восемнадцатого года А. П. Спундз возвращается на Урал.

Пермь, 7 сентября 1918 г.

Дорогая Анюшка! Бесконечно обрадовался твоим письмам от 27 августа, несмотря на их измученный тон. Я здесь областной комиссар земледелия (после изгнания левых эсеров). Работа очень интересная, занимает все время и не дает возможности написать больше, ибо дела принял в хаотическом состоянии. Через один-два дня напишу больше. Раньше не писал потому, что не получал от тебя ничего, и поэтому не надеялся, что письма дойдут.

С острым нетерпением жду встречи с тобой. Очень много пережито, и остро хочется поделиться.

Горячо целую сынишку¹, маму.

С.

¹ Получив от Анны Григорьевны срочную телеграмму: «Двадцатого родился сын большой беленький приезжай посмотреть». Спундэ смог выбраться в Борисоглебск на несколько дней только в сентябре, когда наследнику уже исполнился месяц.

* * *

В сентябре 1918 года Александр Петрович, член Уральского областного Совета и обкома РКП(б), приехал в Москву и 19 сентября был принят Лениным. Спундэ был первым, от кого Владимир Ильич узнал о героическом подвиге возглавляемых В. К. Блюхером отрядов южноуральских партизан, совершивших легендарный рейд в полторы тысячи километров по тылам врага через горы, леса и болота на соединение с частями Красной Армии. Ленин попросил Спундэ в тот же день прислать ему письмо с биографическими сведениями о Блюхере, и Александр Петрович сделал это. Кратко сообщив Ленину о боевых делах партизанского командарма, Спундэ пишет в заключение, что Уральский областной комитет РКП(б) и обсовет настаивают на том, чтобы Блюхер был отмечен «высшей наградой, какая у нас существует».

28 сентября 1918 года В. К. Блюхер первым был награжден высшим советским знаком отличия — орденом Красного Знамени.

Рязань, 30 сентября 1918 г.¹

Дорогая Аня! Сейчас прочел газету за 29 сентября². И еще более подтверждается правильность моей оценки в наших с тобой беседах.

На советских фронтах улучшение почти везде...

В эти минуты так хочется поделиться с тобой — наступают опять критические в мировом масштабе дни и хотелось бы их пережить вместе.

Анюшка, веди дневник...

А. С.

¹ Открытка написана на вокзале. Спундэ возвращался в Москву из Борисоглебска, куда ездил навестить жену и сына.

² В воскресенье, 29 сентября 1918 года «Правда» вышла с шапкой на первой полосе:

«КРАХ ИМПЕРИАЛИЗМА НАЧАЛСЯ!»

Болгарский первый министр Малинов предложил «союзникам» сепаратный мир. По берлинским известиям, в Болгарии революция и Совет солдатских депутатов изгнал короля Фердинанда. На берлинской бирже крах Людендорф, Гинденбург. Вильгельм съезжаются в Берлин. В Австрии пытаются создать коалиционное правительство...

Москва, ночью 2 октября 1918 г.
(После празднования 25-летнего юбилея
Московской организации нашей партии)

Дорогой друг! Не знаю, напишу ли я тебе хоть малую частицу того, что мною пережито после того, как мы с тобой расстались. Аня, родная, сам я не думал, что мой оптимистически окрашенный (именно только окрашенный) прогноз окажется настолько правым. К моменту получения настоящего письма ты, конечно, будешь знать гораздо больше, чем сейчас, и, следовательно, представление будет более точное и отчетливое...

Я никогда еще так не преклонялся перед Ильичем, как сейчас. Днем, когда я еще не знал многих фактов, в голове роились планы, как мы должны помочь западноевропейской революции. Сегодня ЦК нашей партии по предложению Владимира Ильича вынес постановление (завтра оно будет оформлено в ЦИК) что Россия официально заявляет всему миру, что открыто поддерживает германский пролетариат в его борь-

бе с империализмом. Ты понимаешь, конечно, что это логически означает разрыв Брест-Литовского договора...

Пиши, родная, каждый день. Буду бесконечно рад каждой строчке. Помни, Аня, что сейчас нужны, очень нужны будут силы, а твои письма для меня — это, помимо прочего, большой источник сил.

Да будут прокляты все условия, которые мешают нам жить вместе.

Твой Саша.

На Урал я не поеду. Не могу в такой момент быть вдали от событий.

* * *

Письмо написано под свежим впечатлением от известия о начале политического кризиса в Германии. Александр Петрович узнал, что 3 октября по предложению Ленина будет созвано объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов, посвященное событиям в Германии. Ввиду ухудшения здоровья Ленин в это время по совету врачей отдыхал в Горках.

3 октября заседание состоялось. На нем было зачитано письмо Ленина. «Российский пролетариат с величайшим вниманием и восторгом следит за событиями... — писал Владимир Ильич. — Он ставит вопрос о том, чтобы напрячь все силы для помощи немецким рабочим...» (Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 97—98).

Мысль Спундэ, что события в Германии могут привести к разрыву Брестского договора, оказалась верной. 13 ноября 1918 года, после свержения в Германии Вильгельма II, этот договор был Советским правительством аннулирован.

Москва, 6 октября 1918 г.

...Если мальчику лучше, советую тебе внимательно просмотреть и «Правду» и «Известия» за весь октябрь. Прочти письмо Ильича торжественному заседанию ЦИК с Московским Советом и другими организациями. Как удивительно чутким оказался он к намечившемуся ясно перелому в нашей революции.

Анюшка, если я говорю, что мы опять в начале целого Sturm-und-Drang-Periode¹, это, конечно, ни в малейшей степени не означает, что кончились тяжелые дни. Не фраза и не осторожность, когда говорят, что еще много испытаний впереди. Но самые тяжелые дни будут облегчены уже действительно непосредственно загорающейся мировой революцией. Теперь и с союзниками² гораздо легче бороться. И какое совпадение — мы на всех фронтах наступаем.

Может быть, можно было и даже надо было бы говорить и о том тяжелом, что неизбежно, но сейчас так не хочется каркать. Мне хочется, чтобы мировые события ободрили бы тебя и через тебя и нашего мальчика.

Завтра или послезавтра еду³. Пиши, родная, все время по адресу Аболина⁴. Постараюсь устроить, чтобы мне пересылали. Но даже если не удастся, я все время буду думать с радостью о том, что, вернувшись, застану груду твоих писем.

Сегодня послал клеенку и термометр. Клеенку купил лучшую, какую нашел. Рассчитывал на две подстилки, но не знаю, верен ли мой расчет (по аршину на каждую). Термометр тоже, кажется, солидной английской работы.

Анюшка, напиши как-нибудь Шуре⁵ в Мотовилиху, попроси позаботиться о ящике — очень обидно было бы терять вещи, в него упакованные (книги и газеты).

Второй или третий раз уже пишу тебе — веди дневник. Аня, такого времени уже не будет, и хорошо будет, если хоть некоторые его моменты, как они в нас отражаются, сохранились бы в дневнике. Мне при моей кочующей жизни не всегда даже письмо удастся черкнуть. Веди его, Аня, хоть для меня и мальчика.

Сейчас, кроме тех переживаний, которые вызываются величавой мировой ситуацией, мне не хотелось бы, чтобы были забыты твои борисоглебские школьные впечатления. Когда я вижу, с каким интересом маленький мальчик Аболиных вслушивается в сообщения о введении в школе трудового принципа, мне очень хочется знать, что делается в этой области в такой провинции, как Борисоглебск, как к этому относится детвора и как это на нее влияет...

Саша.

¹ Период бури и натиска (нем.).

² Имеются в виду союзники царской России по империалистической войне, которые в 1918 году ввели в нашу страну свои войска для помощи внутренней контрреволюции.

³ Речь идет о предстоящей поездке Спунде в Вену.

⁴ Аболнн А. К.— член партии с 1908 года, участвовал в революционном движении в Латвии; после революции — в политорганах Красной Армии, на партийной и профсоюзной работе; с мая 1930 года секретарь ВЦСПС.

⁵ О ком идет речь, выяснить не удалось.

Москва, 8 октября 1918 г.

...Анюшка, какая ты порой чудная! Удивляюсь ли я, что ты пишешь о личном в эти дни? Нет, родная. У меня было, правда, желание знать, как на тебе отразятся развертывающиеся грандиозные события, но это ни в малой степени не могло лишить меня интереса к «личному». Могу ли я не тревожиться за тебя, за Яшу, особенно когда мальчик болен, а следовательно, неизбежно и ты больна и измучена? Если я очень жаду, чтобы ты иногда черкнула пару, другую строк не только о личных переживаниях, то это потому, что ты во всем происходящем улавливаешь ту сторону, которая мне, например, гораздо меньше поддается. Это психологическая, что ли (мало-мальски удачного выражения что-то не подберу сейчас), сторона жизни. Но еще и еще раз говорю, что, когда я вскрываю письмо от тебя, я всегда жаду и фактов, и переживаний (последних больше, чем первых) чисто личного характера...

Анюшка, как-то очень печально звучит твоя фраза в конце письма: «Эти два дня ждала от тебя письма, но, видно, некогда писать тебе». Я себя почувствовал как-то очень виноватым перед тобой. Анюшка, ты помни, что даже не во времени всегда дело. Но иногда бывает такая пустота внутри, что трех слов связанных не напишешь. А такой уж у меня характер, что я могу понимать, что человеку тяжело и что надо писать, но вот в голове пусто, когда поэтому само собой не тянет писать, делиться. Не могу я тогда просто, так себе, что-то нацарапать... Не ругай, если я иногда делаю большие промежутки...

С.

Москва, вечером 8 октября 1918 г.

...Хотелось бы покупать массу выходящих теперь книг. Может быть, ты, Аня, как-нибудь все же будешь следить за объявлениями, рецензиями. Если будет что-либо интересное, попроси Аболина купить. В частности, здесь идут разговоры об издании Большой пролетарской энциклопедии... Непременно подпишись — как-нибудь выплатим. Только, конечно, на большую, многотомную¹. Готовится, кажется, и маленькая — одно- или двухтомная энциклопедия. — ее покупать нет смысла.

Часа три тому назад послал опять телеграмму о здоровье сынишки. Очень хотелось бы, чтобы ответ пришел до отъезда. У меня почему-то надежда, что ответ будет хороший. Если бы оправдалось, мне было бы гораздо легче уехать.

Сегодня вечером газеты сообщили о взятии Самары². Это значит, если события пойдут таким же темпом, то мы скоро загоним чехов в Сибирь, может быть даже Восточную. Тогда и Краснов будет не страшен, особенно если на него ударят со стороны Украины, что очень вероятно. Словом, сейчас мы вступили в несомненную полосу подъема. Несомненно, конечно, будут очень и очень тяжелые промежутки. но в общем все идет как по расписанию.

В Германии ведь, совсем как у нас в прошлом году, уже недели полторы-две фактически правительства нет, ибо этот сброд свободомыслящих шейдемановцев и прочих людей без спинного хребта ни один внимательный и толковый человек всерьез не берет. Seriously можно и нужно считаться с военной диктатурой, но она уже изжила себя и не вернется, по крайней мере на сколько-нибудь продолжительный срок...

Саша.

¹ Первое издание Большой Советской Энциклопедии вышло в свет в 1926—1947 годах. При этом первые двадцать томов выпускались акционерным обществом «Советская Энциклопедия» при Коммунистической академии ЦИК СССР, пайщиками которого были крупнейшие издательства, банки, промышленные объединения. А. П. Спунде, являвшийся одним из инициаторов издания БСЭ, входил в состав правления этого акционерного общества, что обозначено на обороте титульных листов шестого — двадцатого томов. Главным редактором энциклопедии был О. Ю. Шмидт.

² Самару (ныне Куйбышев) части Красной Армии освободили от белочехов 7 октября 1918 года.

Москва, вечером 9 октября 1918 г.

Теперь ты, Анюшка, уж никак не можешь сказать, что я тебе мало пишу. Уже с неделю я, кажется, не пропустил ни одного дня. Сегодня, например, утром сдал одно, вечером — другое, а сейчас опять пишу.

Поездка все откладывается. Она должна была состояться сегодня, но похоже, что мы и послезавтра еще будем здесь. Как всегда, такая неопределенность страшно меня раздражает, и в такие моменты я особенно остро чувствую твое отсутствие: отсутствие человека, с кем можно было бы обо всем поговорить и посоветоваться.

События складываются благоприятно. Радуют, конечно, и успехи на Волжском фронте, но не в этом теперь суть. Притом же на Пермском фронте положение довольно тревожное. По сегодняшним телеграммам, бои идут у Гороблагодатской. Это значит, что 1/2 Горнозаводской дороги в руках белых. Отрезаны Алапаевск и, по-видимому (если бои около самой Гороблагодатской). Богословский горный округ. И в твоих краях, по моему впечатлению, положение не особенно твердое. Но все же можно считать, что если союзники быстро не окажут [белым] более активной помощи², мы везде в конце концов справимся...

Так же как Германию весной, в дни Бреста, союзников явно губят их непомерные аппетиты. По полученным сегодня сведениям (завтра они появятся в газетах), союзники до сих пор не ответили Германии. Вся союзная пресса требует немедленного очищения Эльзаса, Лотарингии, Польши (б. русской, немецкой и австрийской) и дальше в таком роде. Но и этого мало... Стало известно, что Соглашение¹ потребует выдачи всего германского флота. Поистине — кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума. На такие условия Германия, по крайней мере сейчас, идти не сможет. Стало быть, союзные силы останутся связанными и не смогут немедленно обрушиться на нас теперь, пока мы еще слабы и не справились с Красновым, чехами и др. Главное же, что они ускоряют революционную развязку в Германии и Австрии². А в этом вся суть...

Пока кончаю. Аня. Когда мы наконец сможем жить вместе? Проходят все сроки, а этот момент так же далек, как год или полгода назад.

С.

PS. Поедем мы, кажется, все-таки через Берлин. Сегодня ночью ждут телеграмму от Иоффе, исхлопотал ли он нам пропуск.

Сегодня послал тебе 300 рублей...

Забыл еще сообщить тебе, что в Питере и в Москве в школах второй ступени платы за учение совсем не берут. Укажи на этот факт Борисоглебскому Совету. А если это не подействует, обратись с письмом в Народный Комиссариат по просвещению. Крайне важно уладить эту историю и в Борисоглебске. Здесь дают даже бесплатно горячие завтраки.

¹ «Сердечное согласие» (Антанта) — империалистический блок Англии, Франции и царской России; позднее к нему присоединились и некоторые другие государства.

² Через месяц после того как были написаны эти строки, в Австро-Венгрии и Германии совершились революции.

Москва, 11 октября 1918 г.

С час тому назад получил твое письмо от 6—7. Как раз в тот момент, когда уже хотел идти и дать тебе срочную депешу...

Вслед за Россией и для Германии уже нет выхода без восстания. Это было так и вчера, но тогда это было верно так, «вообще», а сейчас это факт сегодняшний. Мы не знаем, конечно, как долго протянется ее агония, но что мы накануне германской революции, это вне сомнений.

Я уже писал тебе, что это абсолютно не значит, что у нас впереди не будет тяжелых дней. Наоборот, нам очень и очень много придется перенести. В частности, центр тяжести в гражданской войне переносится на юг, Дон и Украину. Но одно опять-таки неоспоримо: союзники, правда, сейчас неизмеримо сильнее нас (даже завтра вместе с германскими рабочими), но они безусловно слабее против нас, чем вчера, ибо сейчас условия для разложения их империализма гораздо более благоприятны, чем вчера. Это по двум причинам. Первая — теперь для самых тупоумных выкристаллизовывается классовый характер их войны против нас, ибо «восстановление Восточного фронта» теперь не аргумент. Они также глотают как будто с целью подавиться, как полгода тому назад немцы. Вторая состоит в том, что, выйдя из вой-

ны, они не улучшат жизненных условий своих народных масс, они не в состоянии этого сделать. И то, что начала война, то довершат безработица, голод, невыносимые налоги.

Теперь мы крепче, чем когда бы то ни было, несмотря на почти неизбежный десант.

В общем, тенденция ясно и неуклонно наметилась. Теперь самые тяжелые дни (а они будут) будут скрашиваться почти полной уверенностью в сохранении советского строя.

Сегодня очень тревожные вести с Воронежского фронта, сам Воронеж и губерния объявлены угрожающими. Поэтому очень тревожусь за Борисоглебск — боюсь, как бы не было осложнений. Перевел тебе третьего дня 300 рублей. Думаю, что к понедельнику ты их успеешь получить. Это даст тебе возможность перебраться в другое место, не останавливаясь перед расходами.

Саша.

Москва, 12 октября 1918 г.

Большое письмо напишу тебе вечером. Сейчас два слова в промежуток, который остался до того, как идти к зубному врачу...

Нам надо наладить дело с покупкой книг. Каждый раз, когда иду, например, по Тверской и останавливаюсь у витрин книжных магазинов, у меня буквально глаза разгораются на одну, другую, третью книгу. Некоторые из них — издания довоенных годов... могут стать скоро библиографической редкостью. Ведь, судя по всему, спрос на книгу — еще никогда не виданный. Но вообще, когда собираюсь покупать что-нибудь не мелочное, обыденное, а книгу особенно, меня всегда останавливает желание сделать это вместе с тобой. Умом я как-то понимаю, что по крайней мере в ближайших месяцах жить вместе не удастся, но интуитивно я все же почему-то строю свои планы на обратном. Это было на Урале, это повторяется и здесь. Но упускать из-за этого книги все-таки обидно (а лучшие из них сейчас берут нарасхват буквально). И я вот что решил. Надо кому-нибудь из нас, так сказать, монополизировать покупку книг вообще или, еще лучше, распределить это по их роду.

Сейчас, например, конкретно вот что. ЦИК издает заново Историю культуры и Общую русскую историю Покровского¹. Я бы подписался, но не помню, вывезла ли ты их из Урюпина или нет. И вот что думаю. Ты или возьми на себя задачу по газетам постоянно следить за объявлениями и рецензиями о книгах и все интересное выписывать. Или, если это почему-либо не сможешь сделать, составь точный список книг, какие у тебя имеются в Борисоглебске, и приблизительный, на память, тех, какие в ящике в Мотовилахе, и пришли его мне...

Саша.

¹ Очевидно, имеются в виду «Очерк истории русской культуры» и «Русская история в самом сжатом очерке» М. Н. Покровского.

Москва, вечером 12 октября 1918 г.

...Я эти дни очень волновался. С Южного были тревожные вести (движение красновцев на Воронеж). А тут как раз от тебя не было писем, и на телеграмму тоже не было ответа. Я боялся, что Борисоглебск мог оказаться временно занятым. Хотел уже искать знакомства в оперативном отделе Наркомвоена, чтобы узнать толком. Но удержало мое вечное затруднение, когда нужно о личных делах говорить с посторонними людьми. К тому же несколько успокаивало то, что почта продолжала принимать и письма, и переводы, и телеграммы. Решил обождать 2—3 дня. И сегодня твое такое нежное письмо...

Сегодня получены известия (завтра они появятся в газетах), что, по сведениям нашей разведки, Харьков в руках восставших немецких солдат¹. Еще в одном пункте (забыл где) немецкие солдаты освободили от тюрьмы большевиков и предоставили им оружие и автомобили, для того чтобы уехать. В Киеве действует подпольный Совет, в связи с этим — массовые аресты. Наконец еще одно важное сообщение из другой области, но тоже чрезвычайно нам благоприятное. Немцы сажают свой экипаж на наш Черноморский флот, организуя сопротивление английскому десанту. Это нам очень на руку. Таким образом, пусть очень ненадолго, но приход союзников с юга задерживается. А ведь теперь как никогда еще до сих пор нам неизмеримо дорог даже день-два, ибо события развиваются гигантски быстро...

Я так рад, что мальчик поправился. Теперь мне будет не так тяжело уезжать. После первого письма о его болезни я даже подумывал отказаться от поездки, и только невозможность не быть в самой гуще в такой момент останавливала от отказа.

Саша.

¹ 15 октября 1918 года «Правда» сообщала о таком эпизоде, происшедшем в Харькове 10 октября 1918 года. Через город проходил эшелон с немецкими солдатами, направляемыми на Западный фронт. На вокзале солдаты, избив офицеров, отправили своих представителей к заведующему передвижением германских войск. При встрече с последним делегаты заявили: «Мы не желаем по-прежнему оставаться немymi рабами, идущими, куда им прикажут». Ехавшие в эшелоне солдаты вместе с личным составом немецкого гарнизона Харькова (всего до 30 тысяч человек) прошли по городу с развернутым красным знаменем. По окончании демонстрации солдаты спокойно разошлись. Разгонять их было некому, так как в демонстрации участвовал весь гарнизон.

Москва, 13 октября 1918 г.

...В наших кругах крепнет мысль (и правильная мысль), что Краснов — это сейчас центр всей реакции и что вся международная обстановка властно диктует нам направо все силы для того, чтобы как можно скорее разбить войска Краснова — Девякина. Как показал опыт с Волжским фронтом, при таких условиях мы, серьезно принявшись за дело, сумеем это сделать. Скажи маме, что, правда, нет полной уверенности, но очень и очень много надежд, что она сможет вернуться в Урюпино...

Я никогда не видел таких чудных осенних дней, какие сейчас стоят в Москве. Публика по улицам ходит без верхней одежды, в одних пиджаках. Если то же и в Борисоглебске, носи малышку каждый день на улицу, может быть, до холодов успеешь его приучить, чтобы проделывать это и зимой. Ведь ему уже почти два месяца...

Саша.

Москва, 14 октября 1918 г.

...Знай, Аня, что красновский фронт — это сейчас мозг международно-пролетарского фронта, и поэтому следи за ним. Если мы там победим (а за него решено очень серьезно приняться), то это громадное улучшение положения, ни в какое сравнение не идущее с тем, что эта победа представляла бы, скажем, месяц-полтора тому назад. Тогда это был бы в первую голову донской и кубанский хлеб. Сейчас это серьезная гиря на международных весах¹. Это даст нам громадные надежды, что Украина до союзного десанта успеет опять стать нашей.

Военные специалисты говорят, что десант на Черном море — это технически затяжная вещь. Словом, надежд еще много. Нельзя умалять и тот факт, что Соглашения как союза de facto уже нет. Не играют никакой роли не только Италия, Бельгия, Франция, но и роль Англии ничтожна. Все делает, по существу, Америка, и только она одна. По-видимому, это уже зашло настолько далеко, что скоро будут отброшены даже приличия. Америка и формально, а не только по существу будет делать все сама, не спрашивая союзников. А ты понимаешь, что буквально в каждую щель и щелочку империализма сейчас попадают бродильные ферменты. Нет, как ни много жертв еще впереди, теперь все же лучший момент из тех одиннадцати месяцев, которые мы пережили, и мы можем смело смотреть будущему в глаза...

Саша.

¹ В мае—июне 1918 года созданная с помощью Германии белоказахья армия генерала Краснова ликвидировала советскую власть на Дону. А во второй половине года предприняла наступление на Поворино — Камышин — Царицын (ныне Волгоград), имея двоякую цель: 1) отрезать центральные районы советской России от Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Средней Азии, откуда шло снабжение центра продовольствием и топливом 2) соединиться с войсками атамана Дутова. Попытка не удалась, и к 7 сентября войска Краснова были отброшены за Дон. Через две недели они вновь перешли в наступление, и к 15 октября — то есть к тому времени, к какому относятся эти письма Спундэ, — прорвались в пригороды Царицына Сарепту, Бенетовку и Отрадное. Тут Красная Армия остановила противника, а к 25 октября вновь отбросила за Дон.

14 октября 1918 г., вечер, Борисоглебск.

...Ты, твои мысли и дела вводят меня как-то непосредственно в самую глубину жизни, заставляют переживать и ее ужасы, и ее восторги. Не будь тебя, я сейчас, пожалуй, отошла бы в сторону, не из малодушия (ты это знаешь), а просто потому.

что очень голова подчас кружится от всего происходящего, твое же присутствие очищает как-то впечатления, заставляет упорно следить только за главным. В минуты, когда можно подумать о личном, порой ощущаю я огромное счастье от нашей близости. И что бы ни было впереди, а в прошлом и настоящем есть истинно хорошее.

Странно это, но я как-то чувствую, что из этой поездки ты вернешься благополучно, увидимся ли мы только после нее? Сегодня по городу носился слух, что Воронеж взят, но насколько это верно, сказать не могу. Из Борисоглебска я никуда уезжать не буду; во-первых, некуда, а во-вторых, чем я буду кормить Яшику и маму, которой все хуже и хуже? Ноги у ней уже опухают почти до колен...

А.

Александровский вокзал¹, 15 октября 1918 г.

Дорогая моя Анюшка! Уже сижу в вагоне. Через самое большее полчаса уезжаем экстренным поездом².

Пиши, родная, по-прежнему. Я уже уладил, чтобы мне пересылали — Аболин будет их передавать для отсылки. Там, в чужбине, твои письма будут для меня особенно дороги...

До скорого свидания!

Саша.

¹ Прежнее название Белорусского вокзала.

² А. П. Спундэ отбывал в Вену. В кармане его френча лежал подписанный народным комиссаром иностранных дел Чичериным документ, в котором значилось: «Сим удостоверяется, что гражданин Александр Петрович Спундэ, входящий в состав Специальной Миссии, делегируемой Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в Вену, уполномочен в составе означенной Специальной Миссии вести переговоры с Императорским и Королевским Австро-Венгерским Правительством о выработке дополнительного договора к Брест-Литовскому договору между Россией и Австро-Венгрией, предусмотренного последним, и подписать означенный дополнительный договор».

В пути, 16 октября 1918 г.

Доброе утро. Только что встал. Едем по чудным местам, напоминающим Прибалтику, — как всегда, грустно, что нельзя это ощущать вместе с тобой.

Скоро будем в Смоленске, а там и до Орши недалеко.

Завтра уже будем на германской территории.

Саша.

Орша «немецкая», вечером 16 октября 1918 г.

...Сижу уже приблизительно пять часов на ст. Орша «немецкая» и кое-что уже наблюдал. Главное — очень радостные вести привез только что приехавший (навстречу нам) курьер из Берлина в Москву.

Новости вот какие. На Западном фронте началось братание... Я бодро оценивал перспективы революции в Германии и довольно (в перспективе) бодро — в союзных странах. Но братание, если оно происходит даже в самых ничтожных размерах, — это превзошло самые радужные мечтания. Это значит, что революционная «моль» разъедает даже союзные армии, кроме разве американской, и что они держатся только победами. У немцев абсолютная паника — стоит только в войсках пустить слух, что die Amerikaner Kommen!¹ или что идут танки, как солдаты в паническом ужасе бегут. Речь идет уже не о том, чтобы что-нибудь удержать, а о том, чтобы хоть мало-мальски сносно вывезти свое имущество (сравни брестские дни и что мы с тобой переживали в Питере), вот почему они так жаждут перемирия...

Еще вот характерные черточки. В Турции единственный пункт, где действительно существует власть официального турецкого правительства, это Константинополь. Во всей остальной стране господствуют разнузданные массы дезертиров.

В Болгарии Ленина называют «Святой Ленин»...

В Германии проблески открытой, неприкрашенной гражданской войны: консерваторы устраивают уличные демонстрации и т. п. за диктатуру. Шейдемановцы грозят им контрвыступлениями. Те и другие льют воду на мельницу третьей силы — революции.

Саша.

¹ Американцы идут! (Нем.)

16 октября 1918 г., утро, Борисоглебск.

...Получила сегодня из Комиссариата назначение на преподавание в старших классах мужской гимназии, но до сих пор не знаю, возьму я работу или нет: мама очень плоха и оставлять ее одну — это значит ускорять ее смерть. Вот, Саша, какой узел завязался. Пойду все же узнаю, сколько часов будет занято, хотя и я, и ты привыкли работать без часов.

На некоторые вопросы в твоих письмах сейчас отвечать не буду, не пишется что-то. Может быть, напишу вечером.

Целую.

Аня.

В пути, 17 октября 1918 г.

Только что отъехали от Минска. Через несколько часов проедем Молодечно и попадем в настоящую Германию. Время от времени буду тебе писать о виденном. В Минске на станции единственное приличное отхожее место имеет надпись: «Только для немецких труп»¹. В комендатуре торчит мерзкого вида русский офицер, переводящий на русский язык окрики немецких военных.

Рабочие, судя по тем разговорам, которые были у меня, ждут нас, но зато торговки хвалят немцев, разрешающих свободно торговать. Один рабочий-железнодорожник говорил, что особенно за последние дни немцы сбавляют тон. На станции я видел немецкого солдата, который разговаривал с немецким офицером, развалившись и держа руки в карманах. Раньше этого, конечно, не могло быть. Впрочем, это не общее явление, есть и вытягивающиеся в струнку.

Очень трудно писать на ходу. Оставляю. Напишу пару слов в Берлине...

Саша.

¹ Die Tuppen (нем.) — войска.

Молодечно — Вильно, 17 октября 1918 г.

Дорогая моя Анюшка!

Пишу тебе несколько печальных, скорбных строк. Молодечно уже совсем онеменченая станция. Впечатления от той части пути — потом.

Сейчас на меня давит тяжесть от созерцания того разрушения, которое я только что видел. Все пространство от Молодечно до тех станций, которые мы проехали (сейчас я верстах в тридцати западнее Сморгони), — сплошные окопы, землянки, блиндажи, проволочные заграждения. Какой ужас кругом!

Сморгонь когда-то цветущий промышленный городок, буквально превращена в развалины. Мы все смотрели в окно вагона и не заметили ни одного целого здания. От станции остались одни воспоминания. Жителями город оставлен. Даже некоторые из ближайших деревень покинуты их жителями. Такова картина из окна вагона. А что же было, если проходить эти места пешком?

Перед глазами встают окровавленные, обезображенные тела, пролитая кровь, обездоленные семьи. И как небесные аккорды звучат слова немецкого солдата, сказанные жене одного из едущих с нами товарищей: «Зачем нам все эти границы?»

Аня, только вера в объединение человечества несколько смягчает грусть.

Ты знаешь, Аня, у меня при виде этих опустошений все время перед глазами образ Якова Федоровича¹. Я его мало знаю (ты не так много о нем говорила мне), никогда его не видал, но у меня ощущение, что это — поле смерти близкого, дорогого человека с хорошей, светлой душой. И от этого чувства делается еще грустнее.

Может быть, не следовало беречь твои раны этими словами, но мне, Аня, очень трудно не делиться такими глубокими переживаниями, как это... Мне вдруг так захотелось остаться одному, что я выбрал самого молчаливого из едущих и закрылся с ним в купе, чтобы наедине побыть с собой.

Аня, мне хочется тебе сказать то, что я не первый раз чувствую. Если когда-нибудь, в чем-нибудь, какой-нибудь шаг, поступок с моей стороны мог бы освятить память Я. Ф., то пусть тебя не останавливают мысли, которые у тебя были, когда ты предлагала назвать нашего сынишку Яковом. Пусть этих препятствий не будет хоть в малой степени.

Я не могу выразить достаточно ясно и полно то, что у меня на душе. Но мне кажется, что ты меня так, интуитивно поймешь. Знай, Аня, что облегчить тебе в чем-

нибудь освятить память Я. Ф. — это и для меня будет шагом, который как-то углубляет, умиротворяет душу.

Знаешь, Аня, сейчас я особенно ярко почувствовал то, что переживаю уже давно, — что Я. Ф. близок мне не только как человек, тебе дорогой. Определить, на чем покоится это чувство, я сам не могу. Знаю, что тут есть элементы преклонения перед глубоко цельным, чистым существом, уважение к памяти жертвы, по существу, на алтарь той стройки, которую мы воздвигаем, и еще многое...

Я, несмотря на свой мирный характер, был вне себя моментами от злобы в брестские дни (ты это видела). Потом, особенно когда явно стала нарастать революция, это чувство рассосалось, отошло и побледнело перед величием событий. Когда сегодня перед моими глазами проходили вагоны, паровозы, неисчислимое количество военных двуколок, на которых русские надписи были перечеркнуты и заменены немецкими, во мне опять закипела злоба против насилия, над нами учиненного. И, знаешь, все это как бы отнесло куда-то далеко.

Когда около развалин Сморгони по характеру окопов и блиндажей ясно различались две их линии, друг против друга направленные, когда перед глазами встали искалеченные, изуродованные человеческие тела с обеих сторон, то ясно почувствовалось, что перед невероятными страданиями должно стихнуть малейшее озлобление, — наступил в душе мир, пусть печальный, грустный, тяжелый, но мир.

Неизбежное желание посвятить тебя в это охватило меня... В эти уголки души может проникнуть только очень близкий человек. Мысли о Я. Ф. были значительной составной частью этих переживаний, и поэтому понимание того, что я сделаю тебе больно, не остановило меня написать то, что я написал. Ибо выбросить один из глубоких, хороших аккордов, которые звучат у меня в душе, это означало бы уже не передать цельного чувства.

Темнеет, Анечка, а свечей в вагоне нет. Поэтому кончаю.

Тихо тебя обнимаю, тихо целую твои глаза...

Саша.

¹ Я. Ф. Кравченко.

18 октября 1918 г., утро, Борисоглебск.

Вчера никак не могла заставить себя сесть за письмо. Из рук вон было плохое настроение, даже не думалось, что так тяжело буду переживать необходимость отказа от службы. Эти дни мальчик опять ежился, мама совсем обессилела, и мне стало ясно, что в данный момент оставлять их одних нельзя. С ребенком бы мама еще справилась, но есть теперь еще на белом свете очереди, да еще такие бесполовые, как в г. Борисоглебске, когда приходится простаивать по 6—7 часов, и подчас безрезультатно, с ними маме не справиться окончательно.

Сначала я все колебалась, как быть; а вчера вечером окончательно решила пока остаться с горшками, пеленками и очередями. И так это «пока» тяжело было пережить. Пожалуй, в первый раз так остро пришлось почувствовать, как пусто без творческой работы, без общения с людьми, до жути стало страшно за свою грядущую общественную изолированность... Сегодня встала в 5 часов утра, постирала, убрала все что надо и не хочу грустить. Утешаю себя мыслью о том, что в свободные минуты буду писать для местной газеты... Для начала я хочу воспользоваться брошенной тобою мыслью, когда мы шли по улицам Борисоглебска, что хорошо, дескать, описать даже внешнее преобразование города...

Аня.

Берляя, 20 октября 1918 г.

...Сегодня мы беседовали с Майером и Дункерами (мужем и женою)¹. До чего им недостает революционных организаций и традиций!

Знаешь, Аня, во мне крепнет наметившееся еще в России желание остаться именно в Германии для подпольной работы. Я в России страшно боялся, что не справлюсь с языком, хотел даже отказываться от поездки. Теперь я не сомневаюсь, что через месяц я буду говорить свободно, а через три — почти так, как сейчас по-русски. Сейчас, например, в ресторанах уже принимают меня за немца. Вот что любопытно — подвижность речи, количество слов, оборотов, которыми я владею, точно соответствует настроению: когда у меня нервный подъем, я сам удивляюсь, откуда автоматически

выскакивают давно забытые словечки; в моменты же нервной реакции язык заплетается даже на самых элементарных вещах.

Вещи, которые завтра куплю, направлю к Аболину, а его попрошу, чтобы он их тебе переслал или известил, чтобы ты могла кого-нибудь из едущих в Москву попросить привезти.

Между прочим, посылаю крохотный блокнотик. Его мне вчера подарила едущая с нами т. Виноградская². Сохрани его на память о моих берлинских днях.

Вчера был в королевской опере. Давали «Das Tiefland»³.

Только что у нас была жена Либкнехта⁴. Обо всем этом — когда увидимся...

Саша.

¹ Майер Эрнст, Дункер Герман, Дункер Кетэ — руководители революционной группы «Спартак», впоследствии видные коммунисты.

² Виноградская П. С. — автор книги «Памятные встречи» (М. 1972); в ней Виноградская пишет, в частности, о поездке в Вену дипломатической миссии, в состав которой входил и А. П. Спундэ.

³ «Долина» (нем.). Композитор — Эжен д'Альбер.

⁴ Софья Либкнехт, урожденная Рысс, родилась в Ростове-на-Дону, умерла в Москве 13 ноября 1964 года.

26 октября 1918 г., вечер, Борисоглебск.

...Пока что военные дела на Поворинском фронте неважны. Мне кажется, что есть существенная разница между Волжским и Донским фронтом. На первом чехословаки были во вражеском стане, при первой же возможности рабочие занятых городов восставали и помогали Красной Армии, на втором этой последней приходится все время быть самой среди врагов; казачество в занятых местностях плохо относится к красноармейцам, и при первой возможности действует в тылу. Необходима самая широкая пропаганда среди казачества, а ее-то и нет. Прав Ленин в своей речи от 22-го, что необходимо самое широкое ознакомление масс со всею тяжестью момента¹...

А.

¹ Речь Ленина от 22 октября 1918 года, о которой упоминает Анна Григорьевна, это его доклад на объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов в Колонном зале Дома союзов (Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 111).

27 октября 1918 г., вечер, Борисоглебск.

Родной мой, сегодня, несмотря на все житейские делишки, такую радость почувствовала, узнав из газет, что К. Либкнехт выпущен на свободу, как-то очень уж реально почувствовалось веяние новой бури. Сегодня же в газете есть и требование английскими рабочими мира. Пусть это очень неоформленное требование, робкое, но все же! Как хочется думать, что не придется переживать новых ужасов расправы с революцией. Хочется поскорее увидеть тебя, услышать твои впечатления, ведь ты как раз должен быть очевидцем последних событий.

Из этого же номера газеты узнала, что вашу комиссию в Вену не намерены пускать. Как они боятся! Но наряду с этим у меня мелькнула и другая мысль, чисто личного свойства: значит, есть возможность, что ты скоро будешь в Москве, а следовательно, и у нас.

Саша, хороший мой, не знаю уж, какими словами ласковыми и назвать, приезжай к нам. Самой же мне вырваться совершенно нельзя. Приучаю себя к мысли о смерти мамы, но не могу приучить, и хочется сейчас быть около нее, хоть как-нибудь отплатить за всю ее любовь к нам, детям. Пока это еще плохо удается, очень много приходится быть вне дома.

Сегодня наконец добилась того, что плотник сделал форточку, но теперь не разыщу стекольщика вставить стекла. Так и будем ночевать с едва держащимися гвоздиками окнами. Боюсь, как бы не простудился мальчик.

Вечером пришли твои соотечественницы, и мы достойно отпраздновали сегодняшний день — ели белые пышки из муки, выданной к юбилею революции...

Аня.

29 октября 1918 г., вечер, Борисоглебск

Выкупала, накормила и спать уложила своего повелителя. Вот уж глава дома так глава, все время уходит на него. Где уж тебе в главенстве с ним тягаться...

В Борисоглебск прибывает много солдат, занимают ими все квартиры, и к нам тоже записали двоих. Говорят, что уже началось наступление и красноармейцы снова под Урюпинской. Мама в связи с этим строит планы возвращения домой...

На днях я наблюдала отправку на фронт кавалерийского отряда. Странно и радостно было видеть, как под звуки Марсельезы отдают честь большому Красному знамени. Вчера и сегодня по городу слышится хоровое пение революционных песен — это расходятся прибывшие по железной дороге военные части. Не знаю, откуда прибыли эти солдаты, но они внесли с собой боевое настроение. Уж где-то в другой стороне, по линии Алексиково, слышатся орудийные выстрелы.

Когда все это вижу и слышу, с каким-то ожесточением принимаюсь за домашние дела...

Есть на свете много нежных и ласковых слов, но все они кажутся мне порой избитыми, когда я хочу применить их к тебе. Просьтся какие-то новые слова, но пока еще не пришли они, и я не знаю, как передать тебе все то, чем живу я по отношению к тебе. И так больно, что приходится жить врозь. Вот уже 12 дней, как написано тобою последнее письмо, что-то ты пережил за это время ¹...

А.

¹ «Похоже, что австрияки нас просто не пустят к себе», — писал Спундэ Анне Григорьевне из Берлина 21 октября 1918 года. Так оно и получилось. Опасаясь «коммунистического влияния» советской дипломатической миссии, власти Вены отказались принять ее, и наши товарищи возвратились в Москву.

**Кравченко Казанская 57
Борисоглебск из Москвы
3 ноября 1918 г.**

**АВСТРОВЕНГРИИ НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОЗДРАВЛЯЮ ¹
ТОЧКА ЕСЛИ МОЖНО ПРИЕЗЖАЙ ХОТЬ НА ДЕНЬ**

¹ Москва, 3 ноября 1918 года. В городе манифестация в честь австро-венгерской революции. Тверская (ныне улица Горького) запружена народом. Гролом аплодисментов встречают демонстранты появление Ленина на балконе здания Моссовета.

5 ноября 1918 г., днем, Борисоглебск.

Сашенька, сегодня пришли И. Ц. К. ¹ за 2-ое, за 1-е нет. Газеты расхватывают по дороге. Узнала приблизительно случившееся. Сейчас же побежала на почту, думала захватить там газет, но и там за какой-нибудь час растащили все газеты за несколько дней. Вечером будет митинг о революции в Австрии, и я уж решила бросить все и идти на него, может быть, узнаю побольше. События захватывают, волнуют, и, как всегда, в такие моменты мне страшно хочется знать как можно больше. Саша, подпишись на «Правду» с 1-го числа, и пусть мне ее присылают, а то на почте не успеваю часто захватить. И еще сбереги И. Ц. К. от 28 октября и 1 ноября, их я не получила, несмотря на подписку.

События настолько захватили меня, что я даже не могу заниматься как следует хозяйством. Надо кое-что о Яше написать (у него теперь что ни час, то новость), но и этого не сделаю сейчас.

Да, теперь не так-то легко будет справиться с русской революцией прекрасным Вильсоном ².

У нас в городе спешно очищают помещение Исполнительного Комитета, которое приспособляется под лазарет, занимается еще ряд больших помещений, готовят 3 тысячи коек. Это уже совсем другое, но тем не менее и в этом чувствуется усиленный пульс жизни.

Пока кончаю, хочу еще почитать немного газету, вечером припишу.

А положение Перми все же очень неважно ³.

А.

¹ В первых числах ноября 1918 года эта газета имела такое название: «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих, казачьих и красноармейских депутатов и Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов».

² Вильсон Томас Вудро — президент США в 1913—1921 годах. После установления советской власти в России правительство Вильсона широко поддерживало белогвардейцев; в 1918 году американские войска высадились на Севере и Дальнем Востоке нашей страны.

³ Вой шли неподалеку от Перми: в ночь на 25 декабря 1918 года город был захвачен колчаковскими войсками. 1 июля 1919 года освобожден Красной Армией.

6 ноября 1918 г., утро, Борисоглебск.

...Милый Саша, до сих пор мне очень больно, что завтрашний день мы не будем вместе. Банально поздравлять с таким праздником, но все же хочется пожелать тебе еще много раз встречать этот день. Для тебя он особенно близок, ибо и ты его творец. В этот день мне хочется не как жене, не как другу, а просто как постороннему человеку сказать, как бесконечно уважаю я тебя, как такие люди учат благоговению перед делами человеческими.

Мы в своем уголке будем всеми мыслями и чувствами с тобой.

Люблю тебя не в миге, а в вечности, и переживаемые дни еще больше углубляют это чувство.

Позволь мне, Саша, еще в этот день, когда все слова должны быть особенно серьезны, поблагодарить тебя за все то хорошее, что ты мне дал.

Обнимаю и целую тебя со всею любовью.

А.

Москва, 2 часа утра 8 ноября 1918 г.

Анюшка, родная!

Хотя через несколько дней почти наверняка смогу съездить к тебе, все же пишу тебе пару строк. О своих путевых и германских впечатлениях теперь, конечно, не стоит писать. Об этом всем до встречи...

Сегодня утром во время торжественного шествия мне сообщили, что часть ящиков, в которых были мои вещи и книги, нашлась. Нашлось то письмо, о котором я упоминал в прошлый раз, нашлись часики, которые я тебе купил, и книги перьякам...

Одно только плохо. Я почти ничего из того, что ты мне поручила купить, не привезу...

Теперь пару слов о международном положении. Ситуация почти не изменилась со времени разрыва дипломатических отношений с Германией (об этом ты будешь знать уже за 2—3 дня до получения этого письма). Сегодня ночью, часа два тому назад, мне сообщили: в Питере есть сведения (насколько они достоверны, не знаю), что нейтральные страны прекращают сношения с нами по требованию Англии. Это очень вероятно и не меняет ситуации ни в малой степени. Смысл событий совершенно ясен. В Германии восторжествовала вновь в чистом виде военная диктатура (в русском переводе — корниловщина). Это, конечно, может лишь способствовать назреванию кризиса.

С.

Орел, 27 ноября 1918 г.¹

...Вчера вечером купил за 70 рублей 2 фунта сахара. Если не сорвутся обещанные в Москве 3 фунта, то пять фунтов уже гарантировано. В таком случае у тебя будет и сахарная передышка...

Заходил здесь в аптеку, купил 4 сосочки, но потом, вечером развернув их, я не знал, как себя ругать за то, что второпях (бежал на заседание в Губисполком) не рассмотрел их как следует в аптеке. По-моему, они велики и грубы. Впрочем, увидишь, может быть, в минуту жизни трудную пригодятся и они.

Теперь пару слов об общих делах. Мой оптимизм неожиданно скоро подтверждается. Берлинский Совет отверг Учредилку, высказавшись за съезд Советов. Словом, уже процесс полевения начался... У союзников, видимо, дела не так уж блестящи. Будапешт занимается индийскими и черными войсками. Стало быть, в других уверенности нет.

Только вот на внутренних фронтах (Южном и Уральском) если и не отступаем, то во всяком случае не наступаем. Сегодня в «Орловских известиях» сообщение о занятии нами Пскова. Словом, до прихода союзников мы, несомненно, существенно расширим нашу территорию...

С.

¹ Спундэ возвращался из Борисоглебска.

4 декабря 1918 г., Борисоглебск.

...Странные вещи со мной творятся, Саша. В то время, когда все было спокойно, я нервничала; как-то тускнела, делалась чисто головной вера в дело революции, а сейчас, когда все суетится, охают, ахают, наперебой рассказывают факты, должныствующие доказать безнадежность положения, я спокойна и твердо верю в победу наших самых лучших идей, не задумываясь о сроках. Все теперь говорят о деревне, о ее ив-

дифференцизме, а в силу этого и о слабости Красной Армии. Конечно, это есть, но есть ведь и другое.

Возможно, что и центру России придется пройти крестный путь Украины, ничего не поделаешь. Хуже всех ведет себя по обыкновению «чистая публика», которая распространяет уже слухи о том, что на Борисоглебск идут английские полки и что ими уже взят Кронштадт. Хуже этого то, что таким нелепостям верят даже члены Исполкома...

А.

Москва — Орел, 6 декабря 1918 г.

Дорогая Анюшка! Мобилизован как коммунист по списку Народного комиссариата финансов. Еду в Курск...

За день до отъезда достоверно узнал, что Александр Григорьевич¹ в конце сентября был в Саратове, оттуда уехал куда-то на юг. Больше ничего узнать не удалось.

С.

¹ Селиванов Александр Григорьевич — младший брат Анны Григорьевны Кравченко, один из организаторов советской власти в станице Урюпинской, первый председатель ревкома этого административного центра Хоперского округа, бесстрашный борец за народное дело. В июне 1919 года Александр Селиванов был схвачен белыми и повешен.

Курск, 9 декабря 1918 г.

Пишу пару слов. Только что кончились переговоры с представителями Харьковского Окружного Совета солдатских депутатов¹. Через несколько часов еду в Суджу для переговоров с делегатами Сумского Совдепа. Это сразу настраивает меня на хороший лад. Я чувствую, что жизнь кипит и что я тоже в этом котле варюсь...

Немцы обещают к концу декабря очистить Восточную Украину (по Днепр). В таком случае... буду скоро в Харькове. Там уже можно будет дать адрес и, таким образом, человечески переписываться.

Кончать надо, чтобы хоть часок вздремнуть. Бессонные ночи мне стали трудны. Оперативные сводки последних дней дают утешительные вести...

Саша.

¹ Имеется в виду Совет солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса, штаб которого находился в Харькове. В то время Украина была оккупирована немецкими войсками, и после получения известия о свершившейся в Германии революции в них стали создаваться Советы солдатских депутатов.

14 декабря 1918 г., Борисоглебск.

...Саша, я куда бодрее стала, и ты за меня не беспокойся. Видишь, как помогла мне служба, на ней я очень ярко почувствовала рост жизни, как откуда-то с самых глубин поднимаются творческие силы. Какие интересные люди приезжают теперь из деревни, какие совершенно новые лица. И наряду с этим до чего омерзительно ведет себя интеллигенция, в частности учительство. Вероятно, мне и с ним придется иметь дело. Ах, Саша, хочется зарыться в работу без всяких оглядок...

Аня.

15 декабря 1918 г., вечер, Борисоглебск.

Милый мой Сашенька, сегодня чудесная лунная ночь, снег искрится и скрипит. Так хочется вместе с тобой идти куда-нибудь по этому блестящему лунному свету, говорить о чем-нибудь бодром, как этот сегодняшний мороз, а ты так далеко...

Сегодня мне пришлось быть на двух собраниях: на митинге учащихся и на собрании учителей-интернационалистов. Первое собрание было довольно малолюдно, но интересны были выступления приехавших с фронта мобилизованных гимназистов. Это добровольцы из молодежи, и они внесли боевое настроение, подъем. Очевидно, за это время вспыхнули многие из молодых и искренно идут в ряды революционных бойцов.

На втором, многолюдном собрании чувствовалось полное безволие и, что ново, — сознание своей собственной беспомощности. Но и среди учительства начал появляться новый элемент, молодые учителя, которые все же стремятся к созидательной работе. Как-никак школа сдвинулась, тяжело, медленно, но все же что-то начинает понимать и видеть...

Мне хочется серьезно поговорить с тобой о твоём здоровье. Ты страшно истощил свои силы, это так ясно чувствуется по твоим письмам из Москвы и с дороги. Потом подхлестнули тебя события, и ты снова ободрился, но нельзя же забывать того, что все эти подхлестывания могут кончиться прямо катастрофой. Давай серьезно поговорим с тобой, любимый мой, о том, что можно сделать для твоего отдыха. Материально сейчас положение таково, что ты можешь на время отказаться от всякой работы. Моего заработка, как показал этот месяц, вполне хватит на жизнь. Если бы ты мог приехать в Борисоглебск... Хочешь, в Москве отдохни, но туда я не смогу приехать надолго, самое большее недели на две, тем более что здесь открываются курсы для учителей, на которых, видимо, придется заниматься и мне...

Сегодня кончаю. Завтра придется встать часов в 5 утра, идти в очередь за мануфактурой, все пригодится для Яши. На днях мне выдали теплые сапоги, вероятно, как раз на твою ногу, огромные, но я рада и им, теперь мне в очередях тепло стоять...
Аня.

18 декабря 1918 г., Борисоглебск.

...Город наш опять эвакуируется, снова сильный натиск казаков и бегство красноармейцев. Как всегда, ходят самые фантастические слухи...

Досаднее всего, что нет газет, и неизвестно, что творится на божьем свете, и от тебя нет писем, последнее было от 9-го, значит, уже девять дней ничего не знаю о тебе. Прифронтовая полоса дает сильно себя чувствовать, и, пожалуй, даже в случае, если опять наступит полоса затишья, не рискну выехать в Москву, вдруг окажусь отрезанной от мальчика. Лучше уж ты опять приезжай к нам...

Больше всего я беспокоюсь о том, что ты захвораешь и некому будет быть около тебя. Если сообщение не прервется, давай знать о себе как можно чаще. Кстати, в одном из писем я тебе давала адрес, по которому можно будет о нас навести справки в случае каких-нибудь катастрофических событий; тогда я неверно указала № дома, повторю еще раз: Анна Николаевна Чикаревская, жена священника Константина Чикаревского. Нижнеплощадная, собственный дом, № 54.

Будь здоров, мой милый, бодр и силен...

Аня.

19 декабря 1918 г., Борисоглебск.

...На службе приходится постоянно сталкиваться со страшной недобросовестностью, чиновничьим толкованием распоряжений из центра, а порой и открытым цинизмом. Иногда даже удивляться приходится, как быстро в советские учреждения прососался дух бюрократического ничегонеделания, система отписок... Начинаю понемногу войну со всем этим.

Получились кредиты по дошкольному воспитанию, но придется ли их теперь использовать, не знаю. Прифронтовое положение не дает возможности распланировать как следует дело...

Аня.

Харьков, 19 декабря 1918 г.

Дорогая Аношка! Я оставлен в Харькове для всякой подпольной и надпольной работы. Подробно об этом (страшно спешу), если будет время, напишу в конце письма. Из Курска тебе переведут 500 рублей.

Теперь у меня к тебе просьба: если мало-мальски возможно, съезди немедленно в Москву, ликвидируй мой номер («Националь», № 440), расплатись и заведи вещи, — что можешь, увези в Борисоглебск, остальное брось у Аболина или еще где-нибудь. Я тебе, вероятно, время от времени буду писать, но тебе адреса пока дать не могу.

Беру с тебя честное слово, что все письма, которые без меня пришли в Москву, ты сохранишь. Я всей душой прошу тебя об этом. Помни беспрестанно, что для меня каждое из этих писем...

Теперь еще дело. В Москве зайди к часовщику Волкову по Тверской, недалеко от Советской (Скобелевской) площади и возьми у него твои (берлинские) часы. За них нужно заплатить 48 р. Они сданы без квитанции на мою фамилию...

Целую тебя и сынишку нежно, нежно.

Саша.

26 декабря 1918 г., Борисоглебск.

Может быть, с оказией и дойдет до тебя это письмо, родной мой. Телеграф еще не налажен, а о почтовых поездах в скором времени и мечтать нечего — все время идут стычки в окрестностях города с казаками.

Две недели прожили мы опять в казачьем царстве, даже старшину и писаря выбирали, и эти две недели кажутся долгими годами. Сколько убийств, расстрелов; убивали даже детей. Но что в тысячу раз хуже — сколько предательства, наглого, омерзительного. Члены Чрезвычайной комиссии, военные комиссары и даже члены партийного комитета одевали белые значки и водили, указывали членов партии.

А еще страшно было видеть, как расхищали город. Только в дни всеобщего разгрома стало ясно, насколько хорошо было налажено продовольственное дело, сколько всего было заготовлено. Все магазины и склады были разбиты в первый же день. Казаки, даже казачьи офицеры торговали всем награбленным, и жители с жадными лицами, прожорливых акул напоминающими, бежали покупать. Особенно неистовствовали женщины, которые шныряли всюду, водили и указывали, где еще можно что-нибудь разбить и растащить, хватали, уносили и благодарили бога за то, что пришли казаки. Эта толпа, волновавшаяся несколько дней, была живым кошмаром, бесовским аккомпанементом к сотням расстрелов.

Каждый день около городского сада, за бойней лежали десятки голых трупов, иногда со следами пуль, а чаще просто с проломленными головами. И находились любительницы сильных ощущений, которые, разузнав — «Где их убивают?» — отправлялись смотреть. По большей части это были благочестивые купчихи, которые неожиданно разрядились в каракуль, шляпки...

Через неделю приблизительно после своего прихода белогвардейцы взорвали мост. По этому поступку мы догадались, что, вероятно, двигаются советские войска. Ждали около недели, и так же, как внезапно с Грибановки пришли казаки, явились и уральские советские части. Еще до их прихода казаки оставили город, и мы с Яшиком проспали перемену правительства.

Не могу сейчас связно писать обо всем пережитом, порой казалось, что сойду с ума, до сих пор еще нетверды руки. Нас не тронули, только обстрел с горы тревожил...

Дешево продавали муку, масло, сахар, но мы ничего не покупали, ты поймешь, почему, те дни я даже есть не могла, так и рисовалась картина, что вот тут идет швырянье едой, а там, в других местах, этим отнимается последний кусок хлеба.

Как раз с приходом казаков начались жестокие морозы, у нас в комнатах сразу стало 6—7 градусов. Ящик съезжился, посинел. Завернула его в шубу и отнесла к родственникам, боялась, что простудится ребенок. Выжили мы там десять дней, за молоком бегала домой. В эти страшные дни сынишка был для меня каким-то якорем, он заставлял меня думать, делать...

Газет у нас нет около месяца, и что делается в других местах, не знаем. Быть может, тебе удастся как-нибудь переслать письмо, пиши как можно больше об общем положении дел. Где ты, Саша? Что с тобой? Эти мысли не дают мне покою, и часто по ночам я плачу. Нервы натянуты. Маме стараюсь не показывать и вида, что мне плохо. Хоть бы какая-нибудь весточка от тебя за весь месяц...

Ждем газет с таким нетерпением, что готовы за них отдать все что угодно.

В долгое спокойствие г. Борисоглебска я не верю, он теперь начнет переходить из рук в руки. Надо сказать, что казаки заделали самые низменные инстинкты толпы, помирволили им: дали мясо, масло, муку, раздали калоши, дрова, и теперь эти жадные обыватели еще больше косятся на Советскую власть. И как радовался этот обыватель, когда убивали коммунистов. Отчего он так кровожаден, этот обыватель? Или оттого, что, убивая непонятное для себя, чувствует самого себя тверже и прочнее? Что за дело таким людям до горя сотен осиротевших рабочих семей? Железнодорожных рабочих, говорят, на треть поубавили...

Красная Армия с Поворино начала наступление на Борисоглебск. Казаки кинулись отбивать наступление. Тогда железнодорожные рабочие поставили пулеметы на элеваторе и начали стрелять в казаков, другая часть их с красными знаменами пошла навстречу наступающим красноармейцам. Красноармейцев казаки отбили, а с рабочими расправились, как всегда с необыкновенной жестокостью...

Только что узнала, что советскими войсками снова занято Поворино. Отходя, казаки и там взорвали мост. Предписания союзников исполняются, как видно, свято.

Обыватель, который был о расхищении богатств и народного достояния, когда у него реквизировали три стула, ничуть не жалеет мостов — «и лучше, все безопаснее, а что дорого стоит, так теперь все равно миллионами швыряются».

Кончаю, милый, трудно мне писать, жду каждый день, каждый час вестей от тебя...

Аня.

* * *

«...сколько предательства, наглого, омерзительного», — с гневом и болью пишет в этом письме А. Г. Кравченко. Приведенные ею факты — иллюстрация к словам Ленина о необходимости очистить партию от чуждых ей элементов, и в частности от меньшевиков, ибо меньшевики как течение «доказали за период 1918—1921 гг. два своих свойства: первое — искусно приспособляться, «примазываться» к господствующему среди рабочих течению; второе — еще искуснее служить верой и правдой бело-гвардейщине, служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах» (Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 123).

Именно такие чуждые партии элементы проникли в контрреволюционных целях в некоторые борисоглебские органы и ждали своего часа. Именно они предавали коммунистов, когда город в течение четырнадцати дней находился в руках белых. (Анну Григорьевну тут мало знали, и это спасло ее.)

Что же в это время происходит на Украине?

Начало января 1919 года. Представитель правительства РСФСР при Совете солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса А. П. Спундэ ведет в Харькове переговоры с немецкими делегатами о пропуске личного состава корпуса через Украину и Россию в Германию. Немцы требуют, чтобы им оставили 30 процентов имеющегося в корпусе оружия. Можно ли идти на это? Надо посоветоваться с Председателем Совнаркома, решает Спундэ и пишет Владимиру Ильичу письмо, в котором сообщает о требованиях немцев и высказывает свои соображения на этот счет. Ленин делает в тексте письма подчеркивания и пишет резолюцию: «Склянскому на отзыв тотчас».

Как же был разрешен этот вопрос? В пункте четвертом договора, заключенного 13 января 1919 года между Советом солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса, с одной стороны, и Временным рабоче-крестьянским правительством Украины и Советом Народных Комиссаров РСФСР — с другой, читаем: «В полное возмещение расходов по перевозке Совет солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса передает Временному рабоче-крестьянскому правительству Украины все имеющееся у него оружие, артиллерийское и инженерное имущество. При этом, однако, каждому транспорту оставляется количество винтовок, равное 30% от общего числа едущих солдат. Эти винтовки перевозятся в закрытом вагоне под охраной команды советских войск. На конечном пункте российских железных дорог оружие возвращается Совету солдатских депутатов соответствующего транспорта...»

В документе определены маршруты движения эшелонов, охрана их и т. д. С советской стороны договор подписали Георгий Чичерин и А. Спундэ, с немецкой — три члена Совета солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса.

Через неделю А. П. Спундэ было вручено подписанное Председателем ВЦИК Я Свердловым и секретарем ВЦИК А. Енукидзе удостоверение, в котором говорилось, что ему «поручено сопровождать эшелоны немецких солдат, следующих из Украины через Р. С. Ф. С. Республику в Германию». Всем советским учреждениям предлагалось оказывать Спундэ всяческое содействие...

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

150 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова

Л. СКОРИНО



ПРОВОЗВЕСТНИК

Перечитывая труды Н. А. Добролюбова сегодня, в эпоху космических полетов, атомной энергии, возникновения широкого и прочного содружества социалистических государств, вдумываясь в его статьи, внезапно ощущаешь, что встретился с современником, мыслящим сильно и ясно, идущим по дорогам истории рядом с нами. Исчезает более чем столетнее расстояние, разделяющее нас, сегодняшних людей, с талантливым критиком прошлого века, и мы убеждаемся, что его творческая мысль обгоняет время. Недаром он сказал некогда: «Люди, идущие в уровень с жизнью и умеющие наблюдать и понимать ее движение, всегда забегают несколько вперед...»

Мысли Добролюбова о литературе неотделимы от его думы о судьбах народных. Отсюда особая глубина и основательность в решении таких животрепещущих проблем, как правда жизни и мастерство писателя, истинность таланта, место литературы в жизни общества и задачи художника.

На первый план в работах Добролюбова выдвигается концепция активной творческой личности, то есть писателя, убежденно участвующего в жизни родного народа, познающего действительность своей ищущей мыслью. Подлинным талантом, утверждает Добролюбов, можно признать лишь художника, в произведениях которого «находим мы полный пересказ наблюдений над целым строем жизни и, кроме того, понимание ее сокровенных тенденций и принципов, нигде и никем не высказанных, но постоянно проявляющихся на деле». Подобное понимание «целого строя жизни», а не случайных ее черт, «понимание сущности дела, а не одной его внешности» и особенно выявление «сокровен-

ных тенденций», жизненных процессов, а значит, умение понять настоящее, чтобы взглянуть в будущее,— все это и считает Добролюбов решающим для подлинного художника, тем, что определяет силу его таланта.

Эстетические воззрения свои критик разрабатывает, не отрываясь от живого и конкретного анализа произведений современников, всегда опираясь на факты, вдумываясь в судьбу писателей, стремясь выявить и слабости и сильные стороны каждого из них, наметить пути роста этих художников. И здесь требование ясной и активной идейной позиции писателя критик ставит во главу угла.

Размышляя над современной ему лирикой, Добролюбов отмечал, что творения многих поэтов страдают «разбросанностью, неопределенностью, нерешительностью». А отсюда — потеря мастерства: «стихи наших новейших стихотворцев — деланные». Тут и сказывается пассивность их творческой позиции — ведь «ничто особенно не западает им в душу». Среди них нет художника, которого бы «известное впечатление или мысль поразила так, что не могут из сердца выйти...». Критик видит в этом опасность измельчания творческой личности. Он напоминает: «Десять стихов Лермонтова скажут вам о его характере, взгляде, направлении гораздо больше, нежели о каком-нибудь новейшем пиите десятки стихотворений, в которых он, кажется, и мыслит, и чувствует». В чем же тут дело? Да именно в том, утверждает Добролюбов, что в творчестве Лермонтова выразилась его личность, взгляд на жизнь, убеждения. В стихах его «вы видите самостоятельное, живое, личное воззрение поэта».

Критик внимательно вглядывался в явления современного ему литературного процесса, стремясь уловить, обозначить, поддержать все новое и плодотворное в работе писателей-современников. Добролюбов не занижал и не завывал оценок, не закрывал глаза на слабости художников, даже близких ему по духу, указывал на удачу и тех, кто был ему далек.

Высоко оценив достоинства переводов Л. Мея, «представляющих замечательное разнообразие» и вместе с тем обладающих неким «внутренним единством», Добролюбов задумывается о главном: что нового внес поэт в литературу? И здесь критик бескомпромиссен — «собственные произведения г. Мея, — говорит он, — относятся более к разряду альбомных...». Но замечает у него и другое — «стихотворения, написанные на манер русских песен народным размером». Да, большинство этих стихов повествует «о драмах любви», однако прорываются здесь и иные мотивы. Критик выделяет стихотворение «в другом роде» — «Запевку»:

Ох, пора тебе на волю, песня русская,
Благовестная, победная, раздольная...
Погородная, поселная, попольная,
Непогодю, невзгодю повитая,
Во крови, в слезах крещенная, омытая!
Ох, пора тебе на волю, песня русская!

Несомненно, художник должен следовать своей «натуре», в этом «первое достоинство поэзии», говорит Добролюбов, но также напоминает: надо еще и верно понимать собственную натуру.

Столь же бескомпромиссно анализируя творчество другого современника, критик отмечает, что дарование Бенедиктова «внутренней силы не имеет», а потому и не получило истинного развития. Поэт «не только не ставит новых вопросов, не изыскивает новых предметов» для изображения, но, обратившись к «предметам, давно уже вызванным на божий свет» вниманием литературы, в них «не отыскивает новых сторон...». Пассивность художественная порождена у Бенедиктова неопределенностью жизненной, мировоззренческой позиции, убежденно доказывает критик. И все же, находя в работе поэта и положительные тенденции — еще только наметившиеся, требующие развития, — Добролюбов считает важным их поддержать и потому подробно рассматривает военные, а точнее, антивоенные стихи поэта, вызванные событиями недавно отгремевшей Крымской кампании.

Не сразу Бенедиктов пришел к новым стихам, он отдал дань воцарившейся сперва «бранной поэзии», воспевавшей воин-

ские подвиги на полях сражений. «...И могли г. Бенедиктов противиться общему направлению?» — спрашивает критик. Но вот в общественной жизни наступил перелом, когда «гуманные идеи созрели, когда война всеми признается тяжким злом, которое становится все менее и менее неизбежным в человечестве». И поэт, верно уловив новые веяния, дал волю своему «истинному чувству». Именно обратившись к антивоенной лирике, он создал ряд вещей, которые Добролюбов назвал «решительно лучшими из современных стихотворений г. Бенедиктова». Добролюбов подчеркивает главное достоинство антивоенного цикла, состоящее в ясно выраженном здесь неприятии поэтом «безумства» взаимного истребления народов. Да, говорит критик, эта мысль «не им, конечно, выдумана, но им развивается с особенной любовью в нескольких стихотворениях. Это — мысль о благе мира и о противостоительности войны».

По Добролюбову, отсутствие «личного воззрения» многие писатели пытаются прикрыть или обличительной направленностью своих произведений, или идеализацией действительности и псевдонародностью. Но отсутствие прочной идейной основы, продуманных убеждений, ясного взгляда на жизненные процессы и порождает расхождение художника с «реальной правдой», литература оказывается неспособной «идти в лад с живой, человеческой действительностью».

Обратившись к рассмотрению произведений «обличительной литературы последнего времени», критик замечает, что те, кто пустился в эту сторону, убеждены: «будь только в повести негодяй, больше уж ничего не нужно: повесть выйдет отличная». Так появились произведения о шулерах, взяточниках, ловких «проектёрах», мошенниках, умело составляющих себе состояние нечестным путем. Что ж, в жизни они несомненно имелись, но беда в том, что у авторов обличительных произведений не было трезвого реалистического взгляда на замеченное ими явление. Мошенников, насмешливо говорит Добролюбов, «взялась описывать такие люди, которые не потрудились даже сами определить себе ясного различия между плутом и честным человеком».

Прослеживая развитие современной ему «простонародной повести», критик отмечает стремление ряда авторов показать внутренний мир «простого человека», «облагородить» его. Однако критик подвергает сомнению правомерность изображения ге-

роев с позиций отвлеченно-общечеловеческих. Добролюбов пишет: «Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повествователями, а бралось, без дальних справок, сердце человеческое, и так как для него ни чинов, ни богатств не существует, то и изображалась его чувствительность у крестьян и крестьянок». В подобных случаях герои представляли как бы рязженными. «Разница вся состояла в том, что вместо «я тебя страстно люблю; в это мгновение я рад отдать за тебя жизнь мою» они говорили: «Я тея страх как люблю; я таперича за тея жисть готов отдать».

Н. А. Добролюбов резко отвергает подобную псевдонародность, «пряничные и кукольные фигуры мниморусских людей», произведения, в которых читатель мог лишь весьма в редких случаях уловить саму реальность жизни, то, «как мужик с своей деревней связан, кем управляется, какие повинности несет, чей он и как с барином, с управляющим, с окружным или исправником ведается...».

Критик указывает, что в литературе о народной жизни к середине XIX века все же произошел перелом и наметился он в тот момент, когда «крестьянский вопрос заставил всех обратить внимание на отношение помещиков и крестьян», на отношения не выдуманые, а реальные, во всей сложности их исторического и социального значения.

По Добролюбову, новые правдивые образы «простых людей» в основе своей имеют «предчувствие той деятельной роли, которая готовится народу в весьма недалеком будущем». Таков был прозорливый взгляд критика, предвидевшего на полстолетия вперед грядущие события, которые и вывели «простых людей» на передовые рубежи Истории.

Н. А. Добролюбов не ограничивается лишь характеристикой состояния современной поэзии или прозы. Во многих своих работах он ставит вопрос о самой природе художественного дарования.

Сильный талант, считает критик, в том и проявляется, что способен предвосхитить новое направление общественной мысли, положить ему начало; более слабый, «дарование дюжинное», может лишь «увлечься общим течением», пойти по следу более самобытных дарований. Но главное, что определяет силу таланта,— это глубокое постижение художником процессов действительного мира — «сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и случайном факте жизни...». И от-

сутствие этого дара у писателей не восполнить никакими красотами стиля либо новаторством формы. Придавая творческим поискам художников, их мастерству большое значение, Добролюбов все же предостерегает: красивые описания, словесные и звуковые эффекты не смогут скрыть слабости и просчеты в отражении действительной жизни. «Вот почему,— говорит критик,— как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнею формою». Словно предвидя бурный натиск разного рода «новаторов» и формалистов, рыцарей «чистого искусства», ринувшихся уже в наше время отстаивать самодовлеющее значение художественной формы, Добролюбов еще в середине прошлого века насмешливо замечал: «Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать».

Литература для него была не «праздною забавою», но высоким служением народу, подлинно общественным деянием.

Важнейшей из задач искусства Добролюбов считал активное воздействие мыслей, образов художника на процессы самой жизни. Именно с этих позиций он внимательно исследует явления текущей литературы, определяет, какие жизненные пласты в них затронуты, что писателями точно увидено и объяснено или хотя бы намечено, какие подняты проблемы. Читателю его критических работ открывается широкая панорама не только литературного, но также исторического процесса того времени. И тут критик ставит острейший социально-философский вопрос: человеческая личность и ее судьба в классовом обществе.

Русская литература XIX века, говорит Добролюбов, сумела чутко отозваться на «боль человека», задавленного, истерзанного несправедливыми, уродливыми социальными отношениями, где многим и многим приходится признать себя «не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе». Эту боль критик ощущает у Островского, Салтыкова-Щедрина, Достоевского и других. Именно сильные таланты особенно напряженно размышляли над решающими для народной жизни проблемами.

Законы этого мира, указывает критик, действуют разрушительно на человеческую

личность, делая пассивными, задавленными, прибитыми тех, кто принадлежит к низшим, наиболее обездоленным слоям общества, а в слоях высших среди самих крепостников порождая жестокие нравы. Добролюбов анализирует образ «добрého помещика» из семейной хроники С. Т. Аксакова — старого Багрова, который был умен, правдив и даже «благодетельствовал крестьянам в голодные годы». Однако обладать лишь некоей природной тягой к добру — этого еще мало для формирования полноценной личности. Нужны ясные и прочные воззрения, убежден критик, нужно сознательное, а главное, деятельное неприятие зла в любых его формах. Приняв крепостные отношения как некую норму, герой Аксакова и себя морально обобрал. «Его понятия о чести, добре и правде перепутаны,— говорит критик,— его стремления мелки, круг зрения узок, страсти никогда не сдерживаются рассудком», а «внутренняя сила, не находя себе правильного, естественного исхода», приводит к «диким вспышкам», к произволу и над крепостными и внутри собственной семьи. В основе подобного разрушения личности причины отчетливо социальные — «безответственное обладание людьми, безгласными против его воли».

Иной жизненный пласт поднимает в своих произведениях А. Н. Островский, но и здесь самым ценным для Добролюбова является раскрытие художником античеловечности современного ему общества. «Темное царство», представшее в пьесах драматурга,— это не только «явления русского быта». Художник вскрывает сущность нового собственнического класса, окрепшего, сильного, исследует «самодурный быт» купечества, основанный на «отношениях по имуществу», на противостоянии «богатых и бедных, своевольных и безответных».

Критик отнюдь не ждет от писателя ни обличительства, ни идеализации действительности, он требует серьезного, честно-го исследования процессов, происходящих в народной жизни, и на этой основе определения своей творческой позиции. Первое проявление истинного, «мощного таланта» Добролюбов видит в способности художника охватить «весь строй нашей жизни» и поставить свое творчество «в уровень с живой действительностью». Всегда «величие философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том, чтобы при взгляде на предмет тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных...». Вот эту способность истинного таланта и выявляет Добролюбов

в своих критических исследованиях, говоря о художниках, сумевших раскрыть и явление обломовщины, и гнетущие законы «темного царства», и удушливый быт помещичьих усадеб, и многие другие уродства классового общественного устройства.

В ряде своих статей критик рассматривает галерею образов «благородных юношей», которых отличают возвышенные порывы, но наряду с этим пассивность жизненной позиции, зыбкость идеалов. «Да и можно ли назвать истинным пониманием и убеждением то смутное, робкое полужнание!..» — восклицал Добролюбов, разумея современных «Мефистофелей средней руки», «уездных Гамлетов», «провинциальных Печоринных». Нет в них главного — твердых убеждений, ясного понимания, куда движется развитие истории, а потому и внутренней силы, чтобы «не изменить своим добрым влечениям и не впасть в апатию, фразерство...». Более того, иронически замечает Добролюбов, им «лень добиваться чего-нибудь трудом, понемножку: все сразу хотелось бы...».

Но имеет ли право художник, обличив и отвергнув подобного героя, на этом остановиться? Нет, убежден Добролюбов, ведь неотъемлемое свойство сильного таланта — зоркость к тому новому, что возникает, рождается в самой жизни.

И вот особой важности задача, которую критик ставит перед художником: взглядевшись в живые истоки народного бытия, выявить ту социальную силу и тот общественный тип, которые могут стать носителями подлинно человеческих идеалов.

Н. А. Добролюбов убедительно показывает, насколько сложна подобная задача для литературы. Когда ростки нового лишь начинают пробиваться в общественной жизни, нелегко выявить и обрисовать подлинно современного героя.

Тем не менее художники, умеющие заглянуть в завтра, упорно ищут такого героя. И прежде всего — в народной среде. Вместе с передовыми писателями, например со Щедриным (у него Добролюбов отмечал «сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России»), критик главные свои надежды возлагал на трудовых людей из народа, на их созидательные силы. «...Это живая, свежая масса,— писал он,— она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалью и часто даже сама их не понимает хорошенко. Но уж зато, если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный,

если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться».

В. И. Ленин, высоко ценивший эту веру критика-демократа в народные силы, подчеркивал, что Добролюбов дорог «мыслящей России» именно как «писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания»¹ против самодержавия.

«...что же нужно, чтобы в этом обществе могла водвориться разумность», — спрашивал великий критик и твердо определял: «Нужно изменение общественных отношений». А значит — в первую очередь необходимо подлинное раскрепощение народных масс, простор развитию человеческой личности. Вот чего жаждал наш замечательный предшественник. И остролюбодневны сегодня его слова: «...нужно, чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы мате-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 370.

риальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количеством и достоинством его труда». То, о чем мечтал критик, стало уже законом нашей жизни.

Н. А. Добролюбов страстно верил, что на решающие рубежи истории выйдет новый герой — человек труда, созидатель. «На него можно надеяться!», — восклицал он, вглядываясь в очертания века грядущего.

Человеческая личность стала великой ценностью нового мира, как о том мечтал, как то предвидел Добролюбов. И хочется вспомнить его страстный призыв художникам слова: «...главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не сдерживаемым течением жизни». Да, только верность ведущим тенденциям времени, глубокое отражение исторического творчества трудовых людей и обеспечивают произведения искусства долголетие. И хочется сказать о замечательном критике прошлого века: Добролюбов молод, он рядом с нами, здесь, на рубеже XXI века, он — наш современник.

С. ВАЙМАН



КЛЮЧ, ВРУЧЕННЫЙ ДОБРОЛЮБОВЫМ

Это аксиоматично: классика никогда не пребывает там, позади, — она трудится, эволюционирует вместе с живым человечеством, всякий раз набирая новую высоту, выводя из каких-то потаенных своих бездн внезапные, до срока дремавшие смыслы. Менее очевидно другое: вместе с человечеством эволюционируют не только великие художественные тексты, но и порожденные ими великие спутники их — тексты критические: Гоголь в кругозоре Белинского, Тургенев — Писарева, Островский — Добролюбова... Однажды возникнув, эти литературные «диады» затем по ходу жизни настолько срастаются, столь проникают друг друга в общественной памяти, что, по сути, становятся единым художественно-критическим организмом, и с этим, право, уже нельзя не считаться. Конечно, современный исследователь, скажем автор книги о Гончарове¹, волен всерьез полагать, будто, практиче-

ски почти не упомянув Добролюбова, он тем самым попросту устранил его из духовной читательской сферы. Иллюзия! В действительности же, выстроив антидобролюбовскую трактовку обломовщины, он как раз косвенно, негативно воспроизвел позицию своего оппонента, продемонстрировал всю меру зависимости от него. Разумеется, великие «художественно-критические организмы» живут по законам исторического времени: в различных социальных и культурных средах совершается естественное перераспределение давних и восхождение свежих смыслов — именно так взаимодействуют сегодня, например, драматургия Островского и добролюбовская концепция ее. Отказывать великому человеку в способности к бесконечному самораскрытию да еще представлять его негибким доктринером² — это крайне

¹ Ю. Лощиц. Гончаров. М. 1977. — О некоторых тенденциях в современных подходах к литературно-критическому наследию Добролюбова см.: «Книги о русских писателях в «ЖЗЛ» (Материалы обсуждения)» («Вопросы литературы», 1980, № 9).

² «Сознание раз навсегда усвоенной истины придавало Добролюбову необычайную уверенность как публицисту...» (М. Лобанов. Островский. М. 1979, стр. 129). И это о человеке, всего-то прожившем двадцать пять лет и, наперекор деморализующему давлению драконовского политического режима, героически не изменившем своему идеалу!

несправедливо. Ведь что иногда получается: сначала Добролюбов «ужимают» до размеров хрестоматийной формулы («Луч света в темном царстве»), а затем без особых душевных мук ему же инкриминируют прямолинейность. О статье, обозначившей в истории русской литературной мысли, шире — освободительного движения, важный рубеж, говорится так, словно автор ее по части «художества» вообще глуховат, да к тому же маниакально сфокусирован на «самодурстве». Диву даешься: ведь «Луч света в темном царстве» — это заглавие добролюбовской статьи, а там, ниже, под ним, движется живое содержание, дышит бездна редкостно продуктивных идей. Куда все это подевалось? В теоретическом противостоянии «темного царства» и «луча света» — метафорической формуле русской истории 50 — 60-х годов XIX столетия — таился эпохальный смысл: самой двухчастностью, антиномичностью своей формула эта стимулировала и убыстряла процесс поляризации общественных сил. Под воздействием ее истаивали социальные иллюзии, четче проглядывали контуры демократических программ и идеалов — словом, познай, где свет, поймешь, где тьма. И хотя формула эта вынесена Добролюбовым в заглавие статьи, она не давит, не нависает над ней наподобие барочного карниза, но свободно венчает ее, восходя к началу от самых корней, — вне живых, превосходных эстетических разборов, россыпи тончайших «замет», пригоршнями брошенных догадок — типично добролюбовского усмотрения истины непосредственно в материале — она и впрямь покажется не более чем социологической метафорой. С грустью констатирую: некоторые современные специалисты обращаются к добролюбовскому исследованию «Грозы» для того только, чтобы — который уже раз! — решить уравнение с двумя известными («луч» — «царство»). О более перспективной аналитической операции, к сожалению, даже и не помышляют³.

Между тем приспело время взглянуть на «Грозу» из глубины знаменитой статьи Добролюбова — не модернизируя и не травмируя его концепции, но по возможности подмечая в ней те краски, что разгораются в атмосфере наших дней. Тут особо важен добролюбовский эстетический анализ «русской трагедии» Островского — анализ поэтики ее. Не с брею-

щего полета над живым рельефом литературы, а в близком собеседовании с нею нащупывал Добролюбов истину о «свете» и «тьме». В аналитической дотошности и очевидном интересе к законам построения образных смыслов дышит подлинно объективное и уважительное отношение к искусству, в конечном счете — к человеку.

У входа в художественную реальность «Грозы» Добролюбов вручает нам важный методологический ключ: «Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина (Катерина.— С. В.), совершается в каждом слове, в каждом движении драмы...» Вот оно что! Оказывается, Катерина — не только «предметный персонаж», «фигура», «лицо», она — общее состояние текста, собственно, весь текст. В лаконичной добролюбовской констатации мерцает смысловая даль — идея художественной органичности «Грозы». Здесь речь об особой власти целого, словно бы опережающего свои части, об укорененности каждого героя во всей полноте драматических образных отношений, а не единственно в той сфере, к которой он приобщен фабульно. Согласно Добролюбову «вводные лица» у Островского столь же необходимы, как и ведущие, именно потому, что те и другие принадлежат всеобъемлющей инстанции — художественному организму. Весь добролюбовский анализ «Грозы» как «пьесы жизни» — не социологизирование на литературную тему, а глубокое эстетическое исследование.

О важности для нас критической методологии Добролюбова особенно уместно напомнить в канун его столетия. Если преодолеть школьную инерцию «щипкового», цитатного к нему отношения, то взору откроется концепция истинно современная. Мы увидим: не только философско-теоретический, но и эстетический протест вызывают у Добролюбова характеры, словно «фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к ним». Таким механическим образованиям резко противопоставлен «органический» характер Катерины, напоминающий «многоводную реку», что «течет, как требует ее природное свойство». Не рискуя власть в преувеличение, я с некоторым нажимом замечу: «реальная критика» Добролюбова именно практически — в эстетическом плане — оказалась куда более органичной, нежели «органическая критика» Аполлона Григорьева. И образные ряды, то и дело сопровождающие добролюбовские анализы (и вызываю-

³ См., например, главу об Островском в новейшей академической «Истории русской литературы» (т. 3, стр. 526).

щие у некоторых нынешних полемистов раздражение), не просто иллюстративные параллели к «основному тексту». На мой взгляд, это способ постижения художественной органики, метафорический ее эквивалент, попытка уловить целостность искусства в формах самой целостности. Словом, и по общей идейной своей ориентации, и по субъективной аналитической манере, и по речевому складу добролюбовский разбор «Грозы» — стройная эстетическая концепция. Осознанное или (неисповедимы пути людские) невольное недоверие именно к эстетической надежности этой концепции разжигает у нынешних оппонентов Добролюбова соблазн возвышения над классикой. И вот ближайший результат: вопреки Добролюбову Кабаниха, оказывается, и вовсе мила, ибо «ратует за благочестие и строгую нравственность», к тому же «далеко не бесчувственна как мать»⁴. Ни больше ни меньше. Но, во-первых, ратовать за благочестие и быть благочестивым, право, не одно и то же. Во-вторых, многое зависит от того, как понимает благочестие «ратующий» персонаж. Что до реабилитации материнского чувства Марфы Игнатьевны, якобы не замеченного «близоруким» Добролюбовым, то тут очевидное недоразумение. «Далеко не бесчувственна как мать» — это сказано с опорой на реплику Варвары в сцене отъезда Тихона: «У нее (матери.— С. В.) сердце все изноет, что он (Тихон.— С. В.) на своей воле гуляет». Надо смотреть, но не видеть, чтобы уловить в этой реплике апологию материнского чувства. Да, сердце у Марфы Игнатьевны «изноет», но не от любви к сыну, а скорее от нелюбви к «воле». Разумеется, я вовсе не призываю к незамедлительной канонизации добролюбовских наблюдений над поэтикой «Грозы» — минуй чаша сия! Речь о другом: горделивое возвышение над классикой не только безнравственно, но и творчески непродуктивно. Задача современного интерпретатора великих литературно-критических сочинений состоит не в том, чтобы всякий раз устанавливать, чего в них нет; наоборот, он должен попытаться актуализировать, вывести наружу таящиеся в них запасы методологической свежести. Такая позиция предполагает как минимум профессиональную самокритичность — недовольство привычным уровнем собственного понимания классических текстов. Попробуем перечислить «Грозу» с полным доверием к эстети-

ческой концепции Добролюбова⁵. И хотя не раз и не два нам случится обдумывать разрозненные фрагменты его статьи («Луч света...»), внутренним масштабом и регулятором самого анализа, надеюсь, окажется не отдельная цитата, выловленная из этой превосходной статьи, а общий ее курс — идея органичности «пьесы жизни».

Для российского кануна — революционной ситуации 50—60-х годов XIX столетия — образ грозы, драматически разработанный Островским, был чрезвычайно знаменателен. То был образ — вестник, разносивший и разглашавший тайну исторического момента, тысячи и тысячи граждан узнавали в нем себя, свои тревоги и ожидания. 5 февраля 1858 года Чернышевский писал Е. Ф. Коршу: «...Собираются тучи очень скверного качества... Есть одна надежда, без грома не обойдется, так не будет ли предупрежден гром сверху громом снизу...» Между 1858 и 1860 годами русская литературная мысль нащупывает и в той или иной степени осваивает грозу многократно. Напомню: «Накануне», «Семейное счастье», «Сон Обломова», «Село Степанчиково и его обитатели»... Но если в этих эпических текстах гроза как событие эпизодична, а грозное состояние мира претворено в художественный уклад — атмосферу, тональность, энергию страсти, то у Островского стихия грозы буквально придвинута к читательскому глазу и зримо объемлет всю, сверху донизу, сюжетную реальность драмы. В конце концов, можно допустить, что в момент появления тургеневской Елены Стаховой подле ветхой часовенки и гром не ударяет, и не сверкает молния, — едва ли в этом случае ее побег к Инсарову покажется всего только романтической дурью. Однако представить себе сценическое поведение персонажей «Грозы» вне грозовой стихии вообще невозможно: все они так или иначе огулены громом и озарены молнией. Островский универсально реализует метафору, рожденную ситуацией кануна: гроза у него — и содержание, и способ компоновки образной материи, и сама эта материя. Историческая необходимость грозы органически претворена в художественную необходимость.

⁵ О «Грозе» написано много работ: наиболее интересными среди них мне представляются статьи и книги М. Алексева, А. Анастасьева, У. Гуральника, В. Егорова, А. Журавлевой, Ф. Кузнецова, В. Кулешова, М. Кургинян, В. Костелянца, В. Лакшина, Ю. Лебедева, М. Полякова, В. Основина, А. Ревякина, Н. Скатова, А. Смелянского, Б. Соловьева, Е. Холодова, Е. Шаталова.

⁴ М. Л о б а н о в. Островский, стр. 136, 138.

«Пьеса жизни» развертывает перед нами образы жизни в ее подвижной целостности: неостановимый поток бытия и как бы пересекающие его люди, судьбы, сцены. Катерина — трагический «миг» эпохи; сквозь единичную страсть отчетливо проступает энергия и воля истории. «...мы чувствуем и знаем, что освобождение крестьян необходимо, неотразимо, неминуемо...» — писал Герцен. Вот этот пафос неминуемости, неотвратимости — колоссальный, всесокрушающий напор самой логики общественного бытия и вместе с тем ощущение личной вовлеченности в него — запечатлел Островский. Целое возобладало над частями; не «действующие лица», а «ход жизни» становится главнейшим объектом художественного внимания. Персонажи «Грозы» то и дело впадают в инерцию: по инерции бранится и люет Дикой, по инерции точит домочадцев Кабанова, по инерции пророчествует полубезумная Барыня. Кажется, люди во власти силы, неизмеримо более авторитетной, нежели собственные их побуждения «Языком лепечу слова, а на уме совсем не то...» — это Катерина. Все в ней смешалось, все смыслы пересеклись, и душу, словно ветром, сносит невесть куда, а тело — в Волгу. «Я умру скоро... я знаю, что умру», «быть греху какому-нибудь»... Это сигналы трагического мироощущения. «Ах! Скорей! Скорей!» — восклицает Катерина в финале первого действия. «Ступай, скорее ступай!» — это уже завершающий акт трагедии: прощание с любимым. В убийственной «хода жизни» участвует и Варвара («Беги скорей!» — Тихону, «Ну, ступай скорей» — Борису), а в 4-м действии полубезумная Барыня: «В омут лучше с красотой-то! Да скорей, скорей!» Так исподволь складывается в пьесе образ самой динамики жизни — ее неотвратимо нарастающего хода.

Социальное требование крутых перемен, небывалая, охватившая передовые слои русского многоукладного общества жажда «грядущего дня» трансформировалась у Островского в поэтику финала. Финал у него — режиссер и формовщик действия: драма движется, словно попадая в собственный след. Предчувствия, пророчества, знамения, догадки — все продвигает ее к ожидаемой черте. Будущее уже обозначилось, но еще не явилось, оно выпало из хронологии и вольно перемещается по всему ходу жизни. Настоящее — репетиция, сценарий предстоящего. Физическому выходу героя, например Дикого, предшествует «идеальный» сценарий этого персонажа

в репликах Кулигина, Шапкина и Кудряша. Картина, однако, еще более усложнится, как только мы возьмем в соображение гениальную гоголевскую мысль: «...комедия должна вязаться сама собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два,— коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих» («Театральный развезд...»). Это высказывание — гимн художественной органике. Именно благодаря своей органичности литературное произведение «вяжется» — движется — «всей... массою». А это означает, что персонаж — не только данное, конкретное лицо, но — шире — все произведение, схваченное в аспекте данного, конкретного лица. И пейзаж, и портрет, и композиция — словом, любой участок литературного текста может быть адекватно понят лишь как «поворот» всей динамической его «массы». Эстетический завет Гоголя был творчески услышан и Островским и Добролюбовым («Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы»). Создатель «пьесы жизни» следовал законам органики, а не механики. При механическом подходе к литературе важно зафиксировать место, где Катерина говорит о своей «греховой» любви, при органическом — существенно иное: Катерина любит, и это — общее состояние текста. «Преступная» страсть молодой купчихи возникает в трагической атмосфере «Грозы» задолго до реплики, информирующей об этой страсти. Я имею в виду и высокое беспокойство Кулигина в момент созерцания заречного ландшафта, и поэтическую экзатичность, певучую задумчивость самой Катериной исповеди, воспоминания о потерянном рае — детстве. Эта внутренняя драматургия — опережающее участие всей полноты текста в движении каждого смыслового его фрагмента — далеко не всегда учитывается истолкователями Островского. Согласно Мейерхольду, например, 3-е действие «Грозы» с его таинственностью готовит сцену покаяния в 4-м действии — такая постановка вопроса вполне соответствует именно линейному подходу к литературной образности (из настоящего — в будущее). Между тем у Островского другое: сцена покаяния уже дана в атмосфере 3-го действия, мы эстетически переживаем ее еще прежде, чем она развернется предметно. Можно допустить, что актеры, отдавшие предпочтение этой экспликации, внутренне поведают себя в обоих действиях принципиально

иначе: психология последовательности будет осложнена психологией предвосхищения. Но тогда принципиально иным окажется также и художественный результат всего спектакля.

Мы видим: драматический сюжет у Островского противоречив. В составе его и порыв к финалу и откат — порыв от финала вспять. Творческое мышление автора ориентировано и на завершающие компоненты текста и на экспозиционные (событию предшествует предсобытие, характеру — предхарактер). Экспозиционность и финальность — противоборствующие и взаимообуздывающие линии внутри разного «тока». Отсюда на читательском полюсе обманчивое ощущение некоторой расслабленности, статуарности действия. На самом же деле здесь энергия равновесия сил, сюжетная балаясировка. Не уловить этой внутренней динамики драмы — значит обеднить восприятие ее.

Говорили: главное лицо в «Грозе» — Волга. Я бы уточнил: Островский думал Волгой. Волга — масштаб и русло познающей мысли. В движении ее возникает и более широкая метафора: уже не река, а море простирается перед созерцающим оком, и взгляд пробегает не только слева направо, но и отсюда, от берега, вдаль, к линии горизонта. Любопытны дорожные впечатления Островского. Одна из дневниковых его записей воспроизводит фрагмент широкого и бурного наводнения — «полный разлив» могучей реки: «Не знаю, как другим, а для меня картина половодья не представляет ничего привлекательного»; «Безграничное пространство... пусто и безжизненно»; буквально размыта речная структура — исчезла земля, «которую глаз наш привык окаймлять воду» («Тверь», апрель 1856 года). В словах этих прочитывается прочная духовная ориентация: глаз, привыкший «окаймлять воду» землю, — это внутренняя установка на форму реки как «форму жизни». Эпически нескончаемая волжская ширь как нельзя более соответствовала творческой позиции Островского — его эпически неторопливому и всякий раз нарастающему интересу к людям, отношениям, вещам. Двигутся, проплывают явления, картины, сцены, однако они же и остановлены, окованы. «окаймлены» землю, резко индивидуализированы, введены в берега. В «пьесе жизни» главное — «ход жизни», и Катерина — персонаж наряду с другими персонажами. Она выхвачена из «темного царства» и аналитически укрупнена. Нетрудно представить себе ситуацию, в которой художественный объ-

ектив придвинут к Тихону, Дикому, или к Варваре, или к Кулигину, или даже к Феклуше. У Островского каждое лицо — потенциально главное, и высшее свое единство трагедия обретает не на каком-то этапе или уровне, а в движении целого, уже несущего в себе возможность катастрофического исхода для любого персонажа. Судьба Катерины — частный случай этой всеобщей неотвратимости.

Надо заметить, что картины или сцены у Островского — не только жанровые образования, например «семейная картина», «картины московской жизни», «сцены из московской жизни»; они — своеобразные единицы драматургического мышления «Картинный» подход к материалу органически укоренен не только в объективной, но и в субъективной реальности «мира Островского». 40—50-е годы XIX столетия, и особенно ситуация кануна, ознаменовались очевидным «распадением аспектов» (Гегель), развалом архаичных скреп между укладами, сословиями — всем громадным множеством клеток российского общественного организма. «...старые, дикие отношения, потеряв всякую внутреннюю силу, продолжают держаться внешнею механической связью», — отмечал Добролюбов. Всеобщей жажде перемен не могла не сопутствовать всеобщая нетерпеливая потребность в обзоре частей, как бы выпавших из целого. С этой эпохальной ситуацией совпала психологическая: доминирующая установка на сцену (картину). «Я писал свою комедию отдельными сценами на глазах друзей» — это о «Банкроте». «Я пишу довольно эскизно...» — из письма к Геденову. Замечено: Островский предпочитал набрасывать на полях сцены, еще не подверстанные к общему художественному контексту. Как эстетическое целое пьеса вырастала у него обычно из разрозненных эпизодов и картин.

«Распадение аспектов» как социальный феномен эстетически трансформируется в «распадение персонажей» — феномен драматургический. В «Грозе» нет отцов, более того — они даже не упомянуты; мужчины расслаблены, предрасположены к конформизму. Рвутся ближайшие связи, обозначаются дальевые контакты. «Свои» (Кабанова, Тихон, Варвара) «очуждаются», «чужие» — пришельцы из других регионов (Борис, Катерина) — сближены, любовно породнены. Вместе с тем «распадение аспектов» дано уже как изначальное, досюжетное состояние мира: ни Дикой, ни Кулигин, ни Феклуша, ни Кудряш непосредственно и жестко в интригу не втянуты.

С точки зрения фабульной они — более или менее лишние люди. Не случайно литература об Островском наводнена негативными констатациями этого факта. Напомним: Добролюбов взглянул на него вполне сочувственно. У Шекспира, например, персонажи «повязаны» прямой причинной взаимозависимостью — они гениально пригнаны друг к другу, как вопрос и ответ, как «отчего?» и «потому что». Отелло последнего акта — неотвратимое следствие Яго первого акта. Есть и у Островского сходные мотивы, однако уже в границах другой художественной системы. Принцип непосредственной, «локтевой» причинности включен в иной, органический контекст, для которого характерно взаимодействие частей через целое; этот принцип подвергается в «Грозе» критическому пересмотру (напомню попутно иронично-«бунгарскую» формулу Ивана Карамзова: «Все прямо и просто одно из другого выходит»). Скажем, по схеме досрочный приезд обманутого супруга позволяет застичнуть врасплох изменницу жену; здесь же, у Островского, «досрочность» обесмыслена: неожиданное возвращение Тихона позволяет Катерине застичнуть врасплох его, обманутого супруга, — принародно покаяться в своей греховной страсти.

В шекспировской вселенной, например, мы почти всегда ощущаем зависимость общего хода действия от сюжетного поведения отдельного лица — не соверши оно такого-то поступка, что-то непременно сместилось бы на главной линии сюжета. У Островского возможен и другой оборот дела. Скажем, не заведи себе Кулигин в голову идеи перпетуум-мобиле, самоубийство Катерины совершилось бы с такой же фатальной неотвратимостью, с какой совершается сейчас. А вместе с тем интуитивно мы все же улавливаем дальнюю соотнесенность этих вроде бы параллельных реалий — догадываемся, что где-то за горизонтом «местных» реплик и ситуаций простирается некая сфера породнения их.

И «необходимые» и «лишние» персонажи живут в «Грозе» двояко: участвуют в интриге, в диалоге, так или иначе откликаются на основные фабульные события, а вместе с тем они вовлечены в решение надличной и всеобъемлющей задачи: что может человек, так сказать, доведенный до максимума? какие таятся в нем ресурсы? Искушая и испытывая своих персонажей максимумом, Островский художественно выясняет степень готовности их к превышению собственных сиюминутных духовных состояний. В отличие от героев

Достоевского персонажи «Грозы» — не идеологи, не сочинители концепций. Они — типы поведения. Даже чревоугодница Феклуша, разносчица расхожих трактовок мира и «прогресса», в сущности, органически к трактовкам этим не приобщена, подобным же образом она могла бы разносить по купеческим домам какие-нибудь диковинные вещицы, например побрякушки. По-своему напряжены до максимума Кабанова и Дикой — калиновские самодержцы. Драматургическое исследование этих персонажей во многом носит экспериментальный характер. Что может зло, так сказать, доведенное до белого каления — до критической отметки? Такова программа эксперимента. О Кабанове-старшем нам решительно ничего не известно — словно в воду канул. По всему видно, водствует Марфа Игнатьевна уже порядком. Функции главы семейства усвоены ею прочно. Крута, Несгибаема. Дом, дело — все на ней. Поначалу ее чугунная твердость — всего только приспособительный механизм; постепенно, однако, в атмосфере вседозволенности и безнаказанности она патологически разрастается. Подобно компрачикосу, Кабанова затапливает в уродливый сосуд и выращивает в нем восковую душу своего наследника — Тихона, гнет в дугу Варвару, в обмен на грешную лесть щедро подкармливает богомолок и странниц, держит в черном теле прислугу. У жестокости своя логика, она ненасытна. Ненасытна и Кабанова: за этой речью вращажку, громоздкой наставительностью, шестивьем вместо прогудки, монотонным вымогательством реплик, за всем этим — садистский умысел, расчет, дальний прицел: загнать человека в западню, заразить ощущением обреченности, неотвратимости хода вещей. Речь Кабановой давит, жмет, подлавливает, словно петлю набрасывает, затягивая в свою вязкую монотонность. Говорят, палачи пробалтываются. Очень тонко, может, безотчетно оброненное Кабановой в первом же действии словечко насчет матери, якобы со свету сживающей своих деток, — не проходящая деталь, за этим речевым завитком — злая воля, потаенный преступный ход мысли. Это невинное и никем не узнанное само-разоблачение — как бы невольная проба собственной жестокости на слух, на публичность, первая диалогическая обкатка идеи, вызревшей в расселинах души: «сжить со свету». Свой изувёрский замысел Кабанова вынашивает залогом до поднятия занавеса, ее жестокость ветвится, так сказать, обытовляется. Для самой пре

ступницы в этом обытовлении зла — его как бы неощутимость, нерезкость для глаза. Однако зло не топчется на месте, оно прогрессирует, обретая способность к самодвижению. Самодвижение зла — такова внутренняя ситуация Кабановой Шекспировский Макбет закалывает короля собственноручно; Марфа Игнатьевна губит невестку руками невестки. Мотивы? Они налицо. Катерина бездетна; сможет ли она при бесхарактерном пьянчужке муже nasledовать функции главы дома? К этой тревоге присоединяется и другая, еще более серьезная: строптивым нравом, резкой самобытностью Катерина бросает вызов рутинному, насквозь фальшивому семейному укладу Кабановых, создает прецедент неповиновения старшим, «командирам жизни». И тогда-то в душе у Марфы Игнатьевны вызревает изуверская идея — подтолкнуть Катерину к смертной черте.

Зло в кабановском варианте обнаруживает тенденцию к безграничному саморазрастанию. Причем сохранить себя оно может, лишь вытаптывая жизненные ценности вокруг себя, — такова диалектика его роста. Чем более печется Марфа Игнатьевна о крепости дома, тем энергичней она этот дом разваливает.

С Диким дело обстоит иначе. Островский исследует плоды своеволия, обращенного не только вовне, но также и на самого носителя своеволия, — самосамодурство. С абстрактной точки зрения поступки, совершаемые Диким, указывают на определенную его «недоиспорченность». Ну хотя бы вот это: мужичонку, испросившего долг, сперва чуть не прибил, а потом, сменив гнев на милость, принародно в ножки ему поклонился Или: самокритичен, понимает, что долг возвращать — для него мука мученическая. В литературе об Островском факты эти нередко становятся поводом к частичной реабилитации Дикого — в конце концов, не укорять же человека за то, что его одолевает хворь! Увы, раскаяние Дикого — отнюдь не следствие его доброты, а порождение все того же своеволия: «захочу — помилую, захочу — раздавлю».

В истории литературы, особенно в переходные эпохи, такое случалось неоднократно: словно расплетаясь, диалектика авторской мысли о человеке оборачивается «парным героем» — стоит вспомнить Пантагрюэля и Панурга, Дон Кихота и Санчо Пансу, Короля Лира и Шута. Причем каждая из этих пар скомпонована по принципу дополнительности, и как бы ни различались меж собой, скажем, сервантесов-

ский *идальго* и его оруженосец, в главном они безусловно схожи: один «губернаторствует», другой сражается с великанами — «оба лишены такта действительности»⁶. Если перефразировать известную гегелевскую формулу, слуга здесь — момент «перехода» господина в слугу, а господин — момент «перехода» слуги в господина. И чем полней представлен один из них, тем резче выступает ограниченность другого. Устраните из этой ситуации динамику взаимопереходов — рухнет ситуация. Есть и у Островского подобные пары — достаточно вспомнить Аркадия Счастливецца и Геннадия Несчастливецца. Из «Грозы» — Катерину и Кулигина. Катерина и Кулигин «встречаются» лишь на исходе действия: она уже бездыханна, и мертвое тело ее именно он принародно опускает на землю. В сознании драматурга герои эти родственны: Катерина — с греческого — вечно чистая, Кулигин — искатель вечно го двигателя. В потаенном, неслышном собеседовании слов как бы свернута главнейшая информация о совместном, парном движении персонажей. И в самом деле: вечность — это и вечные ценности, оберегаемые Катериной и Кулигиным. Но вечность — это и непрерывность, неостановимый бег или порыв к некоей сверхцели, расположенной вне зоны житейской видимости: вот-вот вскинет руки-крылья и воспарит над землею гордая Катерина; вот-вот нащупает тайну «перпету мобиль» Кулигин. Да, цель утопична, однако уже в самом движении к ней дух возвышен, дух поднят на уровень цели, и это главный позитивный итог усилий. История цивилизации изобилует подобными «аномалиями»: искали философский камень — попутно открыли фарфор, ломали голову над задачей о квадратуре круга — попутно нащупали интегральное исчисление. У Островского — сходная ситуация. Энтузиаст-общественник, реформатор-бессребреник и доброхот; Кулигин прежде всего обеспокоен бедственным положением мещанства. Легко сказать: «руки есть, а работать нечего». И перпетуум-мобиле, за который обещан миллион, понадобился ему для решения экономической задачи. Кулигин — «маленький человек» (его собственные слова). И Кулигин знает, что он — «маленький человек». Самосознание возвысило его над горизонтом текущей повседневности, но и обрекло на двоякость: «Я телом в прахе истлеваю, умом громам

⁶ Л. Пянский. Реализм эпохи Возрождения. М. «Художественная литература», 1961.

повелеваю» — так по-державински в перебранке с Диким трактует Кулигин свою жизненную позицию. Когда же тот насто-раживается и роняет слова насчет городничего, Кулигин никнет: «Нечего делать, надо покориться». Вот так же, как другой «маленький человек» — пушкинский Евгений, одновременно и грозитя и пасует пред ликом «державца полумира»: «Ужо тебе!» — и вдруг стремглав бежать пустился...» Кулигин не убегаёт, но, согласно ремарке, «махнув рукой, уходит» — выразительный жест первого сознательного непротивленца в истории русской литературы: смирение и покорность открыто избрана как плата за внутреннюю, творческую свободу. Житейское унижение объявлено охранной грамотой и ценой духовного суверенитета. Иначе не протянешь Напомню: ломая поясницу перед хозяином, племянник Рамо возвышается над ним иронически — посмеиваясь снизу. От неминуемого саморазрушения этого отщепенца спасает диалектика. У Кулигина — другое: тело, «истлевающее во прахе», и ум, «повелевающий громам», не приведены в состояние взаимопереходов. Здесь нет борьбы, «раздвоения единого». Под одной крышей теснятся, но уживаются неугомонный избретатель-общественник и житейский непротивленец. Таким образом, попутно на высоту утопической цели поднят не весь человек, но лишь одна его часть.

Теперь — о Катерине... Как только не трактовали образ Катерины! «Богородица в окладе», «мистическая натура», «фанатичка с прудным голосом», «раскольница», «натянута резонерка», «женский Гамлет из купеческого быта»... Катерине поклонялись, Катерину поносили. Одни инкриминировали ей эротоманию, другие, напротив, порицали за дефицит сладострастия (после овражного «распутства» так и не обернулась вакханкой!). И внутри пьесы Катерина — перекресток разноречивых оценок: для Кабановой — притворщица, для Варвары — «чудн́ая», для Тихона, как мы теперь сказали бы, — «черный ящичек», для Бориса — ангел, для Барыни — грешница, для Кулигина — «хорошая жена»... В отличие от прочих персонажей Катерина не завершена, и высшее своеобразие ее — в игре и брожении возможностей. Даже как литературный тип она открыта эпохам и хранит в себе не только отголоски, но и предчувствия других литературных типов. Пушкинская Татьяна, лермонтовская Вера, толстовская Анна — ее эпические сестры.

У Катерины — свой перпетуум-мобиле, своя одержимость идеей неограниченной

личной свободы. Ибо мгновенный глitchный инстинкт, иллюзия крыльев, тело, вспомнившее себя чайкой или горлицей, — что это как не доведенная до отчаяния жажда духовной дали и шири, боль и память об утраченном небе? И вот так же, как добрая душа Кулигин в самом стремлении к утопической цели поднимает себя на уровень этой цели, так в греховной страсти к Борису неслыханно истончает свой дух Катерина, натура безусловно художественная. Вслушайтесь в ее рассказ о «жизни в девушках» — о ключике, цветах, странницах и богомолках, шитье золотом по бархату, о падающем из церковного купола солнечном столбе. Вслушайтесь — и вы заметите, что краски эти — материал, из которого Катерина создает образ своей внешней любовной страсти. Исповедь ее — воспоминание о настоящем. Прежде чем слетят с ее уст прямые слова о любви к «другому», она уже расскажет об этой любви косвенно — музыкой, золотом, таинственной вязью, светлым пафосом самой речи своей.

Не только по материалу, но и по глубочайшей художественной сути «Гроза» — пьеса антикрепостническая: напряжены до максимума — раскрепощены — внутренние силы человека, его духовный и этический потенциал. И хорошо видно, как в одном случае это перенапряжение убывает, распад личности, уже охваченной нравственной эрозией (Дикой, Кабанова), и как в другом случае оно сопровождается подъемом и развертыванием личности. Послушаем Добролюбова: «Одна из отличительных черт таланта Островского состоит в умении заглянуть в самую глубь души человека и подметить не только образ его мыслей и поведения, но самый процесс его мышления...» Это очень точные слова. Позднее Добролюбов наглядно продемонстрирует поразительное это умение, он косвенно укажет, в частности, на специфику психологического анализа в драме — его диалогическую природу. Мастерство Островского и в этой сфере эталонно: диалог — не только инструмент, при посредстве которого автор рассекречивает внутренний мир персонажа, но также и реальность этого мира. Способ изображения пульсирует в самом изображении. Психология — не вещь, упрятанная в нейронные сейфы, а момент диалога. Она постоянно возникает и движется в пространстве взаимоотношений и потому воспринимается как совместная психология — двоих, троих и т. д. — по числу участников речевых контактов. Словом, е го психология — момент н а ш е й.

Вслед за Добролюбовым перечитаем фрагмент «греховной» исповеди Катерины — то самое место, где, опережая реальный бег событий, она мысленно «преступает» черту.

«Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...

Варвара. Только не с мужем.

Катерина. А ты почему знаешь?»

«Видно, — пишет Добролюбов, — что замечание Варвары для нее самой (Катерины, — С. В.) объяснило многое: рассказывая так наявно свои мечты, она еще не понимала хорошенько их значения. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ее мыслям ту определенность, которую она сама боялась им дать». Таким образом, здесь речь о сократическом диалоге; роль «повивальной бабки» всецело принадлежит Варваре — она и провоцирует «роды» и принимает «младенца» — новый, совместно добытый смысл. В самой Катерине смысл этот еще не был приготовлен к «наружной» жизни — он тайно присутствовал в каких-то духовных составах. Прямым, задирающим словом Варвара вызывает и выводит его вовне. «Только не с мужем», — бьет она наотмашь, словно чужим грехом уравновешивая свою греховность («Я хуже тебя»), и Катерина тотчас захлопывает створки души: «А ты почему знаешь?» Здесь и удивление, и испуг, и вызов, и уклончивость, и попытка отвести беду от лица, и уже согласие — ми самопознания. Не детективная капитуляция перед внешним фактом (пойман с поличным), а внезапное, ошеломляющее, грозное открытие факта в себе. Именно: разорванности собственно духа. У Катерины уже достало отваги огласить свою любовь к «другому», но только вот сейчас, в этом «сократическом» общении с золовкой она впервые догадывается о своей нелюбви к мужу. Еще точней, еще катастрофичней: впервые узнает, что любовь к «другому» — это и есть нелюбовь к мужу. Значит, рушится то, что до сих пор — пусть бессознательно! — как-то примиряло ее с новой ситуацией: привычная, инерционная привязанность (жалость, сострадание) обманно ассоциировалась с любовью. Одно слово окликало два чувства. Теперь эта духовная двусмысленность взорвана, вскрылась бездна — разительное несовпадение старого слова и нового чувства. лексическая небеспеченность этого нового чувства как раз

и становится стимулом трагического прозрения Катерины. Сходным — «сократическим» — образом добывает и сама Катерина психологию «другого» — своего возлюбленного, Бориса Григорьевича. Я напомним финал — последние реплики «уходящих» героев (он — в Сибирь, она — «в Волгу»): с мучительной ясностью и уже необратимостью проступает в них самая страшная форма духовного одиночества — диалогическое сиротство. Это когда партнер зеркально повторяет, тиражирует тебя в своих речевых поступках, а не сотрудничает с тобой в совместных поисках истины. И выходит: на обоих коммуникационных флангах звучит твой собственный голос. «Ты не забыл меня?» — спрашивает Катерина. «Как забыть, что ты!» — откликается Борис. Ответ построен из материала, уже содержащегося в вопросе, — собственной семантики у него нет. И это понятно: Борис однозначен, информативен, линеен; духовный труд, в который пытается вовлечь его Катерина, ему недоступен. Она-то проектирует диалогическую даль (наша судьба), а его хватает всего-то на разговорную околицу — ближайшую зеркальную реплику. И Катерина нащупывает другую возможность — пробует другой зачин: «Ах, нет, не то, не то! Ты не сердись?» Но снова пугающая зеркальная однозначность: «За что мне сердиться?» Смыслы, посланные в «сократический» простор, возвращаются наподобие бумеранга. Закатный монолог, предсмертное физическое одиночество — только симптомы диалогического сиротства Катерины. Жизнь без «другого» — без губительной любви и страсти — для нее утрачивает всякую привлекательность; но это, оказывается, — и жизнь без другого — в неизмеримо более глубоком, всеобъемлющем диалогическом смысле. Жажда полета, порыв к сверхцели, по сути, всей трагической судьбы Катерины, — это жажда свободного общения, момент неодолимой духовной тяги к другому — к вольному размену чувств. Сверхцель стимулирует сверхнапряжения: экзальтация, экстаз, молитвенный подъем духа, иступленный самосуд — динамические компоненты раскрепощенного внутреннего мира.

В высочайшем натяжении религиозного чувства уже заключен момент перерастания его — прорыв в безрелигиозное нравственное горение; пламенная апелляция к богу оборачивается предельным самовыражением, «самообращенностью». В неистовстве отказа от любви дышит любовь. Все жизненные силы Катерины «доведены до

максимума», брошены к сверхцели. Ее внутренний мир движется в противоречиях и восходит к натуре. Но что это — натура? Напомню: Добролюбов говорит об инстинктивном характере поступков Катерины, но самый инстинкт (и натуру) понимает как социально осложненную форму человеческой активности. «...у Катерины, как личности непосредственной, живой,— отмечает он,— все делается по влечению природы, без отчетливого сознания, а у людей, развитых теоретически и сильных умом,— главную роль играет логика и анализ... Катерина... не резонирует и даже не понимает сама своих ощущений, а водится прямо натурою». Казалось бы, для тех, кто хотел бы лишний раз упрекнуть Добролюбова в антропологических пристрастиях, здесь щедрый набор аргументов: «влечение природы», «без отчетливого сознания», «не резонирует», «не понимает», «водится». Однако подумаем: «без отчетливого сознания» — это ведь не то же, что «без сознания», не так ли? Тут речь о другом: «сознание» недостаточно полно и резко выступает из какого-то более обширного состава. Надо полагать, что в состав этот входят и такие свойства природы, как живость и непосредственность («у Катерины, как личности непосредственной, живой»), причем в данном случае они доминируют так же, как «у людей развитых теоретически и сильных умом» доминируют «логика и анализ». В другом месте концепция эта обретает еще более четкий контур: «Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха (пищи, свободы). Здесь-то и заключается тайна цельности характеров, появляющихся в обстоятельствах, подобных тем, какие мы видели в «Грозе»... Так в чем же все-таки, по Добролюбову, состоит эта тайна? А в том, что цельность — не однородность, но сплав равноименных компонентов: рассудка, чувства и воображения. Причем, сойдясь, компоненты эти образуют новое качество: рассудок осложняется эмоцией, воображение — рассудком и т. д., и уж никакими сверхчуткими приборами не исчислить меры присутствия одного в другом: все это сливается в общем чувстве организма». То есть человеческая цельность, как бы возвращаясь к своему источнику, укореняется в природном материале.

Персонажи «Грозы» пытливо заглядывают в себя, как бы наклоняются над своими безднами. «Я хуже тебя», — бросает Варвара «грешнице Катерине». «Такая уж я за-

родилась горячая» — это Катерина о себе. Все сетует на свое неуправляемое сердце Дикой. А сердце Кабановой «вещун», и Марфа Игнатьевна чутко прислушивается к его показаниям. «Натура» ощущается как исходный прочный уклад (русская печь в избе), и человека либо словно ветром сносит в сторону от нее, либо, наоборот, прибывает к ней, точно к родному берегу. Это возвращение к себе совершается в форме бурного самопознания. Новые качества, как правило, возникают у героев Островского ближе к финалу и производят впечатление грома среди голубого неба, поскольку они не обеспечены эволюцией — «количеством». Островский не показывает момента зарождения страсти: Катерина уже любит, Кулигин уже одержим идеей общественного служения, Лариса Огудалова уже кинулась очертя голову в объятия Паратова, Глумов уже циник и завоеватель жизни и т. д. Любопытно: в сознании драматурга персонажи «Грозы» (за исключением Бориса) сложились сразу же — «со всей яркостью и убедительностью реально существующих людей»⁷. А что образ Бориса на фоне столь роскошного жизнеподобия художественно проигрывает, это, очевидно, объясняется как раз изначально, досюжетной его неполнотой. В человековедческом опыте Островского преобладает установка не на развитие, то есть возникновение новых свойств, а на раскрытие, актуализацию, выведение вонне уже готового внутреннего уклада. Развиваются — события, раскрываются — характеры. Раскрытие как творческая доминанта — типологическое свойство этой драматургии. Мы заметим его и в ранней трагедии — «Грозе», и в поздней пьесе — «Таланты и поклонники». Поэтика раскрытия — особый эстетический феномен; его идейная подоплека — полное доверие к стабильному нравственному строю личности. Что же касается внезапных метаморфоз, которые всякий раз приходится вводить Островскому в финальные разделы своих сюжетов, то, кажется, никто не объяснил природы этой «аномалии» лучше Добролюбова: «По схоластическим требованиям произведение искусства не должно допускать случайности: в нем все должно быть строго сообразно, все должно развиваться последовательно из одной данной точки, с логической необходимостью и в то же время естественностью!.. По нашему же мнению, для художественного произведения годятся

⁷ Р. П. Маторина, «Из творческой истории образов «Грозы» (в сб. «Творческая история». М. 1927, стр. 215).

всякие сюжеты, как бы они ни были случайны, и в таких сюжетах нужно для естественности жертвовать даже отвлеченной логичностью, в полной уверенности, что жизнь, как и природа, имеет свою логику и что эта логика, может быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываем...» Перед нами — сжатый литературно-философский трактат. Его центральный нерв — апология художественной органики (естественности), прорастающей не на теплой эстетической грядке, а в **прямых** контактах искусства с переменчивой социальной средой. Категории искусства суть категории жизни, схваченной под определенным углом. И художественные системы в конечном счете тоже плоть от плоти ее. Добролюбов кратко описывает две такие — полярные — системы. В одном случае — развитие, то есть движение «из данной точки» по закону прямой причинности (предыдущее — исток последующего), в другом — тоже движение, только уже в согласии с органическим принципом: последующее может оказаться случайным по отношению к предыдущему, однако необходимым в контексте целого, ибо целое старше части.

Шекспировский тип сюжетостроения — «езда в незнаемое», островский как раз наоборот — в «знаемое» И оттого весь творческий, художественный интерес сосредоточен у русского классика на самой «езде», на способах и формах «перемещения» героя по заданной «линии судьбы». Примерно сто лет назад французский исследователь Курье, примеряя Островского к Шекспиру, строго выговаривал нашему драматургу: «Сцены следуют одна за другой, не производя сильного впечатления; интрига разворачивается слишком быстро, развязка слишком поспешная, и поэтому не может быть постепенного развития характеров». Короче говоря, русскому автору инкриминировалось несходство с английским! Конечно, Шекспир — титан. Но и Островский — титан. Меня поправят: он стоит на плечах другого титана и потому так колосален. Это тоже верно. Впрочем, справедлив и обратный ход мысли: в широчайшем, всемирном и всечеловеческом культурном контексте титаны сотрудничают друг с другом и, презрев хронологию, попеременно подставляют друг другу плечи.

Истоки трагедии Катерины отыскивали либо в ней самой, либо в окружающей ее среде («темном царстве»). Справедливы, на мой взгляд, обе версии. Предчувствие скорой смерти, под знаком которого живет Катерина, — это, несомненно, ее внут-

реннее состояние, но и столько же — отзвук «состояния мира». В диалектических перепадах личной психологии сквозит трагическая высота эпохи.

У Кулигина сокрытой, непубличной сценической жизни нет. Он весь на виду, под открытым небом. Внутренний его мир всецело, без утайки обнародован. Катерина — другая. «Что со мной?» — вопрос, немислимый в устах «самоучки-механика». За этим — потаенный ход души, неподотчетность собственному рассудку. Фанатично развивая и разжигая в себе общественный интерес, Кулигин невольно попутно выстраивает также и свою личность; целиком отдавая себя во власть личного чувства, Катерина исподволь проникается духом общест-венности. Любовь к Борису, напомню, — лишь отрезок, лишь краткий фрагмент неизмеримо более протяженной линии, убегающей вдаль, к недостижимой цели — вольному полету, полноте духовной самостоятельности. На пути к этой сверхцели Катерина делает свой высокий выбор: в себе — себя, операция, исполненная громадного общественного смысла. Выбрать себя — значит, udвоить свою индивидуальность, впустить в свое сознание «другого», диалогически встретиться с этим «другим», здесь «я» впервые обращается к себе на «ты», подобно живой клетке, делится, — возникает внутреннее, психологическое пространство общения. Присмотримся к «овражной» сцене. Сначала Катерина гонит Бориса прочь, а затем кидается ему на шею. Признанию в любви предшествует экзотичный отказ от нее, осуждение «погубителя». Но это лишь традиционная прелюдия к вулканическому любовному самораскрытию. Здесь тоже антитеза, как и в сцене с ключом, — однако уже не только антитеза. В «овражной» — отказной — ситуации Катерина и Борис — исполнители ритуальных формул, и диалог их — словно речитатив на два голоса. Роли розданы, условия игры известны, текст отработан, дальше — прогон спектакля. И все же... все же, «отказывая», Катерина любит: в энергии и муке отвержения даны сила и свет притяжения. Живая страсть прорывается не в словесных «заготовках», а в напряжении, с каким они произносятся. Между семантикой слова и семантикой страсти — очевидная рассогласованность; проклятие и гнев становятся «веществом» любовной исповеди. Прежде чем в экзотичном порыве броситься на шею своему избраннику, Катерина уже расскажет ему о высоте и силе своего «греховного» чувства поверх слов — срывающимися интонациями, жаром заклинаний, иступленным —

раскольничим — смятением. При этом глаза ее, согласно ремарке, на протяжении всей первой — ритуальной — половины сцены будут потуплены в землю, как будто за слова, срывающиеся с ее горячих уст, ни малейшей ответственности она не несет. Потупленные глаза — точно опущенный занавес, по ту сторону которого вершится дело неповиновения чужому обрядовому слову. Как видим, внутреннее поведение Катерины удвоено, дух ее расширен. Но вот жесточайший парадокс: чтоб уберечься от моральной мимикрии, быть самой собою, надо впасть в одиночество. Быть самой собою на миру — губительно. Как истинно трагическая героиня Катерина способна в самой полноте страсти пережить еще и неизбежность утраты этой полноты. В душевном ее опыте предчувствие скорой смерти совпадает с ощущением начала новой жизни («Нет, я знаю, что умру... Точно я снова жить начинаю...»). Вот только что, в преддверии финала, отбита последняя черта между нею и Борисом («Довольно!»), может быть, еще слышны его рыдания, его «уходящий шаг», а ей уже выбирать: дом, ставший могилой, или «могилушка», становящаяся домом? «Об жизни и думать не хочется. Опять жить?» — поразительные слова! Вспоминается ахматовская трагическая ирония: «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз» «Опять жить?» — это словно возвращение «оттуда». Расхожее фразеологическое клише — «люблю до смерти» — обретает в устах Катерины смысловую изначальность: это формула ее жизнеощущения. По ходу сюжетного действия «состояние чувства» раскрывается навстречу «состоянию мира», и можно только подивиться мастерству, с каким учитывает эту творческую ситуацию великий драматург. Коллизия жизни и смерти ощущается в трагедийном поведении Катерины как симптом другого, менее наглядного противоречия. В предчувствии конца пульсирует страх перед восхождением нового внутреннего уклада — новой душевной формации. Не случайно ведь это: «Я знаю, что умру» — и тут же: «Точно я снова жить начинаю». На нравственной почве произрастает диалектика «рождающей смерти» (М. Бахтин). Смена внутренних укладов, как и смена общественно-экономических формаций, не совершается без мук и крови Человека, вопросивший о смысле жизни, уже другой человек, и судьба его отныне дра-

матична. Любовная страсть растормошила «первоначальную цельность» (К. Маркс) духа — в потаенных недрах его разыгрывается трагедия «распадения аспектов». Мы запомнили: еще шести лет от роду Катерина вулканически выказала характер — не стерпела обиды, кинулась в сумерки на Волгу, оттолкнула лодку, и — поминай, как звали. Да и сейчас, уже в замужестве, первая ее нравственная реакция на агрессивные посягательства среды — бегство, физический выход из «опасной зоны»: «...я было из дому ушла», «Я уйду, да и была такая», «В окно выброшусь», «В Волгу кинусь». Это по-своему прекрасно: цельный, нерасчлененный дух с максималистской резкостью оберегает собственный суверенитет: или — или. Однако в границах личной судьбы, как и в масштабах всечеловеческой цивилизации, приходит трагическая пора прощания с «первоначальной цельностью» — гигантское усложнение общественных взаимосвязей неотвратимо влечет за собою усложнение внутреннего мира. Дух дробится, в муках является новая, диалектически противоречивая цельность.

Мы знаем: самоубийство Катерины было воспринято передовыми русскими людьми как протест против драконовских социальных обстоятельств — таков объективный результат воздействия «Грозы» на публику. Для самой же Катерины, субъективно, уход из жизни был спасением не только от наружного «темного царства», но, если угодно, также и от внутреннего — «бесовской» путаницы собственной «загубленной» души. Подлинную, мучительно произрастающую в ней сложность Катерина принимает за греховность; ее-то и страшится пуще геенны огненной, от нее-то и спасается, кидаясь в «омуточек»...

Так сошлось: нравственное возвышение над внешней, пугающей сферой совпало с капитуляцией перед собственным, тоже пугающим внутренним миром. Подобно всем истинным трагикам, Островский разворачивает двойную мотивацию гибели своей героини: она и неизбежна, как рок, и она — результат личного выбора. Чудовищный алогизм: духовная свобода как предпосылка подлинной жизни еще возможна только как свобода от жизни...

В литературно-критическом собеседовании с великим Островским эту опаснейшую диалектику пронцидательно разглядел великий Добролюбов.

Липецк.

ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ



ДРУЖБА, ИСПЫТАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

А. В. Луначарский и Ромен Роллан

Среди многих знаменитых современников, с которыми был близко знаком и дружен Анатолий Васильевич Луначарский, особое место занимает Ромен Роллан. Постоянные контакты и интенсивная переписка сохранялись на протяжении восемнадцати лет (с 1915 по 1933 год). Их отношения складывались порой сложно, испытывались различными перипетиями, но и пройдя через острую идеологическую полемику, остались такими же дружескими, уважительными, даже нежными, как и в начале знакомства.

Интерес к этим замечательным людям — крупнейшему представителю западноевропейской интеллигенции и революционеру-интернационалисту, литератору и ученому сохранился и в наши дни, когда мы отметили 110-ю годовщину со дня рождения А. В. Луначарского и 120-ю со дня рождения Романа Роллана.

Вдова писателя Мария Павловна Роллан-Кудашева в свое время передала мне для публикации копии части писем Анатолия Васильевича Роллану. Она предлагала подготовить сборник «Луначарский — Роллан», включив туда материалы и документы, сохранившиеся в архивах и опубликованные. К сожалению, инициатива Марии Павловны не была реализована.

Первой работой Луначарского-критика о творчестве Роллана явилась статья-предисловие «От редакции перевода» к книге Р. Роллана «Народный театр», вышедшей в Петербурге в 1910 году.

Луначарскому были близки идеи Роллана о народном театре, его требование «дать народу подлинное и подлинно народное искусство... То, что давала в этой области буржуазная интеллигенция... его глубоко не удовлетворяло», — писал Анатолий Васильевич, уже тогда автор многих статей по теории театра.

Через два года, в 1912 году, появился первый в русской периодической печати критический очерк Луначарского о французском писателе. Он привлек к имени Романа Роллана внимание читающей публики. Побудительным мотивом к нему был выход во Франции последнего тома романа «Жан-Кристоф». При этом в статье давался обзор основных произведений писателя, говорилось о его замечательных этюдах по истории и критике музыки, о книгах «Музыканты прошлого» и «Музыканты наших дней» «Независимо от огромной эрудиции, тонкого эстетического вкуса, богатства мысли — книги эти показали в авторе замечательного психолога и первоклассного писателя», — писал Луначарский. С восторгом отзывался Луначарский о трех биографиях, написанных Ролланом, — Бетховена, Микеланджело и Льва Толстого, в которых писатель «преподает урок возвышенной художественной морали артистам своего века...». Конечно, особенно высоко ценил Луначарский то, что писал Р. Роллан о Бетховене, прообразе Жана-Кристофа.

Приведу несколько цитат из неопубликованной стенограммы доклада Луначарского на вечере в Институте литературы, искусства и языка Коммунистической академии, посвященного творчеству Романа Роллана, 7 апреля 1931 года (в связи с 65-летием писателя).

«Сам замысел «Жана-Кристофа» — изумителен и именно интеллигенту типа Романа Роллана мог прийти в голову. Ромен Роллан, изучая историю музыки, натолкнулся на гигантскую фигуру Бетховена — в музыке некоторый эквивалент, некоторая параллель тому, что мы больше всего ценим в просветителях, как Дидро, считая их истинными своими предшественниками в философии и революционных воззрениях на общество». В музыке мы должны считать

Бетховена «предшественником социалистической музыки, когда она придет». Бетховен, говорил Луначарский, человек, «чувствовавший музыку коллективов», он объединяет разрозненные индивидуальности «в единое целое огромного социального содержания». Отсюда необыкновенно яркое, всем понятное, проникнутое человечностью грандиозное творчество. Причем основой музыки Бетховена была фраза: лгут те, которые говорят, что жизнь есть счастье, жизнь — очень тяжелое дело, беспрестанная борьба. Но еще более лгут те, которые говорят, что нужно сдаться на волю судьбы, примириться со злом. Нет, нужно бороться. Не правы те, кто говорит — борьба приведет к победе. Можно только надеяться на победу. Но не правы те, которые пророчат поражение в борьбе. Каждое поражение, гибель отдельного человека, если она происходит в борьбе с судьбой, не есть гибель. «Это,— продолжал Луначарский,— диалектическое соединение победы и поражения, гибель в борьбе, которая является ступенью, элементом, моментом в общем движении вперед. Вот этот героический пессимизм, или, наоборот, какой-то оптимизм... обусловленный препятствиями и горем, которые окружают человека, и есть та изумительная стихия бетховенской музыки, которая делает его таким близким, например, для нашего пролетариата, без всяких комментариев и предисловий. Я много раз видел, как сложные симфонические произведения Бетховена вызывали огромный энтузиазм у неподготовленной пролетарской аудитории. Мужественность, стремительность изображения классово-борьбы как порывы к счастью, или торжественная скорбь по поводу утраты, которая не должна нас обессиливать,— все это характерно для творчества Бетховена. И в жизни Бетховен был таким же... Для Романа Роллана, человека, для которого музыка звучит, как самый красивый язык, Бетховен был особенно дорог и убедителен».

Ромен Роллан считал, что музыка как ничто иное позволяет сообщаться одному человеческому сознанию с другим, авторскому сознанию с сознанием масс. Поэтому для него Бетховен был самым раскрытым из гениев. Он пишет роман «Жан-Кристоф», в котором «создает действительно героическую монолитную фигуру. Создать монолитную, положительную фигуру героя можно только или имея прототип, или искусственно соединяя в одно то, что по частям дано в действительности... все большие, величественные, положительные черты...».

Констатируя, что «Жан-Кристоф» стал нею, умно, трезво смотрящего на вещи».

«завоевывать интеллигенцию в ее лучших кругах», Луначарский отмечает и то, что это влияние имело сильный привкус толстовства.

В том же докладе Анатолий Васильевич описал свою первую встречу с Р. Ролланом в январе 1915 года, с юмором назвав благотворительное учреждение по налаживанию переписки между военнопленными и их семьями, которым руководил Роллан, «ангельским почтамтом». Анатолий Васильевич отметил величайшую преданность писателя этой работе. Как публицист Роллан страстно протестовал против войны, призывал прекратить «преступную бойню, а с другой стороны он отдавал всю свою энергию, все свои средства, все эти годы своей жизни» ради «уменьшения страданий, которые так велики, благодаря преступлениям человеческим».

Шовинистически настроенные круги Франции начали травить писателя, и он вынужден был покинуть родину. «Я приехал в Женеву по той же приблизительно причине». (Луначарского выслали из Франции, потому что он вошел в редакцию интернационалистской газеты «Голос».)

«Когда я приехал в Женеву, то сейчас же отправился к Ромену Роллану, которого очень любил... зачитывался его книгами. Он мне импонировал как великий художник, как прекрасная человеческая фигура,— говорил далее Луначарский.— С первых же фраз мы начали разговаривать на жгучие политические темы. Я спросил его, знает ли он о зародыше нового Интернационала, который в то время уже намечался, и знает ли он о позиции Ленина. Он меня сразу прервал, когда я стал говорить с ним о Ленине, и сказал: не говорите мне о Ленине, потому что я знаю его точку зрения! Он хочет еще одну войну прибавить к той, которая есть! Я сказал, что это верно, наша формула заключается в том, чтобы войну народов между собой превратить в единственно священную войну — войну классовую. Нет, воскликнул он, я против насилия, я против войны! Сложите оружие. Я сказал, что сложить оружие ни в коем случае нельзя, а что нужно, наоборот, взяться за оружие. Я развернул нашу точку зрения насколько мог, и мы закончили спор. Он встал и заявил — не думайте, что вы меня можете убедить».

В докладе Анатолий Васильевич говорил, что они расстались при этой первой встрече «не сойдясь ни в чем», однако Роллан записал в дневнике, что Луначарский произвел на него «впечатление человека искрен-

Еще более определенно оценил Роллан свою первую встречу с Луначарским в автобиографической статье «Прощание с прошлым», опубликованной в 1931 году. Он вспоминал: «В конце января 1915 года ко мне явился Анатолий Луначарский, будущий советский комиссар народного просвещения. Он был для меня, можно сказать, послом будущего — вестником грядущей русской революции, спокойно, как нечто решенное, предсказавшим мне ее приход в конце войны.

Легко понять, что я ощутил почву под ногами, ощутил, что возникает новая Европа, новое человечество, и поступь моя стала уверенней, тверже».

В этой же беседе были затронуты и литературные проблемы. Ромен Роллан обратил внимание Луначарского на швейцарского поэта Карла Шпиттелера и даже попенял русскому литератору, что, владея немецким языком, он не знаком с произведениями великого эпика Совет был воспринят Луначарским. Он не только познакомился с творчеством писателя и с ним самим, но с необычайным увлечением начал переводить поэзию и прозу Шпиттелера.

Знакомство Луначарского с Ролланом переросло в дружбу, их переписка и встречи стали постоянными. В авторизованном переводе Луначарский публикует в горьковской «Летописи» статью Роллана «Правда о шекспировском театре». От Луначарского Роллан узнает о деятельности Горького и его отношении к событиям в мире. В январе 1917 года Анатолий Васильевич делал в Женеве доклад в связи с 25-летием творчества М. Горького и попросил Роллана председательствовать на собрании. Роллан не смог приехать, но прислал Луначарскому свое выступление; Горький ответил благодарным письмом. Так началась переписка этих писателей, которая длилась около двадцати лет. Личное знакомство Роллана и Горького состоялось лишь в 1935 году в Москве.

Луначарский пропагандировал антимилитаристскую публицистику Роллана в России. В январе 1917 года в петроградской газете «День» появились авторизованные переводы рецензии Роллана на книгу «Огонь» А. Барбюса («Дневник одного взвода») и статьи «Крутая тропа». В мае того же года газета «Новая жизнь» опубликовала еще один перевод — статью «Война и литература».

Наступила Февральская революция. Ромен Роллан не только поздравил Луначарского, но и, как можно судить по его дневниковым записям, встречался с Анатолием

Васильевичем, обсуждая будущее России и перспективы революционного движения. Чрезвычайно интересна запись, сделанная Ролланом 12 апреля 1917 года, она посвящена В. И. Ленину.

«Луначарский описывает мне его как человека необыкновенной энергии, человека, обладающего огромной силой воздействия на народ, единственного среди социалистических вождей, который осуществляет это воздействие благодаря ясности выдвигаемых им целей и заражающей силе своей воли».

7 мая 1917 года Роллан получил письмо от Луначарского, который уезжал в Россию, и в тот же день поехал в Сен-Лежье, чтобы «пожать ему руку». Этот визит подробно описан Ролланом в дневнике.

Особенно интересна та часть беседы, в которой речь шла о политических событиях, о В. И. Ленине: «Это «святой», говорит Луначарский... У него нет никаких слабостей; вся его жизнь целиком подчинена его делу; его даже нельзя обвинить в гордыне и честолюбии, как это можно было бы сделать, судя по внешним признакам: у него совершенно нет честолюбия; он первый готов был бы уступить свое место человеку, которого считал бы более полезным для дела, чем он сам. Он убежден, что владеет истиной, и ради этой истины он пожертвует всем. С моральной точки зрения он настолько неуязвим, что даже после совершенного им опасного поступка (имеется в виду возвращение Ленина в Россию через Германию.— И. Л.) клевета от него отскакивает. Даже Милюков заявил (и все газеты, выходящие в странах Антанты повторили это), что Ленин является человеком чести. Луначарский считает, что переубедить Ленина можно, только убив его».

При каждой встрече Луначарский рассказывал Роллану о Ленине. Анатолий Васильевич оценивал международные события и русскую жизнь с позиции революционера и интернационалиста, близкого к Ленину. Примечательно, что в июле того же 1917 года Роллан сказал швейцарскому литератору П. Сейпелю: «Как я хотел бы, чтобы во Франции был какой-нибудь Луначарский, с таким же пониманием, такой же искренностью и ясностью в отношении политики, искусства и всего, что живо!»

22 октября 1918 года в газете «Петроградская правда» появляется «Письмо к русским революционерам» Романа Роллана в переводе и с предисловием Луначарского. В этом же году Роллан отмечает в своем дневнике «вызывающий восхищение труд Луначарского по перестройке народного об-

разования и руководству искусством», которые «позже станут известны всем».

В апреле 1919 года еще одна интересная запись в дневнике Роллана: «Советы дают значительные суммы на образование, не меньшие на искусство и литературу... Луначарский, ум и вкус которого хорошо известны, и жена Ленина (кажется, г-жа Крупская), бывшая учительница, превосходный и скромный человек, которая специально занимается народным образованием, сделали в этом отношении много хорошего. Поэтому большое число видных представителей интеллигенции, настроенной против большевиков, принимает или снова занимает теперь важные посты. Не говорю уже о театрах, которые, как известно, процветают».

В начале 20-х годов отношения между Роменом Ролланом и А. В. Луначарским осложнились. Причиной тому послужили выступления Роллана против мер, которые вынуждена была предпринять молодая республика Советов, чтобы отстоять свои завоевания. С одной стороны, Роллан искренне защищал русскую революцию, с другой — требовал отказа от ряда принципиальных позиций. Это вызвало резкую отповедь Анатолия Васильевича.

В 1926 году в статье, посвященной юбилею писателя, Луначарский писал: «По поводу шестидесятилетия Ромена Роллана в Париже выпускается альманах, к участию в котором приглашены, как сказано в проспекте, наиболее выдающиеся люди Европы. Для меня очень лестно, конечно, что редактор этого альманаха обратился и ко мне... Я решил ответить на это приглашение статьей о Ромене Роллане... Она нарушает несколько правило, — на юбилеях можно только хвалить юбиляров. Я же говорю о Ромене Роллане полностью то, что мы о нем думаем». Эта статья («Кто для меня Ромен Роллан?») была опубликована в специальном номере журнала «Вигоре» (1926, № 38, февраль).

Писатель Жан Геенно, друг Роллана и редактор юбилейного выпуска, рассказал нам, когда вместе с Марией Павловной Роллан мы посетили его в Париже в 1976 году, что список авторов юбилейных статей составлял сам Ромен Роллан. «Я лишь писал письма», — улыбнулся Геенно.

В статье А. В. Луначарского есть такие слова: «...марксисты, ученики Ленина, должны уметь расценивать явления не только по резкому мерилу, отделяющему правых от неправых, поборников света от служителей тьмы. Нет никакого сомнения, что и сейчас проповедь Роллана, являясь большим регрессом для коммуниста, который подпал

бы ее чарам, в то же время является огромным подъемом для интеллигента, прозябавшего в мещанстве, подавшагося другим, гораздо более грубым чарам комфортабельной псевдоцивилизации, созданной буржуазией... При благоприятных условиях достаточно одного прикосновения жгучей действительности к этим, подготовленным уже Роменом Ролланом, разбуженным людям, чтобы они пробудились окончательно, чтобы и тот красивый, играющий, как опал, туман, каким является гуманизм Толстого и Роллана, развеялся перед ними как от порыва резкого ветра, и чтобы они увидели перед собою свой долг начертанным огненной рукой революционной современности... И, в конце концов, Ромен Роллан все-таки бунтарь, и он... вынужден осуждать буржуазию и капитализм... Люди, подобные Ромену Роллану, становятся врагами наших врагов, поскольку они всей душой преданы росту истинных ценностей подлинной человеческой культуры. Ну что же. Ведь пролетариат и его культура есть прямое здоровое продолжение всечеловеческой культуры».

В мае 1926 года в журнале «Новый мир» Луначарский опубликовал статью «Новая пьеса Ромена Роллана» о драме «Игра любви и смерти», где говорит о писателе как о современном идеалисте, обладающем чертами Дон Кихота «в его столкновении с революционной реальностью», размышляет о том типе интеллигента, который «в силу несвоевременности своего не критического братолюбия становится на самом деле врагом своего идеала, ибо отрицает, портит, саботирует единственные пути, которые на самом деле ведут к победе, к миру на земле...».

Будущее подтвердило правильность прогнозов Луначарского: великий писатель понял и преодолел свои заблуждения. Он стал подлинным другом Советского Союза.

Но это пришло позже. Писателю довелось пережить немало трудностей, внутренней борьбы. В частности, он оказался в сложном положении, когда реакционные партии и группы пытались использовать его имя ради своих целей, что породило, как он написал в статье «Панорама» (1934), разные «недоразумения», прежде всего в его отношениях с СССР.

«Это недоразумение, — писал Ромен Роллан, — могло бы продолжаться и дальше... если бы не стремление к взаимопониманию, которым прониклась тогда политика СССР, и если бы не личное участие в этом деле Анатолия Луначарского, одного из ее проводников, наиболее авторитетных на За-

паде... Случай высказаться предоставила мне анкета «Либертэра» (20 мая 1927 года). Роллан цитирует в статье «Панорама» строки своего ответа на анкету газеты: «Русская революция представляет собой наиболее значительное, наиболее мощное, наиболее плодотворное усилие современной Европы... На помощь Русской революции! Война у нашего порога, война империалистическая! Будем на страже европейских свобод!..»

Эти слова не прошли незамеченными в Москве... 2 сентября 1927 года мне написал Луначарский. Мы познакомились с ним еще во время войны, в Швейцарии, где он, как и я, нашел убежище. Мы относились друг к другу с уважением. Этот народный комиссар просвещения так и остался либералом, гуманистом в коммунизме, которому он, впрочем, всегда служил верой и правдой. Никто не станет отрицать, сколь многим обязаны ему находившиеся под его покровительством искусство и люди искусства в самые тяжелые годы гражданской войны... Он воспользовался моим ответом «Либертэру» как предлогом для того, чтобы от имени партии протянуть мне руку и предложить сотрудничать в только что основанном им партийном журнале «Революция и культура». Он давал обещание печатать все, что я пошлю, «даже в том случае, если Ваши основные принципы не совпадут с нашими идеями... Ваш ответ «Либертэру» нам сразу показал, насколько Ваша объективная мудрость выше колебаний многих интеллигентов, которые иногда именуют себя нашими друзьями. Это не значит, что я согласен со всем, что Вы пишете в своем письме, но общий его политический тон верен и морально высок».

С такими же точно комплиментами я мог бы в свою очередь обратиться к Луначарскому. Тон его письма свидетельствовал о той высокой духовной терпимости, которая и есть высшее понимание сущности вещей и которой я столько лет ждал и надеялся дожидаться от Советской революции. Я, не колеблясь, пожал протянутую мне руку и заявил, что у СССР и у меня общее дело.

В 1930 году был подготовлен к выходу первый том собрания сочинений Романа Роллана на русском языке. В связи с этим 24 апреля 1930 года Роллан писал Луначарскому¹:

¹ Судя по тому, что к оригиналу письма был приложен его перевод на русский язык, сделанный Марией Павловной Кудашевой, будущей женой Роллана, можно полагать, что оно попало к Анатолию Васильевичу через Марию Павловну. Мы печатаем письмо в ее переводе. (Архив автора статьи. Публикуется впервые.)

«Дорогой Анатолий Васильевич Луначарский, Вы оказываете мне честь, опубликовав в СССР полное собрание моих сочинений на русском языке в кооперативном издательстве «Время», в Ленинграде. Я Вам за это сердечно благодарен...

«Время»... проявило большую энергию, и я предоставил этому издательству исключительное право публикации моих трудов в СССР и даже добавил к изданию еще не изданные мною вещи...

Обращаюсь к Вам еще с одной просьбой: я очень желал бы повидать этим летом в Швейцарии мою подругу Марию Кудашеву — секретаря профессора Когана (я думаю, Вы ее знаете)... Тем более я желал бы ее теперь повидать, т[ак] к[ак] намереваюсь написать эту о Ленине (или нечто вроде его «Героической биографии»), о чем меня давно уговаривает М. Кудашева и может мне в этом оказать большую помощь...

Я по-прежнему живу в Вильневе на берегу Ламанского озера, недалеко от тех мест, где я 12 лет тому назад имел удовольствие встретиться с Вами² и где мы с Вами проводили дружеские беседы. Надеюсь, что мы когда-нибудь вновь сможем их возобновить. Я очень сожалею, что ввиду состояния моего здоровья поездка в Москву для меня затруднительна. Я хотел бы быть свидетелем гигантской работы по строительству и войти в непосредственный контакт со столькими дорогими друзьями, которые находятся в Москве и которых я знаю только по переписке.

Дорогой Анатолий
Васильевич Луначарский
сердечно Вам
преданный Роман Роллан».

Первый том сочинений Роллана вышел с предисловием Луначарского: «Роман Роллан как общественный деятель». Тон его намного мягче, нежели в юбилейных статьях. Однако прогресс в позиции писателя, который отмечает Луначарский, еще не освободил его полностью от стремления к пацифистской проповеди, от чрезмерно широкой терпимости.

«Надо различать два коммунизма: коммунизм в движении, коммунизм борющихся,— и коммунизм победивших, коммунизм триумфирующий,— писал критик.— Тот коммунизм, к которому мы стремимся, то есть законченный коммунистический строй общественной жизни, являет собой картину глубочайшего мира между людьми... Коммунизм, который живет сейчас,— являет

² Писатель ошибся: прошло тринадцать лет.

собой картину беспощадной героической борьбы, напряжения и трудного строительства. Тот коммунизм есть цель,— этот коммунизм — есть путь...»

В феврале 1931 года Р. Роллан опубликовал статью «Раскройся, Европа, или ты умрешь. Открытое письмо Гастону Риу». Статья была переведена на русский язык и должна была публиковаться с предисловием Луначарского: «Ромен Роллан и пан-Европа». Однако в таком виде в периодической печати статья не появилась, а вышла в брошюре вместе со статьей М. Горького. Но в неопубликованном предисловии Луначарского есть вещи, которые следует привести:

«Никогда еще Ромен Роллан с такой резкостью не подчеркивал свою противоположность всему буржуазному миру, никогда еще не был так близок нам...

Недоразумений между коммунистами и Роменом Ролланом все меньше... Пожелаем, чтобы они таяли в дальнейшем. Шаг, который делает Ромен Роллан нынешней статьей, важен. Его слова отдадутся в сердцах многих колеблющихся. Он остается вождем очень значительных прослоек наилучшей европейской интеллигенции. Пускай они идут за своим вождем налево, к нам, все ближе»³.

Незадолго до написания этой статьи Анатолий Васильевич вынужден был вмешаться в открытую полемику между Ф. Гладковым и И. Сельвинским, с одной стороны, и Роменом Ролланом — с другой. Советские писатели опубликовали в «Бюллетене ВОКС» письмо Роллану, а Роллан ответил через «Литературную газету» (февраль 1931 года). Приведем несколько выдержек из комментария Луначарского к письму Роллана, помещенного в том же номере «Литературной газеты».

«Я должен просить прощения у моих друзей Сельвинского и Гладкова. Представьте, в этой контроверзе я ближе к Роллану, чем к вам, и ничуть от этого не считаю себя невыдержанным марксистом. Как можно легко понять из письма Ромена Роллана, Сельвинский и Гладков обратились к нему как раз с упреком в том, что он — индивидуалист и считает себя «слугой человечества». На самом деле никакой индивидуальной свободы на свете нет и человечества нет, а существуют только общественные течения, носителями которых являются классы. Это звучит очень ортодоксально, но, простите, несколько поверхностно... Свободным на-

зывается человек, который совершает поступки, вытекающие из его сущности... Свободный поступок — это тот поступок, который соответствует моим убеждениям и чувствам. Пролетарию мешает быть свободным, между прочим, его отсталость, его невежество. Поэтому, когда пролетарий просвещается, он открывает в себе свою подлинную сущность, свою пролетарскую, классовую сущность. Его личность становится все более свободной и вместе с тем все более классовой. Партийная дисциплина, которую он принимает, является для него воздухом, которым он дышит... Чем больше дисциплинированный член партии, тем он более свободен... Интеллигент — это высококвалифицированный работник, работающий преимущественно нервной системой. Оригинальность для писателя, адвоката, врача, живописца, инженера и т. д. является огромным даром интеллигента и тем более ценится окружающими, чем он оригинальнее, самобытнее, — в этом его „талантливость“».

И дальше: «Ленин говорил, что у каждого есть свой путь прийти к коммунизму. Так вот путь интеллигента ведет через высокий общественно-моральный индивидуализм, через научную свободу мысли, через сильный характер. Это будет путь через свободу к свободе, еще выше той свободы, которую я старался обрисовать, говоря о пролетарии. Эта свобода уже не индивидуальная, ибо индивидуальность в ней гармонично совпадает с классом».

И еще чрезвычайно важные слова для понимания существа дискуссии, позиции Роллана и отношения к нему Луначарского: «Ромен Роллан с чуткою иронической усмешкой говорит нам, что «мы, сами того не сознавая, являемся паладинами человечества». Нет, дорогой друг, это не совсем так. Мы прекрасно знаем, что мы являемся борцами за осуществление единого великого человечества и что мы ведем эту борьбу во имя подавляющего большинства человечества. Мы только лучше вас, дорогой Ромен Роллан, понимаем, что единственным вождем, подлинным, то есть вождем трудящегося человечества для того, чтобы ликвидировать враждебный класс, а вместе с тем ликвидировать и самые классы, — является пролетариат, а единственным учением и единственной тактикой, вооружившись которыми пролетариат придет к победе и приведет к ней всех трудящихся, является марксистско-ленинское учение, марксистско-ленинская тактика...

Дорогой друг, мы любим вашу личность... Мы приветствуем вашу свободу, которая

³ Машинопись. Архив автора статьи. Публикуется впервые.

позволила вам гордо протестовать против идолов европейского общественного мнения и обрести путь в нашу страну. Мы знаем, что вы хотите служить человечеству. Мы знаем, что вы начинаете окончательно овладевать той истиной, что служить человечеству можно только отдавшись прежде всего целиком пролетариату в лице его революционного коммунистического авангарда».

На вечере в Коммунистической академии Луначарский подчеркивал поразительный идеологический и политический прогресс Роллана за последние годы, который понял, что «единственный путь борьбы с буржуазией — это путь революционный, путь Ленина... Ненависть этого большого сердца и большого ума против буржуазии толкнула его к нам. Он прошел этот путь, о котором говорил Ленин. Он прошел свой интеллигентский, с начала до конца, путь, но приведший его к социализму, приведший его к тому, что председательствующий, открывая это заседание, мог здесь перед радио, звучащим через эфирные волны по всему миру, с гордостью и радостью назвать Романа Роллана товарищем!»

Луначарский стремился привлечь Роллана к активному сотрудничеству в новых советских периодических изданиях, о чем свидетельствует письмо Роллана Луначарскому от 11 марта 1931 года.

«Дорогой Анатолий Луначарский, благодарю Вас за Ваше дружеское письмо. Разумеется, когда представится возможность, я с удовольствием начну сотрудничать с вашим новым литературно-художественным журналом «Страна Советов»⁴. Но прошу меня извинить за то, что в настоящее время я не могу прислать статью для первого номера журнала. Вы знаете, что я тяжело болел, и после более чем месячного перерыва у меня скопилось масса срочной работы, которая изводит меня. Сначала я должен освободиться от всего этого. Добавлю, что в любом случае мне было бы

⁴ Как удалось выяснить в Ленинской библиотеке, с 1931 по 1934 год ВОКС выпускал журнал «Советские новости» на французском, немецком и английском языках. Судя по ответу Роллана, Луначарский писал, что журнал будет освещать культурную жизнь всех наций и народностей живущих в Советском Союзе. Это, надо полагать, и вызывало восторженный отклик писателя. Журнал с названием «Страна Советов» не издавался. Возможно, что это название Луначарский обозначил условно, по существу тематического направления журнала. Статьи Роллана были опубликованы в номерах 3 и 8 «Бюллетеня культурной жизни СССР» за 1931 год.

желательно получить первые номера нового журнала, дабы точно ознакомиться с тем, что этот журнал намерен сообщить Европе, для того, чтобы и мой собственный вклад оказался полезным. Но все мои горячие симпатии полностью на стороне этого великого движения культурного возрождения — или зарождения, — которое выводит из состояния тысячелетнего молчания душу и голос народов, которые считали умершими или еще не родившимися...

В эти годы я получил две великие вести из СССР. Одна провозглашает о рождении нового общества. Но другая — это жезл Моисея, который исторгает из скалы — из этой старой земли — новые потоки жизненной силы. Эти реки жизни, сдерживаемые в течение веков, вольются, как свежая могучая кровь, в старое тело человечества.

Сердечно Ваш

Ромен Роллан.

Благодарю Вас за все, что Вы говорили и писали обо мне в последнее время»⁵.

Высоко ценил Анатолий Васильевич Романа Роллана как литературного критика, подчеркивая, что «критику Романа Роллана можно назвать социально-моральной. Он не марксист и ему трудно восстановить связь между отдельными писателями и обществом... Он понимает роль искусства... его влияние на общество... понимает, <что искусство> формирует человеческую мораль. В этом <для него> кроется главная суть искусства...».

В январе 1932 года Луначарский с группой академиков предложил АН СССР избрать Романа Роллана почетным членом Академии В выступлении на собрании Академии Анатолий Васильевич говорил, что хотя свою известность Роллан получил не как ученый, а как писатель и «великий гражданин», он «является весьма серьезным ученым». Вряд ли Академия поставит ему в вину то обстоятельство, что его научные труды исполнены чувства и изящества, по художественной отделке не уступая лучшим романам того же автора...».

После долгого перерыва Луначарский посетил Роллана на его вилле «Ольга» в апреле 1932 года. В пригласительном письме от 18 апреля Роллан писал: «Я буду рад вновь повидать Вас. Примите уверения в моем сердечном уважении». А в приписке: «Я Вам глубоко благодарен за то, что Вы так горячо рекомендовали меня для избрания в советскую Академию наук в Ленинграде. Я жду официального уведомления,

⁵ Архив автора статьи. Публикуется впервые.

чтобы иметь возможность выразить мою благодарность за эту честь»⁶.

Визит к писателю Луначарский описал в статье «У Романа Роллана» (первая статья с тем же названием была опубликована Анатолием Васильевичем в марте 1915 года).

В статье есть слова о том, что Роллан «крайне озабочен современным положением, он боится, что естественным выходом из кризиса и тупика будет для капитализма война, и притом война против его главного врага — против СССР... Прощаясь, он пообещал в ближайшие дни прислать свой «сторожевой крик»⁷ по поводу опасности текущего момента.

Мы расстались с ним, как с близким человеком... Хорошо, когда крупнейшие люди эпохи иногда издали, но все же верною стопою приходят к великим идеям своего времени».

В 1933 году, переиздавая статью «Ромен

⁶ Архив автора статьи.

⁷ Имеется в виду воззвание Р. Роллана «Отечество в опасности. Нашим сотоварищам, рабочим Советского Союза братски посвящаю» («Известия», 6 мая 1932 года).

Роллан как общественный деятель», Анатолий Васильевич сделал приписку, в которой свидетельствует, что «Ромен Роллан теперь уже не тот... Он понял, что ничего нельзя поделать с буржуазной сворой, повесившей над головой всего мира новую войну, способную обрушившись, раздавить надежды человечества, если не найдется силы — прямой физической силы, чтобы отбросить эту свору от руля нашего общечеловеческого корабля».

Вспоминая о посещении писателя в 1932 году, Луначарский закончил приписку фразой:

«Я еще раз убедился в том, что Ромен Роллан — великий человек, прекрасный человек и, что выше всего этого, — настоящий, крепкий, до конца идущий революционер».

Приподнятый, радостный тон последних высказываний Луначарского о Ромене Роллане отражает и радость в связи с победой, одержанной Роменом Ролланом над самим собою, и в то же время сознание того влияния, которое имел на этот трудный и сложный процесс сам Анатолий Васильевич Луначарский.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Григорий Бакланов. Америка мне виделась такой.— **И. Винокурова.** Наедине с собой.— **Сергей Чупринин.** Пир памяти.— **Рафаэль Мустафин.** Слово о мятежном атамане.— **Дм. Молдавский.** Освещенные окна поэзии.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Всеволод Софинский. Наперекор эпохе.— **Николай Паниев.** Хроника нефтяной эпопеи.

Литература и искусство

АМЕРИКА МНЕ ВИДЕЛАСЬ ТАКОЙ

Генрих Боровик. Пролог. М. «Правда». 1984. 574 стр.

Написать сегодня что-либо новое об Америке едва ли не так же трудно, как открыть Америку заново. Каждый день мы видим американцев по телевизору, читаем про них, американцам непрерывно показывают нас, сообщают о нас, но когда сообщают главным образом о бедах и неприятностях, вряд ли это способствует пониманию. А меж тем интереса у американцев к нам, у нас к американцам, пожалуй, больше чем когда-либо. Причины множество, и, видимо, одна из них та, что и жизнь и судьба людей сегодня неразрывно связаны, нераздельны. Необъятная наша планета, необъятная некогда для пешего и конного, для парусных кораблей, отплывавших в неведомое, стала крошечной в век облетающих ее ракет и спутников, с которых все просматривается, прослеживается, фотографируется. По-прежнему на земле хватает места для всех и она способна прокормить всех, но вот уже только шесть минут полетного времени отделяют от нас американские ракеты, придвинутые в Европу. А это значит, что при определенном безумном решении только шесть минут может остаться до гибели человечества, гибели всего живого, что создавалось, жило, совершенствовалось миллионы, миллионы лет.

Да, в мире многое переменялось в относительно короткий исторический срок, но способность людей к предубеждению, умению приписывать другим свои недостатки и вот так видеть целые народы — увы, все это не исчезло. Потому-то книга, написанная непредвзято, с желанием разобраться, понять, воспринимается как свежее слово. Думаю, это одно из главных качеств книги Генриха Боровика «Пролог». Автор ее восемь лет жил в Соединенных Штатах Америки, наблюдал, осмысливал события, а они были бурными в том 1968 году: война во Вьетнаме и протесты против этой войны, выборы президента и убийство кандидата в президенты Роберта Кеннеди. «На меня рано или поздно будет совершено покушение. Не по политическим мотивам. Просто такова обстановка», — сказал Роберт Кеннеди французскому журналисту за две недели до гибели. В том же 1968 году был застрелен и Мартин Лютер Кинг.

Эту обстановку прокурор из Нового Орлеана Джим Гаррисон, проводивший самостоятельное расследование убийства президента Джона Кеннеди, определил так: «...мы живем в разгар контрреволюции, которая началась в США 22 ноября 1963 года... С осени 1962 года Джон Кеннеди

практически возглавил революцию против «холодной войны». Контрреволюция 22 ноября 1963 года убрала Кеннеди при помощи операции, организованной Центральным разведывательным управлением. Эта контрреволюция продолжается, вот и все. Они уничтожают одного за другим каждого руководителя, который выступает против системы военной власти в США... В основе — всегда одинаковая техника... На сцене — обязательно „убийца-одиночка“.

Слова «мы живем в разгар контрреволюции» объясняют многое и в действиях нынешней администрации США, усилиями которой «холодная война» не только возродилась вновь, но достигла предела.

Итак, год 1968-й. Часть книги писалась тогда же, из глубины событий, другая половина — на определенном отдалении, когда события осмыслились заново. В обычный день в Нью-Йорке автор заканчивал репортаж о полете «Аполло-12», и вдруг по телевизору начали передавать беседу с ветераном вьетнамской войны, мужчиной двадцати двух лет, который участвовал в расстреле жителей деревни Сонгми. Он рассказывал, как выволакивали прятавшихся от ужаса и смерти женщин с детьми, как всех их сталкивали в ров:

«...И все мы начали сталкивать их и стрелять. Мы как раз столкнули их всех и тут начали бить из автоматов по ним. И тогда...

Корреспондент: И по грудным детям?

Мидлоу: И по грудным. Ну вот, мы стали бить из автоматов, но кто-то сказал нам, чтобы мы перешли на одиночные выстрелы, надо экономить боеприпасы. Ну мы и перешли на одиночные...

Корреспондент: Что эти жители — особенно женщины и дети, старики, — что они делали? Что они говорили вам?

Мидлоу: Им нечего было говорить. Их просто толкали, а они делали то, что им приказывали делать... Ну и просили, кричали: «Нет... нет...» И матери закрывали руками детей...»

Вот так было и у нас в годы фашистского нашествия, и матери закрывали руками детей. Так было и после Вьетнама в Кампучии.

Корреспондент: Естественно, вопрос приходит сам... отец двух маленьких ребятшек... как он может расстреливать детей?

Мидлоу: У меня не было тогда дочки. У меня тогда был только маленький сын»

Теперь и такое интервью невозможно, в Вашингтоне установлен памятник ветера-

нам Вьетнама: и тем, кто погиб, не совершив злодеяний, и тем, кто расстреливал мирных жителей, — всем в равной мере, поименно. Я видел этот памятник и книги под стеклом, куда занесены все погибшие ветераны, книги эти можно перелистывать. И на полированном граните — имена, имена, имена. Родственники приносят сюда цветы: это их погибшие сыновья. Но общество не должно лишаться ни сознания вины, ни памяти.

Генрих Боровик рассказывает об Америке, которую видел, изъездил, облетел, рассказывает с симпатией и юмором, с иронией и тревогой. Много, слишком многое в сегодняшнем мире зависит от того, какие тенденции возобладают в этой могучей стране.

Как часто в книгах и очерках о заграничном пребывании читаешь, что автор, находясь там, томился, часа и дня не мог дожидаться, когда наконец вырвется из этой заграничной тюрьмы, словно не он туда стремился. Недавно руководитель туристской делегации рассказывал (я сам слышал это), как он спросил своих товарищей по возвращении, что в США произвело на них наибольшее впечатление, и вот каков был образцовый ответ: «Самое большое впечатление произвела на меня наша группа». Для этого не надо было ездить в Америку. Американцам есть что изучать у нас, если не страдать излишней амбицией, нам есть что изучать в Америке. И человек, любящий родину, использует свое пребывание за границей с толком: смотрит, думает, изучает. Книга Генриха Боровика написана человеком, способным многое увидеть и осмыслить.

Американцы любят свою страну и гордятся тем лучшим, что есть в ней. Именно любовью к стране, любовью к согражданам вызвано решение доктора Спока бросить на время медицину и заняться политикой. Ему посвящена одна из лучших глав книги. «Доктора Спока спросил кто-то: какой совет дал бы он своим сыновьям, если бы им пришлось призываться в армию? «Я, конечно, предоставил бы им самим решать эти важнейшие вопросы. Но я гордился бы сыном, который отказался бы воевать во Вьетнаме... Вся суть решения Нюрнбергского трибунала состоит в том, что приказ правительства не оправдание для человека, который поступает против своей совести...» Когда потом судили доктора Спока, даже туда, на суд, матери приходили к нему за советами. И трогательна демонстрация детей. «В Нью-Йорке, — пишет Боровик, — я видел демонстра-

цию детей — в защиту доктора Спока. Это была шуточная и одновременно очень серьезная демонстрация. Полтораста ребятшек с мамами и папами пришли к зданию инъекционного центра... («инджэкшн центр»), где им полагается делать прививки (а доктор Спок был арестован у здания «индакшн центр» — призывного центра). Там ребята собрали свои «повестки» на противооспенные прививки в ящички и подарили растроганному доктору».

Это Америка, и это один из ее славных сынов. И восьмидесятипятилетний судья Форд, судивший доктора Спока, и окружной судья 9-го округа Калифорнии Стэнли Барнс — тоже сыны Америки. Другой Америки? Нет, той же самой. Вот разговор автора с судьей Стэнли Барнсом:

«— Нюрнбергский процесс незаконен, — сказал судья.

— Как так? — спросил я, ожидая продолжения шутки...

— Незаконен. Нет таких международных законов, которые были бы нарушены фашистами.

— Они нарушили договоры, развязали мировую войну.

— Нет международного закона, который запрещал бы нарушать договоры и развязывать войну.

— Фашисты погубили десятки миллионов людей. Только в моей стране погибло двадцать миллионов человек.

— Нет такого закона, в котором сказано, что Германия не могла уничтожить в вашей стране двадцать миллионов человек.

— Они проводили геноцид.

— Покажите мне закон, в котором сказано, что фашисты не имели права убить шесть миллионов евреев».

Это многолика Америка, и такой пишет ее Генрих Боровик, повидавший за эти восемь лет многое и многих. Это Америка, где сервис высшего класса: вам, отправляющемуся в путешествие, предложат книжечку с описанием маршрута, «в чудесных книжечках есть все: расстояния, описание городов, советы насчет отелей, где следует останавливаться, насчет ресторанов, где следует питаться, и даже цены»; а бывший житель маленького города скажет: «Не езжайте в большие города. Вы приедете в большой город, спросите, как пройти туда-то, а вас пошлют к черту, и вы будете думать, что вся Америка такая. Правда? А езжайте-ка вы в маленькие городочки...

Там Америка. Если вы там спросите, как пройти туда-то, к вам подойдут и начнут объяснять подробно и приветливо, даже если сзади за вами образуется хвост в тридцать машин. Мало того, каждый водитель из этих тридцати машин тоже подойдет и тоже будет объяснять. И еще полицейский подойдет — и тоже примется объяснять. И пока они не удостоверятся, что вы правильно все поняли про дорогу, они не разойдутся...»

И это правда, но правда и то, что в одном из этих маленьких, тихих городков, в Норборне, расположена штаб-квартира минитменов, одной из самых воинствующих, правозащитных организаций. На семинарах, которые она проводит, членов организации инструкторируют, как действовать на психику «интеллигентов левого направления» — часа в два-три ночи позвонить человеку домой, и чтобы он, разбуженный, услышал, снявши трубку: «Мы все про тебя знаем, интеллигентская сволочь. Мы расстреляем тебя одним из первых, как только настанет день». И так несколько ночей подряд. А среди организаций, занесенных минитменами в черный список, даже ООН. Как сообщила газета «Уорлд Джорнэл трибюн», «ООН находится в списке организаций, которые минитмены подвергнут бомбардировке».

В предисловии к своей книге автор пишет:

«Я не ставил перед собой задачи изобразить полную картину жизни страны. Писал только о том, что самому в то время казалось важным и интересным. Жизнь Америки тогда мне виделась именно такой, и сегодня не хочется задним числом «осовременивать» свой взгляд. Да и нет нужды.

Вторая часть была написана, естественно, гораздо позже, когда удалось наконец собрать нужный для нее материал и разрозненные события вдруг оказались соединенными одной непрерывной нитью. Однако и вторая часть тоже из того времени, все из того же 1968-го. Вместе они слились в одну книгу, жанр которой определился сам собой».

Не будем и мы определять жанр, тем более что все жанры довольно условны. Для читателя думающего, любознательного эта интересная книга содержит много информации, живо написанных картин и характеров.

Григорий БАКЛАНОВ.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Борис Слуцкий. Сроки. Стихи разных лет. М. «Советский писатель». 1984. 104 стр.

«В дующий извечно спор я введу свой малый опыт...» — твердо сказал Борис Слуцкий. Этот опыт, добытый на фронте («Если бы война не выручила, не узнал бы ни шиша...»), дал особую шкалу оценок, внушил особый взгляд на вещи, сразу же выделивший Слуцкого среди поэтических собратьев. Его стихи о войне поразили читателя своей прямою и жесткостью, ощущением войны как тяжелой, повседневной, изнурительной работы, одухотворенной не стихийным героическим порывом, а тяжелым сознанием долга, не физиологическим бесстрашием, а сознательным, взращенным в себе мужеством. Его стихи о жизни мирной удивили читателя своим равнодушием к таким лирически «прибыльным» темам, как любовь и природа, а вернее, особым своим пониманием как любви, так и природы. И если страсть юных влюбленных действительно малоинтересна Слуцкому, то преданность друг другу в старости, замешанная на иного рода чувствах, и прежде всего на чувстве долга, трогает необыкновенно. Не встретишь у Слуцкого и пространных описаний «ржаных, желтых далей», зато есть гневные строки о пшенице, рассыпанной по шоссе. Природа волнует Слуцкого скорее в своем практическом, «народнохозяйственном» значении. Этот поэт вообще избегает описывать, зато торопится вмешаться, настаивать, научить, ибо именно в научении («Я учитель школы для взрослых...») видит свой долг поэта, определивший и темы, и форму (лаконичную, четкую, прямую), и пафос его поэзии — острогражданственной, принципиальной, насквозь полемичной.

Новая книга Слуцкого, в свою очередь, полемична. Хотя не так явно, а приглушенно, ибо на этот раз разговор ведется не столько с миром, сколько с самим собою. Конечно, сталкивать в лоб разные точки зрения абсолютно не в характере этого поэта — сборник, сложившийся из стихотворений разных лет, в этом смысле на удивление целен, мир в нем увиден как бы с единого ракурса. Однако иного, чем мы привыкли.

Автор «Сроков» спорит со Слуцким — известным поэтом, автором многочисленных книг, сочинителем знаменитых стихов. Таких, как «Физики и лирики», к примеру. Помните: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе...»? Слуцкий

так категорично отрезал тогда («Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно»), что заподозрить его в желании «собственнолично» опровергнуть эти выводы было бы странно. Но сборник «Сроки» свидетельствует на этот счет:

Физики, не думайте, что лирики
просто так сдаются, без борьбы.
Мы еще как следует не ринулись
до луны — и дальше — до судьбы.

Эта точка вне любой галактики,
дальше самых отдаленных звезд.
Досягнете без поэтов, практики?
Спутник вас дотуда не доведет...

Теряя свою обычную объективность, Слуцкий здесь энергично вступает за лириков. Стихотворение явно писалось тогда, по горячим следам, но вышло к читателю только теперь, спустя многие годы. И хотя название его — «Лирики и физики» — возвращает нас к истокам той бурной дискуссии, тайный диалог с самим собою вышел за рамки конкретной, в свое время однозначно решенной проблемы, исподволь перешел в разговор о нескольких иных вещах. Ибо Слуцкий здесь (и в стихотворении и в книге) по преимуществу лирик, поэт подчеркнуто лирического склада.

Конечно, в «Сроках» встречаются вещи, эпически окрашенные, характерные скорее для «хрестоматийного» Слуцкого. Стихотворение о трагическом времени в жизни нашей деревни, голоде начала 30-х, гнавшем людей в города, — такого рода пример:

...Из каждого товарняка
сыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытьи,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

Ну кто еще из поэтов сумел бы так пронзительно сказать о чужом несчастье, чужой беде, кто горячее, гневливее вступился бы за другого? Тем более что собственное харьковское детство было тоже не очень-то сыто. Свое детство Слуцкий вспоминает часто, подробно, но отнюдь не жалостно, а жестко и, пожалуй, даже благодарно — за выпавшие трудности: «Я на медные деньги учился стихам,

на тяжелую, гулкую медь, и набат этой меди с тех пор не стихал, до сих пор продолжает греть...»

Чужая боль для Слуцкого всегда сильнее собственной, чужая беда всегда катастрофичней своей. «Им хлеб не выдан, им патрон недодан. Который день поспать им не дают...» — писал Слуцкий о своих однополчанах, писал «им», хотя естественней и правильней было бы поставить «нам». Впрочем, даже когда Слуцкий и ставит «мы», то чаще всего это до предела обобщенное «мы», как это явствует, скажем, из стихотворения «Кельнская яма», начинающемся: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями...»

И даже когда Слуцкий ставит «я», то часто это тоже до предела обобщенное «я», как, например, гигантское «я» стихотворения «Памятник»: «Дивизия лезла на гребень горы по мерзлomu, мертвому, мокрому камню, но вышло, что та высота высока мне. И пал я тогда. И затих до поры... Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землей вырастаю. И ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота...»

И более того, когда Слуцкий непосредственно обращается к фактам собственной биографии, когда на первый план выступает собственное «я», он старается остаться за кадром все то, что отличает его собственную жизнь от жизни миллионов. Все то, чем разнится он от друзей и соседей. Зато как радостно пишет он портреты современников, как пристально-внимателен к деталям, как точно и тонко схватывает характер. И хотя в каждом портрете очевидно присутствие самого поэта, его герои важны ему сами по себе, вне связи с собственной персоной. Слуцкий очень верно определил свое местоположение в такого рода стихах: «Словно авторы средневековых картин, где-то сбоку я тоже стоял...» И если лирика, как он выразился, «отсебятина» (ибо «хочется основательно все рассказать о себе и о своей судьбе»), то собственная его поэзия едва ли подходит под такое определение, ибо центристический принцип в ней заменен центробежным.

И все же в своей новой книге Слуцкий сосредоточен прежде всего на себе. Не случайно здесь впервые появляется слово «автопортрет». И хотя появляется оно в полужутливом контексте, знаменует собою существенный поворот: Слуцкий думает о собственной планиде, о конкретном, живом человеческом «я»:

Неужели сто или двести строк,
те, которым не скоро выйдет срок,—
это я. те два или три стиха
в хрестоматии — это я,
а моя жена и моя семья —
шелуха, чепуха, труха?

Этот, казалось бы, странный вопрос Слуцкий адресует не кому-нибудь, а себе. Себе самому, твердо сказавшему некогда: «Мы только — постаменты статуи. Стихи должны быть лучше нас...» — решительно вынесшему за рамки своей поэзии все, что казалось сугубо частным. Этот вопрос — о праве поэта не только на проповедь, но и на исповедь, праве, окончательно обретенном в книге «Сроки».

Отсюда и возможность рассказать о себе забавную историю, просто забавную, не содержащую особой морали. Такова, например, стихотворение «Знакомство с незнакомыми женщинами». Отсюда и возможность обнаружить некоторую свою растерянность перед лицом житейских обстоятельств и признаться в том как-то просто, по-домашнему:

...То ли тянуть, то ли решать,
то ли проблемы разрешать,
то ли сперва часок соснуть?

В этом сборнике вообще превалирует вопросительная интонация, не свойственная категоричному, склонному к известной назидательности Слуцкому. Обычно этот поэт не спрашивает, а утверждает, настаивает, доказывает с полнейшей убежденностью в собственной правоте. «Мои опаски и дрожанье моторам не передаются. Мои сомненья и тревога не перекинутся к другому...» — писал Слуцкий, не позволявший своим чувствам бесконтрольно выплескиваться в стихи. Именно поэтому он никогда не делился с читателем своей свежей, кровотокающей еще печалью — он рассказывал, лишь справившись с нею, добыв из нее определенный урок. В новой книге этот принцип нарушается:

Темно. Темнее темноты,
и переходишь с тем на «ты»,
с кем ни за что бы на свету,
ни в жизнь и ни в какую.
Ночь посылает темноту
смирять вражду людскую...

Начиная таким образом стихотворение, Слуцкий вводит нас в самое пекло своей маелы и сомнений, делая это, правда, на собственный лад, очень сдержанно, пряча за инсказание, которое, впрочем, тут же и расшифровывается:

...И возникает дружба от
пустынности, отчаяния
и оттого, что он живет
здесь, рядом и молчанье
терпеть не в силах, как и я.

Во тьме его нащупав руку,
жму, как стариннейшему другу.

И в самом деле — мы друзья.

Оно очень непросто по интонации, это стихотворение. Ритм его труден, неровен, причем последняя пауза особенно выразительна. Слуцкий как бы разводит в недоумении руками, вынужденный констатировать непредсказуемость, прихотливость человеческой психики, странную природу человеческих привязанностей, возникающих подчас как бы поневоле.

Вот это «поневоле» представляется особенно трудным для Слуцкого, привыкшего пестовать в себе ясные, утренние настроения, не любящего ночных разгулов подзвония.

Кажется даже, что собственная работа сильно смущала его этой своей стороной, иррациональной своей подосновой. Стремясь доказать себе и читателю, что труд его «любому труду родствен», он без усталости подыскивал аналогии типа: «Все писатели — преподаватели. В педагогах служит поэт...» — пиитический восторг старался объяснить через менее элитарные эмоции: «Настроение как у дружинника в сухую погоду...»

Тайна и мука своего ремесла открываются Слуцкому в сборнике «Сроки»:

Если жизнь есть сон, то стихи —
бессонница.

Если жизнь — ходьба, то поэзия пляс.
Потому-то поэты так часто ссорятся
с теми, кто не точит рифмованных ляс.

Эта странность в мышлении и выражении, эта жизнь, заключенная крепко в себе, это — ежедневное поражение в ежедневно начатой вновь борьбе...

И хотя демократичный Слуцкий и заявляет здесь же: «Не люблю надменности поэтической, может быть, эстетической, вряд ли этической. Не люблю вознесения этой беды выше, чем десяти поколений труды...» — он все же позволяет себе погордиться немного своей «особой участью». «Расхождение с ровесниками началось еще с футбола, с той почти всеобщей болезни, что ко мне не прижилась... —

начинает он стихотворение «Равнодушие к футболу». И продолжает дальше: — И пока бегучесть, прыгучесть восхищала друзей и радовала, мне моя особая участь тоже иногда награды давала, и, приплясывая, пританцовывая и гордясь золотым пустяком, слово в слово тихонько всовывая, собирал я стих за стихом».

Но стоп! Ведь нечто подобное мы уже читали у Слуцкого? Листая его прежние сборники, мы действительно находим стихотворение о равнодушии к футболу и о любви к стихам. Очень похожее стихотворение, но названное, однако... «Польза спорта»! И названное не случайно: те же самые факты интерпретируются здесь совершенно иначе. Кратко сообщив нам о своей нелюбви к футболу, Слуцкий тут же вспоминает собственную неспортивность, неуклюжесть на фронте и, обращаясь к читателю, строго заключает: «Советую меру во всем соблюдать — книги читать, козла забивать. Но пользу, которую может дать футбол, — не забывать». Это говорит Слуцкий-эпик, свой личный опыт приосабливающим прежде всего для друзей, «не поэтов», их судьбами прежде всего озабоченный, их благом. Общая польза — главный критерий отбора, заслон, поставленный самим поэтом, не пропускавший в его сборники ничего специфически личного. Именно поэтому стихотворение «Польза спорта» в свое время увидело свет, а «Равнодушие к футболу» оставалось до поры в столе рядом с другими такими же стихотворениями, чтобы выйти к нам этой книгой.

Книгой, одним фактом своего существования выявляющей волевое начало поэзии Слуцкого, на свой лад высвечивающей его могучий поэтический характер.

И то, что именно этот сборник Слуцкого проиллюстрирован рисунками Родченко, художника, чье имя неразрывно связано в нашем сознании с именем Маяковского, внутренне оправданно. Приверженность определенной традиции, не единожды заявленная Слуцким, нашла здесь еще одно, казалось бы, неожиданное подтверждение.

И. ВИНУКUROVA.



ПИР ПАМЯТИ

Андрей Вознесенский. Прорабы духа. М. «Советский писатель». 1984. 495 стр.

Откройте книгу, назовитесь своим — и вам тут же скажут дружельюбной скороговоркой: «Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватай-

те объятые паром картофелины и ускользающие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал!»

Устроились? Испробовали? Теперь, смелея,

хмелея от нечаянной родственности с собравшимися на пиру, можете оглядеться и прислушаться. «Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания».

Читает Белла. Своя Белла. А вокруг тоже свои. Только свои. «Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике Купидона...»; «вот «графичная, как черные кружева», Нина Дорлиак: «белый как лунь астроном истории и языка» академик Лихачев; «смуглый Таривердиев»; «ностальгический Булат»; вот «Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня...» — и вы по одним лишь именам, не припоминая фамилий, узнаете знаменитых актеров и актрис Театра на Таганке. А вот, присмотритесь, и «Майя Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина».

Чуть поодаль, но в той же, впрочем, родственной близости — «античная Анна Ахматова», «готический Федин», «крубаха-барин» Борис Ливанов, «пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку...». Тут же Марк Шагал — «белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем». И Высоцкий тоже тут, и тоже по-своейски держится в одной компании с Шостаковичем и Пикассо этот «коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником»...

Вам неуютно, читатель? Амикошонством, дурным вкусом кажется вам это затейное Вознесенским братанье эпох и талантов? Вы думаете, что «лицом к лицу лица не увидать», и хотите, чтобы имена, характеры, натуры были освещены, как положено по законам мемуарной прозы и вообще прозы, а не выхвачивались из тьмы мгновенной россыпью бенгальского огня? Тогда закройте эту книгу. Или — еще лучше — подарите ее тому, кто не взглянет вчуже на фантазийные проделки черных дыр и постояльцев самого несурзаемого в мире отеля «Черти», кого не шокирует, наоборот, восхитит «пророк мирового хаоса», аккуратно развешивающий на балконе свои свежестиранные беляньки трусики, кому не оскорбительным, но лестным покажется предложение побыть на короткой ноге со знаменитостями.

Можете сколько угодно порицать этого читателя. Можете завидовать ему. Но знай-

те: он непременно найдется. И это его, а совсем не вас будут называть избранным читателем, причислять к «всенародной элите», возводить в ранг «творянина», назначать, если он захочет, а он захочет, «прорабом духа». Это ему, а не вам по-родственному пожалуются:

...мы рано родились,
желая невозможного,
но лучшие из нас
срывались с полпути,
мы — дети поддорог,
нам имя — полдорожье,
прости.

Это ему, а не вам определяют конкретный «фронт работ» на сегодня — сначала в стихах:

Нравственной гораздо завод колготок,
чем о бабской доле
абстрактная слеза!

Сделайте, сделайте, сделайте хоть
что-нибудь!
Как ннманит в странствия Посейдон.
Нравственность абсурдна без экономики
тем, кто в коммуналках
ютится по сей день.

Сделайте, сделайте, сделайте хоть
что-нибудь,
защитите реку и птичий крик! —

а потом и в прозе газетной выделки: «Не надо плакать над родной землей и умиляться, надо тяжким трудом ее подымать. Нужны люди дела. Кто сегодня спасет землю от запустения, кто взрастит леса, даст людям кров, красоту и продовольствие? Чтобы люди сносно жили и красиво пели. Только творяне»...

Обвинение в заигрывании с читателем было, наверное, первым, которое услышал Вознесенский. Обвинение резонно: он действительно в большей мере, чем кто-либо из наших поэтов, дорожит читательским вниманием, ценит понимание с полуслова, боится не оправдать читательские ожидания. Он — так кажется порою — готов даже резко сбавить (и сбавляет) собственную «певческую скорость» — лишь бы ненароком не оторваться от своего читателя, лишь бы не струсилось несчастье, описанное еще Пушкиным: «...лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно».

И дело здесь не в славе, подстегивающей творческое самолюбие поэта. Вернее, не только в славе. Еще вернее: дело именно

в славе — она в данном случае осознается не как «яркая заплатка» или приятная докучка, но как своего рода энергетическая основа творчества, как необходимое условие, без коего нельзя выполнить обязанности, добровольно принятые на себя Вознесенским.

Что же это за обязанности?

Он — посредник. Нужны для ясности синонимы?

Почтарь («В воротничке я — как раскислый...»), развозящий по городам и весям дипломы на «творяцкое» звание и весточки о том, кто и что нынче в моде, то есть пользуется повышенным спросом.

Хозяин квартиры, где за одним столом (под одной обложкой) встречаются, как ни кощунственно немислима на иной строгий взгляд эта встреча, Пастернак и Мирей Матье, Микеланджело Буонарроти и вы, уважаемый читатель, Габриэль Гарсия Маркес и «старьевщик литературы» Алексей Крученых.

Ретранслятор, доносящий сигнал из этого застоя до самого периферийного глаза и уха.

Катализатор, многократно ускоряющий обмен веществ (информации, сведений, настроений, идей, потребностей...) в едином теле культуры — настолько едином, что любое деление на верх и низ, высокое и низкое кажется в принятой системе отсчета не более чем досужей выдумкой презираемого Вознесенским (и его читателями) критика с «тухлым взглядом».

Тогда еще вопрос: между кем-чем посредничает автор «Антимиров» и «Тени звука», «Безотчетного» и «Прорабов духа»?

Да вот хотя бы между разными уровнями современной культуры, пресловутой «масс-культурой» и тем, что маркируется как подлинный триумф творящего духа. Он, Вознесенский, демократичен и в ковриках с лебедями или эстрадной песенке видит только один недостаток: плохо сделано, непрофессионально. Значит, если эти коврики все же кому-то желанны, если какая-нибудь легковесная (легкокрылая?) песенка в неделю облетает страну, художник-профессионал обязан не отстраняться брезгливо, а вступать в поединок, в конкурентную борьбу с ловкими ремесленниками на их же поле и... да, да, рисовать этих самых лебедей, сочинять эти самые песенки, но так, чтобы разница меж ними и высокой культурой была в качестве, а не в жанре.

Сие невозможно? Ну почему же вдруг невозможно? Вот Пиросмани, чья трактирная «мазня» вполне выдерживает состязание с академическими образцами. Вот наш Ефим

Честняков, крестьянской дерзостью поражающий самый рафинированный вкус. Вот Маяковский, рекламная фраза которого «Нигде кроме, как в Моссельпроме» надолго пережила сам Моссельпром. Вот Шостакович и Исаковский, не стыдившиеся своих связей с песенной музой. Вот, наконец, Владимир Высоцкий, «уличная античность», ставшая говорком нашей повседневности, — он был классикой московских дворов».

Вознесенский убежден: нынешняя культура, чтобы победить в схватке с наглой, прожорливой, бурно размножающейся культурой, должна не уединяться в консерваторских залах, а выходить на площадь и рынок, в заводской цех и молодежную дискотеку. В этом деле есть кому следовать. Врубелю, расписывавшему не только храмы, но и отели. Миросусникум, возведшим оформление книг, афиш, спектаклей, посуды и мебели в ранг высокого искусства. Лефовцам, хлопотавшим об индустриальном и бытовом дизайне в годы, когда еще и слова этого на Руси не слыхивали. Кустодиеву, разрабатывавшему модель нарядного брючного костюма для первых советских модниц. Чуковскому, который, устав воевать фельетонами с жеманными стишками «Для милых деточек», взял да и уничтожил навсегда эти стишки, написав «Крокодила», «Тараканище», «Мойдодыра»...

Идеал Вознесенского — «муза для миллионов». Открытие Вознесенского: отнесясь к бытовому образцу и мифотворчеству (анекдоты, частушки, хохмы) как к единственно живому на сей день фольклору, нужно у студентов МАИ и работяг КамАЗа так же брать уроки языка, как Пушкин брал их у московских просвирен. Мнение Вознесенского: чем, плюя против ветра, воевать с модой, не лучше ли попробовать воспользоваться ею, у «Машины времени» и И. Глазунова, фирмы «Адидас» и телепередачи «Что? Где? Когда?», перенимая их технику овладения массовым сознанием? Предложение Вознесенского не заносить реликтовые ценности культуры в Красную книгу, а пускать их в максимально широкое обращение где-нибудь наверняка привьется, даст жизнестойкий росток...

Сделайте. сделайте. сделайте хоть что-нибудь!

Кое-что делается, и Вознесенский одобрительно упоминает о счастливых, на его оценку, опытах. Например, о том, как благодаря Э. Рязанову, М. Таривердиеву и А. Пугачевой «впорхнуло в быт страны цветавское: «Мне нравится, что вы больны не мной».

Вам не кажется удачным этот пример? Вы готовы возмутиться: «Игра на понижение! Профанация!» — и ядовито шепнуть что-то про «пошлину бессмертной пошлости»? Воля ваша; синий томик «Библиотеки поэта», наверное, распух у вас от закладок и прибавлений. Ну а как быть с теми, кто и не услышал бы имени Цветаевой, не прошуми по телеэкранам «Ирония судьбы»? Им что, так и коротать век в обществе М. Ножкина и И. Резника? И что, спросим в лоб, хуже — «игра на понижение», всякая вообще игра с читателем-слушателем или демонстративный отказ от контакта с «профанами» (а «профанам» этим, отмечу в скобках, несть числа, и их культурные запросы тоже, худо-бедно, нуждаются в удовлетворении)?

Вопрос из коренных для культуры в эпоху информационного взрыва и широкого приобщения масс к достижениям полиграфии, грамзаписи и кинопроизводства. И коренной для Вознесенского: либо искусство для понимающих искусство, либо искусство для всех — и понимающих, и тех, кто еще, быть может, поймет, если его приманивать понастойчивее, и тех, кто за недосугом явно намеревается только полюбопытствовать, а посему вполне довольствуется афористическими, и значит, удобными для употребления в быту формулировками типа: «Плисецкая — Цветаева балета» или «лирические плакаты» Евтушенко и т. п.

Было бы ошибкой считать, что Вознесенский обращается только ко вторым. Свою поэзию и прозу он адресует самой широкой аудитории. И все-таки... Честное слово, лучше глядеть в эту книгу не искусственным оком (видны натяжки, швы, провалы вкуса, бутафория и по-театральному грубый грим на знакомых лицах), а полными жадного доверия глазами подростка, наскоро приобщающегося к святым дарам мировой культуры.

Его призвали всеблагие как собеседника
на пир.

Его как током ударяет лично ему посланная фраза (ею книга и начинается): «Тебя Пастернак к телефону!» Ему безумно льстит вопрос: «Вы спали в кровати Пикассо?» — и еще больше, приподымающе льстит пронызывающая всю эту книгу насквозь интонация сообщничества, подразумеваемого равенства в интересах, познаниях, круге чтения, духовном опыте. Ему кажется, что это он сам бродит по парку, где там-сям стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют» изваяния Генри Мура — вот, оказывается, кто самый гениальный скульптор XX века.

Мальчуган запомнит и это (потом проверит), и то, как зовут жену Булата Окуджавы, и то, что надо непременно сходить в Кривоарбатский переулок к особняку Мельникова, и то, что придется, пожалуй, учить иностранные языки. чтоб без словаря читать Гюнтера Грасса и Арагона, чтоб непринужденно ответить, когда Джони Старк («седой законодатель западной эстрады» — запомним и это) перегнетса к нему через кресло Мирей Матье и спросит...

Самое же главное — подростку, вечному и главному читателю Вознесенского, будет думаться, что это он сам, без подсказок открыл, сколь пленительны впервые, должно быть, читанные им строки:

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,

Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье... —

и лично догадался, что только «объятия культур противостоят мировому разладу».

Вы никогда не были таким подростком, читатель? Тогда, я ведь уже советовал, отдайте эту книгу тем, для кого она прежде всего написана, тем, кто пока еще лишь приобщается к святым дарам. И будьте уверены — они прочтут «Прорабов духа» так, как четверть века назад странно читались зренбургские «Люди, годы, жизнь», этот ни с чем не сопоставимый по энциклопедичности, субъективности оценок и заманивающей силе путеводитель для приобщающихся к культуре XX века.

И наверное, правильно поступает Вознесенский, разыгрывая сюжеты своей памяти как некое феерическое театральное действие, благодаря чему и мир культуры и труд культуры предстают нескончаемым праздником, согласным пиршеством дерзости, таланта и чести. «Вырастешь, Саша, узнаешь...» — все узнаешь и про нервные перегрузки, и про скуку одиночества, подстерегающую творца, и про укусы проклятого нашего быта, от которого не свободен даже самый признанный, самый чувствуемый художник, и про то, что, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Об этой прозе искусства написано много хороших книг. Но книга Вознесенского посвящена иному — поэзии и искусства. или, скажем иначе, театральной его стороне. Посвящена настолько всецело, что порою трудно удержаться от иронии, следя за тем, как Вознесенский, словно опытный вербовщик, упирает то на

романтику, а то и на экзотику, характерную будто бы для жизни работников культуры,— ну вот, к примеру: «Хочу подчеркнуть черту летучего быта этой породы людей, они вызывают самолеты как такси. Их день расписан по секундам на неделю вперед как самолетное расписание. Их быт фантастичен и точен». Уж не небывальщина ли сие на наш русский слух?

Оставим, впрочем, иронию. Вознесенский действительно не только посредник между читателем-новичком и современной культурой. Он действительно еще и вербовщик, набирающий добровольцев в армию «вечных мальчиков», энтузиастов, подвижников и «прорабов духа».

Сделайте, сделайте, сделайте хоть что-нибудь!

Причем, и это очень важно, Вознесенский не устает об этом напоминать:

Не только дело в искусстве.
Преодолевая выжиг,
чтоб было мясо в Иркутске,
требуется подвижник!

.....

Есть в каждом росток прорабства,
в самом есть непролазом.
Прорабы, прорабы, прорабы,
проснуться пора бы!

Я далек от мысли, что каждый из прочитавших книгу Вознесенского кинется изобретать «экономику неканоническую», пропагандировать Хлебникова (это он первым сказал: «...это шестую творяне, заменивши Д на Т...») или возносить над площадью задуманный Вознесенским Поэтарх — двадцатипятиметровую золотую сферу,

символизирующую язык и человеческую культуру.

Во-первых, сразу же отсеются (уже отсеялись?) не свои для Вознесенского читатели. Во-вторых, многие и многие, казалось бы, вполне свои будут тонизируваны лишь на краткое время и лишь на уровне жестикюляции (вы обращали внимание, как, выходя после просмотра технично сделанного боевика, самые тщедушные мужчины пошире расправляют плечи, снайперски поводят глазами, а русые наши соотечественницы держат себя чистыми ледами,— эта аналогия, думаю, здесь уместна, и дело вполне может кончиться тем, что на чертановских или обнинских кухоньках станут рассуждать о Грассе и Муре с той же сноровкой, с какой недавно «рубали» о Сартре и Дали).

Но.. страна у нас большая, и в Мьггицах или в Канске, в Усть-Шоноше или в Тацинке непременно найдется подросток, который встрепенется в ответ на призыв: «Сделайте, сделайте, сделайте хоть что-нибудь!» — и, презрев разумные предупреждения критики о том, что Вознесенский, мол, и с хорошим вкусом не в ладах, и в моральных акцентах неточен, и собственно персоною чересчур увлечен, выберет и отберет в этой книге ее чистую суть, ее увлекающий подвижнический порыв.

«В стихах,— размышляет Вознесенский,— есть та особенность, что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слушателя. Если нечего усиливать, поэзия бессильна!»

Прислушайтесь к этим словам.

Сергей ЧУПРИНИН.



СЛОВО О МЯТЕЖНОМ АТАМАНЕ

Леонард Лавлинский. Солнце красное. Повесть в стихах. М. «Современник». 1984. 142 стр.

Детство и юность Леонарда Лавлинского прошли в казачьем крае. Это дает ему право обращаться к Дону Иванычу со словами признательности и искренней сыновней нежности:

Батя мой тихий, бережный,
Кровных степей лампас!
Я ли годами с бережка
Волны твои не пас?

...Батя, не вижу разницы —
Чья-то или моя
Вольную песню разинцев
К морю несет ладья.

Думается, автор здесь немного лукавит.

Во всяком случае, для нас, читателей, есть разница, чья именно ладья несет песни и сказания о разинцах. Ибо чувство кровной близости к атаману казачьей гольтыбы во многом определяет тональность произведения, его мелодику и другие художественно-образительные особенности.

В каждом поэтическом произведении есть опорный, ключевой образ. Здесь он вынесен в заголовок. Солнце красное... Вспоминаются слова народной песни: «Ты взойди-взойди, солнце красное...» — в пленной, кстати говоря, и в текст произведения Лавлинского

Образ этот многократно обыгрывается,

варьируется в книге. То это солнце свободы, воли, народного счастья, которого так ждали на Руси угнетенные массы, то зарево народного восстания, то едва ли не образ самого мятежного вождя... Уже само использование этого ключевого образа показывает, что автор вышивал по канве народных преданий:

Или царской секирой хрястнут,
И земля содрогнется от ужаса,
И покажется солнцем красным
Нашей песни чубастое мужество?

Итак, еще одно произведение о Степане Разине. Каким же предстает этот легендарный герой под пером Лавлинского? Умным, одаренным, своенравным, иной раз дерзко упрямым. Автор подчеркивает и выделяет такие черты своего героя, как молодецкая удаля, неумные страсти («...он жил страстями разрывными»), любовь к воле, смекалка. Не обойдены стороной и его внутренние противоречия, метания больной совести, минуты слабости. Лавлинский стремился передать историческую масштабность характера Разина, его прочную связь с народом и историей России. В чуткой, ранимой, отзывчивой на чужое горе разинской душе гнездятся не бесы, как кажется митрополиту, а «мужики, запоротые палачами», хрипят, плачут, кричат..

В главных, определяющих чертах трактовка образа не расходится у Лавлинского с данными нашей исторической науки и теми версиями, которые известны по романам «Разин Степан» А. Чапыгина, «Степан Разин» С. Злобина, «Я пришел дать вам волю» В. Шукшина. И все же под пером Л. Лавлинского вырисовывается свой Разин, по-своему эмоционально окрашенный, по-своему обаятельный.

Жанр произведения автор обозначил как повесть в стихах. Видимо, тем самым ему, известному критику и литературоведу, поднаторевшему в литературных баталиях, хотелось отвести возможные упреки в нарушении ряда литературных канонов.

Дабы занять место в ряду поэм, произведению недостает внутреннего единства. Книга состоит из трех структурно вполне самостоятельных частей. В первой — «Соловецкий апостол» — рассказывается о юности Стеньки и его хождении на богомолье в Соловецкий монастырь. Вторая — «Море Хвалынское» — посвящена персидским походам и поре самого разгара крестьянской войны. В третьей — «Стенькин колокол» — основное место занимает сцена казни. Части эти напоминают отдельные поэмы со своим материалом, внутренним сюжетом, своими зачинами и кон-

цовками, собственной стилистической окраской. Однако их стягивает воедино, цементирует образ Стеньки Разина.

Но это и не повесть в привычном смысле. Хотя повествовательные элементы здесь занимают значительное место, не они определяют своеобразие и наиболее сильные стороны произведения. В авторское повествование у Лавлинского вплетены легенды, притчи, песни, баллады, страстные монологи героев — Тимофея Рази, «тишайшего» царя Алексея Михайловича, самого Стеньки... Мы слышим то пламенную речь протопопа Аввакума, то рассказ старой торговки, случайно повстречавшей на своем пути разбойного атамана, то стоны, выкрики, гул толпы:

«Братцы, Стеньку изловили!» — «Да ну?» —
«Видел, небо польхнуло в Дону?» —
«Не гуляет рыба-сом по реке.
Подцепили за усом. На крюке».

«Байки в сторону, глумливая рвань.
Языка об этот нож не порань».

На мой взгляд, перед нами все-таки поэма, построенная по симфоническому принципу (три части со своей тональностью, ведущая музыкальная тема, своего рода лейтмотив, — и ее вариации, перебивки; использование контрапункта и т. д.). Но дело, конечно, не в определении жанра. Хотя установка на повесть и наталкивала автора на описания, развертывание батальных сцен, широких эпических картин. Но ведь у поэзии иные цели и задачи, чем у прозы, и, соответственно, иные возможности. Видимо, чувствуя это, автор местами резко обрывает повествование, чего-то недоговаривает или ограничивается намеками. В одном месте он даже роняет ироническую фразу: «Читайте прозу Шукшина». В подтексте: если, мол, вам нужны развернутые картины и подробные описания — обращайтесь к другим источникам.

Конечно, многочисленные отступления, монологи, пестрая разноголосица перебивок несколько затрудняют восприятие текста. Но в этих монологах, репликах, спорах звучат гулы того далекого времени, которые докатываются к нам через три столетия. У меня, например, эта пестрая мозаика рождала музыкальный образ времени. Обратите внимание на мелодический рисунок отрывка, начинающегося словами:

Не орава птиц в синь-туманы
Улетает за красными веснами —
Куренных стругов караваны
Дружно машут крыльями-веслами.

Песенный размер сменяется былинно-сказочным:

Пушка с берега
Не путем грубит.
На певцов-гребцов
Медно рыкает...

В отличие от многих своих предшественников Л. Лавлинский опирается не столько на исторические источники и документы (кстати говоря, довольно скудные и не всегда надежные), сколько на фольклор. При этом автор исходит из фольклорных источников, бытовавших или бытующих поныне именно в казачьем крае. Поэту удалось передать самый дух казачьей волиницы, ее неповторимый колорит. Поэтому, как уже говорилось, и Разин у него свой.

Л. Лавлинский-литературовед слишком хорошо знает, как надо строить произведение и что должен нести поэтический образ. В многочисленных его статьях в периодической прессе и книге «Сердца взрывная сила» мы найдем немало тонких наблюдений и глубоких мыслей об исторической теме в поэзии, в том числе и об образе Стеньки Разина. Порой Лавлинский критик заявляет о себе в поэтическом повествовании то лишними (но нужными с точки зрения теории) эпизодами, то оговорками и разъяснениями. Так, мне представляется излишним проходящий через все произведение диалог с воображаемым коллегой-оппонентом: «Ворчишь, коллега, — как же это одни страдания вне сюжета? Ворчи. Не я устроил так», «И ты опять ворчишь, собрат: сюжет, мол, явно сыроват...» и т. д. Поэт выстраивает своеобраз-

ную линию защиты и от знатоков-историков, которые, как чудится автору, могут обвинить его в слишком вольном обращении с историческим материалом. Таков, в частности, кусок, высмеивающий бродячие легенды о персидской княжне, кинутой в набежавшую волну: «Слышал потом купец-датчанин, тоскуя в разинском плену, про злополучную княжну — его рассказ весьма печален. Ах, не купец? И не датчанин? Прошу прощения: сквозь века не разгляжу издадека...»

Вопреки намерениям автора такие попытки заранее обезопасить себя наносят ущерб поэзии, которая должна говорить сама за себя. К счастью, таких мест в произведении не так уж много. Там же, где поэт следует внутренней логике поэтического образа, он увлекает читателя и пафосом, и колоритными красками, и самой мелодикой стиха, и творческим использованием фольклорных красок, образов, приемов, ритмики. Но бездумной стилизации под старину у него нет. Читая поэму, мы слышим голос нашего современника. Поэт — один из тех, кто «ворует камешки с луны». Вступая в диалог со Стенькой, он говорит: «Я голос дальнего потомка в твоей душе». И дальше, уже от имени всего поколения: «Мы семена в твоей горсти».

Это-то и определяет актуальность и значение своеобычного произведения Л. Лавлинского.

Рафаэль МУСТАФИН.

Казань.



ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА ПОЭЗИИ

Вл. Орлов. Здравствуйте, Александр Блок. Л. «Советский писатель». 1984. 420 стр.

Как не часто о произведении критика или историка литературы можно говорить как о произведении художественном, если хотите — лирическом. А вот об этой книге можно!

«Я отдал Блоку более пятидесяти лет жизни.

Я постарался сделать все, что было в моих силах, способностях и возможностях.

Но для меня Блок еще весь в будущем. Он нескончаем, как все великое в искусстве. Для множества людей он начинается только сегодня, для других, которых будет еще больше, начнется завтра.

Вот почему, навсегда прощаясь с Блоком, я говорю ему, как в первый день знакомства: „Здравствуйте, Александр Блок...“ — так заканчивает Вл. Орлов свою книгу, ставшую для него последней,

книгу итогов. Лирический том, где отчетливо видны личность поэта и личность исследователя.

Владимир Орлов — писатель и ученый. Среди его работ статьи о советских поэтах, книги об А. Радищеве и радищевцах, о русских просветителях конца XVIII века и о Денисе Давыдове, об А. Грибоедове и о многих поэтах начала XX века. Он автор стихов, поэтических переводов, сценария известного фильма. Ему принадлежит антология русской лирики, исследования о поэзии, предисловия. Полтора десятилетия он возглавлял замечательное уникальное издание «Библиотека поэта», раскрыв читателям такие богатства поэтической школы, о которых мы порой и не подозревали. Каждая книга была для него еще и собственным исследованием — мне приходилось ра-

ботать с Владимиром Николаевичем, и я всегда поражаюсь его эрудиции, сочетанию историчности мышления и ощущению современности, блестящему вкусу и чувству стиха, широте отдачи и умению не навязывать свой взгляд.

Но главное — Александр Блок. Дело жизни. Лишь в последние годы: «А. Блок. Очерк творчества», «Поэма А. Блока «Двенадцать», «Поэт и Город», «Александр Блок и Петербург» и, конечно, «Гаммаюн». А до этого и после этого десятки статей, предисловий, очерков, публикаций, формирующих любовь читателя к поэту и поэзии.

Составные главы новой книги — заметки, очерки, материалы, исследования и то, что было в свое время напечатано в «Коммунисте», «Правде» и в скромном институтском бюллетене как предисловие к книгам и отдельным изданиям. Это книга критических этюдов, многие из которых — законченные яркие исследования: «Встреча у октябрьского костра» (о Маяковском и Блоке), «Блок и Некрасов», «Блок и пьеса Сэма Бенелли «Рваный плащ». Все вместе создает цельный образ поэта. Поэта и автора книги! Того самого Вл. Орлова, которого мы с таким вниманием слушали на выступлениях или обсуждениях, кому порой звонили в поисках утерянных стихотворных строк, много и тонкого знатока поэзии, щедрого на открытия, влюбленного в Блока и его город...

Я упомянул о широте отдачи Вл. Орлова — его этюд «Блок о народе и литературе (неизвестные строки поэта)» занимает чуть больше одной странички, а ведь в строки, приведенные Вл. Орловым, вложен большой труд: «В конце 1919 года было решено сформировать петроградское отделение Литературного отдела Наркомпроса. Возглавить отделение Лито должен был А. М. Горький. Блок вошел в состав коллегии в качестве заместителя председателя. Среди бумаг Блока сохранилось машинописное «Положение о Лито». Третий пункт «Положения» гласил: «Литературный отдел оказывает поддержку живым литературным силам... стремясь использовать их в интересах литературного просвещения трудового народа». Блок отметил это место и написал на полях: «Литературные силы потому и литературные, что они созданы народом и действуют для народа. Поэтому можно было бы обойтись и без этой оговорки».

Здесь и не опубликованные ранее статья

М. М. Зощенко о Блоке и рецензия М. Шагинян на «Седое утро» Блока, и детская записная книжка Блока — все это материал, заставляющий в чем-то заново взглянуть на художника и на время. Огромный интерес представляет раздел «Чужое, но свое» — о той поэтической памяти, которая не позволяет настоящему поэту повторить своих предшественников, но заставляет помнить о них. Строки А. К. Толстого и Блока, строки А. С. Пушкина и Блока, строки Н. А. Некрасова и Блока, строки С. М. Городецкого и Блока — по существу это исследование «Блок как продолжатель традиций великой русской поэзии»!

И за всем этим мысль, проходящая через всю книгу: «Долг и назначение художника, как понимал Блок, состоят не только в том, что он благословляет смысл жизни, которая в существе своем, несмотря на искажающие ее «случайные черты», прекрасна, но и в том, чтобы деятельно, творчески участвовать в преобразовании жизни во имя будущего, всегда быть на стороне юности и свободы. Чувство личного участия в истории — черта, глубоко свойственная Блоку».

Замечателен по тонкости проникновения в структуру стиха очерк «Приближается звук...», заставляющий вспомнить статью В Маяковского «Как делать стихи». Само ощущение «лирической дерзости», вторжение в тот пласт, до которого трудно добраться не только исследователю, но и осмыслить самому поэту, — все это есть в этой небольшой восьмистраничной статье.

Очень важны, я бы сказал, принципиально важны, размышления автора над циклизацией стихов Блока, сравнением словарного состава циклов «Снежная маска» и «Жизнь моего приятеля» утверждается смелость поэта «в эпоху всяческих поэтических изысков и экстравагантностей» Писать так, как написаны «Жизнь моего приятеля», «О чем поет ветер» или «Родные картины», решительно никто из тогдашних мастеров и подмастерьев русской поэзии не рискнул бы, «не рискнул бы выйти к читателю с таким небогатым снаряжением: навязшие в зубах размеры, никакой «музыки», стершийся словарь, незатейливый ритм, бедные рифмы... Но как раз в самых, казалось бы, непритязательных стихах Блока с особым блеском проявилось его уверенное мастерство. Возьмем, к примеру, знаменитое «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Никаких метафор, все тут совершенно конкретно, вещественно, предметно. Ночь есть только ночь и ниче-

го более, равно как и улица, и фонарь, и аптека. Ничто ничему не уподобляется. Но вместе с тем эти конкретные понятия превращены в многозначные символы. Они вмещают громадные смыслы, образующие единый исторический и идейно-психологический контекст третьего тома». Думаю, что категорический «антиметафоризм», который звучит в этой же статье «Приближается звук...», — всего лишь полемический ход.

Раздел книги «Поэт и Город» состоит из двух частей: «Петербург Блока» и «Блок в Петербурге». Два исследования дополняют друг друга, в них неоценимый материал, прийти к которому именно этому автору помогли его личная и литературная биография, и, что очень важно, его знание города и его чувство города. Здесь тот город, который приходит к человеку в детстве и сопровождает его всегда, — радостный и трагический, ироничный и ласковый. Это город Александра Блока. И это город Вл. Орлова. Может быть, ни в одной другой работе ученого и писателя — ни в «Гамаюне», ни в «Очерке жизни и творчества» — так не раскрылась личность самого исследователя, как в этой его последней книге. Те адреса, которые даны Вл. Орловым, те

десятки петербургских образов, которые прослеживаются им в стихах А. Блока, — это страницы важнейшего периода в жизни страны, может быть самого трудного и самого творческого. Блок и революция. Блок и Октябрь. Блок и современники... И мы видим их — от М. Горького, от поэтов самого начала века В. Брюсова, С. Городецкого, А. Ахматовой, М. Кузмина и других, от В. Маяковского до тех, для кого А. Блок уже был живым классиком. Материал исследования граничит здесь с лирическим монологом. И я как ленинградец, как человек, воспитанный нашей поэзией, понимаю Вл. Орлова, когда у него в конце книги вырывается фраза (речь идет о стихах его друга Кайсына Кулиева, переведенных М. Дудиным): «Ах, эти петербургские, эти ленинградские окна!» Эти окна, светящиеся и в туман, и в ливень, и в неизбежный питерский мокрый снег... Окна просвещения, добра, поэзии.

Среди них и окно автора книги «Здравствуйте, Александр Блок», отдавшего более пятидесяти лет своей жизни борьбе за поэта, пропаганде поэта, утверждению поэта.

Дм. МОЛДАВСКИЙ.

Ленинград.



Политика и наука

НАПЕРЕКОР ЭПОХЕ

Э. А. Чепоров. *Ольстер. Время остановилось? М. Политиздат. 1985. 176 стр.*

●●● **И**мона Брэдли солдаты застрелили среди бела дня как террориста. Они даже не попытались его задержать, чтобы утвердиться в своих подозрениях. В Брэдли, как и во многих других, стреляли, как стреляют по мишени, — без предупреждения. Когда капрала британских войск в Ольстере Майкла Бохана спросили, бываю ли патрули, в задачу которых входит захватить противника в плен, а не убить его, он ответил: «Я читал о таких патрулях в книгах о второй мировой войне».

...Дискуссия в протестантской школе на тему «Насилие будет побеждено насилем». 99 процентов учащихся высказались за применение силы. «Стало совершенно ясно, — говорит один из преподавателей, — что для наших учеников хороший католик — это мертвый католик. Ораторы выступали будто на предвыборном митинге. Каждый призыв к убийству, как в древне-римском цирке, встречался восторженными криками»...

Сути ольстерского кризиса не понять в

отрыве от истории английского покорения Ирландии. Судьба этой страны, отмечает в своей книге Э. А. Чепоров, сложилась бы иначе, не будь веков колониальной войны против ее народа. По оценкам демографов, население Ирландии могло бы составлять сейчас приблизительно 34 миллиона человек. На деле же в Ирландской Республике вместе с Северной Ирландией проживает немногим более 5 миллионов. В середине прошлого века, когда народ Ирландии голодал, в Англию из этой страны было вывезено такое количество зерна и скота, которого хватало для прокормления вдвое большего числа голодающих. Именно в те годы население Ирландии резко сократилось и затем продолжало неуклонно уменьшаться.

Ольстерская демография всегда была и остается продолжением ольстерской политики Лондона. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер как-то заявила, что «пока у большинства народа Северной Ирландии сохранится желание остаться в

составе Соединенного Королевства, мы будем уважать его желание. Если когда-нибудь большинство выскажется в поддержку перемен, то я уверена, что наш парламент откликнется соответственно». А это значит, что и сам Лондон и ольстерские политики делают все для того, чтобы протестанты оставались большинством. Католики вынуждены эмигрировать из своей страны: здесь им не хватает работы, жилья, они лишены равных с протестантами политических прав.

Власти Ольстера десятилетиями вкладывали деньги в развитие тех отраслей индустрии, в которых заняты протестанты. Сегодня среди квалифицированных рабочих один католик приходится на 9 протестантов. Если перед вами котельщик, водопроводчик, клепальщик, механик, то это протестант, если чернорабочий — католик.

Ольстерский кризис имеет давние истоки. Еще К. Маркс подчеркивал, что «законы о чрезвычайном положении, за исключением некоторых кратких периодов, составляют хартию Ирландии». Армия и полиция всегда имели здесь права на аресты без ордера, на заключение в тюрьму без суда, на запрещение митингов, собраний, процессий. Жалоба этих законов было направлено против католиков, но служили они оправданием любого наступления на гражданские права и свободы. Ведь и по сей день Северная Ирландия — беднейшая из британских провинций. По данным «Общего рынка», Белфаст наряду с Неаполем относится к самым бедным городам Западной Европы. Уровень безработицы в Ольстере достигает 22 процентов, а в некоторых районах, прежде всего католических, работы не имеет каждый второй. К тому же заработная плата в Северной Ирландии много ниже, чем в целом по Великобритании. Однако рядовых протестантов ольстерский режим старается уверить в том, что их интересы нуждаются в ежечасной защите от «посягательств» католиков. Главарь уличных толп протестантский пасочник Ян Пейсли запугивает своих единомышленников: «Ваши рабочие места займут католики. Их будут селить в домах, в которых могли бы жить вы — протестанты!»

Провоцируемое ольстерской буржуазией и Лондоном противостояние двух общин создает особый психологический климат. Э. А. Чепорову удается воссоздать его, показать всю сложность и противоречивость ольстерской действительности. В книге мы видим не только фасад событий, они предстают объемно. Драматичный поворот те-

мы вражды двух лагерей автор находит, например, в истории любви католички и протестанта. Он рассказывает о барьерах, какие стоят на пути любящих: от уговоров священника отказаться друг от друга до страха перед мезью экстремистов, истрепляющих смешанные семьи...

Юнионистский режим — правление ольстерской протестантской буржуазии — выглядит политическим монстром в глазах не только тех, против кого направлен, но и в глазах деятелей умеренных, не склонных доводить дело до открытого противоборства. После разгрома полицией и ультраправыми первых маршей Ассоциации борьбы за гражданские права (общедемократической организации, выступающей за радикальные перемены в стране и равноправие всех граждан независимо от их убеждений и религиозной принадлежности) официальная лондонская комиссия, возглавляемая известным юристом лордом Камероном, констатировала: источником кризиса стало «несправедливое и униженное положение большей части католического населения».

Демонстрации были разогнаны с невиданной жестокостью. «Однако пуля в качестве аргумента уже не могла сыграть свою роль, — пишет Э. А. Чепоров. — Юнионисты, полвека правившие Ольстером, не выполнили требований Ассоциации борьбы за гражданские права — гарантия одного голоса для каждого избирателя, уничтожение дискриминации по религиозному признаку, отмена чрезвычайного законодательства, — но и не смогли это движение задуть. Тогда эту миссию взяла на себя Лондон. Британские солдаты вступили в Ольстер совсем не потому, что было решено защитить католиков от погромов... Нет, суть в том, что Лондону стало ясно — над имперскими интересами в этой провинции нависла опасность».

Действия армии были продиктованы не только стремлением вернуть мятежную провинцию в прежнее состояние, но и желанием связать репрессии в Ольстере с подавлением общественных выступлений у себя дома, в метрополии. На одном из семинаров Королевского института оборонных исследований ольстерские события цинично были названы репетицией будущих сражений: «Если мы проиграем в Белфасте, то все равно должны будем драться в Брикстоне или Бирмингеме. Точно так же как в тридцатых годах гражданская война в Испании была репетицией всевропейского конфликта, происходящее в Северной Ирландии есть репетиция

городской партизанской войны во всей Европе и в особенности в Великобритании». Реальность планов военщины подтвердили недавние разгоны антиракетных выступлений и расправы с участниками шахтерской забастовки в самой Англии, в результате которых были убиты, сотни раненых, тысячи арестованных.

Такова логика наступления на демократические свободы. Законы против «террористов» правящие круги Англии стараются использовать теперь против всех, кого полиция и власти сочтут «возмутителями спокойствия».

Кстати говоря, идея превращения Ольстера в полигон для отработки методов подавления общественных выступлений основана на стратегии английского генерала Фрэнка Китсона, разрабатывавшейся по заказу не только Лондона, но и НАТО. Контроль над населением, психологическая война, использование специальных подразделений для борьбы с «политической, профсоюзной, национальной, экологической, феминистской оппозицией» — вот главные элементы китсоновской теории и практики. Условия жизни населения, выступающего за свои права, должны быть, по Китсону, «разумно некомфортабельными для того, чтобы вызвать желание вернуться к нормальной жизни и отбить охоту к возобновлению кампании».

Надо думать, к «разумно некомфортабельным» условиям генерал относит и пытки в ольстерских «центрах дознания». Автор книги беседовал с теми, кто прошел истязания. Пытки, пишет он, явились не только средством запугивания католиков или сбора информации о «террористах». Задача решалась куда более масштабная: британская армия вела эксперименты по отработке «методов психического давления на заключенных». Потому-то для пыток вначале отбирали тех, кто был способен выдержать продолжительные мучения: это позволяло заплечных дел мастерам «оттачивать» свои приемы.

Чем руководствуются современные палачи, какова психология британского военного, каждодневно совершающего насилие? Для того чтобы глумиться, арестовывать, избивать и стрелять, мало одного только желания, считает Э. А. Чепоров. «Чтобы само это желание возникло, чтобы оно вызрело, требуется особого рода «духовная» работа». Какая? Мы знакомимся с записками отставного капитана Антони Кларка, проходившего службу в Ольстере. Он с болезненным упорством нанизывает одну на другую ненавистные ему бытовые де-

тали чужой жизни. Его преследует, не отпускает запах мочи и вкус помойного чая, он не видит в Ирландии ничего, кроме грязной одежды, скулящих детей, мокрых пеленок. Такие подробности не случайны. Перебирая их, Кларк доказывает самому себе и другим, что он вправе вести себя здесь, в Ольстере, иначе, чем в условиях «цивилизованной» жизни.

Любопытно приводимые в книге исследования белфастских социологов. Чтобы «не утратить самоуважения, не деградировать», говорится в одном из них, солдат должен судить жителей католических гетто по нравственным законам, которые сам же для них устанавливает. Надо отрицать наличие у противника собственной системы ценностей, и тогда он предстанет в образе психопата или, еще проще, зверя. Да, именно этим словом солдаты именуют всех без исключения обитателей католических районов. Отсюда и соответствующее поведение военных: за малейший отпор они могут арестовать, избить или убить любого жителя гетто.

Ольстерский кризис с самого начала стал событием не только британского масштаба. Речь о нем шла с трибуны Организации Объединенных Наций, дело о пытках в ольстерских «центрах дознания» разбиралось в Европейском суде защиты прав человека в Страсбурге. В откликах демократической мировой общественности подчеркивалось, что кризис разразился в рамках государства, рекламировавшего свою «цивилизованность», выступавшего в роли хранителя принципов свободы. Тем выразительнее оказался контраст между декларациями и кровью, концлагерями, драконовским законодательством. Лондон нагло продемонстрировал в Ольстере насилие прежних колониальных времен.

В 1979 году Британия праздновала трехсотлетие закона «Habeas Corpus Act», гарантирующего неприкосновенность личности английских граждан. Для Северной Ирландии «Habeas Corpus Act» и триста лет назад и ныне — пустой звук. Не выполняются здесь и обязательства, которые Лондон взял, подписывая Международный пакт о гражданских и политических правах. Наконец, грубо нарушаются в Ольстере положения хельсинкского Заключительного акта — документа, направленного не только на создание климата разрядки в отношениях между государствами, но и на уважение прав человека и основных свобод.

Ставка на репрессии не приблизила ре-

шения политических и социальных проблем, а только более обострила кризис. Катастрофы Ольстера по-прежнему испытывают дискриминацию и угнетение. Немедленная отмена репрессивного режима прямого правления Лондона, упразднение введенного английским правительством анти-

демократического законодательства, вывод из Ольстера британских войск, проведение широких социально-политических реформ — таковы и сегодня требования движения за гражданские права в Северной Ирландии.

Всеволод СОФИНСКИЙ.



ХРОНИКА НЕФТЯНОЙ ЭПОПЕИ

Н. К. Байбаков. Дело жизни. Записки нефтяника. М. «Советская Россия». 350 стр.

Трудно поверить, что еще в 1850 году вся мировая добыча нефти составляла... 300 тонн. К концу прошлого столетия добывалось уже 22,5 миллиона тонн, причем пальму первенства удерживала Россия с тогдашним главным нефтяным центром — Баку. Поэтому записки нефтяника начинаются с истории знаменитой бакинской нефти.

В старейшем нефтяном районе Баку Балахано-Сабунчинском сохранилась скважина, пробуренная в 1870-х годах механизированным способом. Если бы она могла говорить, то рассказала бы много интересного о том, как к первым черным фонтанам устремлялись заморские предприниматели, как рядом с «кровью земли» текла на промыслах кровь людская, когда, изнуренные тяжким трудом и бедностью, рабочие поднимались на вооруженную борьбу.

Именно здесь, неподалеку от скважины, родился и вырос автор книги Н. К. Байбаков. Освоение профессии он начинал рядом с асами и кудесниками нефтяного дела.

Старые промыслы после отражения интервенции и бегства бывших хозяев за границу были разорены, представляли собой, по выражению С. М. Кирова, «нефтяное кладбище». Добыча нефти в 1920 году упала до уровня 70-х годов прошлого столетия, снизившись по сравнению с 1913 годом почти втрое. В молодом Советском государстве сложилось исключительно тревожное, катастрофическое положение с топливом. В одной из телеграмм в 1919 году В. И. Ленин отмечал, что «нужда в нефти отчаянная». Записки нефтяника рассказывают о том, как по указанию вождя революции партийные и советские органы Азербайджана возглавили борьбу трудящихся за возрождение и дальнейшее развитие нефтяной промышленности.

В 1923 году в бакинской бухте был создан первый в мире морской нефтяной промысел на большой засыпанной территории. Трудовые подвиги новых хозяев

ввергли в уныние и состояние паники предпринимателей-эмигрантов, ждавших своего звездного часа в Париже, Лондоне, Стамбуле, Варшаве, Берлине, Софии... Благодаря ленинской политике мирного сосуществования «красная нефть» прорвала плотину бойкота — ее начали покупать в Германии, Англии, Франции и других государствах. К 1927 году в нашей стране уже добывалось столько же нефти, сколько в царской России перед первой мировой войной. На промыслах внедрялись новая техника и технология, передовые методы труда. Крупным успехом бакинских нефтяников стало выполнение задания первой пятилетки за два с половиной года — раньше всех других отраслей советской индустрии!

Автор мало пишет о личном участии в развитии нефтяной промышленности, о том, как проходил трудовую закалку в интернациональной среде бакинского пролетариата. Но и в этих скупых строках нынешнее поколение молодых нефтяников, которым предстоит огромная работа на новых нефтегазовых плацдармах, найдет для себя немало поучительного.

Большим испытанием явилась для нефтяников Великая Отечественная война. Известны слова Гитлера: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за нефть следует заплатить любую цену». Риббентроп хвастливо предрекал: «Когда у русских запасы нефти истощатся, Россия будет поставлена на колени» История распорядилась по-своему. Фашистские армии прорывавшиеся к промыслам Майкопа. Грозного, Баку, потерпели сокрушительное поражение. Но был еще один (не отмеченный на боевых картах) фронт борьбы с врагом — нефтяной. Одна из глав книги Н. К. Байбакова так и называется: «Нефтяной фронт». Этот необычный фронт от Майкопа дошел до Баку и перекинулся на огромное пространство в междуречье Волги и Урала. То, что делалось на нефтяном фронте, сродни сражениям на фронтах Великой Отечественной, ибо от исхода

борьбы за нефть зависела судьба всей страны. Н. К. Байбаков, в то время уполномоченный Государственного Комитета Обороны по перебазированию нефтяной промышленности кавказских районов на восток, пишет: «Летом и осенью 1942 года на фронтах создалось исключительно тяжелое положение. Враг подошел к Волге, перерезал основные железнодорожные магистрали и прямые водные пути, по которым доставлялись нефть и нефтепродукты из Баку к фронту и промышленным центрам... Враг прорывался к бакинской нефти, он находился у ворот Кавказа. Баку — главная нефтяная база страны — оказался в тяжелом положении... Но стране нужна была нефть во все возрастающих количествах, без нее нельзя было воевать, а тем более победить».

С горечью рассказывает автор об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками кавказским месторождениям в 1942 году: были полностью выведены из строя промыслы на Кубани, прекращена добыча в Грозном, промыслы его частично разрушены. В самом Баку пришлось законсервировать более половины высокопродуктивных скважин, долгое время не бурились новые.

«Несмотря на временную оккупацию части Кавказа и непосредственную угрозу Баку, а также почти на полное прекращение бурения в связи с перебазированием буровых организаций с оборудованием и рабочими в восточные районы страны,— пишет автор воспоминаний,— бакинские нефтяники под руководством Центрального и Бакинского Комитетов КП(б) Азербайджана искали и находили все новые возможности для бесперебойного снабжения маслами, дизельным и авиационным топливом действующей армии, промышленности, сельского хозяйства и транспорта страны...» В самые трудные дни выручали трудовой героизм, инициатива, смекалка нефтяников. Когда в Баку все емкости оказались заполнены нефтью и девять ее было уже некуда, решили снимать один бензин, в котором так нуждалась армия, а нефтяной остаток снова закачивать в пласт. С точки зрения привычной технологии разработки нефтяных месторождений это отдавало фантастикой. Однако смелый эксперимент полностью себя оправдал. Впоследствии, уже после войны, вся закачанная нефть (около полумиллиона тонн) была добыта вторично...

Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР К. А. Халилов, работавший в годы войны директором машиностроительного завода имени Ф. Э. Дзержинского, вспоминает:

«Бакинская нефть и нефть Второго Баку сражались на фронтах, как сражались наши танки и самолеты. Каждый три мотора из четырех на фронте заправлялись горючим из этого главного резервуара страны».

Биография советской нефти после Великой Отечественной войны была продолжена широкомасштабной разведкой и промышленной разработкой нефтегазовых месторождений на шельфах Каспия и Черного моря, Балтики и Баренцева моря, на Дальнем Востоке и в Приполярье, в Средней Азии и на Украине...

Новые месторождения нелегко даются разведчикам и эксплуатационникам. Особенно относится это к месторождениям Западной Сибири. С начала освоения гигантского Западносибирского нефтегазового месторождения уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, досрочно осуществлен выход на добычу миллиарда кубических метров газа в сутки. «Но время идет, жизнь выдвигает перед нами новые и новые задачи,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в дни пребывания у сибирских нефтяников в сентябре 1985 года.— Предусмотренные в Энергетической программе СССР и проекте Основных направлений высокие рубежи добычи нефти и особенно газа должны в определяющей степени обеспечиваться промыслами Тюмени».

В записках нефтяника подробно рассказано об этапах развития западносибирского региона. Советская нефтяная стратегия, подчеркивает автор, исходит из того, что жидкое топливо наших недр имеет первостепенное значение для ускоренного экономического развития СССР, других стран социалистического содружества. Сегодня в Сибири идут невиданные в мировой практике по масштабу и темпам поисковые, буровые, промысловые, благоустроительные работы. Каждая вторая тонна нефти, добываемая в нашей стране, сибирская; самые длинные и мощные трубопроводы, по которым во многие европейские государства идет голубое топливо, берут начало в Сибири...

Николай ПАНИЕВ.

Баку—Москва.

КОРОТКО О КНИГАХ



РАССКАЗ-83. Составитель Ю. Стефанович. М. «Современник». 1984. 383 стр.

Эти сборники для издательства традиционны — каждый год выходит книжка, составленная из наиболее интересных и заметных рассказов, опубликованных в российской периодике за год. По замыслу составителей это должна быть книга лучших рассказов, дающих представление о том многообразии вопросов и проблем, которые интересуют сейчас и писателей и читателей. «Рассказ-83», на наш взгляд, отвечает такому требованию.

В сборник вошло двадцать семь произведений Г. Бакланова, В. Белова, Н. Евдокимова, Ю. Гончарова, Ю. Нагибина, П. Нилина, П. Проскурина, М. Рощина и других. Думаю, что этот перечень уже сам по себе заинтересует любого читателя. Но не только созвездие имен обеспечивает успех сборнику. Сила и достоинство русской литературы всегда зависели от активной жизненной позиции писателя, от его отношения к судьбе своего народа, своей страны.

Одна из самых значительных тем современной литературы — тема Великой Отечественной войны. «Мы подвигов, увы, не совершали...» — так называется вошедший в сборник рассказ В. Кондратьева, в котором он остается верен своей теме человека на войне. Молодого человека, почти мальчика, не успевшего еще запастись ни знаниями, ни жизненным опытом, обретающего все это в бою. Ужас войны и школа мужества — вот что достоверно, без прикрас изобразил автор в рассказе с таким подчеркнuto негероическим названием.

Война тяжела не только для фронтовиков. Герои рассказа П. Проскурина — старики и дети, живущие в разоренной войной, голодной деревне, где единственное жилье — сырые и холодные землянки, где тощий петух, неизвестно как добытый бабкой Настюхой в хозяйство, кажется соседкам неслыханным богатством. Рассказ П. Проскурина возвращает нас памятью в то суровое время, которое нельзя забыть и которое помогает лучше понять время нынешнее.

А оно, это нынешнее время, так не похожее на трудные военные и послевоенные годы, рождает свои проблемы, свои вопросы. Не зря, видно, говорится, что существует не только испытание невзгодами, но и испытание благополучием. Как же получается, думает дед Авдей из рассказа А. Ткаченко «Алина и Авдей», что иные молодые люди нынче словно говорят на разных язы-

ках, смотрят на жизнь так несхоже? А герой рассказа Г. Горбовского «Аллергия» мальчик Ларик, выросший в благополучной семье, вынужден задуматься над сегодняшними проблемами уже в начале жизненного пути. Пусть протест Ларика против бездуховного мира вещей по-детски наивен и по-детски безрассуден, но он вызывает сочувствие у читателя, заставляет задуматься...

Неудачу потерпела бы попытка тематически классифицировать рассказы сборника — они разные и о разном. Нельзя, например, не отметить рассказ Ю. Гончарова «Отговорила роща золотая» — трогательное повествование об утраченной любви, об ушедшей молодости. Или великолепный рассказ М. Рощина «Лифт», который, начавшись как забавный случай, перерастает затем в сложное философское раздумье.

Все это естественно и понятно: рассказы, составляющие сборник, разнятся по теме, стилю, сложности, взглядам авторов на те или иные проблемы. Но при всем том нельзя не заметить их общую отличительную особенность — они написаны с желанием глубже понять душу человека, написаны людьми неравнодушными, кровно причастными ко всем болям и радостям нашей сложной жизни, нашей большой эпохи.

А. Филimonov.



РУКОПОЖАТИЕ. Советско-венгерский сборник рассказов и очерков. М. «Советский писатель». 1985. 343 стр.

Это второй советско-венгерский сборник подобного рода: Венгрию мы видим в нем нашими глазами, а Советский Союз — глазами венгерских друзей. Такой взгляд всегда ценен и интересен для обеих сторон. Читатель обратит внимание на типические черты наших дней, на людей, работающих в различных сферах — на фабриках и заводах, в сельскохозяйственных кооперативах, в науке, культуре, литературе.

В материалах венгерских авторов сквозит удивление перед нашими гигантскими масштабами. Из Сибири (очерки Кальмана Сентивани и Иштвана Беллы) мы переносимся к высочайшей горной гряде (Буачу Берта, «Город у подножия Тянь-Шаня»), с берегов великих русских рек Волги и Оби, о которых рассказывают Геза Мольнар и Анна Беде, — в Среднюю Азию (Геза Же-

гедюш, «Туран — Туркестан — Гюлистан»), гостеприимную Грузию (Дёрдь Жомбок Тимар, «Край Большого Стола»). Среди этих материалов выделяется очерк А. Беде: не довольствуясь путевыми впечатлениями, автор обильно использует исторические источники, по-новому рисуящие «царство тьмы», как когда-то называли обский край. Среди «соавторов» А. Беде арабский литератор-путешественник XIV века Ибн Баттута, венгерский исследователь конца прошлого века Йозеф Папай, автор середины прошлого века Антал Регули, Петр I, тобольский миссионер начала XVIII века Антонин, ссыльный украинец Г. Новицкий, автор начала века Берн Мункачи...

Такая добросовестность при освещении материала не может не импонировать. Этим же свойством отличается и работа Гезы Хегедюша, носящая подзаголовок «Картины воспоминаний о поездке в Узбекистан». Казалось бы, знакомые нам вещи предстают в этом очерке в необычном ракурсе.

Глубина анализа присуща и лучшим работам советских авторов сборника. А. Медников в очерке «Ветер обновления», верный своему давнему писательскому пристрастию, рассказывает о домостроителях Будапешта и Москвы, о деловом содружестве двух братских столиц, которое насчитывает более десяти лет, о взаимном обогащении новыми формами организации производства, знаниями, рабочими навыками.

Вопросам экономики, углублению экономической интеграции стран — членов СЭВ посвящен труд Бронислава Холопова «Ответ „Вашмю“». Венгерский опыт ведения сельского хозяйства описан в интересном исследовании Капитолины Кожевниковой «Доверяясь земле»...

Внимательно читая сборник, ловишь себя на мысли, что некоторые работы написаны как бы конспективно. Так, из очерка Надежды Кожевниковой «Директор», рассказывающем о широкоизвестном, крупнейшем в Венгрии фармацевтическом предприятии «Гедон Рихтер», мы узнаем в числе прочего о новом препарате кавинтоне. Оказывается, вскользь замечает автор, при испытаниях этого препарата в СССР было установлено, что он помогает космонавтам легче переносить невесомость. Не будь Н. Кожевникова ограничена в площади, она бы смогла, наверное, рассказать интереснейшую историю, связанную с исследованием свойств кавинтона.

Количество подобных примеров можно умножить.

Несмотря на преобладание очерка, «Рукопожатие» — сборник, где весьма заметную роль играет художественная проза, представленная рассказами. Повести, очевидно, в книгу не вошли просто из соображений экономии места. Тем большая нагрузка падает на рассказы. Среди их авторов П. Подлашук, Л. Уварова, Ю. Авдеенко, В. Шапошникова и другие.

Книги, подобные рецензируемой, служат целям взаимного познания наших стран, их сближения в области экономики и культуры, удовлетворяя тем самым глубинную, насущную потребность. И было бы, думается, очень хорошо, если издание таких сборников станет — хотя бы в перспективе — пе-

риодическим. Совсем не лишнее при этом и включение в сборник поэзии. Яркие, эмоциональные стихи венгерских и советских авторов только украсят эту книгу.

Владимир Михановский.



МУМИН КАНОАТ. Избранное. Стихотворения, поэмы. Перевод с таджикского. М. «Художественная литература». 1984. 192 стр.

Давно это было, лет двадцать прошло с той поры, когда я впервые услышал о ярком и самобытном таджикском поэте моего поколения, поколения людей военного детства, Мумине Каноате. И от кого услышал — от самого Ярослава Васильевича Смелякова, который прочитал мне свой перевод стихотворения «Девятая весна» этого молодого тогда таджика. Речь в стихотворении шла о «трех полдневных звездах», о первых героических учительницах-таджичках Сайрамбиби, Майрамбиби и Аламбиби. Смеляков хмурился, хотя перевод явно удался: «Та весна, что по краю таджикскому шла, по советскому счету девятой была». И далее о том, как, «блудя расписание, из всех своих сил в медный колокол сторож азартно звонил. И на этот приказ, прозвучавший вдали, тонконогие девочки быстренько шли».

Хороший это был перевод хорошего стихотворения, и оно по праву вошло в книгу «Избранное» Мумина Каноата, выпущенную ныне издательством «Художественная литература» со вступительной статьей Виталия Коротича. Вот что, в частности, сказано украинским писателем в этой статье: «Читая поэмы Мумина Каноата «Голоса Сталинграда» и «Днепровские волны», я вспоминаю, что берега великой славянской реки, где я живу, окроплены кровью его родного брата, и оттого, вероятно, так страстно говорит он о боли потерь, о неизмеримой цене, которой добылась Победа, оттого так лична боль поэта». Да, лична эта боль, и, добавим, личностно восприятие Мумином Каноатом окружающего нас мира в его исторической, высветленной теме «тремья полдневными звездами» перспективе. Вслушайтесь в слова реки Волги, обращенные к матери-земле в одной из главок поэмы «Голоса Сталинграда»:

Надевала я синий наряд по весне.
От твоих родников было молодо мне.
Я несла родниковый запас чистоты.
Я дарила на память невестам цветы.
Улыбалась, когда улыбались они.
Я любила смотреть на ночные огни.
Неизбынно щедрели мои берега...
Мать-земля!

Я сегодня встречаю врага.

(Перевел Р. Рождественский)

Мать-земля. Волга — мать-река. В творчестве Мумина Каноата тема матери вообще звучит широко. Доверительный, лирический разговор с читателем ведет автор в поэме «Материнский лик»:

Мать-земля поседела от дум,
от забот и утрат постарела,
но коль вслушаться в гомон и шум,
то услышишь: — Беритесь за дело!

(Перевел С. Куняев)

«Избранное» Мумина Каноата — книга многоплановая. И, что немаловажно, книга единого стиля, а этого добиться удается далеко не всем и не всегда. Многое здесь зависит и от переводов. То ли повезло Мумину Каноату, то ли свет его творчества оказался столь уж притягательным, но над перевоплощением его стихов на русский язык работали (и работали успешно и бережно) такие мастера слова, как Я. Смеляков, В. Шефнер, Г. Регистан, Р. Рождественский, С. Куняев, Р. Казакова и другие.

Книга Каноата о Таджикистане. И одновременно о всей нашей огромной родине. А это значит обо всем, что сегодня радует и тревожит людей в разных уголках планеты.

Владимир Савельев.



И. МОТЯШОВ. Георгий Марков. М. «Художественная литература». 1984. 325 стр.

Трудности в работе биографа бывают связаны не только с недостатком документально подтвержденного материала, но и, наоборот, с обилием его, особенно когда объект исследования — крупный романист эпического склада.

Рассказ о творческой лаборатории Г. Маркова, исследование авторских приемов и методов, оценка мировоззренческого кредо — все это в книге И. Мотяшова дано с той мерой соотношения деталей и общего, которая и делает портрет художника наиболее достоверным.

Критик четко выявляет социально-нравственные критерии, воплощенные в романах «Строговы», «Соль земли», «Сибирь», «Грядущему веку»... Стремление молодой советской власти сохранить нравственную основу поколений пахарей и охотников, изначальное их единение с природой исследуется на материале марковской прозы так же внимательно, как и влияние великой революции, преобразующей сознание масс.

Анализ произведений писателя в биографии построен, как правило, на выделении важнейших мотивов его творчества. Один из этих мотивов — марковское представление о педагогике как о воспитании примером (в частности, в романе «Отец и сын»). Этот метод воспитания, подчеркивает И. Мотяшов, смыкается с самыми современными педагогическими идеями, однако истоки его берут начало в глубине крестьянской семейной этики, многовековая история которой постоянно присутствует в произведениях Г. Маркова.

На материале романов и повестей, составляющих как бы единый материк, критик размышляет о драматизме человеческих отношений в прозе Маркова, о конфликтах со временем переходящих из сферы классово-борьбы в сферу социально-нравственную, что, впрочем, ничуть не снижает художественной напряженности повествования.

В густонаселенных пространствах марковских романов биограф и критик движется уверенно, порой возвращаясь к исходным точкам для иллюстрации своей мысли, от-

казываясь от простого пересказа. Анализ, идущий по нескольким основным направлениям, в то же время не мешает И. Мотяшову задерживаться и на выразительных эпизодах и на второстепенных лицах. А главных героев — деда Фишку, Матвея и Максима Строговых, Ульяну и Михаила Лищицына, отца и сына Бастрыковых, Лихачева, Соболева и многих других — он проводит через всю книгу, вновь и вновь подтверждая, что проблема положительного героя является ключевой, что положительный герой в нашей литературе реально существует, и в этом смысле персонажи Г. Маркова занимают в ней особое место.

Большое внимание И. Мотяшов уделяет затронутым в прозе Г. Маркова хозяйственно-экономическим проблемам — в их синтезе с проблемами социальными, историческими, нравственными. Прослежен тяжкий путь дореволюционных ученых-одиночек — от поисков и мечтаний до реального воплощения их замыслов, связанных с освоением сибирских богатств в наши дни. На мой взгляд, вывод критика об органическом слиянии этих проблем с художественной тканью прозы аргументирован и убедителен.

Тем более убедительны эти раздумья-суждения о реальных, конкретных проблемах социалистического строительства, что принадлежат они руководителю писательской организации страны, видному общественному и политическому деятелю, имя которого мы сегодня видим в числе делегатов XXVII съезда КПСС. Показывая, каким образом сложнейший материал, факты, касающиеся методов советского и партийного руководства, планирования и хозяйствования, становятся под пером Г. Маркова подлинным фактом литературы, автор монографии как бы заставляет вспомнить слова Виссариона Белинского, актуальность которых со временем все возрастает: «Что такое само искусство нашего времени? Суждение, анализ общества: следовательно, критика. Мыслительный элемент теперь слился даже с художественным, — и для нашего времени мертво художественное произведение, если оно изображает жизнь для того только, чтобы изображать жизнь, без всякого могучего субъективного побуждения, имеющего свое начало в преобладающей думе эпохи...»

Александра Спаль.



С. А. АБРАМОВИЧ. Пушкин в 1836 году. Предыстория последней дуэли. Л. «Наука». 1984. 207 стр.

Есть «веселое имя» Пушкин, которое наша память хранит с малолетства, и есть вечно печальная дуэль, на которой пуля иностранца («человека практического.. приехавшего в Россию сделать карьеру», по словам Вяземского) оборвала жизнь гения русской поэзии. Пока существует русская литература, пока существует русский язык, мы не перестанем волноваться, читая о том, что связано с дуэлью на Черной речке, что к ней вело и привело. И писать об этом нужно целомудренно, взвешивая каждый

вывод (свой и чужой), каждое слово. Новая работа С. Абрамович отвечает такому требованию.

Книга посвящена главным образом событиям ноября 1836 года, то есть предыстории дуэли, начиная с анонимного пасквиля, полученного Пушкиным и несколькими его друзьями утром 4 ноября. Это объективное исследование, заново оценивающее все вошедшие к настоящему времени в научный оборот документы и свидетельства.

За время, прошедшее после выхода в свет третьего (прижизненного) издания известного, но во многом устаревшего труда П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (1928), накопилось столько вновь открытых материалов, проливающих свет на многие казавшиеся загадочными или неправильно толковавшиеся обстоятельства предыстории дуэли 27 января 1837 года, что давно уже назрела необходимость такой обобщающей работы, которую проделала С. Абрамович. Вот только некоторые из новых материалов, опубликованных за последние десятилетия: два письма Ж. Дантеса о Н. Н. Пушкиной и фрагменты из переписки Е. Н. Геккерн, письма семьи Карамзиных, дневник и письма императрицы Александры Федоровны, материалы из архива П. И. Миллера, нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина, материалы из архива Бобринских, письма Н. Н. Пушкиной, А. Н. и Е. Н. Гончаровых, материалы вюртембергского посольства. Нельзя умалить заслуг публикаторов и первых комментаторов этих текстов, но их интерпретация содержащихся в документах сведений не всегда бывала достаточно безупречной. Только встроенные в общую систему фактов, они начали работать в полную силу.

Новые данные, просветляя некоторые темные места преадуэльной истории, часто ставят новые вопросы, отвечать на которые можно только предположительно. То есть дефицит фактов не уменьшается. А когда их недостает, возникают легенды. В связи с дуэлью и смертью Пушкина они появляются до сих пор. Автор книги показывает несостоятельность этих легенд и домыслов и вместо них предлагает достаточно вероятные объяснения. Так, С. Абрамович, проанализировав все возможные мотивы действий Дантеса и Геккерн, пришла к убеждению, что Пушкин имел веские основания быть уверенным в их непосредственной причастности к составлению пасквиля. А ведь «до сих пор,— отмечает С. Абрамович.— были совершенно неясны побуждения, которые могли толкнуть Геккернов на этот шаг. Широко распространенная легенда о «великой любви» Дантеса (к Н. Н. Пушкиной.— А. Г.) оказалась неким психологическим барьером, который в свое время помешал увидеть события в истинном свете». Влияние известной легенды сказывается и по сей день. Что же, однако, двигало этими людьми? Притязания Ж. Дантеса были отвергнуты Н. Н. Пушкиной незадолго до 4 ноября. Наиболее вероятным мотивом действий Геккернов могла быть месть, что «вполне в духе нравов золотой молодежи того времени». Это предположение психологически тонко обосновывается в книге.

Творческий спад осени 1835 года, неуспех первых двух книжек «Современника» и финансовые затруднения обусловили взрывоопасное душевное состояние Пушкина. Анонимные письма сыграли роль детонатора. Трагедия стала неизбежной. Подробно рассказывая о событиях, которые имели к ней прямое или косвенное отношение, С. Абрамович часто выходит за рамки собственно предыстории, что делает ее работу более информативной.

В предыстории дуэли по-прежнему немало загадок, но одно несомненно: «Великосветское общество приняло сторону Дантеса против Пушкина, и это предопределило исход дела... Поставлена была на карту честь поэта, его общественная репутация. Пушкин мог спасти ее только ценой жизни. Другого способа остановить клевету у него не было».

«Дело» Пушкина и Дантеса не закрыто, постоянно пополняется новыми материалами. Книга С. Абрамович содержит не только свод этих материалов, но и убедительное их истолкование.

Аркадий Гаврилов.



ЯКОВ ЗАХАРОВ. Возвращение из неизвестности. Непридуманная повесть. Донецк. «Донбасс». 1984. 158 стр.

Райвоенком майор В. Левченков, загруженный повседневными делами, вдруг узнал, что в соседнем санатории работает человек с необычной судьбой. В Великую Отечественную войну в результате тяжелой травмы потерял речь, слух и память. Не может объяснить, кто он, откуда родом, где воевал, что с ним случилось. И документов нет. Лишь мимикой показывает, что есть у него где-то родные, с которыми он хотел бы восстановить связи.

Встретившись с Неизвестным (так прозвали этого человека в санатории), бывший фронтовик Левченков счел своим долгом помочь ему обрести прошлое, найти родных. О том, как удалось военному выполнить свою благородную миссию с помощью многих советских людей, горячо откликнувшихся на чужую беду, и рассказывает небольшая книжка Якова Захарова.

Впрочем, всегда ли мы правы, называя чью-то беду чужой? Фотография и описание судьбы Неизвестного были опубликованы в одной из центральных газет, перепечатаны в некоторых периферийных. И хлынул в райвоенкомат поток писем от людей, потерявших в войну сына, мужа, отца или брата и теперь считавших его найденным. Были письма и телеграммы, категорически утверждавшие: «Узнала сына», «Это мой муж». Многие, не дожидаясь ответа, приезжали сами. Левченков чуть ли не ежедневно встречал обездоленных войной людей, вместе с ними переживая горечь разочарования...

Писали военному и те, кто никого не потерял на фронте и никого не разыскивал. Люди искренне сочувствовали Неизвестному и старались как-то ему помочь. Одна работая с Урала прислала: «Напишите мне о его моральном и физическом состоянии, сможет

ли он сам ответить на мое письмо? Очень бы хотелось быть ему искренним другом и товарищем...» Эта женщина или девушка не думала, конечно, о какой-то личной выгоде, самоотверженно предлагая помощь искалеченному войной человеку. А рабочие бобруйской фабрики имени Дзержинского всем коллективом решали, как помочь бывшему воину. Можно ли вернуть Неизвестному слух и память? — этот вопрос интересовал артистку из Алма-Аты. В конце письма она с болью спрашивала: «Неужели ему придется начинать с азбуки?»

За эту мысль и ухватился военком Левченков. Он решил обратиться в школу глухонемых с просьбой научить Неизвестного писать. Ведь от него только и требовалось на первых порах написать фамилию да адрес, где родился.

Так шаг за шагом открывалась история Неизвестного. Были найдены не только его родные, но и женщина, которая когда-то училась вместе с ним в одной школе и считалась его невестой. Ее дочь Надя стала учительницей Петра Нестеровича Нестерова, вчерашнего Неизвестного, не жалея времени и сил, узнавала все новые и новые подробности о его жизни.

На страницах книги перед нами проходит много светлых образов людей, на деле доказавших свою способность к самопожертвованию ради того, чтобы выручить другого человека из беды. Каждый считал своей прямой обязанностью помочь Нестерovu избавиться от тяжелого недуга, встать в трудовой строй. Повесть рассказывает о доброте и честности, об огромном запасе духовных сил советского человека, воспитанного социализмом.

Добавим, что автор повести — бывший фронтовик, подполковник в отставке — сам принимал активное участие в судьбе Неизвестного, будучи в то время корреспондентом газеты «Красная звезда».

Семен Борзунов.



ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СОЦИАЛИСТЫ. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Лениздат. 1984. 392 стр.

Уже сам перечень имен, представленных в сборнике, говорит о громадном значении дела петрашевцев в истории русской культуры. «Весьма и весьма многие из них заявили себя потом с большою честью в науке как профессора, как естествоиспытатели, как секретари ученых обществ, как авторы замечательных научных сочинений, как издатели журналов, как весьма заметные беллетристы, поэты и вообще как поэзные и интеллигентные деятели», — писал Ф. М. Достоевский, вместе с другими приговоренными к смертной казни ожидавший расстрела на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года. Приговор, как скажет писатель впоследствии, был прочтен вовсе не в шутку, и полураздетые люди пережили на лютом морозе по крайней мере «десять ужасных, безмерно страшных минут».

Сцена, разыгранная на плацу, была кульминацией одного из самых долгих и безоб-

разных представлений николаевской эпохи. Оно имело трагическое начало и мучительное продолжение (нельзя сказать «финал»: в трагедиях, навсегда запечатленных в литературе и искусстве, в народной памяти, его нет и быть не может, как никогда не перестанут убивать Пушкина на глазах все новых поколений его читателей). Устроители спектакля отлично знали свои роли. Когда самый молодой из осужденных, двадцатилетний Н. С. Кашкин, попросил дать ему возможность исповедаться перед смертью, обер-полцимейстер Галахов сказал достаточно громко, чтобы слышали другие: «Государь был так милостив, что даровал вам всем жизнь». Трое, в том числе сам Петрашевский, уже стояли в это время под дулами ружей, привязанные к столбам.

Воспоминания петрашевцев проливают свет на один из напряженнейших этапов многовекового противостояния русского образованного общества государственному деспотизму. Этот этап связан со сплочением русской демократической интеллигенции, первым пониманием ее себя, своих задач, своего особенного национального характера. Прозрение Пушкина, который в начале 30-х годов едва ли не один ясно сознавал античеловеческий смысл «узды железной» в руках самодержца («Ужасен он в окрестной мгле!»), передалось через полтора десятилетия многим умам, стало фактом интеллигентного сознания.

«Рукописная литература в Москве в большом ходу, — писал поэт А. Н. Плещеев незадолго до ареста С. Ф. Дурову. — Теперь все в о с х и щ а ю т с я письмом Белинского к Гоголю» (разрядка моя. — С. Я.). Речь идет о том самом письме, которое станет для многих петрашевцев одним из главных обвинений, «за недонесение о распространении» которого Достоевский будет приговорен через несколько месяцев военно-судной комиссией к расстрелу. «Мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведения образованного класса земли русской, — вторит Плещееву Д. Д. Ахшарумов. — Оставшихся на свободе людей одинакового с нами образа мыслей, нам сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами». Именно поэтому Достоевский впоследствии протестовал против использования самого слова «петрашевцы» для обозначения движения конца 40-х годов, ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутыми и необеспокоенными».

Показательный процесс как раз и был задуман с целью терроризировать всех «нетронутых и необеспокоенных», искоренить в России всякую свободную мысль. Среди населения умышленно распространялись легенды, отличавшиеся, по словам П. А. Кузьмина, «гнусной ехидностью» и рассчитанные на то, чтобы возбудить к «заговорщикам» ненависть разных сословий. Одна из версий в передаче В. А. Энгельсона гласит, что сам государь говорил коменданту Царского Села: «Представь себе, эти чудовища хотели не только убить меня, но и уничтожить всю мою семью». Даже смертный приговор

21 человеку, навсегда вошедший в историю как «безобразное и ненужное ругательство», имел пропагандистскую цель: он понадобился для того, чтобы та же державная рука, которая будто вчера уверенно марала беловые листы пушкинского «Медного всадника», могла начертать: «На 4 года и потом рядовым». Такое наказание определил Николай I Достоевскому, снова (в который уже раз!) роковым образом вмешавшись в судьбу русской литературы...

Расчет не оправдался: свободная творческая мысль не погибла, она выросла до необозримых пределов. Катастрофа, постигшая Достоевского в молодости, как бы заново пересоздала его личность, в конечном счете привела к формированию нового уникального художественного и философского мировоззрения.

Невозможно даже перечислить все мысли и чувства, которые возбуждают воспоминания петрашевцев, собранные под одной обложкой. Перед нами проходят самобытные характеры, исторические подробности, детали быта... Книга обладает редкой способностью открывать читателю высокое значение житейского и частного. И лишний раз напоминает, что дело петрашевцев — явление, глубина и перспектива которого едва ли и сегодня увидены до конца.

С. Яковлев.



ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО. В военном воздухе суровом... М. «Советская Россия». 1985. 556 стр.

Прежде чем стать писателем, автор этой книги долгие годы был военным летчиком. В литературу Герой Советского Союза Василий Борисович Емельяненко пришел с горячим желанием рассказать читателю обо всем, что было пережито им на фронтах Великой Отечественной.

«В военном воздухе суровом...» — это прежде всего правда. Правда о судьбе молодого человека, который собирался стать композитором, а стал по зову Родины летчиком. И не просто летчиком, а летчиком-штурмовиком, пилотом «ИЛ-2», прозванного немцами «черной смертью». Правда о войне в целом, о тяжести бесконечных боев, так не похожих один на другой, о радости побед и горе утрат, о героизме — простом и обыденном, ставшем в годы войны нормой поведения миллионов советских людей.

Очень трудно рассказать о летчике в воздушном бою, здесь малейший литературный промах может свести все старания на нет. Под пером В. Емельяненко боевой вылет предстает перед читателем во всей своей необычности и сложности, таким, каким он был на самом деле. Сужу об этом не как сторонний наблюдатель — за годы войны мне довелось совершить около трех-

сот боевых вылетов. Читая книгу В. Емельяненко, я как бы вновь побывал в небе, испытал огонь зениток и яростные атаки «мессеров», услышал завывание поврежденного «эрликсонами» мотора, увидел, как неотвратно надвигается земля, как мутится сознание и меркнет солнечный мир...

Автор не приукрашивает события. На страницах книги читателю встретятся не только описания блестящих побед, но и рассказы о тяжких днях отступлений и поражений, об отчаянии летчиков, когда им не на чем было летать. А скольким героям приходилось гореть в воздухе, истекать кровью от ран, спасать товарища ценой собственной жизни...

Напрасно было бы искать здесь громкие слова о героизме, самопожертвовании, патриотизме. К чему трескучие стандартные фразы? Великие понятия были как бы заложены в повседневной боевой работе летчиков — смертельно опасной, неизмеримо трудной, полной лишений. Лишь один из тех, о ком рассказывает В. Емельяненко, оказался фразером. На митинге перед боем он держал пламенную речь, а в бою проявил себя как отъявленный трус и предатель. Перед лицом однополчан прямо на аэродроме его судил военный трибунал. Верный принципу отображения полной, не урезанной правды, В. Емельяненко не обходит этот случай и эту судьбу. Не обходит, чтобы извлечь из нее урок: судить человека надо не по словам, а по делам!

И еще в одном правдивость книги — в ее языке. Автор намеренно сохраняет слова, интонации и обороты речи, юмор в том виде, в каком они были у летчиков в годы войны. Возможно, от этого несколько страдает изящество слога, но зато выигрывает правда.

В годы войны запрещалось вести дневники, делать записи. Эта мера преследовала вполне определенную цель: не допустить разглашения военной тайны. Но сейчас мы, фронтовики, порой испытываем настоящие муки из-за того, что за далью лет память не сохранила драгоценные подробности военных будней. Движимый чувством ответственности очевидца и участника великих событий, В. Емельяненко все-таки делал на фронте заметки (отрывочные, понятные только автору), без которых не было бы, пожалуй, этой книги. Разумеется, автор опирался не только на память и личные записи. Он широко использовал материалы военных архивов и свидетельства однополчан. 130 соратников В. Емельяненко дополнили, уточнили, расширили картину боевого пути 7-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного Севастопольского штурмового полка.

Книга В. Емельяненко займет достойное место в ряду произведений, рассказывающих о суровом лихолетье. Неопровержимость документа сита в ней с яркостью и психологической точностью писательского слова.

Б. Пустовалов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. 174 стр. Цена 70 к.

В. И. Ленин, КПСС о социалистическом соревновании. Изд. 3-е, дополненное, переработанное. 541 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Артамонов. Вирази концерна «Локхид». («Владыки капиталистического мира») 93 стр. Цена 20 к.

А. Кукаркин. Буржуазная массовая культура. Теории Идеи. Разновидности Образцы. Техника Бизнес Изд. 2-е, доработанное, дополненное. 399 стр. Цена 2 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Есенин. Стихотворения. Поэмы 478 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Караславов. Восставшие из пепла Роман. Перевод с болгарского. 368 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Куприн. Избранные сочинения. 655 стр. Цена 5 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

О. Ждан. Черты и лица. Повести 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Кулиев. Человек. Птица. Дерево. Стихи, поэма. Перевод с балкарского. 367 стр. Цена 2 р. 30 к.

Ю. Мориц. Синий огонь. Стихи 191 стр. Цена 70 к.

А. Рыбак. Последняя командировка. Повесть, рассказы Перевод с белорусского. 262 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Галкин. Сибирские сказы. 157 стр. Цена 45 к.

А. Ким. Вкус терна на рассвете. Рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

Т. Пулатов. Страсти бухарского дома. Жизнеописание 495 стр. Цена 1 р. 90 к.

Факел. Стихи молодых поэтов Кубы, Никарагуа, Чили. Перевод с испанского. 47 стр. Цена 30 к.

«РАДУГА»

Современный испанский детектив. М. де Педрулу. Ответ — Ф Гарсиа Павон. Рыжие сестры. — Ж Фустер. Карьера — М Вакес Ментальбан. Одиночество менеджера Переводы с испанского и каталонского. 683 стр. Цена 4 р. 70 к.

С четырех сторон. Повести. Перевод с английского и хинди. 277 стр. Цена 1 р. 80 к.
У. Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. Перевод с английского 488 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Э. Казаневич. Звезда Повесть. 77 стр. Цена 26 к.

Н. Лайне. Золотая осень. Стихотворения, поэма. Перевод с финского. Предисловие В. Деметьева. 144 стр. Цена 60 к.

Ю. Убогий. На этой земле Повести рассказы 272 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Хлебников. Ладомир. Поэмы. («Российская поэма») 100 стр. Цена 50 к.

«НАУКА»

Аиссе. Письма к госпоже Каландрини. («Литературные памятники») 224 стр. Цена 1 р.

Коммунисты в авангарде борьбы за единый рабочий и народный фронт. 1934—1939. 300 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ж. Верн. Таинственный остров. Перевод с французского («Библиотека приключений и научной фантастики») 607 стр. Цена 1 р 30 к.

В. Каверин. Два капитана. Роман 560 стр. Цена 1 р 50 к.

Помнит мир спасенный. Рассказы. 302 стр. Цена 1 р 20 к.

Д. Свифт. Путешествие Гулливера. 200 стр. Цена 3 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Астраханцев. Высокое искусство жить. Рассказы. Красноярск. Книжное издательство. 167 стр. Цена 85 к.

И. Головченко. Каменистыми тропами. Записки о прожитом и пережитом Киев. «Днипро». 216 стр. Цена 70 к.

Б. Екимов. Частное расследование. Повесть, рассказы. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство 384 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Кравец. Открытый вопрос Рассказы. Львов «Каменяр». 129 стр. Цена 35 к.

Эзоп. Басни. Перевод Л. Н. Толстого. Составитель Э. Г. Вабаев. Тула. Приокское книжное издательство. 158 стр. Цена 70 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карлов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.10.85.

Подписано к печати 05.12.85 г.

А 10467.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл.печ. л.)

27.09 уч-изд л

Тираж 420 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Зак. 3988.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 1, 1—272.